

ISSN 0130-7673

Н О В Ы Й
М И Р

N M O I V R Y

11

2004

11

МИР

НОВЫЙ

2004

НОВЫЙ ВЕК, НОВЫЙ МИР УМНЫЙ ЧИТАЕТ, ОСТАЛЬНЫЕ СМОТРЯТ

ДО КОНЦА 2004 ГОДА И В 2005 ГОДУ
«НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

- ДМИТРИЙ БАВИЛЬСКИЙ. Роман с китайцем;
РОДИОН БЕЛЕЦКИЙ. Николай не понимает (повесть);
ОЛЕГ БОРУШКО. Класс «А» (роман);
ИГОРЬ БУЛКАТЫ. Кавказский лабиринт (роман);
ДМИТРИЙ БЫКОВ. Отвращение (роман);
СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);
РУБЕН ДАВИД ГОНСАЛЕС ГАЛЬЕГО. Новая книга;
ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. Я помню;
НИНА ГОРЛАНОВА, ВЯЧЕСЛАВ БУКУР. Повесть о герое Василии и подвижнице Серафиме;
ЕЛЕНА ДОЛГОПЯТ. Гардеробщик (повесть);
БОРИС ЕКИМОВ. Рассказы и очерки;
ОЛЕГ ЕРМАКОВ. Холст (роман);
ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР. Новые рассказы;
НИКОЛАЙ КОНОНОВ. Чуть позже (роман);
АНАТОЛИЙ КИМ. Сеть (повесть);
ВЛАДИМИР КРАВЧЕНКО. Из пороха в порох (повесть);
МАКСИМ КРОНГАУЗ. Современный детектив (опыт классификации);
МИХАИЛ КУРАЕВ. Дом без адреса (повесть);
ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новый роман;
АННА МАТВЕЕВА. Итальянское вино (повесть);
АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. В долине блаженных (роман);
ВЛАДИМИР НОВИКОВ. Типичный Петров (любственное чтение);
ОЛЕГ ПАВЛОВ. Чаровщина;
ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. Заморозки (повесть);
ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ. Пустырь (повесть);
ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Новая повесть;
ЕЛЕНА РАБИНОВИЧ. Филологические новеллы;

ЕВГЕНИЙ РЕЙН. **Избранник** (роман);
МАРК РОЗОВСКИЙ. **Театральный человек** (документальное повествование);
ДИНА РУБИНА. **На солнечной стороне улицы** (роман);
ИГОРЬ САВЕЛЬЕВ. **Бледный город** (повесть);
ВАЛЕРИЙ СЕНДЕРОВ. **Власть и общество в России в прошлом и настоящем** (историко-публицистический очерк);
РОМАН СЕНЧИН. **Дочка** (повесть);
ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. **Период** (роман);
АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ. **Новая проза**;
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. **Этюды из «Литературной кол-лекции»**;
РОМАН СОЛНЦЕВ. **Книга провокаций**;
ЭРИХ СОЛОВЬЕВ. **Переосмысление талиона** (статья вторая);
МАРИНА СТЕПНОВА. **Хирург** (роман);
АЛЕКСАНДР ТИТОВ. **Прощание с гармонистом** (роман);
ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА. **Птица счастья** (повесть);
ВЛАДИМИР УСПЕНСКИЙ. **Зачем ставят памятники?** (эссе);
АНТОН УТКИН. **Крепость сомнения** (роман);
РЕВЕККА ФРУМКИНА. **Образ жизни на разломе эпох** (социологический очерк);
СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ. **Откос** (повесть);
ЕВГЕНИЙ ШКЛОВСКИЙ. **Из-под козырька** (рассказы);
ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. **Новая повесть**;

а также стихи МАРИНЫ БОРОДИЦКОЙ, ЕВГЕНИЯ КАРАСЕВА, ГРИГОРИЯ КОРИНА, ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА, ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО, ИНГИ КУЗНЕЦОВОЙ, АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ, ВЕРЫ ПАВЛОВОЙ, ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ, СЕРГЕЯ САЛТЫКОВА, СЕРГЕЯ СТРАТАНОВСКОГО, ОЛЕГА ХЛЕБНИКОВА, ИЛЬИ ФАЛИКОВА, ОЛЕГА ЧУХОНЦЕВА, ЕЛЕНЫ ШВАРЦ; статьи, обзоры, эссе КИРИЛЛА АНКУДИНОВА, ДМИТРИЯ БАКА, СЕРГЕЯ БОРОВИКОВА, СЕРГЕЯ БОЧАРОВА, ДМИТРИЯ БЫКОВА, ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, ЕВГЕНИЯ ЕРМОЛИНА, АНДРЕЯ ЗУБОВА, АЛЛЫ ЛАТЫНИНОЙ, АЛЛЫ МАРЧЕНКО, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, МАРИИ РЕМИЗОВОЙ, ДМИТРИЯ ШЕВАРОВА и других авторов.

NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

СПОСОБ ЗАКАЗА: по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

СПОСОБ ОПЛАТЫ: 100 % предоплаты на счет ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корр. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

СТОИМОСТЬ одного экземпляра в 2004 и 2005 годах: \$ 10.

СТОИМОСТЬ годового комплекта: \$ 120.

ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почта-тамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 127994, ГСП-4, Москва, К-6,
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.
E-mail: novy-mir@mtu-net.ru

Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

(вырезать или ксерокопировать Заявку,
заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо
отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)

Я (фамилия, имя или название организации) _____

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»

с _____ (месяц, год) на _____ месяцев.

Количество экземпляров _____

Стоимость заказа _____ (число месяцев x число экземпляров x \$ 10).

Дата оплаты (Заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) _____

Контактный телефон (факс, e-mail) _____

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) _____

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки _____

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписные индексы «Нового мира» в зеленом Объединенном каталоге «Подписка-2005. Пресса России»: 70636 — для индивидуальных подписчиков и библиотек, 16410 — для предприятий и организаций. Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов в редакции предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах: ООО «Паолине» (Большая Никитская, 26/2, т. 291-65-15), ПК «Фаланстер» (Большой Козихинский пер., 10, т. 504-47-95), ООО «Анега Р» (Большая Дмитровка, 12, т. 229-34-53), «Ad Marginem» (1-й Новокузнецкий пер., 5/7, т. 951-93-60), ООО «Викмо-М» (ул. Нижняя Радищевская, 2, т. 915-27-97), ООО «Анега Д» (ул. Никольская, 19/1, т. 921-58-27).

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Пабликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (763) 550-0961. Fax (763) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-09-37, факс (095) 318-08-81).

Уважаемые зарубежные подписчики!

Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ,

выходят в обложке белого цвета с надписью «Novu Mir».

Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб.

Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4)

или через редакцию журнала (см. стр. 3).

СОДЕРЖАНИЕ

ВЛАДИМИР МАКАНИН — Коса — пока роса, повесть	7
СЕРГЕЙ СТРАТАНОВСКИЙ — Со спокойствием в сердце, стихи	54
БОРИС ЕКИМОВ — «Не надо плакать...» Рассказ	59
ОЛЕГ ХЛЕБНИКОВ — Лесенка, стихи	71
ВАСИЛИЙ ГОЛОВАНОВ — Эти квартиры, рассказ	75
СЕМЕН ЛИПКИН — Прости меня, стихи. Публикация подготовлена Дмитрием Полищуком	88
ПАВЕЛ БАСИНСКИЙ — Горький. Главы из книги	96

ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА

ЕССЕ НОМО: Андрей Столяров. Розовое и голубое; Армен Асриян. Игры, которые нас выбирают; Татьяна Касаткина. Вечный че- ловек	118
--	-----

ИЗ НАСЛЕДИЯ

ИВАН ШМЕЛЕВ — «Я всегда жил сердцем...» Письма Раисе и Люд- миле Земмеринг. Подготовка текста Н. В. Петрашовой, Д. Г. Ше- варова, О. Н. Шохиной. Вступительная статья Д. Г. Шеварова	144
ВИКТОР АСТАФЬЕВ — «...Будет востребована правда...» Письмо Светлане Новиковой	153

ОПЫТЫ

СЕРГЕЙ БОРОВИКОВ — В русском жанре-26	156
НИНА ГОРЛАНОВА — Письмо Чехову	161

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Валерий Липневич. В поисках утраченного достоинства	164
Владислав Дегтярев. Орфей, Эвридика и смерть	168
Виталий Куренной. Грезы о реальности	173
Наталья Курчан. Музыкальная апокалиптика Владимира Мартынова	178

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

КНИЖНАЯ ПОЛКА ДМИТРИЯ ШЕВАРОВА	184
ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ПАВЛА РУДНЕВА	194
КИНООБОЗРЕНИЕ НАТАЛЬИ СИРИВЛИ	198
WWW-ОБОЗРЕНИЕ ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО	201

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (составитель Сергей Костырко)	205
Периодика (составители Андрей Василевский, Павел Крючков)	208
SUMMARY	240



ПОЭТИЧЕСКАЯ ПРЕМИЯ «ANTHOLOGIA»

учреждена редакцией журнала «Новый мир»
в феврале 2004 года в виде специальных почетных дипломов,
отмечающих высшие достижения современной русской поэзии.

Торжественное вручение дипломов лауреатам 2003 и 2004 годов
состоится на юбилейном вечере в честь 80-летия
«Нового мира» одновременно с вручением
премии имени Юрия Казакова
и ежегодных редакционных премий авторам журнала
в начале 2005 года.

Координаторский совет:
АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ,
ВЛАДИМИР ГУБАЙЛОВСКИЙ,
ИРИНА РОДНЯНСКАЯ.

Контактный телефон (095) 209-57-02
nmir@lenta.ru

Издание выходит при поддержке Министерства культуры и массовых
коммуникаций Российской Федерации.

ВЛАДИМИР МАКАНИН

*

КОСА — ПОКА РОСА

Повесть

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Вот только тут старый Алабин отметил характерное — да, да, он даже оглянулся... Не саму ее он заметил, а мелкую и быструю дрожь ее лица — полутона испуга. Молодое лицо подернуло ветерком. Напомнило испуг маленького домашнего животного... Кроля... Или испуг собачонки, с умоляющей мимикой. С легким подрагиванием в области глаз и носа.

Причиной и был всего-то пьяндыга Гуськов, шедший по улице мимо. Он вопил что-то несуразное. Но в общем совсем не страшный и случайный... Пьянь!

Старый Алабин (если что — я, мол, защитник) просто шагнул к молодой дачнице ближе. Он как раз зачем-то вырядился... В своем темном костюме, в белой рубашке (ладно, что без галстука в ту жару!).

— Добрый день, — сказал ей Петр Петрович Алабин.

Да, да, он просто и вполне дружески поздоровался — мол, добрый день! Она кивнула. Но в ответ ни словца. Такая робкая и ранимая!

Так что Алабин даже не слишком был в нее поначалу влюблен. Красота ее была вполне скромна, деликатна. Но поразить она его поразила.

А звали — Анной...

Сказать честно, только таких женщин, робких и ранимых, Петр Петрович Алабин и побаивался. В молодости попался на такую — и безоговорочно женился. Не в силах был, как теперь говорят, *сделать ноги*. Не в силах был ее оставить. Иначе, мол, весь мир рухнет! Иначе, мол, как ей жить — и как будет биться дальше оставленное им, ранимое сердце?

Похоже, Петр Петрович Алабин слишком спешил пожалеть... Он как бы самим собой исправлял или, можно сказать, подправлял для женщины судьбу и жизнь. Исправлял жизнь для ранимой, кроткой женщины — не всё, мол, в этом сложном мире так плохо и скверно, дорогая!

Жизнь в сложном мире вышла меж тем пестрая, разная. Но уж зато — востребованная... Это Петр Петрович так иронизировал, имея в виду, что по ходу жизни он еще дважды попал (накололся) на точно такой же тип женщины — и оба раза опять же женился. Было ли стечение схожих обстоятельств? Или просто случай?.. Но ведь в итоге трижды! Иногда ему думалось, все эти милые женщины были в сговоре. Эти робкие и ранимые... Эти с трепетом на лице... Они своим нежным чутьем хорошо знали, кто жертва, а кто охотник. Они подстерегали его. Посмеиваясь!

Маканин Владимир Семенович родился в 1937 году в Орске Оренбургской области. Окончил МГУ. Живет в Москве. Постоянный автор «Нового мира».

Из книги «Высокая-высокая луна». (См. также: «Однодневная война» — «Новый мир», 2001, № 10; «Неадекватен» и «За кого проголосует маленький человек» — «Новый мир», 2002, № 5; «Без политики» — «Новый мир», 2003, № 8; «Долгожители» — «Новый мир», 2003, № 9; «Могли ли демократы написать гимн...» — «Новый мир», 2003, № 10; «Боржоми» — «Новый мир», 2003, № 11.)

Зато Петру Петровичу Алабину, как ему казалось, было нечего бояться теперь... Пенсионер (старый хер и без больших денег), он уже никак не мог в качестве добычи заинтересовать молодую женщину, пусть даже очень трепетную и очень ранимую.

Присмотревшись, старикан Алабин уже знал, что ситуация для него благоприятна. Знал, что у этих милых Костровцевых (жгучая фамилия!) не всё так уж безоблачно. Не всё лады. *Он* уезжал на машине в Москву, а *она* оставалась здесь и нервничала. *Он* вдруг там задерживался... А иной раз не возвращался ночью. (Прекрасно!..) И было совсем нехитро понять, что *он* задерживался. Что у него кто-то есть... Бабец. (Прекрасно! Прекрасно!..) Где-то там, в Москве, у нашего Костровцева уже на мази... Где-то там женщина — вспыхнувший, заплывавший бабец. Уже вся, похоже, в огне!

Костровцев, не слишком даже скрывая, день ото дня дергался: уезжал — приезжал... Молодой, но с опытом. Что-то он своей Ане, разумеется, врал. А она это вранье тихо глотала.

Через открытое их окно старый Алабин как-то ее услышал:

— Собирались уехать на юг, Антон! Ты же сам говорил — большой отпуск... Огромный отпуск!

Муж Антон не ответил. Жевал... Или Алабин не расслышал. Да ведь и не важно — что там было сейчас слышать? Поедет *он* теперь на юг — как же! Что ему, этому Антону, отпуск и что ему все юга! Пока бабца не уработает как надо, не сдвинется он с места.

Но все же Петр Петрович Алабин настроился. Гром с неба... Могли взять и уехать. На юге продлить отпуск.

Алабин вдруг ясно представил, что уехали и снимают там себе комнату. У моря... За хорошую (еще какую обдирающе хорошую) цену... Не надо бы им так тратиться!

У них на даче убирала старуха Михеевна. И Петр Петрович — видно, он сильно взволновался — пошел и переспросил у нее: правда ли, что Костровцевы собираются съехать?

— Могут, — ответила она.

Алабин посетовал — жаль! Хорошие же люди. Жаль, когда хорошие люди съезжают.

Старуха развела руками — мол, это жизнь!

— ...По мне, все одно. Одни люди сменяют других. Мое дело — знай прибирай!.. Хе-хе.

И старуха прямо в лицо Петру Петровичу этак нагло хехекнула. (Показалось странным.)

Нет, нет, что такое любовь, старый Алабин знал... Кто ж не знает! И ничего он не спутал... Просто он попал в дурацкое положение. То, что это дурацкое положение называется у всех других «слюнявой старостью», ему и думать не хотелось.

Лунная ночь уже всюю мучила старика. Несколько раз он обошел *их* скромную дачку. Шел травой и спотыкался... Прямоугольник *ее* окна не погас. Еще *она* не спит.

Старик (а кому другому?) выговаривал высокой в небе луне:

— Нехорошо. Нехорошо!.. Зачем такие женщины?

Ей небось нет двадцати трех... На лице — завораживающие Алабина (те самые) робость и ранимость. Обманка женской природы, она самая! — вот только зачем ему вся эта одурь опять, если он стар?..

Как вдруг Алабин ясно услышал в ночной тьме голос Ани:

— Ни слова я ему не говорю сердитого! Ни жалобы!

Да, да, *он* услышал вдруг — ее звонкий (робко звонкий) голос оказался совсем близко.

— Ни слова. Ни словца ему упрека... Ах, говорю, наконец и ты! Вернулся... Какой, говорю, молодец!

Только теперь Алабин расслышал еще и шаги за кустом боярышника. Шуршание медленных шагов... С Аней кто-то шел рядом.

— Все эти два года в браке с ним я привыкала. — Голос Ани. — То у него друзья-друзья-друзья... То у него шахматы-шахматы-шахматы... Тридцать лет, а все увлекается... Но зато на работе он — трудяга! Что правда, то правда.

— Нда-аа, — протянула ее собеседница. — Мужья народ боевой.

Старческая хрипотца... Алабин тотчас узнал по голосу Михеевну — ту каргу, что помогала убирать у них на даче.

— Юг или не юг — не знаю, поедем ли, — продолжала Аня. — Работы ему уже опять подбросили. А Антон, я же говорю, трудяга. Трудоголик...

Аня, похоже, вышла проводить Михеевну за калитку — Петр Петрович хорошо видел их за боярышником. Приостановились.

— Мужья — люди боевые! — Старуха хрипато засмеялась. И добавила: — Иди, Анечка, спать. Ночь уже! Иди, иди.

— Да светло же. Луна.

Старуха прошла вперед. Аня смотрела ей вслед. Чуть приопущен милый ее подбородок... Куда она сейчас смотрит? Что можно видеть таким кротким взглядом?

А когда Петр Петрович две, буквально две секунды спустя куст боярышника обогнул, обошел, почти оббежал — Ани там не было. Оказалось, что именно Аня ушла, шурша травой... Как он мог обмануться?.. Старуха стояла, а Ани не было.

Алабин даже передернул плечами от столь неожиданной ночной ошибки.

Но было опять же ему на руку, что он сам увидел, как они разошлись... Она дома... *Она одна*... Алабин обошел дачу проулком, не упуская из виду ее блеклого окна. Ночь продолжалась.

Ее оконце погасло, вспыхнуло и через минуту-другую вновь погасло — уже как бы на всю оставшуюся ночь. (*На всю ли?* — подумал Алабин.) Он ждал. Он дал ей уснуть... Уснуть крепко...

Теперь с пониманием и с выгодой для себя (правильнее сказать, с радостью для себя) он мог отнестись к острой ночной ситуации... С пониманием (и с радостью для себя!) мог отнестись к Аниной женской заброшенности, к ее одинокости из ночи в ночь — и соответственно — к ее страстному ожиданию позднего возвращения мужа.

Час ночи... Два... Конечно, очень может быть, что Аня, едва слышав в своей спальне шаги (или скрип... деревянный отзвук постели, на которую к ней Алабин едва присядет), тотчас подымет недоуменный крик или вопль... И ничего, кроме конфуза... И бегство... Но если миг выбран точно... Если ночь за ночью она ждет ласки... И если *ты* решишься занять *его* не пригретое пока что место... Ночь сама и распорядится... Лунная! Чуткая ночь!.. Охладевший муж, конечно же, может вдруг вернуться среди этой же ночи. Но если его на полтора-два часа опередить, то свое получишь... Риск?.. Разумеется.

Так Алабин сам с собой рассуждал. Подбадривает ровная мысль!

Он приоткрыл их калитку. Скрип-скрип... Обошел небогатую дачку с северной стороны. Со стороны веранды, как всегда, дачная дверь проста... Открыл.

Прислушался.

Он знал по расположению окон, где вход в спальню... где ее постель... Как тихо! Ну?.. Минут десять сверх Алабин еще выждал... Волнуясь. Пора?..

Аня не сомневалась, что рядом с ней тот... Долгожданный!.. Она вся затрепетала в его руках... Алабин вошел в нее сразу, но куда вернее сказать

неправильное *она в него*, — так сильно, остро было ее заждавшееся желание. И даже слишком... Слишком стремительно для полноценной чувственности! Что-то она бормотала, захлебываясь в словах... И билась, билась, как рыба на песке, в полушаге от воды.

И вдруг все куда-то обрушилось. И Аня вырвалась. Да, да, почуяв обман и чужое тело...

— А?.. Что?.. Кто это?

Она вырвалась из его рук. Смолкла... Лежала, отодвинувшись в самый угол постели. Такое бывает и после любви — заждавшаяся женщина неистовствует, колотится, дергается, а через две всего минуты, опустошенная, отключается. Как в обмороке.

Алабин выдержал паузу.

А потом заговорил... Мол, сам не знаю, где я и как это я здесь... Мол, неужели перепутал дачи. (Вздор, конечно... Легенда... Хотя словесный вздор легализует якобы ошибку. Дело здесь проверенное... Однако он так мало получил... Секунду-две. Все слишком быстро. Пронеслось мимо!)

Но едва Алабин коснулся ее снова... чтобы успокоить хотя бы... Аня сразу и резко отдернулась в сторону. И включила ночничок.

— Уйдите!.. Уходите! — вырвалось у нее.

Но не громко. А как-то приглушенно. Ее, как ни странно, испугал не чужой мужчина (хотя, конечно, испугал) — ее испугал фантом — отсутствие мужа... Была так уверена, что он здесь! Она, кажется, даже искала его. Выглядывала мужа по темным углам. Растерянно... Где он, любимый?.. Слишком долго его хотела и ждала.

И наконец тихо заплакала. Без слов.

Закрыла плачущее лицо ладонями и всхлипывала. И так горько гнулись нежно прочерченные честные губы... И главное — этот ее трепет. И эта ранимость, отчего Петр Петрович Алабин тотчас услышал знакомую ему по жизни боль. И стыд.

Так и было. Петр Петрович встал, оделся... А молоденькая женщина, эта Аня, не стала ни попрекать, ни сомневаться в его версии (ключи, мол, на верандах у всех одинаковы) — она только плакала по-детски, и все... И весь край простыни в ее слезах-соплях.

— Ну вот еще новость... Чего ж плакать! — выдавил из себя старый Алабин. (Смущен был.)

Петр Петрович Алабин даже заворчал:

— Бывают ошибки... Бывают в жизни ошибки. Я же тоже ошибся.

Он уже и голосом, и интонацией каялся. И, если считать, повинился уже в третий раз... Она отняла от заплаканного лица ладони.

— Я... Никогда... Я...

Вот первое, что она, всхлипывая, сказала... Сказала, что у нее не было других мужчин, кроме мужа. Он у нее красивый. А она не очень. Но зато она всегда думала, что она ему верная. Не изменяла... Она этим гордилась. У нее был единственный!.. единственный мужчина...

— Ну-ну. Какая ж тут измена, — сказал Алабин с досадой.

Знал же! знал, что самый неподходящий для него тип женщины!.. А как жалко всхлипывает!.. Однако ладно... Женщина плачет, как дождь землю кропит.

— Я... Я всегда думала... Я... Никогда...

— Ну-ну. Не измена же, а ошибка! — перебил он. — Никакая не измена! Считайте, что меня не было. Совсем не было!

Он уже резким тоном посоветовал ей:

— Считайте, что я — сон. Приснился — и вот уже ничего нет.

Необходимо было успокоить... Такая с *горя* могла и мужу покаяться. Необходимо было около нее посидеть. Нет-нет, не трогать, не касаться (тем более не уговаривать повторно на близость, совсем не тот случай!).

Но хотя бы посидеть с ней рядом, приласкать словом, мягкой шуткой... пусть поплачет. Он ли не знал женщин...

Ей уже сейчас хочется прощать. Когда проникаешь в трепетно-ранимую природу таких женщин, это потрясает!.. Они куда добрее и куда снисходительнее. Их изначальный, нелепо придуманный жизненный выбор! Как существа, они безусловно выше мужчин... Но...

Но инстинкт... уже велел ему встать. Инстинкт — властный одноразовый звонок. Встать и идти... Петр Петрович выскочил — и буквально сразу, едва шагнув за порог, увидел фары наезжающей «шестерки».

— Я — это сон! Это сон! — крикнул он женщине еще раз винящимся шепотом. Он подсказывал ей.

А машина у ворот... Могли совпасть. Могло быть скверно — *ей скверно!*.. Старый Алабин, странным образом, о себе сейчас не думал.

Он вышел, но он не ушел... Не поспешил. Обеспокоенный за женщину, он стоял под окнами, ожидая неизвестно чего — быть может, хорошего разрешения ситуации. *Старый мудака! Уноси ноги!* — машинально повторял он себе, однако и не подумал сдвинуться с места. Мол, вдруг женщина не смолчит, не выдержит... С таким трепетом в лице!

Ночь... Он так и стоял у их раскрытого окна.

И слышал. Конечно, опять ее слезы. Теперь уже с громким взрывом обиды и боли... Рыдания... Но, кажется, все-таки без слов.

— Ты что? Что?.. Соскучилась? — спрашивал муж. Вспомнил наконец о женке! Вспомнил, сколько ночей томилась одна...

Нет, ничуть он не вспомнил!.. Не побаловал даже... Красавчик! Он взял какие-то бумаги. Бумажонки эти побросал на заднее сиденье машины и — за руль. Прощай, милая... Надо быть в городе рано-рано утром. Работа! Москва — город серьезный.

Петр Петрович так и не успел уйти.

Где-то в небе прошумел самолет. И тут же ее муж, ее Антон, словно бы торопясь за ночным пилотом, врубил мотор. Фары вспыхнули... Уехал.

Петр Петрович застыл у окна. За отцветшей давно сиренью... В лунном свете... А Аня там внутри... Всхлипывала.

Высокая-высокая луна... Видела и перевидела женских слез. Над кустившимся у забора орешником луна медлила. Но вот уже круто полезла в небо — висела величаво, твердо... Знала, что слезы высохнут. Что печаль пройдет.

А гримаска обиды?

Старик все еще удерживал ее в своих глазах — унес с собой. Эту трепетную, полудетскую гримаску страдания.

Уже лихой ее муж выруливал на шоссе... Далеко... Вот молодец! Раз, два, — и забыл свою женку. Какие там слезки-гримаски!.. А вот старый мудака Алабин так и застыл на дороге. Стоял, едва отойдя от ее окон.

Старик, к стыду своему, все же вновь не утерпел, не удержал себя — вернулся... Глупо, конечно. Едва вошел торопливым шагом в ее спальню... Ее голос тут же:

— Зачем вы?.. Зачем вы опять? — И так слышно, так больно дрогнул этот ломкий голос.

В темноте...

— Уходите. Уходите! — повторяла Аня.

Она не повысила голос. Не угрожала ничуть... Просто повторяла. Но ему этой простоты хватило.

Он ушел.

Выйдя вновь на дорогу, старикан бессмысленно стоял, задрал голову к небу. И от нечего делать бормотал луне всякие разные слова, вроде как он никто, один из миллионов живущих, его жизнь коротка, его позывные Петр Петрович Алабин и он, мол, знает свое скромное место... И еще он, мол, знает, что все пройдет. Что ни этих миллионов, ни его самого, ни

Ани... ни ее женских слез... Все нынешнее *на хер* исчезнет... Никого!.. А ты, высокая-высокая, будешь сиять.

Старый Алабин вернулся наконец к себе домой, а там, как оказалось, спал нагрывший из Москвы Олежка. Внучатый племянник. Молодой Алабин!.. Это уж как обычно! Приехал подышать воздухом... Уже спал... Было, пожалуй, три ночи.

И когда старикан невольно его разбудил, Олежка сердито ворчул:

— Неужели опять женщина?.. Дядя, вас пора кастрировать.

Алабин промолчал. Он не обижается. Он старый.

— Ну кто? Кто?.. Кто может вас, дядя, хотеть?! — пробрасывая вопросы один за одним, Олежка, конечно, подсмеивался... Но еще и любопытствовал.

А старый Алабин, конечно, затаился — и не подумал назвать имя.

Только сказал:

— Красивая.

Но это слово как раз и взорвало племянника. Похоже, и сон прошел. Взревновал... Он-то здесь спит такой молодой! Молодой и сильный, он весь вечер просидел, глуша в одиночестве поселковский портвейн. Да так и уснул! А старый шизоидный дядя возвращается с ночной свиданки! И еще сообщает: «Краси-иии-ивая!..»

Небрежно (и провакационно) он фыркнул:

— Какая там красивая?! Еще чего!.. В чем ее красота?.. Ну кто? Кто? Что за уродина?

Старикан разбирал постель и знай помалкивал.

— Дядя!.. Да у тебя глюки! У тебя как молодая — так и красивая! Прямо поле чудес!

Смеялся:

— Ну-ну, дядя! Ну-ну, Петр Петрович!.. Тебя послушать, у вас здесь самые клевые телки! И что ни лунная ночь — выборы «мисс Европа»!

И смолкший парень решительно отвернулся к стене, чтобы заснуть на-ново.

Старикан на своего не обижался, еще чего!.. А красота молодости для него и впрямь красота. Выше, чем красота правильных черт лица. Старый Алабин мог бесконечно рассматривать (скажем, в метро, незаметно... полу-прикрытым глазом) всякое молодое женское лицо. Станция за станцией... Пролет за пролетом... И ведь сразу находил! Глаза! Живые глаза!.. А очерк губ. И почти всегда (всегда! если только не мешает зимняя одежда...) изгиб шеи.

Он и не думал Олежке отвечать! Он только буркнул именно что-то насчет изгиба молодой женской шеи... Все пытался зачем-то его убедить — мол, да, да... мол, красивая!

Олежка однако вновь вздернулся... 28-я дача, что ли? Аней зовут?

Старикан довольно равнодушно сумел сказать — нет, нет, *моя старше*. В другом даже конце поселка. Какая там Аня!

И все равно тот не мог успокоиться... Старый Алабин уже спал. Но слышать слышал. Молодой бугай ворочался, мял так и этак подушку... Осень началась с жарких дней. Ночи теплы! Это к любви.

Олежка и с утра продолжал.

— Дядя. Вам отшибут голову, — уверял он с нарочитой серьезностью.

Несколько странную (тут Алабин с ним согласен!) лунную озабоченность своего дяди Олежка оценивал как смешной стариковский облом — как забавную, запоздало выраженную шизоидность.

— Вам, Петр Петрович, совершенно нельзя видеть женщин.

Олежка уезжал — он оставлял дяде хорошей колбасы, ветчины. Одну колбаску они тут же красиво порезали... Открыли бутылку.

Выпивая, Олежка посмеивался:

— Ваши подвиги войдут в легенду. Вы, дядя, будете как герой... Как Лука.

— Лука?

— Именно, именно Лука... Мудищев.

На все это старый Алабин, конечно, возражал. Держа в руке стакан с вином, вяло, впрочем, он возмущался:

— Какой там герой... Какие подвиги, мой мальчик. Свеча догорает — вот и все.

Они чокнулись и выпили.

— Огарок... Когда свеча догорает, она потрескивает. Вот и все.

— Но у вас, дядя, она потрескивает отлично!

— Ты, Олежка, молод. Чего тебе здесь киснуть?.. Езжай куда-нибудь в отпуск на юг! Посмотри мир! Людей!

— Чего бы и вам не поехать?

Олежка разлил еще по стаканам... А Петр Петрович, изготоясь пить, шумно вздохнул:

— Я стар... Ни денег, ни большого здоровья... Я только и могу толочь ступу в одном месте.

Молодой Алабин опять засмеялся:

— Вы ее очень неплохо толчете, дядя!

На что Петр Петрович только махнул по-стариковски рукой — чего уж там!

Он пошел проводить Олежку. *Да, да, после обеда... Петр Петрович проводил его до электрички.* Мимо Аниной дачи.

Олежка, видимо, припомнил все-таки вчерашнее свое подозрение насчет Ани. Но смолчал.

Петр Петрович тоже шел молча.

Зато возле угловой дачи старый Алабин заговорил:

— Осторожней. Здесь, Олежка, осторожней.

— Что такое?

— Забыл?..

— Что я забыл?

— Лушака... Не подходи близко к его забору, — предупредил Петр Петрович второй уже (если не третий) раз.

На углу горбатился плохонький дом Лушака, таково было прозвище здешнего затворника. Этот Лушак, как все знали, входил в криминальную группу, день за днем трудившуюся от их поселка совсем недалеко — в Малаховке. Но в последнее время Лушак *от своих отошел...*

— Он покойник, — небрежно сказал Олежка.

По понятиям той группы, Лушак совершил какую-то немислимую подлянку. Кого-то сдал... А сам прикрылся. Но дело там всплыло. Малаховских (многих!) менты пошерстили, а Лушака не тронули. И теперь братва, то есть свои же, собирались и впрямь его как-то прищучить — возможно, прикончить.

А сбежать, видно, некуда. Лушак заперся... И пока что стрелял из старого ружья в каждого, кто подходил к забору.

— Давай-ка обойдем. По той стороне.

— Вот еще! — фыркнул Олежка.

Он сделал шаг и молодой крепкой рукой потрянул калитку. Ни звука в ответ.

Олежка потрянул еще:

— Эй, Лушак! Жопа рваная!.. Скоро тебя твои достанут. Говорят, твою пулю уже загнали в ствол... Твою пулю, эй, Лушак!

Из верхнего окна раздались-таки выстрелы. Дважды... Но пули щелкнули по штакетнику аж в нескольких шагах, далеко!.. Не стрелок.

Оба Алабина резво отскочили, отбежали от забора.

— Эй, мазило! Пьянь! Протри глаза! — кричал Олежка.

Старый Алабин не комментировал, но, если честно, его резанула жесткость Олежки. Резанул тон, насмешка над загнанным в угол человеком... Пусть даже подлым... Впрочем, у молодых Алабин такое встречал не раз.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Третий час ночи. Пора... Луна уже не выкатится круче. Свет ее не станет выше.

С ключом от веранды небольшая заминка. Замок, что ли, сменили... *Бородка* цепляла, пришлось ее пораскачивать туда-сюда. Напрягая пальцы. С усилием... Топчась на месте, старый Алабин шумно втягивал ноздрями воздух... Именно тут (но еще больше, когда вошел) ему почуялся уловимый запахок застоя. Мельком Петр Петрович подумал, что наверху, быть может, расчехлили что-то... Из старой мебели.

Не скрипнув (да и не дыша), он поднялся по лестнице. Сердце билось. Вот комната... Здесь... Он был в шаге от Ани. Спящая, она опять давала ему его счастливый шанс.

Что ни говори, чудесный, удивительный миг!.. На этот раз Петр Петрович был чрезвычайно осторожен, но и не мешкал. Он не прилег сразу, а присел рядом и стал тихо ласкать плечо спящей. Лишь едва касаясь рукой... Вкрадчиво... Плечо — наиболее холодное, наиболее спокойное место на теле женщины.

Ошибку он все-таки почувствовал. Вдруг отпало желание. Прервалось...

И теперь уже волной отчетливый запах старости ударил ему в ноздри.

— Ч-черт!

Женщина проснулась... Включив ночник, она точно опешила. Опешил и Петр Петрович. Впору было смеяться — в постели была та самая Михеевна, уборщица дач, а заодно дачный сторож.

— Чего тебе надо?.. — заворчала она.

Пробормотав какую-то нелепицу, Петр Петрович не просто встал, а быстренько выпрыгнул из постели. (Он ошарашенно думал, не ошибся ли он и впрямь дачей.)

Старуха со сна тем временем шумела:

— Шустрый какой. Козел!.. Сначала надо поухаживать, а уж затем ночью к женщине идтить!

И тут она вдруг живо вскрикнула — узнав его.

— А-а, полночник. Ты-ы? — протянула Михеевна (полностью ее звали Анна Михеевна).

— Я. Это я... Успокойся.

Смешно сказать, но в тот смутный миг Петр Петрович едва не спросил, здесь ли проживают Костровцевы... Но, конечно, не спросил. Не желая себя (и главным образом Аню) выдать.

Анекдот!.. А хорош бы он был сейчас сходу раздевшись! Уже не сдерживаясь, Петр Петрович громко матюкался.

Старуха же, развернув в его сторону ночник, смело его разглядывала:

— Полно-оочник. Видать, нравлюсь тебе — а?

Ослабилась:

— Ну, ладно, ладно. Иди, иди сюда. Больно ты настойчивый.

Петру Петровичу было, однако, совсем не смешно. Не до ерничества было... Он схватил со стола принесенные Ане цветы — он не желал оставить старухе.

Уходя, все-таки спросил (для отвода глаз):

— Чья ж дача?

Старуха охотно пояснила — ошибся, ошибся! Здесь дача Костровцевых. Но самих Костровцевых нынче нет.

— Нынче они в городе.

— С чего ты в их постель забралась? — спросил Алабин, сердце его екнуло.

— А мягкая. Хочешь, сядь-ка попробуй... Мя-агкая!

Старуха зевнула:

— Не заругают... Завтра уже всё... Завтра они, может, и вовсе уезжают. Так сказали.

— На юг?

— На юг... А я сторож. Дача-то новая, с мебельями. И пограбить запросто могут. Ты-то не затем ли самым пришел? — Это она так веселилась — смеялась, видя, что ночной гость уже шагнул к дверям.

Петр Петрович уходил, она кричала вслед:

— Куда ж ты, сокол?.. И цветики унес. Аль не мне приносил?

Карга! Мать ее! — бранился Петр Петрович с нешуточной уже озленностью.

Возвращался во тьме не глядя. Оступался... Вдруг упал. Спотыкался о корни, там и тут вспучившие траву.

А горечь! Горечь душила... Аня... Ее трепетное лицо! Уедет. Это надолго... Жизни-то осталось ему, Алабину, всего ерунда. Самый край... — мучая себя, думал старик.

Среди дня Петр Петрович счел нужным завернуть к старой карге. Найти нетрудно: поглядывай через рябь штакетника, и где-нибудь на нее наткнешься... На той даче или на другой.

— Привет, старая. — И Петр Петрович завел для начала самый ненавистный ему дачный разговор — о погоде.

Но как раз погожие нынче деньки Аннету Михеевну на старушечье пробалтывание очень даже вдохновили.

Да, да, да, уезжают... Вчера Аня и ее муж ездили вместе в Москву — похоже, что за билетами.

— И вернулись.

— Велели приглядывать?

— И прибрать, и приглядывать. Чтоб порядок... Хе-хе-хе... А что ж мне — плохо, что ли? Я, если так поглядеть, здесь полная хозяйка. Люди приезжают-уезжают, живут-умирают, а я остаюсь!

Старуха продолжала свое и уже не могла остановиться — с Михеевной, мол, все ладят. Аннета Михеевна, мол, всюду и везде!.. Иль не знал?

Петр Петрович кивнул: знал он, знал!.. Ну, разговорилась!

— Михеевна всегда при деле... Подрезать ветки в саду... Колодец почистить. Всему, заметь, сама выучилась... Травку выкосить, косой раз-раз — и готово.

— Неужели косишь?

— Кошу... Михеевна все может. Вот только курить никак не научусь! А то бы мне с папироской как хорошо! — Она хохотнула.

Петр Петрович слушал ее болтовню, с трудом допуская мысль, что эта самая старуха едва не попала ему в постели. Едва не отдрючил старую козу!.. Однако не казалось ни смешным, ни гротескным. (Своя незадача гротеском не кажется.) И опять же эта вдруг зачистившая к Петру Петровичу мысль — мол, недалек, недалек край жизни!

Живешь и живешь. Бегаешь... Ищешь себе какую-нибудь Михеевну с подсказкой. И Михеевна тут как тут. Хозяйка... Ан глядь — не сама ли это смерть к тебе уже подоспела? — в таком вот гротескном, костлявеньком виде!

Петр Петрович произнес: бр-ррр... — и даже потряс головой, отгоняя навязчивый образ *старой хозяйки*.

...Аню он увидел за их дачным забором — в саду.... Одна. Муж Антон в гараже что-то насвистывал. Ковырялся (судя по звукам) в машине... Он же у нас трудоголик. Увлекающийся такой!

— Добрый день! — крикнул Петр Петрович через калитку.

Аня выглядывала на дереве посиневшую сливу. А что выглядывать, вся, вся спелая!.. Едут на юг. Уж там-то спелой сливы им будет навалом. Аня будет загорать... У моря... В купальнике! — подумал Петр Петрович с придыханием. И сглотнул слюну.

— Добрый день! — крикнул он еще раз.

Как-никак, старый Алабин был в отглаженных брюках и в белоснежной рубашке под легким свитером.

Аня поздоровалась... Лицо спокойно.

Именно! Ее лицо не было так уж скорбно. Ну, наконец-то... Ага! Она кормила собачонку. Лицо ее даже посветлело... Вот так-то!.. Протягивала собачонке куски, а сама склонила голову. Эта ее шея... Этот ее изгиб!

А собачонка знай прыгала... Приблудная. (Других дачников Петр Петрович за такие дела осуждал.) Приласкивают собаку, а потом съезжают. Брошенная, тоскующая собачонка ходит и всю осень заглядывает в глаза Петру Петровичу — больше-то некому.

Но если билеты уже куплены... Значило ли это, что Аня и ее трудоголик Антон уедут завтра-послезавтра?

Петр Петрович нацелился было спросить... Подойти ближе. Он ведь прилично одет. (Воротничок его белой рубашки как лезвие!) Но Аня уже ушла. Двух слов с ним сказать не захотела?

Строгая прическа, горделивая шея. И так знакомо затрепетавшее ее лицо.

Над ключом Петру Петровичу пришлось потрудиться. Подточил бородку напильником. (Слесарек-самоучка...) Подстукивал справа-слева мягкую медь. И нет-нет прикладывал к образцу... Сверяя. Щуря глазок... Еще и подбадривал себя советскими песнями:

Первым делом... делом самоле-оо-оты...

К вечеру он прошелся по поселку.

Дачная жизнь затихла — уже всё по-осеннему! Однако кой-где люди активны... У соседей Ани, что справа, перед отъездом гуляли. Отвальная! Запекали в вечернем костре картошку. И шумно пили пиво из горлышек.

Извлеченную из углей (рядом с костром) картошку бросали друг другу прямо в руки, обжигались!.. перебрасывали!.. и непрерывно вопили — экая радость жизни!

Костер полыхал... Видно как днем. Петр Петрович приостановился, смотрел на огонь, на прыгающие тени... Откуда-то кинулась собачонка, визгливо его облаяв.

Но, конечно же, краем глаза Петр Петрович следил за дачей Ани... Ее трудолюбивый муж пока что вещи не упаковывал... Но машину он готовил... Едет в Москву? Или не едет?.. Неужели перед югом не захочет проститься со своей жаркой московской крошкой?

Или они в семейном спокойствии попросту ждут день, на который уже куплены билеты? А что, если уже сегодня их последняя здесь ночь... Петр Петрович нервничал.

Нервничал... Но думать думал. И потому загодя купил вино... Он рассудил, что с вином правильнее.

Кто не знает, как хорошо снимает женские слезы глоток вина. Нет, не для куража. И вовсе не чтобы Аня слегка спьянела... А чтобы снять ее грусть. Чтобы сколько-то развлечь ее (или хоть отвлечь) этим по-челове-

чески обычным и успокаивающим (ритуальным) прикосновением стакана к стакану... Некие движения руками... Какие-то слова.

Петр Петрович упрятал красивую бутылку в канаве, недалеко от их калитки... В любую минуту вино под рукой... В прохладной траве. Три могучих лопуха охраняли тайну.

Петру Петровичу вспомнилось... Сто лет назад... Первое чувство... Тоже ведь млел! Он даже имя той девочки уже плохо помнил... Помнил только чудовищную тяжесть в собственной правой руке. Когда стояли рядом... и совсем рядом (руку протянуть) были едва наметившиеся холмики ее груди.

Костер у соседней Ани еще полыхал. Огромное красное пятно... А гулявшие люди перебрасывались теперь уже новой партией спекшейся в углях картошки.

— Лови!.. Оё-оо! — визжала поддатая деваха.

Петр Петрович, чтобы убить время, прошагал в самый конец поселка. И все задирает голову, смотрел — высока ли луна, не уйдет ли. Луна была как сумасшедшая. Не уйдет... Она царила в небе. Она там ликовала!

— Что? Что смотришь! — Петр Петрович сердито ей выговорил. Он не виноват... Разве, мол, человек виноват, если проскрипел столько десятилетий, а его сердце всё тук-тук... тук-тук...

Он оказался на углу, где сгорбленный дом Лушака... Вот где тихо... Но внизу, в сторожевом окне, огонь. Лушак, говорили, глушит водку и даже спать не спит. Только дремлет. В обнимку с ружьем.

И как бы в переклик с самим собой старый Алабин подумал, что этому Лушаку сейчас сильно одиноко. *Вот кому совсем уж одиноко.* Бедный подонок!.. Петр Петрович вновь приостановил шаги, размышляя — может быть, поговорить сейчас с ним... Тоже ведь хочется Лушаку с кем-нибудь перемолвиться. И может, Лушак сдастся ментам до приезда Коня. (Грозного местного оперуполномоченного. Опер Конев был в отпуске.) Лушак сам засветит себя. Мелкую свою какую-нибудь провинность. Сдастся ментам — и тем спасется.

Если ему подсказать... Старый Алабин тронул калитку — и очень может быть, что не Лушаку, а ему самому так остро хотелось поговорить.

Он потряс калитку легонько. Куда тише, чем тряс ее в тот раз Олежка. Но был услышан... В тишине... Шагнул.

— Лушак! Ты слышь меня?.. Я — Алабин. Сосед... Петр Петрович.

Пауза.

Потом голос:

— Чего вам?

— Да вот поговорить... Поговорим, а? Просто поболтаем. Перекурим вместе.

Пауза... Долгая пауза.

— Ну, входи, Петр Петрович.

И только когда старый Алабин вошел внутрь (шел подчеркнуто спокойно) и прошагал ко входу в дом больше чем полдорожки, бабахнул выстрел. Алабина отбросило... Или это он так упал, споткнувшись. Ударило в плечо... Обожгло... Он поднимался с земли и чувствовал, что этот кретин опять целит.

Побыстрее убраться!.. Когда Петр Петрович уже прикрывал за собой калитку, бахнул еще выстрел. Но, конечно, мимо. Подонок умел стрелять только в упор. Петр Петрович (уже на дороге) вытащил платок и прижал к ране. Пуля порвала плечо.

Не утерпел!.. Не утерпел одинокий несчастный Лушак. Рано выстрелил... В сущности, промах. Вот бы еще пару шагов... Ствол уперся бы Петру Петровичу прямо в грудь, и Лушак выстрелил бы совсем неплохо.

...Анин муж все-таки уехал, слинял в Москву. К своей! Тоже ведь настрадался. Все мы страдальцы!.. Машина, рванув, так и пела, так и летела — на ночь глядя. Ах, как молодой мужик соскучился!

Петр Петрович как раз возвращался, зажимая раненое плечо... По дороге... Радуюсь, что уцелел. А сзади шум мотора — и едва Алабин посторонился, его обогнала хорошо знакомая глазу машина. Та самая.

И тотчас услышал Петр Петрович Алабин радостный (ответный мотору) стук своего стариковского сердца... Значит, попозже ночью. Не забыть прихватить вино. В лопухах.

Калитка даже не скрипнула — приглашала! Старый Алабин прошел, прокрался меж кустов смородины и вынырнул из зелени уже близко к веранде. И там тоже не скрипнуло...

О том, чтобы отложить визит, не могло быть и речи... Он так долго ждал! Петр Петрович потрогал под рубашкой ком ваты. (Рану кой-как он заткнул и закрепил пластырем.) Нормально!.. Он еще и хмыкал: случай ему на пользу! Женщины жалостливы. Как-никак пуля... Ничто так не продвигает нас, как легкое ранение!.. На любой войне.

И уже в их спальне старикан думал: *когда еще будет такая ночь и такой счастливый случай!*.. Алабин тихонько сел в ногах спящей. Какое-то время он решался.

Но оказалось, Аня его, крадущегося в темноте, видела... Не спала.

— Прощу вас уйти, — негромко сказала она вдруг. Она сидела в постели.

Присевший на краешке, у самых ног Ани, старикан стал оправдываться: он не может без нее. Жить не может. Думать ни о чем не может... И ни о ком.

— Неправда... Сами в тот раз сказали про ошибку. Вы шли в другую дачу, а попали к нам.

Алабин только кашлянул.

— Вы же шли к другой женщине.

— Но в этот раз я шел к вам... К тебе.

Она засмеялась:

— Что? Не хватило одного раза?

Это было грубо. Совсем не ее слова. И к тому же в полной тьме... Грубость попадает очень точно, в самолюбие.

— На этот раз я ведь просто... Я принес вина.

— Не люблю.

Ну хоть бы разговор, хоть бы ничтожный контакт ему в помощь!.. Старика било волнение. Луна... Луна в окне — где она?

— А почему ты не спала. Боялась?

— Боялась.

— Чего? Что я приду, как в тот раз?

— Да.

— Разве было плохо в тот раз?

Она нарочито засмеялась:

— Плохо, неплохо — какая разница!

Ее смех сводил с ума. Негромкий и во тьме...

— Уходите.

— Аня... — Алабин коснулся через легкое одеялко ее ног.

Она тотчас ударила по руке.

— Бросьте! У меня было время подумать... Вы хитрый. Вы и в тот раз высмотрели, что мой муж уехал.

— Как это я высмотрел?

— Как? — да через забор!.. И вы знали, что он вернется под утро. И до его возвращения залезли ко мне в постель. Мол, сонная девчонка даже не разберет, кто ее трахает!

Нарочито грубое слово опять все испортило. Старикан скис. Продолжать о любви было нелепо.

— Вам не идет браниться, Аня.

— Плевать!.. Убирайтесь.

Алабин встал.

А она молчала. Строгая. Вся как натянутая струна.

Опять на «вы»... Все потерял. Он ведь уже уходил. Он почти ушел.

Он уже уходил. Почти ушел... Но услышал боль в плече.

Придурок вклеил в плечо пулей. Выстрелил прямо из окна. Из ружья... Да, да, у нас в поселке есть такой! (Он быстро-быстро рассказывал Ане...) Ни за что ни про что пуля. Дожили!.. Этот придурок готов стрелять в каждого проходящего мимо забора.

Аня тему не поддержала.

— Уйдите.

Но Алабин продолжал — он же знает... Он же, мол, знает, что Аня — женщина чуткая. Такая женщина не может не быть чуткой. Не откажется его перевязать. Не вытолкнет вон. Да, да, он залепил себе плечо, но наспех... Пластырем... А потом они просто выпьют по глотку вина. Как друзья. И он уйдет.

Аня покачала головой: нет...

Но теперь Алабин настаивал — куда же он отправится среди ночи за помощью? Машины у него нет... Он старик. Он старый. Единственное, что он сам сейчас может, — это глотать вино, чтобы до утра поддержать силы. Кровь-то кап-кап. Сочится!.. Ранили, хоть и неглубоко. В это плечо. Вы ведь слышали — стреляли?

— Слышала. Я слышала и ваши шаги.

Она колебалась.

— Ладно, — сказала нерешительно. — Попробуем...

Встала, натянула во тьме свитер. Надела юбку.

— Спасибо, Аня. Но я... Мне, право, совестно... просить вас. Но ведь я не знал, как быть... Так неожиданно и нелепо он в меня выстрелил!

Она зажгла ночник. Увидела рану. Помогла снять рубашку.

— Я не умею перевязывать.

— Я подскажу.

Она достала початый бинт.

— Надо бы еще один, — попросил Алабин.

Он видел, что рана невелика. Пуля, содрав изрядно кожу, лишь на исходе рванула мясо. Лечить долго не придется... пройдет!

Аня достала второй бинт.

Перевязали. Алабин подсказывал, она бинтовала. Он помогал ей здоровой рукой. Ничто так не сближает мужчину и женщину, как слегка пролитая кровь.

— Теперь выпить.

Он нашел на столе тонкостенный стакан. Пробка бутылочная была им заранее стронута с места (чтоб обойтись без штопора). Алабин пил по полстакана. Раз и другой... А Аня сидела напротив.

Слегка хмелея, старикан стал тихонько напевать, какая-то мелодийка: тра-ля-ля... тра-ля-ля.

Он протянул ей ее полстакана: теперь ты.

— Я выпью, но вы сразу уйдете.

— Да.

Потом они сидели короткое время молча.

— Луна высокая. Вам надо на улице быть осторожнее, — сказала она.

Только теперь Алабин заметил, что в спальне посветлело.

— Луна — моя подружка.

Он начал было наливать ей вторые полстакана, но она отвела его руку.

— Аня.

— Нет.

Она (молодая и начеку! как в телефильме!) решительно взяла бутылку в руку и пошла к распахнутому окну:

— Допьете сами?.. Или — я все выливаю.

Старикан спохватился:

— Допью, допью!.. Заберу с собой.

Он уходил с бутылкой, прихватив ее болевшей рукой, а Аня, вся серьезная, проводя до дверей, как-то очень ловко удерживала дистанцию. От него. От его здоровой руки. На расстоянии... Не дала и слегка себя обнять.

— До свиданья, Аня.

А она (и здесь чуткая) не ответила. *Свиданье* — значащее слово.

Той, первой ночью он и взял ее только потому, что тихо-тихо пристроился к спящей. Просто лежал. Потому что тоже чуткий. И только после развернул ее к себе. Чтоб лицом к лицу. Чтоб честно.

Луна еще и еще набирала высоты. Старый Алабин, выпровоженный и тихий, вышел на пустынную дорогу... Шел, прижимая раненую руку. Ни души. Ни даже собачонки.

Он шел в совершеннейшей пустоте ночного поселка. *Любовь как гигантский ночной космос*, — думал старик, а мы все — как небесные тела. Мы все в ней, мы в любви, но — слишком разобщены, разделены. Мы только и умеем сталкиваться.

Мы как дурные звезды, — рассуждал старый Алабин, выбираясь из неожиданных кустов (эк куда забрел!) и ища за верхушками деревьев луну. Мы подвешены в пустоте. Мы живем и подпитываемся любовью... Дышим ею... Мы еще и поплеываем в эту струящуюся вокруг нас беспредельную любовь.

Задумавшийся о мироздании старик (уже возле своей хибарки) наступил на спящую собаку, и тотчас среди ночи, среди этого гигантского космоса любви раздался мелкий визгливый лай.

— Ну-ну, — сказал Алабин, протягивая к ней здоровую руку, чтоб погладить.

С собаками все проще.

Старик не мог уснуть. Рука побаливала... Да и волнение ночного свидания никак не унималось. Сердце нет-нет частило. Да и член (если уж честно) нет-нет и стоял... Экая напасть!.. Старик слишком помнил прикосновение к ее руке. (Когда передавал Ане каплю вина.) Это чувственное прикосновение — одно-единственное — оно осталось с ним. Оно и было сейчас его любовью. Старик хотел любви.

Он допил последнее вино и наконец перестал тарашиться в лунное окошко.

Рука болела. В свое время, в молодости, он знал ножевое ранение... В ночной драке. Давно... Пулевая рана жгла иначе. Не столько мясо болело, сколько обожженная кожа. Особенно натягивалась при вдохе-выдохе. Кожу словно бы скребли.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Проснувшись, потрогал рану. Повязка хороша, крепка... Кто там еще?.. Ну да, эта Михеевна. Старуха (незванная, опять здесь?!) прибирала на его крохотной веранде и под окнами во дворе... С ведьминой метлой в костлявых руках! Чего ей здесь надо?

Вчерашняя мысль, что старуха, эта Карга Михеевна, и есть сама ходячая Смерть (метафизический знак, подсунутый ему в человеческом облике) —

мыслишка эта Петра Петровича уже не слишком веселила. А даже ввергла его в легкую злобу. *Склероз... Она за многими делами попросту боится забыть* — вот острое той забавной (вчера еще забавной) мысли.

Именно! У старушки Смерти за долгое-долгое время тоже приспел свой собственный, уже почтенный, уже трехтысячелетний склероз. Забывчива стала! Боится, сука, ненароком человека живым здесь забыть. Хорошего человека в особенности! Потому и топчется поближе и рядом. Потому, мол, и шастает туда-обратно.

— Ты сгинешь отсюда когда-нибудь! — заорал Петр Петрович.

Она заверещала:

— А-а... Голубок... Дай приберу. Чего ж ты такой!

— А ты чего здесь? Как ни гляну, пыль туда-сюда гоняешь.

Чтобы полная в словах ясность, Петр Петрович даже вышел на крыльцо:

— Не надо мне этого, старая.

— Да ты чё?

— Проваливай!

Старуха хехекнула и вдруг стала оправдываться — еще и кривляясь:

— Ясно, я-аасна-а... А у меня, милок, и других дач полно. Просят даже люди!

Вездесущая Михеевна и правда трудилась на многих дачах. И что старуху беспрерывно там и здесь об этом просили — тоже факт.

— А я-то решила — вот уж приберу-усь! Вот уж кому по-приятельски помогу-у... — пела эта сучара.

И знай заметала метлой... Мусор, палый лист, бумажки. Не отрывая взгляда от ее хватких рук, Петр Петрович вновь чертыхнулся — как хорошо и как уверенно она заметала! Вот так же она *заметала бы жизни*.

Ранили в руку, а слабина в ногах. Не воспалилось ли?.. И сонлив он стал... Или из-за дурацкой ранки он не пойдет к Ане нынешним вечером? В дрожь бросило!.. Неужели? Как это он, старый шиз, не пойдет, если ночь и высокая луна?

Он решил, что полежит еще минуту-две, а там встанет и заварит покрепче чай... Но он словно провалился. Он спал полдня, не меньше. А то и полный день.

Когда Петр Петрович открыл глаза, Михеевна опять была здесь. Шарк-шарк! — старая карга теперь подметала и прибирала внутри его халабудки. Проникла!.. Уже!

Небось думала, что ее присутствие и ее старание наведут старого мудака на известную мысль о добрых женских руках. Об уюте... О поданной в постель чашке чая... Но Петра Петровича, как только он видел ее суровые мослы и кости, одолевали совсем иные ассоциации.

— Бабуля — по домам! Быстро! — рассердился Петр Петрович.

Она заскрипела:

— Ты чё? Ты чё?

— А ничё!

Ему хотелось встать и дать ей пинка. Чтоб побыстрее... Ишь пыль подняла!

Должно быть, вынюхивала себе сожителя. (Местная. Но что-то он ее дачки не помнил...) Зачем им, женщинам, на старости лет занюханый старикашка — вечный вопрос. Безответный вопрос. Никогда Петр Петрович не мог их понять... Зачем обстирывать чужого старого засранца?

— У меня рана. На плече... А ты опять пылишь?

Она хмыкнула:

— Ра-аана... А нечего шляться по ночам.

Старуха впаривала ему, что по осени могут грабить пустые дачи. Кто ж, мол, не знает! Вот почему по ночам кой-кто за ружье хватается... А вот не ходи ночами близко к чужому штaketнику!

— Бабуля. Катись-ка вместе со своей мудростью... Катись отсюда.

Кропила поднявшуюся пыль водой. Балда! Это надо было делать до подметания — а не после.

— Меня, милоч, зовут Аннета.

— Карга тебя зовут.

— А вот по паспорту Аннета Михеевна.

— Все равно катись.

Она кряхтела в углу. Продолжала там с чем-то возиться. Ничуть не обиделась. (Старики лаются... Это ж обычно.)

Взяла какую-то книжонку, обнюхала зачем-то и держала ее в руке ближе к свету окна.

— Это что?.. Читаешь, что ль? — спросила.

— Не.

— А зачем же.

Алабин огрызнулся:

— Блох бить.

Она засмеялась:

— Серди-итый!

Рана тупо заныла. Петр Петрович уже весь дымился от злости и бессилия... И снова впал в дрему.

Старуха бормотала, как пела:

— Вот же болен... Подранен. Вот я и пришла... Картошки тебе сварить... Постирать рубашку, плохо ли?.. А ты лежи, лови свою радость. Читай чего-ничего...

Алабин перебил:

— Ты, старая, вроде с той стороны станции?

— С той, с той!

— Но ты наша — поселковская?

— Ну, ясно.

— Вечерами не приходи... Я тебя, старая, за смерть было принял! Страшна больно!

Она еще сильнее заработала веником. Обиделась.

К середине дня ему полегчало... Петр Петрович встал с постели вполне бодр, а выйдя на свет божий, тотчас поспешил к Аниной даче. Увидеть, как шеvelyнется в ее окне занавеска... Хотя бы.

Значит, не уехали. Вид дачи жилой... И тут же Петр Петрович отметил важную динамику на поле боя — увидел уже готовую к выезду «шестерку» ее мужа. Углядел! Пока что машина на участке... Но было понятно! Еще бы! Молодой ходок, переночевав с женошкой, рвался теперь отбыть в один из прекраснейших городов мира — в Москву.

Жизнь продолжалась.

— Аня-я-ааа! — негромко окликнул Петр Петрович. Если выглянет, спросить про скорый (или нет?) отъезд.

Никто не выглянул.

Но он увидел ее в их саду. Со стороны крыжовника.

— Аня! — позвал через забор.

Она оглянулась. Сделав было машинальные полшага в его сторону, тут же остановилась. Лицо строго.

— Аня... Я ведь один... Старику надо бы помочь... Надо бы еще разок перевязаться.

Лицо спокойно.

— Я занята.

— Понимаю. Само собой... Я к тому и говорю: что, если я приду позже.

Она вспыхнула лицом:

— Но не ночью.

— Но все-таки поближе к ночи, Аня... Как раз начинает болеть. Зудит. И крутит, крутит!

Старикан не знал, что еще сказать. Он шагнул к их забору... подошел ближе, еще ближе — вы, Аня, только гляньте!.. Пальцами он уже подлез под рубашку, под бинт и рванул.

Мысль верная — прошлую рану показать как сегодняшнюю. Вот только спешка ни к чему. Больно!.. Но уж зато видок получился что надо. Кровь прыснула первой струйкой... Затем закапала.

— Да как же вы грубо! — вскрикнула Аня.

Появился ее муж Антон.

— Что такое?.. Опять этот нелепый дед!

Но и муженек тоже увидел жалостливую картинку. Старый человек с забинтованным плечом. Сквозь бинт кровь капала в траву... Прямо с плеча. Капля за каплей.

Старик заново заткнул рану. Задернул плечо рубашкой и пошел прочь. Он все сказал Ане. Дал понять. (И он не хотел бы сейчас никакой другой развязки разговора.)

И... это ли не чудо?.. Аня вроде бы сделала ему глазами знак: *да... да...* Не знак, конечно, свидания — но знак жалости к чокнутому старику. Она, мол, ничего не обещает, но перевязать перевяжет. Жалость и есть земное чудо.

Старика нагнал муж. Он сунул Петру Петровичу едва початую бутылку. Водка... Неплохая... Грамм четыреста.

— Держи, дед. Аня рассказала про твою рану... Держи, держи. Мне уже не пить. Мне руль крутить.

— А после?

— Не надо.

— От сердца отрываете?

— Я попозже свое возьму, — засмеялся красивый Анин муж.

Этот знал, что говорил. Мгновенно небось представил себе город Москву... Поток машин... И своего пылающего бабца. К ней он рванет ночью.

Там-то он выпьет.

Так что Петр Петрович не спеша потащился к электричке. Рана приохнет. До вечера далеко.

Через пару остановок старик сошел в райцентре, где кипела трудовая жизнь и где он определил свой пиджак в ателье — в срочную починку. Взяли!.. Известный плюс огнестрельного оружия — оно во всем старается быть неприметным. Пуля мелка. (И ранка тоже.) И латка на пиджаке после починки вышла совсем крохотна. Не присмотришься в упор — не заметишь.

Хуже с рубашкой. В почин не брали, выношенная! — даже мышшиной этой дырочки хватило, чтоб ткань поползла!.. Плюс сколько-то Петр Петрович и сам ее порвал, когда зажимал плечо, унимая кровь.

Еще и настаивал там Петр Петрович: «Но можно же с этой рубашкой что-то сделать?» — «Можно». — «Что?» — «Выбросить ее. И купить новую», — улыбались!

Иглой и ниткой, вот что можно. Вернувшись домой, старый Алабин сгорбился над рубашкой всерьез: латал. Как вдовица — стежок за стежком... Очки сваливались, тоже старые, мать их!

Зато покончив с делом, пошел разведать в приподнятом настроении. Аня там... Она сжигала газеты в дворовой печурке, что стояла от дачи, как водится, отдаленно... Но тем самым близко к забору, где он шел.

И ведь Петр Петрович просто шел мимо... Среди бела дня. И тихо вокруг... Он ведь и слова еще не сказал — а она, едва завидев его, уже в слезы.

— Да что же это?! Да оставьте же меня в покое! — вскрикивала Аня, глядя сквозь забор на старика с каким-то пещерным ужасом. Глаза ее были огромны. Губы тряслись.

Петр Петрович оглянулся. Близко никого. Только по дороге какой-то человек...

— Ухожу! Ухожу!

Но она уже рыдала.

— Аня! Аня!.. — Петр Петрович повысил голос. — Ухожу! Уже ушел! Ушел!.. Я ушел!

Он и правда ушел. Шел прямо по дороге... И оглядывался. Ее рыдания с расстояния не слышались. Но плечи ее, он видел, сотрясались.

Среди ночи он сидел на кровати, зажимая рану... Постанывал. Однако и постанывая, старикан думал о высокой луне — этот желтый барабан вот-вот позовет... Неудержимо! Пятно заката уже с вечера обещало великолепное торжественное ночное небо.

Слегка бредить — это приятно. Ему виделась сладкая нелепица: вдруг Аня придет сама. А почему нет?.. Ему как бы сверху (с небес) нашептывали, что поиск поиском и инстинкт инстинктом, но однажды его труды и страдания кончатся сами собой — получи награду! И это ж какая изысканная халява... Никаких мучений... Женщина в ночь придет сама.

Он все же вздремнул. Коротко, по-стариковски поспал еще пять, ну, десять минут.

Встал тихо-тихо: пора!.. Луна уже ждала.

Он вышел в ночь, оглядывая огромное звездное небо, как нечто новое. «Я похож на спятившего», — думал Петр Петрович, наращивая шаг.

И так легко, так зазывно поддавалась их калитка. Поначалу он просто прошел садом. Лунного света здесь было немного, но главную примету Петр Петрович тотчас разглядел и в полутьме: *машина*... Машина в гараже! Муж Антон уже вернулся. Уже дома... Запах живой смазки остро шел через гаражные щели.

Промах, это ясно!.. Но гипотетического присутствия мужа (через присутствие машины) старикану все-таки показалось мало — он хотел убедиться вживую. Ах, дурак!

Он еще и подошел, подобрался совсем близко. Меж двух кустов к их окну... Через окно и услышал... Ласки... Слезы... Слезы обоих! Ее Антон тоже прослезился. Удивительно!.. Наконец-то муженек баловал свою женушку.

Старику стало больно. Хотя поначалу он усмехнулся. Да, да, он хмыкнул... А затем его остро кольнуло. Внезапно! Он только и понял, что в голове, в правом виске.

В глазах потемнело — Алабин еле стоял на ногах.

Кое-как старикан выбрался из чужого сада, вернулся к себе. Шатаясь и кряхтя при каждом шаге... Дома выпил водки... Но было мало, мало!

Старикан словно обезумел. Выскочив на крыльцо, старик там дергал, рвал бинт.

— На тебе! — приговаривал старик. — Вот тебе!.. А вот тебе еще!..

Рвал рану. Вскрикивал... Старик был вне себя.

— На тебе!.. Еще!.. Еще! — повторял. Ему мелькнуло, что дерганьем раны здесь он невольно имитирует их акт там.

— На тебе! — Он совсем озлился.

Он не мог понять, лежал ли он на полу... Или на траве?.. Нет, все-таки на траве. А уж после перебрался.

Ему казалось, что он сорвал бинт при Ане... при них обоих... в расчете опять же на жалость... или иной какой-то смысл? Запоздало, нелепо терзал себя старикан.

Сидел на земле, прямо в траве и стонал:

— М-м... Идиот!.. М-м.

Ему стало совсем плохо. Голова кругом... И тогда старый Алабин на четвереньках двинулся наконец к крыльцу. Взобрался... И уже дома, переступая коленками и руками — к кровати.

Сколько-то спал. Сколько-то стонал... А потом услышал сквозь ночь и сквозь собственные стоны шорох... Шаги.

Какое-то время он во тьме ничего не видел. Лежал по-тихому. Но вот постепенно взгляделся и охнул... Старуха Михеевна нависала прямо над ним. И что-то талдычила, талдычила!

Когда утром очнулся, она была рядом. И активно суежилась — она, мол, Петром Петровичем нынче очень озабочена... волнуется... не укрыть ли его потеплей?

Он оттолкнул ее:

— Уйди.

И сразу же она ощерилась:

— Что ж такой недобрый? Все молодых ждешь, козлице... Сам-то воююч.

— Прежде всего — отодвинься.

— Это почему же?.. Это почему ты не хочешь поговорить по душам? Мне даже странно!

У нее называлось *поговорить по душам*. Петр Петрович окончательно проснулся и всплыл:

— Что тебе странно! Что тут странного, старая кошелка?.. Человек так устроен, что хочет себе лучшего... Человек выбирает!

— Ишь! — Михеевна фыркнула: уже, мол, одной ногой в гробу, а вот выбирает!

— Да хоть бы и всеми четырьмя! — выдал ей Петр Петрович. — Хоть бы и всеми четырьмя в гробу... Человек так устроен!

— Это шиз так устроен... Все про тебя и говорят: чистый шиз!

Алабин был еще плох, болен, но продолжал с ней пререкаться:

— Убирайся, старая.

— Шиз.

Упрямство старого мудака ее раздражало. Она ему слово — а он, мол, ей два!

— Нет чтоб помолчать мужику да с женщиной посоглашаться, — вдруг зашептала ему она. — Помолчи... А еще лучше, ты покайся! Да, да, повинись, что шлялся ночами... что на пулю нарвался, когда войны нет... что бродил под луной шиз шизом!

Она подседа ближе.

— Ты мне, мне! — жарко повторяла она ему в самое ухо. — Мне, старой и заботливой, повинись!

Он не выдержал:

— Пшла вон!

Но едва он ее оттолкнул, она ударила его по лицу. Раз. Другой... Петр Петрович среагировал не сразу. (Он даже подумал, что эти штучки знает! Знакомая бабья технология...) Бьет, чтобы после пожалеть его и приласкать... Чтобы после подметать в его углах.

Однако следующий ее удар оказался нестерпим — в переносицу... За тем вдруг в глаз!

Чудовищная старуха в злобе била его. Чего ей надо?.. Собравшись (и расслабив больное плечо), он двинул локтем под самое ей дыхание — в диафрагму... Охнула. Зашипела... Но, прежде чем отвалить в сторону, нашла-таки в старом Алабине самое больное.

Залезла ему в рану двумя пальцами. И так дернула на себя, что старикан потерял сознание.

Ночь была как темный провал.

Вкрадчивый старушечий шепот... И шорохи. Михеевна мела веником. Петра Петровича уже не удивило. Вот только руки ее. На фоне серенького

окна старая карга подметала словно бы на ощупь... И словно бы плыла по воде, подгребая костлявыми руками.

— Что?.. Что гримасничаешь? — спросила старуха.

— Болит.

Подобралась к лежащему в постели Петру Петровичу совсем близко. Опять же как бы с заботой.

— Чего тебе? — спросил он.

Оказывается, она пришла сказать, что Аня и ее муж уезжают-таки на юг. Уже завтра. После обеда, в четыре — в пять уедут... Мол, обещала Петра Петровича предупредить и слово держит.

— Ладно, ладно! Шустра задним числом! — прикрикнул Петр Петрович. Он и без нее знал про юг. — А в каком часу, мне без разницы!

— Как — без разницы?.. А поглядишь им вслед! — ядовито ухмылялась старуха.

Она никак не уходила. Она, мол, и прибраться здесь может. *Ежели, конечно, надо...*

Петр Петрович потрогал больное плечо. Сказал:

— Ладно, старая, угомонись. Не цицеронь. Не трещи... Или ты сюда погреться пришла?

— Хочешь — везде уберу. А хочешь — как гостя! — живо откликнулась она. Она, мол, и беседовать может. Не только же пол мести!

Петр Петрович устало прикрыл глаза.

— Грейся пока что.

Но тут же махнул рукой, слыша ее спешно приближающиеся шаги:

— Нет-нет. На расстоянии... Пшла вон, старая. В угол. В угол!.. Обрадовалась!

Каким-то новым и тихим (для его слуха) голосом она теперь шепелявила. Ласково так шипела из угла — а что, мол? Ты, мол, старичок ишо крепкий... ишо неплохой.

И думалось, не дурачится ли она? — все эти *ишо... ежели...* как бы нарочито. Как бы в легкую насмешку.

И только-только Петр Петрович сам себе вслух произнес:

— Чай-чаек...

Как тут же:

— Да! Да!.. А разве ж мы без чая! А как же это возможно, поутру без чая? — мигом подхватила Михеевна, опять же весело и глумливо прихмыкнув.

Петр Петрович с трудом выбрался из постели. Голова кружилась.

— Давай, давай! Чай-чаек! — веселилась старуха. — Клынула рыбка!

Заваривая чай (активна одна рука, движения замедленные), Петр Петрович со стариковской солидностью рассуждал:

— *Крепкое* нам с тобой, старая, с утра уже не пить... Наш напиток с утра теперь чай... Чай-чаек.

— Верно!

— Мы, старая, по сути — одно.

— Одно говно, — поддакнула она, продолжая веселиться.

За чаем Михеевна бойко рассказывала, что сегодня надо хоронить умершего позавчера электрика, родич Пыжовых — а ей забота!.. А вот не хочет ли... не *схочет* ли и Петр Петрович поучаствовать. Наро-ооду будет! Могилку подберем отменную, крест уже есть хороший... И даже трое певчих...

Ей, сам увидишь, особо поднесут. И стопарик водки, и закусить... Михеевна — главный человек!

— Чем же ты главная?

— А яму рыть?

Или вдруг сбегать за оформлением туда-сюда. Подсуетиться... То да се. Старую, но крепкую Михеевну всегда готовы задействовать. Не только в

поселке. Иногда, бывает, родственники и в Малаховку ее позовут, если кому срочно.

— Что ж мужики не выроют яму? Это ж мужское дело!

Она только махнула рукой — а-а, мол, эти мужики!

А как ей, старухе, дают рыть канавки... И непременно выкосить вокруг траву. Вот изрядная работенка! Она, Аннета Михеевна, по всему поселку теперь косит.

— Кошу-уу!.. И на взгорочках кошу. И свальной ряд ровно веду.

Петр Петрович слушал ее трескотню, с трудом допуская мысль, что старуха целилась к нему в постель... Или он бредил?.. *Хозяюшка*. Бр-ррр...

Сказал, выпроваживая ее:

— Ладно, ладно, старая. Иди трудись!

Оставшись один, Петр Петрович несколько раз хмыкнул. И даже развел руками... Его потрясла старуха.

— С косой... Бля хромая. Надо же!.. Еще и косит.

Аня и муж уехали назавтра после обеда — в пятом часу. Ворота открыли — и ворота заперли. Они отправились в путь, а Петр Петрович, стоя на дороге, смотрел их машине вслед. Что он еще мог!

Пыль осела...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Ему пришлось посторониться с дороги... Как их много! Двумя, тремя машинами. Уезжали дачники, что у Сидоренковых.

Пьяно, шумно кричали они всякий вздор Петру Петровичу. Выставили из машины головы, руки. Таращили глаза!.. Прощались, надо думать, не с ним, а с дачным летом!.. Он даже не разобрал за ревом моторов их дурацких выкриков.

Тишина, что случается в одиночестве на осенней дороге — особая тишина. Ее можно хотеть и ждать... Но пока что тишина для него не получалась. Слева, в Таськиной даче, опять крики... Разборка... Петр Петрович шел мимо, стараясь не повернуть туда головы: все в поселке (и он тоже) знали эти безобразные и шумные Таськины сцены.

— Цветы? На что мне твои цветы! — орала Таська своему сожителю. (Стоя в дверях... Значит, его уже не пустит.)

— Тася...

— Цветы, мудило, настричь в любой даче можно! А поесть? а выпить принес?!

Вопила, как укушенная... А вот нынешний ее сожитель оправдывался и вообще был на удивление тих и покладист. Хотя и с мощными татуировками на обеих руках.

Он только и умолял ее дать ему войти — вернее, вползти на коленках.

— А вот нет тебе и нет, козенок. Не дам! А где принес?.. Чего, чего руками разводишь!

Тот бляял:

— Тася... Тася...

— Вали отсюда! — И Таська толкнула его в его тощие ребра.

Ручищи!.. 25 — 27 лет. Очень сильна, когда толкает. Петр Петрович это тоже хорошо знал. Он все-таки оглянулся.

Уже вытолкала. Запросто!.. Татуированный тихоня сидел на пеньке у самой калитки. И даже не закурил. Курить, видно, в карманах не нашлось... Подпер головушку рукой.

Еще посидит, покукует, бедолага... И потопает назад к электричке.

Пьянчужку Таську Петр Петрович навещал в позапрошлом году, и уже при первых свиданиях она отпугнула его вульгарностью и фантастической непредсказуемостью. И сейчас ее непохмеленные вопли казались ему особенно безобразны... После утраты Ани.

Это все равно как если бы Петру Петровичу прямо здесь, на дороге, попытались всучить выхлопные газы отъезжающего грузовика взамен синевы неба. Сердце у старика ныло не переставая. Нет и нет!.. Кто угодно. Только не Таська...

Петр Петрович свернул с дороги к речушке... Лишь бы уйти... Он не хотел людей. Он шел негустым лесом. Натыкался, трогал стволы деревьев... И, переживая утрату Ани, негромко, сам себе мычал:

— М-м-mmm.

В конце концов, он стар. Как-нибудь... Вязь на белой коре березы... Время от времени он задевал веткой больное плечо и бранил сучок:

— Гг-аа-ад!

Он не помнил, как добрался домой... Еле-еле. В постель... Не раздеваясь. И лицом в подушку, чтобы глухо мычать.

И спать, спать.

Холод был под самой рукой у Петра Петровича... Ощущение ползло в его сторону. И такой внятный холодок!

Он уже сообразил, что посапывающее рядом тело — это старуха Михеевна. Как она сюда забралась?.. Надо бы встать... Или просто столкнуть старую, а Петр Петрович все лежал, не в силах даже ругнуться.

Реальность как-то ускользала, уходила в дрему... Старуха меж тем истолковала утреннюю паузу в свою пользу. Костлявой рукой стала его оглаживать, ласкать... «А чё ж, — приборматывала она. — А я ведь женщина. Вот и попробуй ласки... А уж потом вороти нос. А чё ж...» Точно так, как Петр Петрович ощущал холодок ее тела, возмнившая Михеевна могла на контрасте слышать его тепло — и отнести на свой женский счет.

Двинув плечом, Петр Петрович вытолкнул наконец ее из постели.

Но старуха лишь ернически заойкала:

— Чё ж сам-то лежишь?.. Ой-ой-ой. Какой хозяин!.. Давай хоть опять чай... Вместе.

— Чай! Вместе? — негодовал очнувшийся Петр Петрович. — Да ты посмотри на себя! Да я тебя, старая, вчера за смерть принял!

— За сме-еерть?.. Ой-ой-ой.

И как бы случаем она скосила глаза к маленькому зеркалу на его стене.

— Вот-вот!.. Посмотрись, посмотрись в зеркало. — И съязвил: — Тебе бы еще твою косу в руки! Чего не принесла?

Михеевна, в ночной белой рубаше, с распущенными по плечам седыми космами, почесывала руки:

— Да что ж ты все смерть да смерть. А ее уважать тоже надо.

— Неужели?.. Или, может, тоже как труженицу? — Петр Петрович побыстрому одевался.

Как это он заспался, забылся. Старуха в постель забралась!

— Болта-аешь! — скривилась Михеевна. — А если б не смерть, люди бы жили и жили.

— И пусть бы.

— Как это — пусть?! Старели бы!.. Свинели бы, дурели, — и всё бы жили да жили, так?.. До двухсот лет?

— И что?

— А с ума бы сходили! А затмение от склероза!.. Кости бы свои старческие... Как соломинку, а?.. Ломали бы каждый светлый день!

— Ты, старая, что-то не очень ломаешься!

— А я о тебе, о тебе говорю... При каждом шаге ломать свои руки-ноги — и так бы жить?.. Представь, Петрович, — вокруг сплошь калеки. И сколько ж миллион миллионов калек сейчас бы скопилось — людишек хворых и ломких, а?.. Или, может, миллиардов?.. А дальше?

— Что дальше?

— А за миллиардами — что там дальше будет?

Петр Петрович дурацкий счет вести не хотел — он уже оделся.

Зато Михеевна, словно бы дооценив труд смерти и ее гигантскую по всей земле уборочную страду, заключила:

— Людей-то прибирать надо.

— А?

— Людей, говорю, время от времени прибирать. А если б не смерть?.. Да кто ж иначе приберет их, бедных?

Петр Петрович осердился:

— Философствуешь, старая карга.

Привыкла хоронить людишек... Великая уборщица! А мы ничто. Мы все для нее — только пыль, мусор!

Старуха, наконец, тоже была одета, и Петр Петрович решительно изгнал ее. Это было проще, чем объясняться... Подгоняя пинками.

— Давай, давай, труженица!

Не до бесед...

Он открыл окна, чтобы и дух ее выветрить.

К ночи старикан уже вскрикивал!.. Вспоминал Аню... Ее тихую постель. (И тот первый лунный приход к ней. С ошеломляющей удачей.) Луна и сейчас его звала. Вот ведь ласковая!.. Не раздумывай, мол!

Но мучила головная боль.

— М-мать ее! — поскрипывал Петр Петрович зубами. И приговаривал самому себе: — Сейчас дашь дуба, старый дурак!

И заставлял себя:

— Иди, иди к столу... Прими полтаблетки. Давление не шуточки. Или целиком всю таблетку... Не вскрывать же вену, *струйкой в блюдце!*

Затылок ломило знакомой свирепой болью.

Проглотив полтаблетки, Петр Петрович вышел в ночь. И очень скоро ноги привели его все туда же — к Ане. На автопилоте. К пустой даче... Там он и остановился, возле их запертой калитки — с полупудовым (знак отъезда), амбарным замком.

Стоял под луной. Словно бы отыскав родное место... Времени у старого Алабина было теперь много. Хоть вечность... А зудящее сердце ему не нужно екало — *пора?.. пора?*

Петр Петрович огляделся: вокруг никого... На ночной дороге тоже пусто и тихо.

Он всматривался в штакетины, *пробуя глазом*... Была, была здесь (со стороны проулка) одна такая!.. Найдя подвижную штакетину, легко ее откочнул и просунулся внутрь худым телом. И он уже в саду.

Заперт дом. Руки его дрожали... Скрепку в кармане Петр Петрович отыскал, но верандную дверь открыл еле-еле. (Так ослабел?..)

Внутри совсем тихо, пустовато... Прибрано. Но здесь все дышало Аней. Все *болело* Аней... Петр Петрович искал перевязочные дела... Он стучался о чужие углы. Спотыкался.

Спирт (обработать края раны) убран в шкаф. Вот он... Бинтов не видно... Но Петр Петрович нашел их. (Недалеко убрали...) Перевязался он сам. Не так уж оно сложно. Одной рукой наматывал, а свободный кончик бинта удерживал зубами.

Перевязавшись, Петр Петрович приободрился. Стягивание раны... Свежесть бинта... Это его врачевала Анина тень. Несомненно! Не уехала ее тень ни на какой юг. Тень ради него осталась здесь — в дачных стенах.

Но так уж бывает, что у мучающихся мужчин благодарность одной женщине (ее тени) как раз и торопит их к другой. Старый Алабин ни на миг не забыл Аню. Он мог бы поклясться! (Он лишь чуть задернул, заштопил ее в памяти.)

В сущности, сама калитка поманила его к себе. Залитая лунным светом... Верочка Цаплина, с ней Петр Петрович как-то поболтал в середине лета. И еще в магазине они как-то поговорили. Дважды!.. Она так понятно (понятливо) ему улыбалась!.. Конечно, среди ночи Верочка может удивиться. В три ночи... Она может сильно удивиться. Но... Но если войти тихо... К спящей... Женщины иногда так неожиданны в желаниях! Так противоречивы.

Однако уже на подходе, на веранде, едва слышав его шаги, кто-то в темноте пискнул. Словно бы там мышка в страхе... Щелкнул выключатель... На верандном диванчике, кутаясь в платок, сидела-сторожила старушонка. А-а, Васильевна... Совсем стала дряхлая!

Включив свет и ночного гостя узнав, старенькая Васильевна больше не пугалась.

— Голубчик, голубчик!.. Съехали... Все съехали. Или позвонить пришел?

Ну да! Дряхлее старухи и не найти... И сразу же Петр Петрович вспомнил. Здесь летом снимала Верочка. Здесь позванивал телефон. Редкость в поселке.

Алабин и не спрашивал больше ни о чем — а старенькая Васильевна ему объясняла:

— Отключили, голубчик. Телефон отключили... Всё отключили... И воду...

И еще долго слышалось Петру Петровичу ее монотонное бормотанье. Уже за калиткой... Уже на дороге... *Жизнь отключили... Голубчик... Голубчик...*

Дорога пустынна. Ночь. Луна... А в этой богатой даче жила год назад красавица Нина Покровская.

Свет теплился внизу — в единственном оконце. Но и там Петр Петрович взамен лица Нины углядел очередную бабульку, сидящую и увлеченно вяжущую трехсотый носок. Не поднимая глаз... Подсчет петель...

Все же и здесь Петр Петрович на миг замер. Приостановился.

Глуховата!.. Петр Петрович лишь подергал калитку. Он мог бы шуметь, звать. Он мог бы крушить ломом их красивый забор. Бабулька все равно не услышит. Сидела, старая, и вязала... Совсем одуванчик.

Не забыл он Аню... Но он нуждался, остро нуждался сейчас в ее замене. Притом в ласковой, в доброй, в участливой замене... Сердце старика терзалось. «Это рана играет. Это боль в плече бросает меня туда-сюда», — оправдывался Петр Петрович. В ночной тьме он пробирался теперь к Лиде Замытиной... Лучший, как ему думалось, его шанс.

Простоватая Лида — то, что надо. Совсем недавно Петр Петрович помог ей. Поднес чемодан от станции до самых дверей. Простая, без фокусов и капризов, она напоила чаем... Должна бы его вспомнить!

Калитка позади... Веранда... Скрип тих.

И сон ее тих...

Возможно, к тому же, что она ждет. Женщина всегда кого-то ждет.

В полушаге от постели Петр Петрович осторожно тронул Лиду рукой. (Не испугать...) Лида в ночной льняной рубашке, чуть жестковатой. Петр Петрович потрогал ее грудь. (Не тискать...) Ласкающими движениями он побуждал будущую подружку к любви — к любви сквозь сон. К той тихой любви в полусне, которую как раз среди ночи женщины зачастую предпочитают.

Но чуткая рука вдруг отдернулась... Петр Петрович от неожиданности сам и вскрикнул:

— Кто здесь?

Она (Лида?..) не отвечала.

Петр Петрович быстро-быстро рукой поискал рядом лампу... Включил.

Спящая лет семидесяти. Если не старше!.. Онемела от страха?.. Нет, нет, старуха честно спала. Щуря глаза, она мучительно теперь кривилась...

И даже сделала злое на него движение — замахнулась сонной рукой: выключи... выключи свет, мудаки!.. *Ослепла!.. Кто это?*

Ругнувшись и не отвечая, Петр Петрович метнулся к выходу. (А уж хотел было раздеваться... Обрадовался!)

Был в дверях. Но и старуха, очнувшись уже вполне, вскочила с постели. Шла за ним, сердито и грозно шипя:

— Пришел! Заявился к людям среди ночи!.. Чё искал?

Он (тоже шепотом):

— Тихо. Тихо, бабка. Ошибся я...

— Оши-иибся! — передразнила она.

Петр Петрович уходил. Но уходил медленно. (Не шуметь, не спешить...)

— Ошибся?.. А это что?

Она держала в руках связку... Его ключи!.. Видно, выпали из кармана, когда Петр Петрович во тьме так отважно (и мечтательно) присел на край ее постели.

— Ну всё! всё! — грубовато сказал он. И тут же ловко выдернул ключи из ее сонных рук. Могла не отдать.

Она взъярилась. Свистящим шепотом угрожала ему вслед:

— А я вот кликну. А я вот скажу людям, куда и как ты пришел... Воруга... Иди, иди. Чай не первый раз-з-зочек!

Нет-нет и он пожимал плечами на пустынной ночной дороге. Или вдруг хмыкал... Растерянно!

Хотя, конечно, Петр Петрович знал эту новацию здешней дачной жизни. Завели моду... Люди как люди... Заманивают к себе на дачу старенькую дальнюю родственницу — и уговаривают: мол, у нас хорошо, у нас здесь оч-чень хорошо. Поживи, бабуля, с нами.

Но зато ни полслова о том, что и как дальше... А дальше — глядь, и эти люди как люди поразъехались. Оставив бабулю *на несезон* вместо бесплатного сторожа.

И даже не из расчета!.. Старух здесь стали попросту забывать. Как забывали поднадоевшую мебель. Как забывали (в старину) одряхлевших лакеев. Впрочем, оставленная сторожить старушонка еще и выгодна. Ест-пьет не бог весть... Проживет!

И весь этот золотой старушечий запас, надо думать, оставался теперь ему, Петру Петровичу. Смех!.. Через каждые пять-шесть пустых дач тусклый огонек. То справа, то слева — и там из оконной тьмы высвечивалась седенькая головка. Десятка два белых головок на весь дачный поселок. Дары осени.

А надо бы ему, Петру Петровичу, ему, старому мудиле, еще и поблагодарить. *За всё про всё*. Еще и поклон надо бы ничего не забывающей природе! Даже и за то, что старушечки прихрапывают и припахивают, тем самым себя оберегая. Ведь подбирался же он к спящей на диванчике Васильевне... Ладно еще, что свет на веранде включается. Или что луна вдруг высоко подсветит. С разбегу-то. Сгоряча... Мог и оттрахать божью старушку. То-то бы в радость.

И еще мысль: он, мол, приманивал молодых женщин под покровом темной ночи — зато теперь темная ночь (как должок и отдача) сама дурила его, подсовывая (подтасовывая) ему старушек. Мыслишка, конечно, с горечи: Вроде как горькая правда... Но по сути своей... Отыгрыши темной Ночи (или там Времени... или Судьбы...) — все эти слова для тех, кто смирился. Кто лег на дно. Утешающая нас неправда.

Очередной грозный страж дремал на сундуке у входа. Тоже седенькая. Тоже милая... Под слабой экономной лампой. Не захотев будить, Петр Петрович по-тихому развернулся уйти.

Но старушонка проснулась. Ничуть не оробев, она тотчас заученно затараторила:

— А продали... Уже вовсе продали дачу. Тогда ж и сразу продали... Или ты, мил человек, не знал?

И смолкла. Спутала с кем-то.

Зевнув ртом ровно с одним там зубиком, пояснила:

— Хозяевá велели... Хозяевá просили присмотреть ночами: присмотри — да еще обязательно у самого входа ночуй! Вот ведь как... А может, ты про водку?.. Иль не про водку?

Она все извинялась... Из какой-то бедной мордовской деревни ее сюда выписали.

— Видала, видала водку! Не знала, что твоя. Была уже открытая — верно говорю! Я малость ее пригубила, неплоха водочка! Не осердишься?

— Ладно, старая. Неси что осталось.

Старушонка, ковыляя, ушла в комнаты и вынесла чью-то бутылку. Опять же едва-едва початую... Везло ему на водку этой осенью! Народ, разъезжаясь, приказывал *долго пить*.

— Неси стаканчик, плесну немного.

— Да я больше не хочу. Я как птичка.

— Неси, неси!

Петр Петрович налил ей ее каплю. Она отказалась, и тогда Алабин сам этот *чуток* выпил — для бодрости. И для раны.

Ошибся дачей... Совсем уж никуда не годилось. Полусонные старухи притупили чувственность, а с ней инстинкт. Так и получилось, что Петр Петрович в своей ночной тоске заспешил к тому самому входу — шел и шел навстречу подонку. Он напрочь не помнил, что тот уже вlepил ему пулю в плечо. Не помнил, что рана... Он просто вошел в *знакомую* калитку.

Ночь стояла тишайшая, и негромкий оклик тоже стал легко нарисованным звуком — вписанным в тишь.

— Эй.

Только тут Петр Петрович сообразил, что сейчас Лушак с карабином в руках опять в него целит.

— Эй.

— Свои, — откликнулся Петр Петрович, и уже через секунду по-тихому развернулся.

Он откликнулся, чтобы тот не стал сразу стрелять. Чтобы ждал и продолжал целиться.

— А-а, это ты, Петр Петрович!.. Проходи.

Тот, и правда, ждал. Он хотел, чтобы старый Алабин подошел поближе. Он считал Петра Петровича придурком — как и Петр Петрович его.

Очередная старушонка — в профиль. Каролина Людвиговна. Из тьмы окошка. Выставила клюв.

Но и капли лунного света хватило, чтобы угадать ее лицо с характерно выдвинутой челюстью. Еще одна ночная карга... Эта даже не шевельнулась.

Алабин вошел спросить.

— Съехали... Съехали вчера, — повторяла старушонка еле слышно. И еще проводила Петра Петровича (не упал бы — одна, мол, ступенька на выходе совсем плоха!) до самых дверей.

На прощанье (тишайший сторож) все ему шептала... Шелестела:

— Собачку-то не бойсь... Она у нас добрая... Не покушает!

Подаренная бутылка вдруг стала тяжелить карман. Дармовая водка и напомнила ему о Таське: вот! вот кто!..

В глазах у Петра Петровича взорвалось белым светом. К чертям старух! Пусть спят!.. Старый Алабин, с неожиданной идеей, застыл прямо посре-

ди дороги... Под луной на заборе дрались галки. Он не отрывал от прыгающих птиц возбужденного взгляда... С ума сойти! Таська...

Казалось, лунный свет хлещет из его собственных глаз. Не зря, не зря увидел он тогда эту грудастую пьянчужку!.. С татуированным тихоней!.. С которым она, ясное дело, уже разобралась. Выгнала взащей.

Конечно, с пьянчужкой проблемы. И какая шумная! (И сколько-то Петру Петровичу сейчас стыдно, тоже правда...) Зато верняк.

Зато и на миг не вспомнит он *о костлявой*, о той, *что с косою в руках*, когда будет поглаживать голую Таську... Молодую, подрюченную, языкастую и с удивительной, оплывшей грудью.

Он уже высматривал место... Просвет... В Таськином заборе со стороны леса полно дыр. Собачонка Таськина гавкнула, но признала — Петр Петрович ей присвистнул.

Ищущему луна в подмогу. Круглая. Вечная... Сияла!

— Что скажешь? — усмехнулся ей Петр Петрович, замалчивая Аню и свое столь скорое нравственное падение.

А луна ему:

— А ты — что?

Оба помолчали.

Совестливый старик подавил вздох. При такой же точно луне он когда-то похлопывал, поглаживал (и даже, помнится, щекотал) полную ногу Таськи, ее ляжку, тяжелую грудь. И ни разу (ни единого разу) не явилась ему тогда суровая итоговая мысль, что великолепная эта пьянчужка когда-нибудь поблекнет, увянет — и что *всё это пройдет*...

Одно из окон Таськиной дачи было на ночь открыто. Живой знак! Как выжданная ночная награда. (Вышаганная его старыми ногами! Вымоленная его глазами у десятка других сонных окон...)

И дача не заперта. Ишь как... По осени наша Тася осмелела! Через минуту, заторопившись, Петр Петрович уже был у ее постели.

Как-никак при нем выпивка... Таська любила первые два обжигающие глотка. Петр Петрович обнял ее. Приникая теснее, он болезненно поджимал раненое плечо. Похудела Таська! — успел подумать. И почти тут же острота ее ключиц (у ключицы нежнейшее место) остановила его руку... Неужели?

Алабин отпрянул:

— Кто?

Под рукой было старое тело — он чувствовал!

— Кто тут? — повторил он жестче.

И не слыша ответа, сам знал — кто. Она!.. Она, убить ее мало, и здесь сторожила жильё. Как наваждение... Карга!.. Она охраняла везде. Повсюду!.. Где только ступит его ночная нога!

— Старуха? — то ли сказал он, то ли спросил.

Она в ответ, включив лампу, спокойно ему проскрипела:

— Как в темноте, так еще ничего. А как зажечь свет — уже и старуха!

Петр Петрович молчал.

— Эхе-хе! — Сев на постели, Аннета Михеевна сладко зевнула. — Вот так, голубок. Видно, тебе меня не объехать.

Еще помолчали.

— А Таська, она уже далеко!.. Уже в городе.

Посмеиваясь и не спеша, Михеевна рассказывала — этот татуированный совсем без денег, вот он и учудил: у Таськи же унес ее телевизор... Идиот. Кто в Москве купит телевизор с рук?! Таська — в погоню за ним. На следующей электричке!.. А Михеевну просила, конечно, присмотреть. Потому что этот идиот и ключи ее зачем-то унес. Всё нараспашку!

И заулыбалась:

— А в темноте ты смелый!

Онемевший, Петр Петрович так и не откликнулся.

— Ну что? Хе-хе... Еще разок попытаться не хочешь? Хе-хе, — весело подначивала старая Михеевна. — Или, может, кофейку тебе? Для разбега кофейку сделать?.. Для силы, а?

Мимо дачи проехала машина, стрельнув фарами по окнам. Звук мотора Петра Петровича наконец пробудил — он сразу же к выходу.

— Да не бойсь, не бойсь! Куда ты? — выкрикивала вслед старуха. — Вот ведь нехстати засранцы. Вот ведь спугнули молодца! Хе-хе-хе...

Петр Петрович ушел. Сбежал... Водку не забыв, он быстро уходил через сад — и лесом, лесом!.. Раз а три он задел веткой раненое плечо. Шипел от боли.

Сделав большой крюк, он выскочил все-таки на дорогу. Оскорбленный неудачей старик брел меж темных дач без всякой цели, без смысла. По дороге...

— Силы небесные! — ярился он, чувствуя себя и брошенным, и обманутым.

На луну набегали всегдашние ночные облачка — легкие и перистые.

— Что смотришь! — Старик выговаривал луне и сетовал: мол, гоняешь меня без толку. Ноги, мол, уже отваливаются... задохнулся! а спина! а как сердце пляшет!

Он обидчиво шмыгал носом:

— Бросила меня... Предала! Так с другом не поступают!

Остановился, чтобы перевести дыхание. *Да, да, Петр Петрович остановился посреди дороги. Весь в обиде... Нашаривая в кармане сигареты. Горестный перекур.*

И вдруг услышал голос:

— Дядя!

И снова этот знакомо молодой, слегка садистский смешок:

— Дядя! Ты один?.. Без женщины?.. Разве так бывает?

Его окликал Олежка.

На сердце старика потеплело.

— Смеешься!

— Ничуть, — весело возразил племянник. — Я и сам *по тому же делу*.

А луна в небе ярко разбрызгивала им свет. Луна тотчас к ним подобрела... Щедрая!

— Ничуть не смеюсь, дядя. Я просто завидую!.. А к кому вы нынче? — спросил он. — Или опять ее имя не помните?!

Это он так пошучивал и одновременно Петру Петровичу льстил. Отчасти держал своего дядю за шиза. Но любил его. Родной человек.

— Заходил на дачу?

— Да... Записку вам оставил.

Оба закурили...

— А сам?

— В Овражки, — мотнул Олежка головой в дальнюю сторону. — Ночь хороша!

Олежка все-таки выжидал, пока стемнеет погуще. Ночь хороша, если глухая! А девица у него в Овражках... Да... С позавчера Олежка ее навещает, хотя дело, кажется, крутое. Мужик у нее серьезный...

Петр Петрович покачал головой:

— Опасно, Олежка... Знаю эти Овражки. Там чужих не любят.

Но молодой ночной гуляка разве убоится?

— А где, дядя, чужих любят?

— Там есть такой *Саня*, — предупредил Петр Петрович, вдруг припомнив. — Вокруг него людишки слишком мафиозны. Смотри!

— От Сани *моя* далеко.

Под луной, прямо на дороге старый и молодой Алабины покуривали как два дружка-приятеля. Славно они стояли!.. Олежка еще и поделился — он купил две пачки «Мальборо», одну скинул Петру Петровичу. Курить надо всласть... *Сколько можно курить дерьмо, дядя!*

Забирая сигареты, старый Алабин пожаловался: у него как раз полоса невезения!

— Ты, Олежка, даже представить себе не можешь! Не поверишь!.. Куда ни приду — старуха в постели... И уже ждет. И не кого-то ждет, а меня... меня!

— Неужели? — смеялся парень.

А Петр Петрович возмущался:

— Олег!.. Со мной происходит какая-то чудовищная нелепость. Какая-то непрерывная, не кончающаяся подлянка! Всю ночь напролет! Старуха за старухой...

Но молодой хохотал и хватался за живот.

— Ух-ха-ха-ха... Бабульки... Они же бай-бай легли. Прости их... Ух-ха-ха... Ну, что поделать — спят они по ночам.

— Тебе смешно!

— Но, дядя!.. Они же спать ложатся! В постельку... Это ж бабульки. Кто с валерьянкой. Кто с грелочкой. Кой-кто и с молитвой — а ты вламываешься с поллитрой и стоячим елдаком.

Олежка дурашливо грозил пальцем:

— Ты, дядя, их пугаешь. Смотри!.. Бабулька среди ночи помрет!

Он даже слезы вытирал. Слезы смеха.

Да ведь Петр Петрович и сам побаивался ночной промашки. А что, если ночь без луны?.. Уже было так. Ей-ей, Олежка... Особенно одна бабка! Чуть ли не каждый час попадаетея!.. И такая настырная. Едва не отдрючил в темноте старую сову.

— Ну и отдрючил бы! — смеялся тот. Молодой здоровый смех!

Вдалеке пронесся электропоезд — перетек за платформу желтыми пятнышками окон.

Олежка продолжал:

— Настоячивого бабка не отдрючить — это грех, дядя. Вы не должны таких упускать. Ни в коем случае. Ни одну.

— Я... Я... — Петр Петрович замялся.

— Молодая, старая — без разницы... фишка одна! Все, что шевелится, — все ваше.

— Олег!

— В этом ваш высший замысел — умереть со стоячим. Нет, нет, я, конечно, смеюсь!.. Смеюсь, дядя! — Олег понял, что в насмешке перебрал.

У молодых людей редко глубокое сочувствие. Они не знают, по жизни кого что ждет... Легко живут! — думал Петр Петрович.

— Дядя... — вдруг сказал Олежка. — Береги себя.

Может, он просто так сказал. Но Петра Петровича сразу же всколыхнуло.

— Пока, дядя. — Олег махнул рукой.

И растрогался Петр Петрович. Старику много ли надо!.. Он шагнул, почти бросился к Олежке:

— Ты... Ты береги себя... Что я? Старый поселковский мудака! Моя жизнь уже копейка, говно!.. А ты молодой Алабин. Это важно! Это важно! Береги себя.

И расстались. В Овражки молодому было идти дорогой. А Петр Петрович поспешил своей тропой.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Женщина сама к нему придет! Хорошо бы, а?.. — думал Петр Петрович. Проспав весь день, он проснулся только к ночи. Сидел, трогал рану... Сама, сама придет... Неужели же всё добывается с боем. Сколько же можно! Даже сейчас, когда старик?.. Мысль о самостоятельном приходе женщины очень грела. И плюс полстакана вчерашней дармовой водки. (Как забытый отзвук, как отклик давнего юношеского ожидания женщины.) Сама! Сама придет и его найдет!

Жар... Но боль утихла. И голову не кружило... Зато мысли закружили какие-то сдвинутые и странные. Петру Петровичу становилось все веселее. И было даже радостно, что у него настоящий жар. И как-то беспечно!.. А ночная несостыковка с абсурдной Михеевной!

А не отдрючишь ее — не избавишься, как сказал Олежка... Тут Петр Петрович даже хохотнул.

Еще полстакана вчерашней водки, и ему стало совсем весело. А что, разве *она, которая с косой в руках*, не женщина? И ведь тоже *хочет*, а?.. Петр Петрович зачем-то стал у стенки и припрыгивал вверх-вниз. Сказать честно, стены вокруг него тоже слегка припрыгивали. И особенно навеселе были птицы на стенах. Аисты, что с клювами наперевес на его обоях... Вверх-вниз!

Шаги...

Петр Петрович замер... Неужели? Он явно расслышал женский при стук ног по крыльцу... Молодые так не ходят. (Молодые взбегают!) Если бы Аня!

Но вошедшая женщина слишком хрипато его спросила:

— Чего темень-то?

На фоне окна она двигалась в его сторону мелкими опасливыми шажками.

— Не наткнешься, — буркнул он.

В полутьме Петр Петрович как раз ощупывал на столике вчерашнюю открытую бутылку с водкой — чтоб случаем не столкнуть на пол.

— Ишь выпивоха! — сказала Михеевна еще хрипате и громче. (Отлично видела во тьме.)

— Притащилась, старая?.. А я, представь, другую хотел.

— Все молодых ждешь, козлище... Сам-то вонюч как.

— А тебе не налью.

Старуха ощерилась улыбкой:

— Ну-ну. Зачем тебе молодые... Я лучше знаю, чего тебе надо. Я женщина...

И пусть, мол, этот козел Петр Петрович честно признается, что уже не раз о ней по ночам думал! Мечтал, а?.. Она несла обычную ахиною, — простая, мол, женщина, но ему она впору.

— Чтоб приласкали ведь хочется. Чтоб согрели, — пела старуха, зажигая свечу.

Притащилась со своей свечкой. (Сегодня уж дважды отключали свет в поселке.) Выбрала же его. Углядела! Небось ей присоветовали обогреть старичка.

Встал Петр Петрович с трудом... Но шел к плите. По пути все-таки разок качнуло, он упал... Поднялся. Кое-как добравшись до плиты, искал спички.

— Хе-хе, милоч... Вот ты каков! — Старуха, присев на стул, следила за ним. За его движениями. (Как бы прикидывала его силы.)

Алабин зажег газ. Чаю! Чаю!.. Горячего!

— Зачем тебе чай? Если жар, сделаю тебе холоденькой клюквы. С клюковкой, а? — Она так страстно произнесла *холоденькой*, что по его позвонкам прополз озноб.

— М-мм... — Он застонал. И потянулся рукой положить спички.

Слабая его рука поехала вдруг мимо плиты, и Петр Петрович опять упал на пол... Но несильно.

Он пытался поднять голову. Потом стал поднимать зад, это оказалось легче. На карачках.

— Ты милый. Ты мой милый. — Старуха была рядом.

Она помогла подняться — и подталкивала Петра Петровича к постели. Уложила, прилегла сама тоже. И вкрадчивыми мягкими движениями рук стала его *утешать*.

— Во как. Во как! — приговаривала.

Она слегка налегла на него. Грудью на грудь. Ласково.

— А-ааа! — Он вскрикнул. Утешительница задела-таки забинтованное плечо.

Она, видно, чуть заторопилась, снимая, сдирая с него рубашку. Однако поостыла, увидев присползший бинт.

— Болит?

— Холодно.

— И-ишь!.. Уже так скоро и озяб? — поддразнила.

Она и жалела его — и подсмеивалась.

— А ты согрейся. Женщина небось неподалеку!

Вот тут и произошло... Аннета Михеевна была в летнем платье с совсем коротким рукавом — под молодую. Она взяла его руку в свою и ладонью Петра Петровича провела вдоль голой своей руки, поощряя. Провела его рукой по своей, только и всего.

Следя, он не мог не заметить, как сквозь бабушкину старую пятнистую кожу просвечивает нечто новое. Нечто нежное и свежее... Ну, что ли, кожа... Ее кожа, но только кожа молодая. Рука, но молодая... Ну да. Девичья!

А он понимал в девичьих руках.

— Женщина, как-никак. Приласка-али... Чтоб согрели хочется, — продолжала тянуть свое старуха.

А он не мог оторвать взгляд.

Смотрел Петр Петрович как бы в угол, но косым зрением продолжал видеть ее молодые руки... Водка, что ли, дурная?.. И как же мощно, как наполненно застучало (откликнулось зрению) его сердце.

Старый Алабин перевел взгляд и еще больше поразился, едва не ахнув: тело!.. Совсем уж удивительно: ее тело... Как же это?! Сквозь платьишко уже и тело ее, меняясь, дразнило его и зазывало. Или это чужая свеча так бликовала, подменяя краски?.. Старухино тело помолодело, а?!

Выпить еще... А почему нет? Стрельнуло болью раненое плечо, но теперь уж ему плевать.

Может быть, все-таки глаза? Зрение?.. Но во всем окружающем он не отметил никаких, ни малейших перемен. Стены как стены. Дверь в трещинах... Пол в пятнах. И эти долбаные аисты на его обоях вполне спокойны. Уже не прыгали друг через друга... вверх-вниз.

— Ладно, карга... Выпьем по полста? Или уж по сто, а?

— Водочка?

— Водочка.

Петр Петрович налил и себе, и ей. Выпил — и молодящая эта водка вновь так славно вошла! — он даже крякнул.

— Ну что, старая. Я вроде готов.

Снова боль в плече. Но старикана уже не остановить:

— Я вроде готов. Я вполне. Я уже...

— М-м, — пропела она, но теперь уже сама сомневаясь и вроде бы Петра Петровича побаиваясь.

Молодая, она теперь не только к нему не приставала, но даже слегка сторонилась. И даже сопротивлялась. Все как положено. Ишь молодухка!..

И тем острее он чувствовал, как ее платье... как там... Как легкой дрожью подрагивало там свежее, молодое, горячее!.. Он мог бы поклясться.

И чуть опасливо подумалось о водке... Оставили ему отъезжающие. Пьют же всякую дрянь! Паленая-перепаленая!

Однако, пусть... Ему-то что! Он согласен!.. Пусть даже от паленой этой водки, зато как она помолодела. Как посвежела! (Дармовая подтяжка лица напомнила о чьих-то немеряных деньгах. Его поразил пересчет!) Это ж сколько раз надо было бы делать перетяжку! своей честной старой шкуры... и за какие ж деньги!

Она, эта Аннета, или как ее там, еще и отодвигаться стала. Надо же!.. Хочет, мол, с ним, но не сразу... Всё подчеркнуто, всё по-молодому!

А старик пьянел... Он уже лапал ее за руки. И расхвастался:

— Как следует, старая! не сомневайся!.. Я тружусь так, что иной раз любо-дорого.

И он еще налил себе паленой. Почти под край.

— Как ты там? Не робеешь?.. Как твое юное лоно, хе-хе-хе, — веселился Петр Петрович, с ее же интонацией передразнивая вчерашний ее сучий смешок.

Но она только хмыкнула:

— Да уж. Такого лона ты в жизни не видал.

— Да ну?!

— Старей меня у тебя сроду никого не было, — проскрипела она.

— Можно сказать, повезло!.. А?

Теперь его уж точно манило. И любопытно!.. Тело под платьем дразнило его. Что за хитрая такая обманка?.. Он почти не сомневался, что там южный загар. Южный загар крепкого тела.

Ну и водка! — подумал старый Алабин.

Меж тем новоявленная девица, словно бы и сама себе удивляясь, с кривой улыбочкой разглядывала свои помолодевшие руки и длинные-длинные пальцы.

— Лоно, ло-оно, — теперь она передразнила его.— Я стара для таких нынешних словечек. Я говорю прямо.

И тут же сказала прямо.

— Стоп, стоп, старая! — Петр Петрович осердился. — Не люблю, когда женщина матюки лепит. Противно.

— А сам?

— Мужу можно.

Она хехекнула. Молодая, а голосок все еще несколько скрипуч:

— Ему проти-ии-вно... Хе!

Но, может, эффект? Может, от свечи, ею принесенной?.. Петр Петрович на пробу отставил горящую свечу подальше — и поглядывал, искосась... Затем рассудительно подумал: а вот я еще паленой! Вдруг она помолодеет и голосочком!

— А выпей, выпей! — поощрила она, легко прочитав несложный ход его мыслей.

Ни к мистике, ни к являемым иногда в мире чудесам Петр Петрович склонен душой не был. Да ведь и сама странность, с ним происходившая, не была ничуть для него пугающей или настораживающей. Напротив — странность была манящей. Мир вокруг нас не исказился. Мир лишь чуть поплыл.

— Ло-оно! — вновь хрипло подразнила она. Как прокаркала. — А ежели шахта? М-м!.. Мерзлый тоннель, а?.. Мерзлая яма... Холодно будет! Не свернешь в сторонку?

Опять это ее ерничанье. Но пусть... Нас уже нечем пугать. Нас не проймешь, старая. И даже некоторое и особое любопытство у старикана

возникло! Как в наши молодые, пробные годы... Ледяное, видишь ли, лоно. Ишь запела.

— Не простынешь ли там, милоч? Сгоряча-то? — дразнила она.

А он лишь еще подглотнул из горлышка. Отхлебнул... ай да водка!.. Конечно, не в первый раз выпивка делала ту, которая с тобой, на миг краше и слаще. Но ведь отхлебнул он совсем немного. (Он приберег. Мало ли как там дальше!)

И едва-едва его не подвело плечо. Рана в плече стрельнула сильно и дважды. По всей руке огнем.

— Скажи, где болит? Что болит? — подхватила она (совсем уж молодод и сострадательно). — Скажи, милый... Скажи. А я найду, как пожалеть.

Она не отставала:

— Я, милый... Я...

Молодое ее тело по-молодому и прижалось. Прильнуло. Тело хотело и искало его, Петра Петровича. И какой бы Алабин ни был старый старик, он был мужчиной и знал, что по-мужски правильно и что нет.

В его возрасте любовь — наполовину труд. Больше, чем наполовину. И он честно трудился, старался — поначалу почти без страсти, на опыте.

Она повеселела. И подбадривала:

— Ага! Ага... Ну-ну! А вот и молодец!.. Ишо, оказывается, повоюем!

Так бывает, что у старух под занавес жизни вдруг выявляется сама собой красота лица. Красота словно выныривает из их затяжной женской некрасивости... Но... Но не в такой же степени. Но... Но какое ж тело было сейчас под его рукой! Верь не верь.

— Как-кая т-ты! — вырвалось у него. — Как-кая!

— Свеженькая, что ль? — дружески рассмеялась она. — А кто недавно вопил? На повороте к речке?.. Я у Сидоренковых на даче лист первый кучила — и сразу палила. Сжигала!.. И вдруг слышу вопль: как, мол, затянулась жизнь. Как, мол, надоело таскать ноги от дачи к даче...

— Это я... Это я с луной, — смутившись, признался Петр Петрович.

Оба чуть примолкли.

— Ах, золотой мой! С луной... Кто ж этого не знает! С луной — это как с собой.

Петр Петрович согласился:

— Верно... Но разве нельзя сказать что-то самому себе?

— Сказать можно. Вопить нельзя.

— Это почему?

— Вдруг услышат.

В страсти, в дрожи своей она расцарапала ему рану. Он вдруг увидел — подлезла под бинт пальцем. И таким старым (опять?) ногтем... Своим старым вековым ногтем она несильно поскребывала как раз по месту заживления. Да и на лице ее вдруг хитрые старческие морщинки... сотней гусиных лапок!

Возвращение старушечьих примет его не напугало. Но, конечно, раздосадовало. Хотелось же успеть! Хотелось, чтобы необычная молодуха по-молодому и разделила с ним набегающий чувственный взрыв.

— Оо, — постанывала. — Оо!

А сама опять и опять по ране. Для возбуждения, вероятно. Даже такая вековуха не обходилась без стимулятора. «Больно?..» — спросила. А он только и видел ее нежную кожу, видел, что шея ее все-таки еще молодая, юная. Шейка!.. Такая тонкая!.. В полном кайфе Петр Петрович поощрительно мотал головой — нет! Нет!.. Ему не больно! Ему не бывает больно!

Оба смеялись. Ее ноготь, что старый коготь. Как копыто старой коровы. Но скреб он мягко, не рвя... Для разогрева?

— Вовсе не стимулятор, — сказала она, опять же без затруднений считав его мысль.

А он все торопился, видя, как быстро она стареет.

— ...Нет. Не стимулятор, — спокойно поясняла она. — Но для подключения сердечной мышцы — неплохо.

Какие, однако, слова она знает! Молодые слова. Подключение. Стимулятор... А где же твои *ишо* и *ежели*?

Боль остра! Он глянул на свое плечо. Ее старый коготь убрался из-под бинта. И оттуда прыснули сразу три-четыре струйки крови.

— Что ли больно?

— Не! Не! — радостно вскрикнул он.

Зато сама кровь. Вид кровишки не стимулятор?

— М-мм... Ух ты. Ух, какой... — игриво постанывала под ним женщина невинного возраста. — Ну-ну!.. Молоде-еец!

Однако, словно спохватившись, она опять помолодела. Второй раз за час. Резко помолодела. Ну, Аня!.. Ну, двадцать лет!

Она вновь буквально поднырнула под Алабина... Женщине, если молодая, это просто. Алабин навис над ее лицом. Все видел. (С высоты лунного луча.) Лицо красивой юной женщины. И глаза сияли... Он замер. *Уснуть возле тихой речки.*

— Уснуть? — засмеялась она его мысли. — Когда я рядом? Что еще за тихая речка?

Он и сам не знал, о какой он речке... Но впрок вспомнил о глотке водки. И поискал рукой под кроватью.

— Дал бы и женщине, — тихо попросила она.

— Водки? Или портвейн?

— Вино.

Он не помнил, где красноватая давнишняя бутылка.

— Где-то далеко.

— Поищи... И ты мог бы предложить женщине первой.

Но не пошел он искать забытое. И не дал ей передышки. Не выпустил из рук, как и положено не выпускать молодую, когда вдруг чувствуешь ее подступающий трепет. Когда уже слышишь ее тихую, в повторный накат, дрожь!.. Ага...

— Ну?.. Ну?.. Ну?! — вскрикивал старый Алабин.

Он прибавил, подключая вместе с поясницей уже и все тело. В опыте всегда живо это вкрадчиво-мягкое движение, от которого женщина внезапно затихает. И при повторе которого уже оба тела согласно молчат, образуя вязкую паузу. (И только едва-едва слышно подстукивает мужская селезенка.)

Для крепости движений он оперся правой рукой о стену, ладонью в обои, прямо в скачущих там птиц. Аисты... Фламинго... Сейчас она ускоренно задышит! Будет кусать кислород напрямую — из воздуха... Ей мало дыханья. Теперь она раскроет рот. (И даже если она вдруг старуха...) А уж затем хлынет ее жар.

Она царапала ему рану... Дышала... Хитрила, хватая ртом сбоку огромные куски кислорода. Пусть, пусть! Это лишь на чуть отодвинет минуту. Зато уже в следующую минуту напряжет ее куда больше.

Царапала...

И тут поймал свою удачу Петр Петрович Алабин. Он сумел, успел почувствовать, что ее хваленое холодное лоно (что бы там старая про себя ни наговаривала) какое-никакое, а не прочь стиснуться, сжаться.

Еще одно, ровно одно мгновение он вслушивался — так ли?.. Всё так. Всё именно так. И тогда старикан лишь чуть убавил-прибавил в ритме, и там взорвалось.

— Ишь... Ишь ты! — похвалила она, обдавая его жаркой волной.

Впрочем, она почти сразу наладила дыхание.

Ночная луна... В окне уже сияла. Круглая. И вечная. Усталый и сколько-то счастливый, Петр Петрович слышал ход времени.

— Что скажешь? — шепнул еле слышно он ей, луне.

Луна шепнула:

— А ты — что?

И долго-долго молчали. Жаркая ночь. Тишина...

— Разогрел ты меня, — простецки сказала она ему на ухо. А меж тем, деликатная, продолжала смущаться, как и положено смущаться молоденькой женщине при первом свидании.

И чтобы смущение затушевать, рассказывала теперь о своих делах, якобы нынче важных. (Или неважных...) Лишь бы говорить и смущение скрыть.

— А липы?.. Думаешь, я все-все-все сделала? Куда там!

Торопясь сказать, она делилась своими уборщицкими заботами — а ветки с липок спилить?! А мусор? А забор?.. А трава вымахала вдоль дороги!

Петру Петровичу показалось, что молодая женщина перевозбуждена и немного задыхается.

— Дыши легче. Еще легче, — заботливо подсказывал он. — Не спеши... Расслабь тело. Расслабь руки... Медитируй.

— Что?

— Медитируй.

И так неожиданно раздался ее смех. Совсем другой смех. Ее прежний хрипчатый хохот:

— Ме-ди... Ме-дю... Медю-тируй!.. Ой-ой!.. Му-ди. Ох-хо-хо!

От хохота даже закашлялась:

— Ох-хо-хо!.. Такого я еще не слышала!.. Муди-тируй. Ох-хо-хо!

Петр Петрович оскорбился. Мужчину обижает именно пустяк.

Он перевел взгляд на ее лицо и тотчас увидел, что старая. Что молодая уже исчезла. Что старуха... И что издевательски хохочет:

— Да, да, старуха, старуха!.. Я, милый... Я... — хрипела она. — Что тебе молодые, глупые бабенки — они еще сеном пахнут! Ох-хо-хо!.. Соплявки!

Бок о бок с ним отчужденно сотрясалось хохочущее жесткое тело. Момент истины... Очнувшийся, прибалдевший в любви, Петр Петрович видел теперь все, как есть. Со стороны видел... Двое их в постели. Вид сверху. А то и искаженные виды сбоку (для ракурса). Двое рядом... Старик. И с ним старуха.

И никаких иллюзий.

— Ме-дю... Му-ди... Ох-хо-хо! — повторяла она.

Ее глумливый хохот.

Медлительная его рука (уже знающая... но чтоб вполне убедиться) опускалась к подушке все ниже и ниже, пока не нащупала под ладонью старушечьи космы и костлявый череп. Никакая не молодая... Рядышком!.. Сейчас он даже не помнил, как ее зовут. Он толкнул так, что она вылетела из постели.

— Чего ты-ы? — зашипела, зашепелявила она. — И-и-ишь какой. Не нравлюсь-ся теперь ему!

Михеевна бранилась с удовольствием. Со вкусом!.. Грелась им, когда лежала рядом, а пригретая, теперь замахивалась на него чем попало, вопила, бранилась, даже плевалась!.. Петр Петрович Алабин имел сейчас самую правду жизни.

Вытолкнутая, бранясь, плюясь и что-то несуразное вереща, Михеевна тем не менее оказалась опять с ним рядом. Была ночь, и в окне — луна. Он имел всю *правду своей жизни*. Старуха решила, что она попросту не там легла. Не с той стороны... У старика, известно, причуды! Но зато теперь, мол, выбери она место правильное, все будет сплошной мед. По-быстрому перебралась через него к стенке, перелезла, протацив прямо по его лицу вислые мощные груди.

— Неве-еерный! — сказала, насмешливо жеманясь.

Петр Петрович повидал в жизни немало убогих изнанок. Но и он был сейчас сокрушен. Не чувствовал он ни комизма, ни — сказать иначе — гротеска этой вдруг обнаружившейся любви двух старых, зажившихся на земле людей. Лежали рядом. Какое-то время старый Алабин не мог даже шевельнуться... Парализовало. Душа, что ли, не хотела признать поражение. Душа молчала.

— Эй! А нельзя ли в нашей жизни побольше огонька, а?.. Не засыпай, милый!

При том что Петр Петрович, недвижимый, лежал пластом. *Огонька ей!*

— Чего тебе, старая?

— Да ты было уснул.

— Не твоя забота!.. Сама уснула.

Она засмеялась:

— Я?

Она теперь норовила взобраться на него. Сесть... Вскочить... Не вполне понятно, что у нее на уме. Но она так смешно подпрыгивала. И юбка ее взметывалась, как вялый, дохлый флаг.

— Помале-еньку, — повторяла. — Помале-еньку...

Да уж, задача. Она дважды промахнулась, занося ногу... Как на могучего коня.

— Как на большого осла, а? — спросил он ее. — Тебе, старая, табуретку в помощь не дать?

— Чего?

Ладно. Он подвинулся, дав ей место... Хватит ей прыгать. Не блоха же!.. Ложись, старая. Давай уж. По-нашему, по-стариковски... Старуха тотчас все поняла. В обычной позе, рядом, чуть сбившись в живую кучку на постели, они попросту грели друг друга.

Петр Петрович сам с собой считал, что проявляет доброту. (Он лукавил. Он думал выждать и, как знать, еще разок обмануться ее юностью.) Он готов был и потрудиться ради такого... Жаль, водка ему глючить больше не помогала. Как оказалось, водка ни при чем.

Быть может, глюки были от раны в плече? Рана играет... Какая-то прилипчивая заумь попала из раненого плеча ему в мозг! И жирует там... Он представил в воспаленной голове тысячи тысяч микросуществ. Ну, и пусть их. Хорошо бы и дальше так... Он не испугался. Пусть бы эти глюки... Разлепил глаза, а с тобой снова Аня.

Он свесил руку к бутылке (допьет, уже не экономя). У самой ножки кровати. Вот... Недалеко!

— Нра-аавится тебе водочка! — протянула старуха.

И на этом протянутом «а-аа» он увидел ее рот. Какая там Аня!.. У бабки во рту ровно два зуба. А он-то думал — три.

Зато Аннета Михеевна была в полном кайфе. Она полеживала, почесывая пяткой обо что-то. Скреблась. (Там. В самом конце его кровати.) Как же долго! Интересно, правой пяткой или левой?.. Ух, стара ведьма! Стара и сластолюбива. Но уже без вдохновения. Слишком много прожила. *Летать ленива...* И к тому же она ничуть не спешила сварить, скажем, на обед супца...

Выбрался на улицу, на дорогу... От легкого головокружения Петр Петрович приостановился на обочине.

Уезжали последние. Из «девятки» выскочил Дудякин и зачем-то пожал ему руку. Должно быть, от волнения отъезда:

— Пока, Петр Петрович... Отбываем. Пригляди, если что.

— Ладно.

И тут все они, разом высовываясь из машин, замахали ему руками. Заспанные, зевающие... Всю ночь гулявшие, они вопили — пока, пока,

оставайся, Петр Петрович! Ты, Петр Петрович, наш каменный божок, ха-ха-ха... Идол! Любимец женщин!.. Шиз бродячий! Оберегай наш поселок, Петр Петрович. Не дай напрочь разворовать дачи...

Старик шел сколько-то вслед, глотая пыль их машин.

Зато тихо... Зато Петр Петрович шел в тишине. Тишина оставалась ему.

Жар... Плечо стреляло новой, незнакомой болью. Петр Петрович, проснувшись, шевельнул в себе невнятную осторожную мысль.

— Не пугайся, — сказал знакомый голос.

Она, видно, очень тихо подседа к нему на край постели, — в точности так, как тихо и тоже на самый край подсаживался среди ночи к женщинам постаревший Петр Петрович. И, точно так же огладив его плечо, тронула грудь... Но боль в плече не задела.

Алабин оттолкнул ее руку — старая, сгинь. Уйди!

— О-о, какие мы сердитые! — И опять эта ее ласковая кривая ухмылочка.

Он отвернулся к стене.

— Серди-итый.

Алабин еще сдвинулся к стене (на большее не было сил). Но следом и она прилегла, прижалась... Он (спиной) слышал ее груди — обе как большие, холодноватые кочаны капусты. «Разве я не женщина?» — шептала она.

Он плохо соображал. Голова кружилась.

— Холод от тебя! Хватит! — Он резко сел на постели.

Желтые шары скакали перед его глазами.

— А щас! Щас! — Михеевна вскочила и на этот раз совсем по-старушечьи забегала и засуетилась.

Она набрасывала на Петра Петрович одеяла, старый полушубок, одежду, подушки, а его все знобило.

Она таки отыскала где-то в стариковских углах аптечку — дала ему аспирина — глотай, глотай!

— Пропотеть не боишься?.. Окно растворить?

Луны в окне этой ночью не было. (Уплыла. Уплыла, желтая!) Но и страха смерти как такового тоже не было. Старый Алабин не боялся по мелочам. Но почему-то сейчас ему не хотелось отключаться — он побаивался, что просто-напросто уснет, уже не проснувшись. Куда-то сгинет.

Знобило.

— Слышь, старая, — сказал он вдруг. — Я ведь, если браню... Каргой... Это ж для разговора. Как всякий старик всякую старуху... Каргой. Совой.

— Старой сукой, — подсказала она.

— Разве? Извини... Каргой. Это ж я по-свойски... Любя.

— Знаю. И не в обиде. Хе-хе-хе, — смеялась она.

Старикан впал в забытье. Час... Два... Весь день... И только снова к ночи сердце застучало, забухало, давая понять, что будем жить. И что пора бы сбрасывать с перегретого тела эту жаркую гору одеял.

Следующий возврат ее молодости был внезапен и слишком короток — минут, что ли, пять. Растерявшийся Петр Петрович ничего не успел. Он только трогал ее юные руки. Еще и воображение разыгралось. Его всегдашняя беда.

Воображение в такие его минуты — ярко-желтый янтарь. Осколок янтара в море... Вот бы и лежать, как лежишь, на самом дне... Чтоб тихо. Чтоб сам по себе... Но куда там! Кусок янтара разлегался и, можно сказать, расслабился. На слишком великолепном, прозрачном морском дне. На песке... Он там играл с лучом света!..

Старый Алабин живую ошущал на себе и сам луч, и (в придачу) ласку колышущихся водорослей. Это так трепетно. Это теплый Гольфстрим.

Ток струйной воды оглаживал старика. И нежили целых два куста водорослей. И еще 126 мелких рыбок, проплывая, щекотали его...

Возможно, она вовсе не читала его мысли, она их просто знала. Как свои.

— Ры... Ры... Рыбки! Ой!.. Ого-го!.. Ох-хо-хо!

И вот с ним рядом опять была старуха. И старуха опять хрипло хохотала. Ее трясло:

— Ох-хо-хо!.. Где ж тебя этакого от меня прятали? Ох-хо-хо!.. Как же ты их сосчитал?

Он ладонью зажал ей рот, унять ее смех. Небось беззубая сильно не укусит. Однако кой-где зубы были. И не церемонясь, она цапнула — так что старикан спешно отдернул руку.

— Ры... Рыбки, — глумливо повторяла она. — Сто... Ох-хо-хо-хо... Сто двадцать шесть...

Старуха была рядом.

— Лежи, лежи! — сказала ему, когда он шевельнулся.

Возможно, старая и страшноватая Аннета Михеевна именно для контраста ошеломляла его легким ерничаньем и своей совсем не страшной насмешливостью. Простоватыми фразочками. Прибаутками.

Старикан Алабин все-таки больше болтал, умничал, а проще сказать, пошучивал, называя старуху *Смертью*, но теперь ему мелькнуло... Он по-серьезнел.

Нарочито потянувшись со сна, он сказал как бы в никуда:

— Жить хо-оочется.

— Да ну? — Аннета Михеевна, все понимая, откликнулась с ленцой и с насмешкой.

Но он сказал еще проще и тоже с ленцой:

— Почему ж не пожить. Человек я хороший.

— А?

— Я о себе... Хороший человек.

— Может, и так. Хоро-оо-оший, — протянула старуха. — Нелегко найти о самом себе *другое* доброе слово.

Женщина всегда пожалеет... Но сначала, конечно, добьет его. Добьет, а после, возможно, будет вполне искренно по нему выть. Есть, есть в этом какая-то их радость.

Старый Алабин вдруг страстно позавидовал племяннику Олежке. Его легкой возможности идти, прыгать, бежать. Или совсем отсюда свалить, уехать на юга, на север. На машине, хоть на осле!.. ехать, да еще и вопить — ура, ура, я еду!

— И о чем же задумался хороший человек? — спросила она тихо.

— Красотку вчерашнюю припомнил... Молодую.

— Всего-то.

— Молодая была!

— Выдумщик вы, Петр Петрович.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Никакая она не смерть, — рассуждал старикан, допив водку и повеселев. Вовсе не смерть... Что за шаблон и что за стойкая глупость в его кислых мозгах! Старуха как раз и есть *жизнь*. Его собственная, состарившаяся *жизнь*. Явившаяся ему зачем-то наглядно... Материализовавшаяся... Урок ему? Да вряд ли и для урока. Просто поближе к краю — к концу его дней. (Просто чтоб посмотреть. Чтоб увидел.) Вот — жизнь, и она, мол, такая!.. Какая есть. То костлявая, хоть клади в гробешник!.. А то вдруг, на пятьдесят минут, покажется, что свежа и молода — и что у нас еще все-все впереди... Х-ха!

Старикану под хмельком вполне понравилось, что эта Михеевна и есть его жизнь. Нет, не сравнение с его жизнью. Не аналог... А прямо-таки сама его жизнь, которая зачем-то материализовалась. (Ближе к концу. Чтоб увидел!..)

И тотчас вдруг захотелось на ночную дорогу (пустынную и лунную сейчас)... Душе был нужен простор. Подышать теплым ветром! Петр Петрович взволновался. Если старая карга... Если эта старуха и впрямь его жизнь, она должна и чувствовать схоже и легко его понимать...

— Куда это? — вскинулась проснувшаяся Михеевна.

— А все туда же. — Петр Петрович, вдруг вспомнив, нашел предлог: — Перевязаться пора.

Старуха активно запротивилась:

— Заживает твое плечо! Заживает, я же лучше вижу!.. Не придурайся.

Но как только он настоял и твердо сказал — пойду! — Аннета Михеевна сразу же увязалась идти с ним. Вдруг, мол, Петр Петрович упадет по слабости или еще как... мало ли! А если рядом, она мил дружка подстрахует.

В его жизни было мало логики. У Аннеты Михеевны ее тоже не было. Так что теперь бойкая старуха талдычила все ровно наоборот — мол, Петрович, поберегись, рана не зажила. Жар ведь был совсем недавно!

Включил верхний свет... Но лежавшая в постели, и здесь его ревнуя, она заспешила.

Она, мол, встает, встает!.. Сбросила одеяло. И так зримо, так на виду — засучила ногами. Это она искала на полу свои стоптанные и зажеванные на левый бок туфли. Старуха... И какая старуха!

Петру Петровичу словно бы дали кулаком в лоб — ну и ну, костлявая!.. Ноги ее (стопы) ошеломляли. Он не мог оторваться взглядом от этих костей. Как корявые корни горной сосны. И какой древней сосны!.. Он уже ничего в тот миг не видел. Только ноги.

— Подожди, — сказал он. — Воды холодной выпью.

Уже одевшаяся Аннета Михеевна стояла с ним рядом.

Он пил глотками.

— Старая, — спросил он спокойно. — Как тебе удавалось дурить? Тебе же сто лет.

— Может, и поболее, милый, — со смешком и ничуть не стыдливо откликнулась она.

— А любовь? И ведь какая пылкая!

— Как же не пылкая! — шамкнула старуха глумливо.

Так и шла с ним бок о бок. Его жизнь. А Петр Петрович ворчал — мол, со старой каргой под конвоем.

Темен стоял Анин дом. Очнувшееся сердце старика заторопилось. Как же счастливо он этот дом, эту калитку помнил!.. И, конечно, лаз с той стороны, где их забор посветлее (из более новых штакетин).

— Я пошел, старая. Мне туда... Штакетина там у них на одном гвозде.

— Я тоже. С тобой вместе.

— Вместе?

Петр Петрович на миг задумался. А затем насмешливо оглядел подругу.

— А ладно, ладно!.. Давай, старая, — сказал он, нарочито с ней торгуясь. — Но только сначала стань молоденькой!.. Ну? Давай!.. Стань личиком посвежее, помилее, тогда и зайдем в дом вместе. Перевяжем рану...

И добавил игриво:

— Перевяжемся... Глядишь, чем-нибудь еще интересным займемся!.. Ну?.. Я жду.

Старуха хехекнула. Лицо ее кисло кривилось в улыбке — чего это тебе еще?

— Как — чего?.. Ну, где твоя обманка? Твоя мистика? Твой гипноз?.. Или как там у вас, у продвинутых ведьм, называется... Твой фокус. Ну! Давай!

Но скривившаяся Михеевна только сердито трясла костлявой рукой и не молодеда.

— Ну, тогда все! Все! — сказал он старухе.

Она даже задергалась, заплясала на лунной дороге:

— Как это — все?!

— А так.

И прогнал ее, грозя кулаком. Вдвоем в пустой чужой дом не лезят... Дальше он сам! А ты поди и prospись, старая.

Исчезла во тьме... Он один.

Ощупью вдоль забора. (Мальчишки, ведя так палкой по штакетинам, издают трескучий пулеметный звук. Петр Петрович тоже вел, но голой ладонью руки — вел тихо.) Одна из штакетин живо шевельнулась. Вот она...

Теперь и самой глухой ночью он сумел бы без ошибки выйти к их веранде. По запаху... Смородина! Кусты... И на пути, как помнилось, никаких грядок.

В Аниной спальне дежурил лучик луны. Светло... Здесь она стояла со своими слезками и печалью. С бинтом в руках... И перевязывала ему рану (не испугалась ночного старика). Легка была ее рука. Прощай, девочка.

Сам Петр Петрович перевязывался медленно. Бинт с пунктирной полоской... Такого у него и быть не бывало! Отличный их бинт...

Он еще раз оглянулся на опустевшую спальню.

Села рядом. *Его жизнь!*.. И личико, как запеченное яблоко. И зубиков (в улыбке) у нее не прибавилось.

В таком вот смешном и костлявеньком виде она и сейчас хотела ласки, *его жизнь* — ну и видок!

Усмехнулся Петр Петрович:

— А травку, Михеевна, все выкашиваешь?

— Кошу, милый. Просят, не просят — обязательно кошу.

Она сидела к Петру Петровичу полубоком, так что свет щадил ее лицо и морщинистую шею. Да и старухины руки, двигаясь, как-то хитро перепрыгивались из тени в тень. Ладонь только была холодновата.

— Холодная ладонь?.. Неужели? — спросила она, тотчас отметив возникшее его ощущение.

А ведь он ей ни слова. Лишь кивнул.

Где есть пределы, есть и своя их изнанка. Все-таки они оба, как сговорились, не заголяли себя. Полуодеты... Дань сединам.

— Нам, — шепнула, — теплее тронуть рукой, а глазом не обязательно.

Петр Петрович остерег:

— Поаккуратней мой рукав, старая. Да ты не дергай, не дергай!

— Тяну.

— Вот и тяни, стягивай помаленьку.

Они ходили на лишенную стеснений седую чету в деревенской бане, где старая бабка помогает то ли раздеться, то ли уже одеться своему несколько хворому старику.

— Сопли-иивый! — сказала ласково.

Коснулась его щеки и шеи. Погладила.

— Сопливый какой!.. Побежал перевязываться, когда я тут!

— Надо же верить в медицину.

— Что? В медицину?.. Идиот! — вдруг завопила старуха. — Верит в медицину... Нет, вы посмотрите на этого идиота! Кто же верит сейчас в медицину?! — скандално кричала она, хотя вокруг них никого. — Надо верить не в медицину, а во врача-ааа!

— Но перевязаться же надо.

— Нет. Нет. Нет!

На какую-то минуту-две она была попросту вздорной. Его жизнь.

Так вот и сидела с ним рядом. Жила с ним рядом. Дышала в его стону... Дышала, по-старушечьи слышно посапывая.

Его долгая жизнь, вдруг запнувшаяся об эту старуху — что это? почему это?.. Сестра ли она? Сестра ли — *моя жизнь*? Вполне возможно... Бывает же сестра, но сильно постаревшая. Старшая сестра, — размышлял Петр Петрович несколько абстрактно.

Пусть даже в более далеком родстве... Или, пожалуй, она (его жизнь) ему подружка. Веселая бесцеремонная подружка былых лет. Хрычовка. Которая вместе с ним и состарилась...

— Заду-уумался... Ишь! — Старуха внимательно всматривалась в его лицо.

Коснулась морщинки на его переносице.

Упорство лишь обещает плоды. Свою мысль Петр Петрович не сумел бы и сам себе объяснить так сразу. Это был как бы старинный его долг. Должок... Не перед костлявой Аннетой Михеевной, не перед этой старой жабой (так старательно демонстрирующей ему, показывающей ему вживую его собственную жизнь), а перед женщиной, перед ее, что ли, лоном... перед ее вечным.

— Мой. Мой. Мой ты, миленький... — приласкивалась опять старуха.

Но ведь Петр Петрович не вытолкнул ее из постели. Он лежал с ней рядом.

Он даже настраивался. Конечно, с ней непросто! — подбадривал себя Петр Петрович. — Конечно, она — бабка древняя... Вечна, непреходяща, бесконечна, куда нам маленьким! Однако же и в нас, бранных, пятиминутных, есть свой замысел... Есть, есть!

И, ведомый мыслью, Петр Петрович трудился. Старался, как умел. Трахальщик старой школы, он умел не так много, не так изощренно. Он, скажем, редко пускал в ход непосредственно руки, еще меньше пальцы рук. Но зато использовать руки как опоры... Как столбы... Чтобы откинуться на руках как можно дальше... с большей свободой... ястребом с высоты! Этот, на вытянутых руках, прием получался у старика на славу, выпестованный крепким личным опытом... да, пожалуй, и неким талантом.

— О, молодец! молодец! — заверещала старуха. — О! О! Сейчас малость повеселее... Молодец, старый... Я уж и не думала!

И как обычно, она насмешливо захехекала:

— Хе-хе... Я уж думала, ты сдох... Обеспокоилась: как там, думаю, тот, что надо мной — живой ли?

И сама она тоже заметно прибавила, зачастила. Он-то слышал пульс старой карги. Пульс ускорился! Ага...

И вот в ее лице мелькнуло.

Как начало (как замысел), сквозь пятнистую серую кожу ее щек проступил легкий рисунок. И был тотчас смыт... На ее изменчивом лице... Старикан (он заждался!) едва не упустил миг. Но следом уже заиграли свежие линии. Чуть дрожащие девичьи черты! Вслед лицу ожило ее тело... И в нетерпении, пылко Петр Петрович схватил ее мягко округлившуюся руку.

А она с юной боязнью (и с молодой силой) руку отдернула.

В жесте меняющая себя женщина особенно видна. Но как же стремительно она становилась застенчивой! И пугливой. Этот знакомый трепет кроличьего страха в ее лице. Похожа на Аню! (В жесте всё есть. Всё сразу.)

Пока она юная — вот что его ожгло.

— Иди же сюда.

— Ты... Ты торопишься, — сказала она смущенно. С девичьим смешком.

Свечное пламя дрожало... И тем сильнее ему казалось, что с ним Аня.

Опытный, он поймал момент, когда ее активность стала более подлинной, дрожащей, неигровой. (У молоденьких зачастую игра.) Он все видел

остро! Его глаз не провести. Ага... Порозовевшая и дрожащая... и если не Аня, то очень схожа...И сама же, первая (он мог бы клясться), она сейчас упивалась своей телесной новизной, пьянея от вернувшейся вдруг силы и молодости. Женщина!

— Мы едем в Москву? Да?.. Завтра — в театр?.. — спрашивала девичьим высоким голоском.

Слова ее сбивчивы, взалхлеб:

— Завтра — в театр?... А на ночь к Галинке? К студенческой подруге!.. Да? Да?

Оба задыхались.

Аннета-Аня, как ее ни назови, сияла. Ее чувственная жизнь возникла (вернулась) из ничего, из сора, из небытия. Какая высокая минута бывает у женщин!.. Красавчик муж, уезжающий от нее в ночь... Или заботы по дому... Или ревность... Все-все чепуха. Все-все сор, пыль, лузга.

Она шептала:

— Пожалуйста... Еще... Еще совсем немного... Мне больно и... Хотя... Хотя и не нужно. Клянусь... Клянусь, мне... М-м...

Как и все, старый Алабин хорошо знал природу этих предпоследних слов. Ожидание, скрывающее самое себя.

— Аня...

Ей, если сейчас молода (и так наивна), ей и впрямь страшновато.

— Пожалуйста, — молила она.

Пот ударил — пот высох. Петр Петрович устал. И как удачно он оглянулся. Увидел светлую лунную ночь... В раме окна... Небо... и Аня! Обманка встряхнула его. Еще как!

Всю жизнь мужичонки думают о каком-то неслыханном поединке. О сильном, достойном враге... Разве нет?.. А в конце концов довольствуются одной-единственной случайной стычкой. Нечаянной стычкой на темной улице. (Да еще и спьяну...) Да, да, да... Люди такие. Готовые на подмену. На имитацию. На подделку... И он такой же. Согласен! Ему не нужна победа. Ему нужен миг.

Ага... В ее дыхании появился легкий сбой, где-то на третьем вдохе. Как обещающе!.. Нет, не хрипотца голоса, а несомненные пузырьки воздуха... Эти пузырьки порознь и не сразу слепляются во вдох. Неслепившиеся, они не насыщают легких... И вот-вот молодуха захочет подышать открытым ртом.

— Пожалуйста, — молила она.

— А? — Он был как оглохший.

Еще немного... Это обязательно...Что еще, кроме невнятной мольбы, она придумает. Что еще, кроме рваного дыхания, призовет себе в подмогу. А уж затем ее жар.

Алабину казалось — они оба в лунном свете стали крупнее. Ну, гиганты... Он был громаден, а она с ним еще громаднее. Лежали они ни на чем... Качались в небесах... На созвездиях — как на качелях?.. А белесый свет! Прямоком в глаза. Никогда в жизни ему так близко и так лунно не сияло.

— Луна, — проговорил он, задыхаясь от счастья.

Старуха кашлянула:

— Луна?..

— Да, да!

— Возьми-ка ее. Сунь ее мне под зад.

Алабин отпрянул, даже отдернулся от нее. Шутиха... Как это можно!

— Можно, можно... Угу-гу, — скрипел ее голос. — И не пыhti, старик, слишком. Не парься.

Петр Петрович очнулся. Весь в гнев... Иллюзия не то чтобы кончилась — исчезла разом. Никакой Ани... Он ясно и внятно (и опять как со

стороны!) видел старика, склонившегося, искаженно нависшего над старухой. А та знай лепилась к нему, жмясь снизу к его телу.

Особо отталкивающего не было в этом, но... Но кособокая старуха... Сторожиха... Похоронщица. Оба полуодетые, они напоминали совокупающихся сезонных рабочих. Старого замшелого прораба и безликую маляршу. (Где-нибудь на стройке... На высоком этаже строящегося дома.)

— Ага-ага!.. Угу-угу! — подбадривала его старуха. — Но только шибко не пыхти. Второй-то раз меня не разогреть. — И еще прошамкала: — Слышь... Не лезь из кожи.

Сердце его оскорблялось с каждым ее словом. И он вдруг сорвался. Ударить старик, конечно, не ударил. Кто ж дерется с женщиной... Зато рукой, жесткими пальцами он рьяно ухватил ее за ухо. Чтоб потаскать туда-сюда.

Михеевна испугалась.

— А что? А что?.. А что я такого про луну сказала?

— Значит, сказала.

— А что ж такого? Отпусти ухо!.. Оби-иделся! — громко возмущалась она. — Я ж думала, это в по-омощь...

— В какую помощь?

Старуха жалостливо (и одновременно глумливо) гундосила:

— Женщине в по-оомощь. А ка-аак же... А как иначе? Ежели трахаешь уже усталую.

— Я лучше знаю, как трахать усталых.

— Ну вот... Я так и подумала. Конечно, конечно! Такой ядреный мужчина разве не зна-аает... О-оопытный.

И вдруг хехекнула:

— Хе-хе... *Женщине должно быть удо-обно.*

Он смолчал. Он бы уже выставил Аннету Михеевну вон, если б не ско-рая вдруг мысль. Если б не эта мгновенная мыслишка... Про обновление еще и еще — про фантастический возврат старой карги в юность.

А этот ее обратный обвал в старость... Возможно, возврат всегда у нее груб и слишком стремителен. Ему оскорбительно и больно. Зато цени миг, Петр Петрович... Зато каким крутым обломом вдруг видишь свою собственную жизнь — матерую и циничную старуху, глумящуюся над тобой же.

— Пить, — сказал он. — В глотке пересохло.

И чтобы еще раз не сорваться, Петр Петрович поднялся с постели и прошагал на кухню. Он еле сдерживался. Ему вслед бедовая старушка шутила:

— А выпей, выпей... У некоторых, я читала, и с воды встает.

Пил... Утолив жажду, вернулся не сразу. Минуту-две Петр Петрович постоял у окна... Ну, дрянь баба. Ну и ну... Луну! Луну под жопу. Еще чего! — старика прямо трясло от гнева. Он подпрыгивал на месте. Как такое можно?!

Небо (в ночном окне) продолжало сиять. В этом дивном лунном свете Петр Петрович простил ей ее житейскую грубость и старческое хамство. Простил, как если бы прощал сам себе. (Если она — его жизнь.) Ведь хозяйка... Может круто настоять... *Женщине должно быть удобно.*

Однако лежал он, все еще подчеркнуто отвернувшись к стене. И даже уткнувшись лицом в стенку... А Аннета Михеевна, сопереживая, сидела здесь же, на постели. С ним рядом... Сидела она теперь очень сдержанно, деликатно, — и несомненно слыша его обиду.

Вдруг она протягивала ладонь к спине старика, чтобы он тоже услышал ее сочувствие. Но тут же и отводила руку. Не сразу решаясь...

— Эй, — дружелюбно окликнула она.

Это правильно, когда ласку примирения начинает женщина. Когда начинает мужчина, спешка... бег с барьерами... одно, другое... третье... Когда начинает ласку женщина, секунды перестают стучать. И летящая мимо по воздуху тополияная пушинка вдруг зависает.

Но сначала Аннета Михеевна повинилась. Ну, согласна, согласна! Внешне (да и голосом тоже) она как женщина сильно сдала... Да, да, грубовата. Насмешлива... Так ведь сам сказал, ей уже тыща-другая лет, ха-ха-ха-ха! Тыща... Но в интиме (она именно так выразилась, изысканно)... Но в интиме с ней можно ладить. *Ласковая.*

— Слышь?.. А ведь я — ласковая.

Она наконец прикоснулась своей давно тянувшейся к нему рукой. Огладила раненое плечо. Да ведь и в этом жесте слышалась просьба ее простить. Прилегла рядом... Алабин (спиной) слышал льнущее к нему тело. Возможно, мирясь, она нервничала. Ее немножко трясло.

Но вот приникла тесней, и когда старый Алабин в общем-то был готов простить... *Да, да, он уже было расслабился ее добротой, ее осторожной лаской...* Когда он... Вдруг хлынул холод.

Стужей накатывало ему прямо в спину. Волной — от нее к нему. Вместо тепла.... Так и ускользнул миг. Его великий миг... Старуху трясло не жаром какой-никакой страсти, а холодом.

А-а, подумал старик. Там этот холод. И ничего больше. Там ничего другого *для него* уже не было.

Да ведь и можно понять: что ей, с ее тыщей лет, — что ей Алабин с его одной секундой?

Он сник. Вяло так лежал, жался к стене... Зато от стенки, как казалось, шло теперь к нему осязаемое тепло. (На контрасте.) Петр Петрович даже подумал, может, за стенкой кто живет. Кто-то подселился... Кто-то там теплый... Кто бы ты ни был, сосед. Кто бы ты ни был, — думал он... Бредил.

Михеевна негромко журила его.

— Говорила же: не парься. Хе-хе-хе... — вполголоса (скромно) она усмехнулась. — По-второму разу меня все равно не разогреть. Еще никому не удавалось... Из смертных.

Казалось, рядом с ним заговорила сама подушка — холодная, если не ледяная. По второму разу жизнь не разогреть.

— Слышь... Эй!

Она. Ее голова от него слева... Седые космы... И ее утешающий голос:

— Не огорчайся. Кой-что сумел... И то молодец. Попыхтел.

Ее слова были не злы, но от тела ее шел все тот же нескончаемый холод... Остываю, подумал он. Остываю... Тщета усилий? Но почему вся жизнь на кону? Может, что-то было им упущено? Старик не искал других виноватых...

Его сознание все еще было заморожено — или, лучше сказать, заморожено чем-то вроде долга перед жизнью. Вроде бы что-то главное, что-то слишком серьезное стояло за этим их затянущимся общением со старухой — но что?

— Эх, милай... — разболталась тем временем все схватывающая на лету Аннета Михеевна. — Жизнь, как старá баба!.. Жизнь, она ведь человеку не против. Именно!.. Жизнь не противится, когда ее трахают случайно, налегке, на таланте, первым легким разом... Слышь?

Старуха легонько толкнула его в лопатку:

— Но жизнь не любит повтора. Слышь?.. Но тем сильнее жизнь не любит, когда по второму разу... когда ее принуждают и разогревают заново. Когда принуждают трудом. Хе-хе-хе-хе... Это уже не просто сердит. Это злит... И жизнь, ты уж пойми ее, не хо-оочет. Не позволяя-а-ает.

— И потому в ответ — холод?

— Холод? — Старуха удивилась.

— Ну да.

— Тебе, что ли, холодно?

На полу старик нащупал рукой недопитую, как ему думалось, бутылку. Сделав пустой глоток, он тут же сомкнул губы... Пусто... Да и не грела, как он уже знал, самопальная водка.

Петр Петрович бросил бутылку — и как же легко, как охотно и как предметно она откатилась куда-то в глубину, под кровать. Этот звенящий звук перекатывающейся бутылки... В никуда.

— Что это ты пялишься? — спросила.

— Да так.

— Та-аак, — смеясь поддразнила Аннета Михеевна. — А перетакивать не будем?

Петр Петрович слишком напряженно смотрел на нее. Словно бы он увидел сейчас не старуху, а что-то вдальеке. Увидел что-то, чего никогда в женщинах не видел прежде... Она превосходила его!.. Она, а не он, долгожитель в этой вечной тяжбе. Он — только искра. И что он, что другой — ей без большой разницы. Тыщи лет... И в точности так она обработает завтра следующего зажившегося старикана, сюда даже не оглянувшись! И уж конечно, не вспомнив, что у предыдущего старика тоже было свое лицо, что было имя и что был он Петр Петрович...

Отчего у меня такая ясная голова, — думалось ему... Откуда эта ясность? Или, когда по-настоящему холодно, у человека не бывает разномыслия. Холод как билет в одном направлении.

— Не-еет, — протянул ее голос, осклабясь. — Второй раз разве что посме-ертно. Когда тебя уж не будет.

Она скривилась в снисходительной улыбке:

— Бывает. Бывает, что воздаду-ут... Медаль уважительную, а? Посмертно. Кто что любит. Иль орденок геройский?

За окном едва-едва светало. Ночь... Петр Петрович Алабин, зоркий старик, всматривался в крестовину оконца.

Аннета Михеевна посмеивалась:

— Ведь я, ежели взглядеться, и ласковая, и добрая, — и красивая. Раскрасавица...

Старуха нашла шерстяное одеяло, набросила поверх: так и быть, согрейся малость, Петр Петрович! Она подтыкивала углы, но и сквозь два одеяла руки ее оставались холодны.

Он вдруг стал слышать, как уходит его тепло.

— Раскрасавица, верно? — посмеивалась.

Она, эта сука, его жизнь, встала под серенький просвет окна: ей хотелось, чтобы старик разглядел, что она нага до пояса. Чтобы увидел ее тяжелые груди. Чтобы признал ее холодную красоту!.. Юбка на ней колыхалась. И груди.

— Смотри, смотри лучше... Не фыркай... Да ты разглядел ли? Сюда посмотри!

Она изогнулась бочком, отчего излом ее бедер, и правда, стал выпуклее и заманчивее.

— А что?.. Стриптиз... А вот и не хуже других!.. Женщина! — ухмылялась изгибающаяся в неслышном ритме старуха.

Она там пританцовывала. Ей явно нравилось само движение. Изгибалась в талии. Ногой вправо — ногой влево... Его жизнь?.. Эта пляшущая, кривляющаяся, циничная и по-своему великолепная старуха. Ладно. Какая есть. Как в кошмаре. Пусть пляшет.

— М-мм... — стонал Петр Петрович.

Когда Петр Петрович очнулся, вокруг стоял тот же злой холод. Тело его задеревенело. А карге хоть бы что!.. Старуха знакомо лежала с ним рядом и от не фига делать болтала ногой. Она поддевала носком ноги какую-

то тряпицу и подбрасывала ее вверх — этак на полметра... И снова поддевала... Молча. И с некоторой забавой для самой себя.

Он же вдруг замер. Его-то ноги, где они?! Их не было. Ниже колен он вовсе ничего не чувствовал. Ноги были, но потеряли чувствительность. Застыли... Господи! Какой холод! — спохватился Петр Петрович.

Он дернулся вправо. Дернулся влево... Взобрался на старуху, а она его насмешливо подбадривала:

— Вот дурачина!.. Ну, ладно, ладно. Давай, давай живей!.. А то мы совсем окоченеем!

Возможно, рана в плече еще усилила его жар. (И соответственно — усилила чувство холода извне.) Петр Петрович уже мало что соображал... Но он старался. Он очень старался. Бедняге все думалось, что своим упорством и постельным мужеством он спровоцирует и подвигнет старуху на еще один выплеск юности. Хоть на коротко. Хоть на пять минут... Он еще и еще заставит молодеть ее лицо, ее руки, грудь... Да хоть на пол-минуты, жизнь ты моя, сука ты старая...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Скверная мысль вдруг пришла ему в голову. Нехорошая мысль. Он нацелился и уже было потянулся руками к ее горлу. К ее старой шее. Но куда там!.. Руки не посмели... Вместо *этого*, как оно и бывает у мужчин, он только прихватил, притиснул подругу поцепче. И пальцами рук, с напругом, стал прощупывать ее плечи... Ее бедра... И еще раз бедра. И еще... Мол, так нам будет слаще. Острее спровоцировать чувственность!.. До самой надкостницы, до суставов, до хрящиков. Тонкие, однако, косточки...

— Больно! Больно! — ворчнула она.

И даже дернулась.

— Больно? — мстительно и с яростью спросил он. — А жить мне было не больно?

В голове, в висках у него давно звенело.

— А жить мне не больно? — переспросил старик.

Он выждал паузу, вода взглядом по знакомым стенам, в которые ввинчивался сейчас лунный свет.

— Ой-еей! — пискляво пела старуха, поддразнивая якобы проснувшимся в ней желанием.

— Слабо? — хрипел он.

Жилы на лбу старикана вздулись. И сама природа, сама генетическая память уже кричала: стоп, стоп! (Праотцы, прадеды с небес визжали и вопили ему — прочь! прочь от этой пропасти! от этой ямы!)

Стены, пол, сама постель (под его телом) дышали на старика жаром, летним зноем — и все потому, что с другой стороны на него дышало (и аж свистело!) контрастным холодом от этой вечной, не насыщаемой чужими жизнями старухи.

Зато он слышал, как заворочался влажный ком его сердца, выплюкивая кровь боевыми толчками. Сердце — вот кто сейчас старался изо всех сил!.. Алабин возликовал. Хлоп-хлоп!.. Хлоп-хлоп-хлоп! Птица с перебитыми крыльями, его старое сердце пыталось взлететь.

Ждал минуту! Не только же ледяную подругу, но и себя самого Петр Петрович торопил и гнал к новой и прекрасной (быть может!) вспышке юности. Но...

Но неожиданно старикан взмахнул рукой, вдруг сильно откинулся с постели и рухнул на пол. И провалился навек в небытие...

Старуха кой-как с кряхтеньем выбралась из постели. Устала... Она очень устала.

Она пошла посмотреть, как у старика с горячей водой. Ванны, конечно, нет... Душ по бедности... Но хоть так! И вода есть... Вода горячая!

Мертвый, он лежал на полу. Как рухнул, словно подломившись, так и лежал. Мой все-таки!.. Кого хошь догоню! — удовлетворенно подумала Аннета Михеевна.

Свежая, чистая после душа, она с удовольствием шлепала по половикам босая.

Как все они, только что умершие, старик стал покрасивше лицом. Причина проста: жизнь в эти секунды отдает лицу свое последнее. Беречь теплоэнергию незачем... Дальнейшее старение гражданина Алабина, Петра Петровича, не предусматривалось.

Вот только выражение упорства в его стиснутом рту означилось столь определенно, что Аннете Михеевне не понравилось. Старуха решительно провела ладонью. Она даже слегка приклепнула по мертвым губам, как бы стирая его лицо в ноль... И хмыкнула:

— Надо же!

Старушке хотелось бы рассмотреть свою ночную добычу. Но склониться к нему ниже и ближе оказалось ей тяжело. В пояснице стрельнуло... Аннета Михеевна лишь слабо передернула занывшими бедрами. Натешился, сучонок! Бедра еще помнили последнюю мужскую хватку.

А ведь ей работать! Пропылесосить у Козаковых и сжечь старые стулья у Серегиных. А еще полы помыть!..

Ага: выкосить траву вдоль заборов, это можно прямо сейчас!.. Уже светает. Косу она уж третий день у забора держит — чтоб далёко не бегать. У липы стриженной.

Она помнила, как старикан Алабин схватился за сердце... Левой вдруг рукой. Этот его мах рукой ей о косе и напомнил... Инфаркт, скажет врачешка, когда придет... Они все слова знают. Много слов знают, хе-хе... *Ин-фуркт!.. Ин-фрукт, хе-хе-хе-хе!.. Ин-фу-фу!*

Она представила, как будет врачу или кому-то еще рассказывать. И на пробу заговорила. Жалостливо... Ернически жалостным голосом:

— Подра-аанили его... Подра-аанили старичка из ружья не нынче. Еще позапрошлой, он сказал, ночью. Но рана болела, ох, болела!.. Одинокий и лежал.

И еще подхмыкнула, по-старушечьи:

— А я что... Я ж пожалеть хотела. Пришла к нему.

Пора!.. Дачная трава негуста. Но роса хороша. И потому трава валилась сама собой, когда старуха с косой наступала шаг за шагом.

А вот здесь надо поаккуратнее. Кусты не задеть, у корней не поранить. Смородина ягода це-еенная...

Солнце... А возле дач, что по левой стороне, уже все выкошено. Костлявая и сильная, Аннета Михеевна заваливала траву ряд за рядом. Только и слышно, как ровно посвистывает коса при срезе... «Легко косит!» — подумалось старухе то ли о косе, то ли о самой себе.

Легко ложились вповал что лопухи, что цветики. И как же мощно разносился вокруг дух свежего покоса! — ни с чем не сравнимый сладкий запах только что оборванной жизни.



СЕРГЕЙ СТРАТАНОВСКИЙ

*

СО СПОКОЙСТВИЕМ В СЕРДЦЕ

* *
*

Жизнь — ты куст иван-чая
у больничной кирпичной стены
На прогулке встречая,
мы тебе улыбнемся невзросло
И заплачем невзросло,
если вдруг обломают безмозгло
Или срежут бесцельно
2003.

Диптих

1

Обо мне помолитесь,
а я не могу, не умею
Я от горя немею
и Богу одно лишь скажу
Вслух скажу, что не верю,
а только надеюсь, люблю...

2

Говорил, что не верю,
но все-таки верю немного
Но не в грубого Бога,
хозяина неба и слез
Верю в Свет невещественный,
вдруг озаряющий мозг
Свет, во тьме копошащийся
Весна 2003.

Сергей Георгиевич Стратановский родился в 1944 году в Ленинграде. Один из ярких представителей ленинградского литературного андеграунда. Автор трех поэтических книг. Лауреат премии имени Бориса Пастернака (2004). Живет в Санкт-Петербурге.
Поздравляем замечательного поэта с шестидесятилетием.

Психотерапевтическое воздействие телевизионной рекламы

Слушай, боль и больница
 не должны заслонять горизонт
 Пусть счастливые лица
 и нам улыбнутся с экрана
 Пусть начнется реклама,
 завертится жизнь-карусель,
 Предлагая товары
 добротные, нужные всем
 Пусть обрадуют взор
 чудо-печи и лучшая пицца

Рекламируют специи,
 рекламируют мебель из Греции
 То на фоне Олимпа,
 то на фоне Афин рекламируют...

Что ж... Будут деньги — мы купим
 2003.

* *
 *

Здравствуй, рай, — я сказал —
 здравствуй, рай
 Долго шел я к тебе
 и вот наконец обрел
 Мимо пропасти шел,
 мимо пасти, разверстой на местности
 Рай мой, рай обретенный,
 но знаю, что ад отстраненный
 В силах прыгнуть по-рысьи
 2004.

* *
 *

Что в России? Поворот на Запад?
 Выветрится ли наконец
 Лестничный трущобный запах,
 Запах психбольниц
 и этих лиц понурость
 Хмурость ущербная
 исчезнет наконец?
 2003.

* *
 *

На реке непрозрачной
 катер невзрачный какой-то
 Пятна слизи какой-то,
 презервативы, плывущие
 Под мостами к заливу,
 мимо складов, больниц, гаражей
 И Орфея-бомжа,
 что в проходе к метро пел пронзительно,
 Голова полусгнившая
 2003.

* *
*

Замогильный мобильник
звонит в пиджаке у покойника
В склепе великолепном,
тортоподобном, огромном
«Как там в склепе, Колян?
Как там в смерти? Не тесно?
Или сносно? И, может быть, лучше и нам
В мир иной перебраться?»

2004.

* *
*

Упирь из ГПУ,
неужто же любовью
Прекрасной женщины спасается и он
И словно дикий сон
кровь дел своих забудет?

Забудет? Может быть... Но сможет ли любить?

2003.

Итальянские залы в Эрмитаже

Русский ковчег — сны умбрийские,
окна на горы лазурные
Ну а в окнах напротив:
невская тьма, льды стигийские,
Снег смурной,
и на том берегу, за пургой
Всей России тюрьма. Крепкозубье
Казематов холодных

2003 – 2004.

О карликах

1

Карла петровский, уродец,
но роста обычного сын
У него, недомерка

В гвардию сызмальства сын
Был зачислен по милости царской
За потешность родителя
и теперь презирает отца,
Его службу колпачную,
его обреченность до гроба
Быть курьезом природы

Стихи о советской Индии

Арьяварта великая,
 у львиной короны английской
 С гиком-свистом отбитая
 натиском конным, буденным
 И бежали британцы,
 сам вице-король улепетывал
 С другом Киплингом вместе

И закрылись ашрамы,
 и рушиться начали храмы
 Скрылись в Ганге навеки
 ее божества многорукие
 И настала тоска,
 но зато говорят, что в Москве
 Завелись индуисты,
 и кто-то размножил подпольно
 Гиту — книгу великую
 2004.

Туринская плащаница

Говорят, что подделка,
 но тогда до какого паденья
 В морок черный
 дошел тот алхимик ученый
 И художник искусный,
 оскорбивший деянием гнусным
 Муку крестную Господа
 2004.

Старец Симеон колеблется

Он? А может быть, и не Он вовсе
 Знаменья были — я знаю
 И звезда весьма яркая
 трем волхвам освещала дорогу
 Так что Он, вероятно,
 и теперь я могу мир покинуть
 Со спокойствием в сердце

Были дни Хасмонеев,
 были волненья народные
 Слишком много я видел —
 устали глаза от гляденья
 Слишком много я слышал —
 насытился слух шумом суетным
 И устал я от жизни,
 и готов умереть, но не знаю,
 Он ли слава Израиля, народа Спаситель, Мессия
 Или ждать нам другого?

2004.



БОРИС ЕКИМОВ

*

«НЕ НАДО ПЛАКАТЬ...»

Рассказ

Пятьдесят тысяч рублей наличными получить и доставить на хутор — разве не тревога? Тем более для бабы. Пятнадцать километров пустой степью да лесистыми балками. Хорошо, если подвернется машина-попутка. А то и пешком бреди, с оглядкой. Нынче времена лихие: не волков бойся, людей.

Хуторская почтальонша Надя почти пять лет на своей должности: два раза в неделю забрать в станице письма, газеты, доставить на свой хутор да разнести по людям; и раз в месяц — пенсия. Вроде привыкла, приладилась: деньги прятала в широкий дерматиновый пояс, на голое тело, прикрывая одеждой. Но разве это спасенье? Пенсионных дней Надя не любила, боялась их, особенно в глухую пору: осеннюю, зимнюю, когда попутного транспорта не бывает. Добрые люди в домах сидят, лишь волки по степи рыщут.

Но зима нынешняя баловала. Рождество и Крещение остались позади, а настоящих холодов не было. Прихватывал мороз и отпускал. И снег: то белой крупой сечет, то лепит ленивыми хлопьями, но то и другое ненадолго, вроде понарошку. В степи, на буграх и во впадинах, трава хоть и почернела, но отмякла, даже на ковыле скотина хорошо пасется. Хозяевам — радость: на базу больше сена останется.

И дороги, слава богу, хорошие: ни грязи, ни снежных переносов. Хуторских школьников почти всякий день в станичную школу возят в могучем грузовике с брезентовым верхом. Там — скамейки. Места хватает. Да и свой народ, который при машинах за хлебом да иной нуждой в станицу да в райцентр нечасто, но ездит. Словом, можно жить.

С январской пенсией Наде и вовсе повезло. Из почты вышла, увидела Володю Арчакова. У него — грузовик и до самого места доставит.

— Домой едешь?! — окликнула Надя.

— Домой! Чего?.. Огрузилась деньжищами, не дотянешь?

Про пенсии он, конечно, знал. Для хутора этот день был праздником, его ждали. Тем более что колхоз развалился, и теперь ни зарплат у людей, ни авансов. Вот и ждут всем миром стариковскую копейку.

— Огрузилась, — ответила Надя. — Разгрузиться бы...

— Разгрузимся, — успокоил ее Володя. — Заедем в Малую Россось. Там целых два магазина. И загуляем.

Надя посмеялась. Кто бы другой говорил, а Володя Арчаков спиртного в рот не брал. На хуторе он тоже был пришлым, из Киргизии. Фермерствовал, как нынче говорят, понемногу занимаясь бахчами: арбузами, тыквами, дынями. Старенький трактор был у него, грузовая машина.

Посмеялись, поехали.

— А ты не боишься с такими деньгами?.. — спросил Володя.

— Боюсь. А чего делать? Работа.

— И никогда ничего?

— Бог милует. Пять лет уже...

В кабине грузовика было тепло и уютно. Негромко играла музыка. Хозяин машины был мужиком крепким, нестарым еще, на лицо приглядным, но жил бобылем. Лишь летом да осенью, когда он продавал арбузы, объявлялась какая-то баба с мальчишкой. «За оброком...» — посмеивались на хуторе. Володя Арчаков жил бобылем, но содержал себя — с иными семейными не сравнить: в одежде аккуратен, пострижен, побрит, и даже в машине его пахло не бензином, а чем-то приятным.

Миновали Малую Россошь — глубокую просторную балку с речушкой да горсткой домиков, дремлющих в зимнем безлюдье. На воле пошел снег. Редкий, но крупный, в куриное перо.

А от Малой Россоши лишь на высокий курган подняться — и кати до самого дома дорогой пусть и ухабистой, разбитой, но морозом прихваченной, езжей.

Доехали, словно долетели. Открылась внизу, под горой, просторная долина в обрывистых меловых курганах, лесистая урема над речкой и хутор: дома и усадьбы, живые и брошенные, и вовсе руины в дикой поросли садов — все лежит вольготно, раскидисто, от далеких развалин колхозной фермы до леса и речного берега. Приехали.

— Чем с тобой расплачиваться? — спросила Надя.

— А то не знаешь? — засмеялся Володя. — Расступися, рожь высокая... Только так.

Не было в его намеке ничего грязного. Лишь озорная веселость молодого еще мужика. И на лицо он был милым, улыбчивым, с добрыми глазами. Надя ответила с тем же озорством:

— Да где же рожь найти? Колхоз не пашет, не сеет.

— Родная, ты лишь скажи, я все посею! — пообещал Володя. — И рожь, и чего хошь.

Он подвез ее до самого дома, потом развернулся, не торопясь поехал и даже послышался на прощанье. Надя, уже у ворот своих, махнула ему рукой, улыбаясь, радуясь хорошему человеку.

Но, прогудев, уехала машина. Маленький праздник кончился. День продолжался. Подступала нелегкая для Надиной души забота: пенсии по хутору раздавать. Казалось бы, что в том худого? Но уже слышала Надя голос иной машины — Мишкиного мотоцикла, который завелся, как всегда, не сразу, с чиханьем и гулким стреляющим выхлопом.

Подворье Надиного сожителя — Мишки Абрека — лежало рядом, лишь пустырем отделенное. Для Мишки нынешний день тоже жданный, хотя до пенсии Абреку еще далеко, живет иным: коровы, свиньи, куры. Но еще — самогон. Весь хутор и округа знают: самогон у Абрека самый лучший, он из сахара. И не больно дорогой. Днем и ночью бери, было бы на что. Можно и «под запись», в тетрадку, но для людей надежных, какие пенсию получают. Раз в месяц — расчет. Сегодня — тот самый день.

Надя не успела в дом войти, Мишка уже подъехал, кричит: «Погнали!» Мишкин «вездеход» — мотоцикл с большой самодельной коляской; он ржавый, с подтеками, вонью и дребезгом — рабочая лошадка, похожая на хозяина своего. Мишка бреется один раз в неделю, засаленная телогрейка на нем, такая же шапка-треух. Абрек отсидел «червонец» в тюрьме и похож на «затюремщика»: железные зубы, сиплый голос, глубокие морщины, сутулится. Рядом с ним Надя глядится вовсе приглядной молодухой, чуть не девчонкой.

— Погнали... — торопит Мишка. — С Арчаковым приехала? К порогу подвез. То-то и лыбишься, аж цветешь.

— Углядел, — вздохнула Надя, усаживаясь на заднее сиденье.

Поехали. Затряслись по хуторским колдобинам.

Первый на очереди — Чекалов Федя. Чекалка — молодой пенсионер, всего лишь год получает. Подъехали, посигналили, он тут как тут.

Надя свою ведомость открывает, Мишка — свою. Тысяча двести рублей пенсия. Четыреста рублей — долг Абреку. Из рук — в руки.

— Обмывать будешь? — спрашивает Мишка, загодя зная ответ и потому протягивая руку в коляску.

— Давай.

— Сколько?

— Одну. Пока...

— С подвозом, без транспортного налога, с таких денег... — стыдит его Мишка. — И праздник на носу.

— Какой еще?

— Да масленая, калмычина!

— Ну, две давай.

Пластмассовые, на полтора литра бутыли — Мишкин стандарт. «Я по чекушкам не разливаю», — давний ответ. Уже привыкли. Так даже удобнее. Меньше беготни.

Поехали дальше. Катайкины, дед Минай, Галя-чувашка, Гена Крокодил, Чиликины, Дюдя...

Просторный хутор, когда-то людный, на двести дворов, теперь доживает. Дома — вразброс, меж ними — брошенные усадьбы, руины, дикие сады, терновая непролазь, где прячутся хитрые лисы, а может, и волки уже завелись.

Одинокий Дюдя, Пашка Конь со старухой...

Обслуживание — с колес, возле мотоцикла. Надина ведомость и Мишкина тетрадь в колленкоре. Там все учтено: будни и праздники.

— Распишись. Минус двести. Обмывать будешь? Две бери, а то и три. Ноги свои пожалей. Нынче с доставкой, не чикилять на бугор, — уговаривает Мишка. — Вот и правильно. Когда еще такая лафа припадет.

У кого «запись» на сотню, у кого на две, а у кого и поболее. У Гали-чувашки хорошо если на хлеб останется.

— Распишись. Одну или две? Бери побольше, она не заплеснеет. А цены растут. Вдруг сахар подорожает, — пугает Мишка.

А Вера Катайкина из месяца в месяц лишь распишется да руками всплеснет:

— Ты, может, ошибся?! — Чернолика, худая, носом подфыркивает, голосом пускает слезу. — Ждала, ждала, как светлого воскресенья. Ныне с утра выглядала... Может, перечтешь?.. — просит она Мишку. — Там, може...

— На може плохая надежда, — отрезает Мишка и тут же находит выход: — Надежда у вас на президента Путина и на меня. Не дадим помереть. Государство об вас заботится. Опять пенсию повышают вам, а вы все ругаетесь. И я вам прямо под нос подвожу. Ладно. Бери под тетрадку, на тот месяц.

— Сколь дашь?

— Одну. Месяц длинный.

Слава богу, мужик у Веры Катайкиной хороший сварщик. Он понемногу работает в соседнем хуторе, при мастерской. Мукой получает, зерном. Тем и живут.

Для Нади не больно сладко глядеть и слушать все это. Так и не обвыклась. А уже пять лет на хуторе.

Пять лет назад — а вроде совсем далеко — погожим августовским днем к давно пустующему подворью и дому на хуторе подъехала машина «Газель» с нездешними номерами. За рулем — молодой небритый чеченец. Машина простояла недолго, оставив у ворот узлы да сумки с домашним скарбом, двух женщин, маленькую рыжеватую девочку и тощую, тоже рыжую кошку.

Позади у приезжих была долгая, чуть не в тысячу километров дорога, и потому, утомленные, они не сразу поняли, что их трудный путь позади.

Молодой чеченец, высадив пассажирок, сказал: «Здесь живите. Ваш дом теперь здесь. Вот на него документы».

— Но ведь нам говорили... — опомнившись и растерянно оглядываясь, стала возражать одна из женщин, та, что помоложе. — Нам обещали районный центр, небольшой, но городок. Ведь мы отдали двухкомнатную квартиру и большой дом в станице. И нам обещали. А здесь...

— Ничего не знаю. Сказано, здесь живите, — отрезал чеченец, усаживаясь в машину.

— Но как же...

Завелся мотор; машина, погромыхивая на колдобинах, стала медленно удаляться. Молодая женщина прошла за нею шаг-другой, остановилась и, будто не веря себе, растерянно огляделась вокруг.

Голос ушедшей машины растворился в густой тишине огромной степной долины, которая уходила вдаль и вдаль. А здесь, рядом, лежала горстка домиков, словно камешки, кем-то брошенные и раскатившиеся далеко друг от друга по просторной ложине.

Ухабистая дорога, холмленная степь, тихое полуденное селенье, словно мертвое, в нем — ни гласа, ни звука.

Молодая женщина все поняла и, подойдя к матери, сидевшей на узлах, заплакала, сказала:

— Нас обманули. Нас опять обманули, мама.

Рыжая худая кошка, очумевшая от долгой езды, тряски, бензиновой вони, громко мурлыча, скользнула во двор через проем разломанной калитки. Там она обнюхалась и, вернувшись, стала тереться у ног хозяйских, призывая громким «мур-р-р... му-ур-р-р...» и теперь уже уходя далее во двор, к приземистому дому.

— Пошли, — сказала дочери старая женщина. — Кошка вошла, зовет. Это хорошая примета.

А что еще оставалось делать?.. Вошли.

Двор был просторным. Окружали его сараи, катухи, базы — все дряхлое, заросшее высокой коноплей да раскидистым жестколистым дурнишником. Обступали подворье, словно охраняя его, огромные грушевые деревья с вековыми морщинистыми стволами, толстыми ветками, могучей лиственной кроной.

— Как тихо... — проговорила старая женщина, войдя во двор и оставиваясь. — Как спокойно... Боже ты мой... — Голос ее дрогнул, и она заплакала, оседая на мягкую зелень травы.

Дочь опустила рядом, прислонила к своей груди седую голову матери, стала гладить ее, утешая, и тоже плакать слезами тихими о том горьком, о том страшном, что осталось позади.

А рыжая кошка минуты не могла помолчать. Она уходила к дому, к его крыльцу, и, возвращаясь, терлась возле хозяек. И звучное «му-ур-р-р... мур-р-р...» наполняло двор.

За воротами еще оставалась маленькая рыжеволосая девочка да скарб домашний.

А рядом, на пустыре, от одного грушевого дерева к другому, из тени в тень, переходил старик в соломенной просторной шляпе, с табунком овец. Старик цеплял грушевые ветви длинной клюкой — герлыгой, энергично тряс их. На землю сыпался дождь желтых плодов. Овечки торопливо подбирали сладкую еду, звучно хрупая.

От дерева к дереву старик направлялся к приезжим, естественно любопытствуя. Новые люди на далеком степном хуторе были в диковину.

Знакомство состоялось быстро. Сначала с девочкой:

— Здравствуй, моя хорошая. Откель тебя привезли, такую красивую? Издаля, издаля... Погостить приехала? А у тебя зубки есть? Тогда нашими грушечками угощайся. — Из полотняной заплечной сумы достал он отбор-

ные плоды, нахваливая: — Бергамоты и черномяски. До чего сладкие, чистый мед.

Со старшими, во дворе, пошли иные беседы. Говорливый старик не скупясь ругал все подряд. Сначала чеченцев.

— Они абманаты! — тонко кричал он, вытягивая жилистую шею. — За эту хату они Вовке, внуку бабки Парани, четверть самогона поставили. А он и рад, капеля. А возле Евлаши вовсе в разваленную хату людей привезли, тоже из Чечни. У них была городская квартира, с ванной. Вроде обмен. А привезли и кинули в развалюху. И как хочешь живи!

Потом о тутошной жизни вещал.

— Какие магазины?! — удивленно округлял он глаза. — Господь с вами! И знаку об них нет. Давно закрыли и поломали. Под корень извели! За хлебом — в Малую Россошь. Это так-то вот, через гору. А зимой лучше берегом, там затишно.

— Какая работа! — отмахивался он. — Колхозу нет, и все на мыльный пузырь свели. При колхозе был молочный комплекс, тракторная бригада, свинарник, плантация поливная, кузня. А ныне — свобода, как хочешь живи. Скотину угнали и технику всю забрали. А куда дели, никто не знает. Приватизация, — трудно, но выговорил он. — И в станице такая же песня. И в райцентре, там у меня дочка с зятем живут, тоже все позакрывали. Свобода!

Старичок пошумел посреди двора, ругая нынешние порядки да худых людей, и подался, разнося по хутору весть о новых поселенцах.

А приезжие стали устраиваться на жизнь, разбирая прежними хозяевами оставленный хлам и дрям. Устраивались да еще и гостей принимали, хуторских, любопытствующих, каким не терпелось на новых людей взглянуть.

Прибрела с костыликом старая Клавдия по прозвищу Газетка, она нигде не опаздывала. За ней поблудный дед Федор, вдовец и бобыль. Потом Валентина Казначеева, а следом Федя Суслик.

Гости по-хуторскому напрямую выпрашивали приезжих: откуда? да как? да по какой нужде здесь оказались? и почему без мужиков? Горевали, сочувствуя. Бабы слезу пускали. Одно дело, когда в телевизоре воюют да людей убивают. Телевизор можно выключить. А здесь налицо беда.

Малая девочка, дитя, и та глядит на людей диковато, старается возле матери укрыться, прижимаясь к ней или к бабушке. А у бабушки — это в полсотни-то лет! — седая голова трясется, глаза глядят тускло, мало что понимая и видя, лишь одно твердит: «Как тут тихо, спокойно...» — «Да, мама, да... Спокойно... — вторит ей дочь, легко касаясь ладонью головы ли, плеча, поглаживая. — Тихо, мамочка, тихо...»

Рассказывать раз за разом свое горькое радости мало. Но куда денешься...

Зато к концу дня приезжие все знали: как за хлебом успеть, коли автолавка придет; у кого молоко покупать; как добраться в райцентр и в станицу — все для жизни. А на первый случай старая Клавдия принесла яичек и наказала приходить за свеклой и кабачками, «какие страсть уродились, а самой тянуть нет могуты». Федя Суслик приволок связку вяленой рыбы. Валентинин мужик, Тимофей, по приказу своей хозяйки прикатил полную тележку огурцов, помидоров, капусты, картошки да прочей зелени. И приглашал: «Приходите, берите. Мы вечно насажаем, чтобы земля не гуляла, а потом не знаем, куда девать. Закруток... в погреб не влезешь. А все сажаем, сажаем... Видно, природ такой, колхозный: паши и паши».

Последним, уже под вечер, объявился Мишка Абрек. Он жил недалеко, прибыл на громыхающем мотоцикле с коляской. Во двор Мишка вошел словно хозяин, Надю оглядел с ног до головы, спросил:

— Холостячка?

— Вдова... — тихо ответила Надя.

— Наво все приехала? Или завтра убежишь?

— Некуда бежать.

— И незачем, — подтвердил Мишка. — Только дураки бегают. А умные на месте сидят.

На седую мать и на девочку Мишка глазом не повел, детально обсматривая Надю, словно на торгу. А на нее не грех было поглядеть: молодая, пусть измученная невзгодами, но на лицо милая, рослая и крепкая телом. Густые, чуть рыжеватые волосы с золотистым отливом забраны в короткую косу.

— Лады... — окончив осмотр, сказал Мишка. — Поглядим, как вы жить собираетесь, — и зашагал к дому.

Надя поспешила за ним.

В пустом гулком доме Мишка оглядел стены да окна, хмыкнул, увидев сложенный в углу жалкий скарб, и спросил:

— Это все?

— Так получилось... — вздохнула Надя.

— Негусто.

Потом, во дворе, он встал возле Надиных домочадцев, словно впервые увидел их. Стоял и глядел пристально. Девочка прижалась к бабке, испуганная. И неспроста.

У Мишки Абрека нестриженная, с проседью шапка волос с низкой челкой на лбу, резкие морщины, железные зубы, глаза не глядят, а буравят. А голос прокуренный, сиплый. По всему видать, что не мирный крестьянин, а человек, Крым и Рым прошедший.

— А как они спать-ночевать будут? — спросил Мишка. — На полу? Вповалку?

— Как-нибудь... А потом, нам обещали...

— Обещанного три года ждут, — отрезал Мишка и приказал: — Поехали! — И не оглядываясь пошел со двора, зная, что его не посмеют ослушаться.

— Мама, ты куда? Я с тобой... — заплакала дочка.

Мишка обернулся, строго сказал:

— Карауль бабку и не реви. Сейчас вернемся.

Девочка испуганно смолкла.

Но вернулись и вправду быстро. До Мишкиного подворья — рукой подать, тем более на мотоцикле.

Вернулись и снова уехали. Сделали три ходки. Привезли три железных разборных кровати с панцирными сетками, ватные матрацы да шерстяные одеяла. Все, конечно, не новое, но и не рвань, гожие вещи. А еще — большую электроплитку, жестяное корыто, несколько ведер, тазов, блестящий чайник, алюминиевые миски да кружки.

Подворье Мишки Абрека было диковинным для глаза непривычного. Посреди огромного двора — невеликий жилой флигелек, а вокруг — сараи, клуни, большой рубленый амбар. Оттуда, из темных недр, Мишка выносил то, что полагал нужным для житья, ни о чем Надю не спрашивая. Молодая женщина лишь охала:

— Да как же... Да у нас и денег-то...

Мишка на эти охи внимания не обращал.

Перевезли, перетаскали пожитки. И стало понятно, что теперь и впрямь можно в доме жить. Воду согреть, помыться с дороги, еду сварить и спокойно отойти ко сну.

Надю Мишка взял тем же вечером, не уговаривая и не спрашивая, словно свое. И она не посмела противиться новому хозяину.

Назавтра Мишка пригнал двух мужичков, которые подправили забор, ворота, подлатали ступени крыльца, сменили несколько листов шифера на крыше. Трудились они резво день и другой. Мишка лишь указывал да подгонял их, приезжая на мотоцикле, сиплым баском покрикивал:

— Не сидеть, лодырюки! Потом будете дремать, в обнимку с бутылкой. Но бутылку надо заработать!

Мужички старались, побаиваясь Мишку, зная крутой характер его.

Его вся округа знала — Мишку Абрека. Не только ближние хутора, но даже станица, когда-то центральная усадьба колхоза. Он появился на хуторе лет десять назад, такой же, как сейчас: железные зубы, челка на лбу, сиплый голос. Тогда у Мишки была фамилия Обереков, а еще — десять лет тюрьмы за плечами, после которых он и уехал в глухомань. От прежних товарищей, от греха подальше.

Первый год Мишка провел у чеченцев в работниках, заслужив кличку Абрек. А потом огляделся, освоился, купил за копейки брошенную усадьбу и всерьез занялся самогоном, преуспев в этом деле.

Самогон у Абрека был настоящий, из сахара, не чета какой-нибудь отраве-«синюшке». И потому за питьем к нему шла и ехала вся округа, днем и ночью.

Еще колхоз был живой: его поля, фермы, скотина, корма. У Мишки быстро завелось собственное стадо: коровы, быки, пуховые козы; в загоне свиньи хрюкали; кудахтали куры. Сено, солому, зерно везли ему и везли в обмен на пойло.

Сам Мишка в рот спиртного не брал, баловался лишь чифирем — густым крепким чаем. Он жил бобылем и, считай, все дела управлял своими руками: поил, кормил скотину и птицу, коров доил и даже делал чеченский сыр, научился. В помощниках держал он каких-нибудь вовсе забытых, бездомных бродяг, которые порой исчезали, а появлялись другие, прежним под стать.

Но сам хозяин с утра до ночи — в делах. Шапка-треух, заватланная телогрейка, резиновые сапоги. Поутру коров на пастьбу провожает:

— Ханка! Мурка! А ну пошли на попас!

Имена у его коров блатные. А всех вместе зовет он их девками. Вечером кричит:

— Девки! Девки! Девки! Домой, домой!

Коровы его слушаются, идут.

Курятник у Мишки большой, теплый. Каждую неделю, по пятницам, перед базарными днями приезжают к Абреку скупщики: двести ли, триста яиц забирают и головки сыра; в свою пору продают он свиней, бычков. Самому Мишке по базарам некогда ездить. Хозяйство не бросишь. Оно у Мишки большое, словно грачиное селенье, гнездо на гнезде: катухи, загонны, сарайчики с хрюканьем, кудахтаньем да мычаньем. А еще — ухороны да погребца, в которых и дна нет. Там солится рыба, которую по весне везут подгулявшие рыбаки. Там хлебные закрома, немереные. Там всякого добра хватает: тюки овечьей шерсти, мешки козьего пуха, птичье перо для мягких подушек да перин. Туда унырнула мебель из колхозного дома животновода, с полевого стана и колхозная же столовая вместе с холодильниками. Тащат, везут к Мишке всякое добро, свое ли, ворованное. Он берет без разбора, ценя все в копейку. С народом пьющим у него разговор короткий: «Прибавить?! В рыло?!»

Мишка — хозяин. В делах у него порядок. Правда, в дом не войдешь: брага пыхтит во флягах, квасится молоко для сыра, днем и ночью течет ручеек из самогонного аппарата — все духовитое, с непривычки голова кругом пойдет. Но Мишка — привычный, и свое — не воняет. Да и расслаживаться в доме ему не с руки.

А еще Мишка любит баб. На хуторе с бабами не густо: старье да потрепаннные шалашовки вроде Мани Дворняжки. Потому и Надю он с ходу захомотал. Кинулся, ухватил, и стала своей. И держит пять лет. Значит, по нраву.

Целых пять лет прошло. В новой для нее, хуторской жизни Надя понемногу обвыкла ли, притерпелась, хотя все было непривычным: огородные дела, заботы с коровой, домашняя колгота с печкой, углем и дровами. И почтальонская работа, дорога от станицы до хутора в двадцать верст. И такой вот объезд каждый месяц, с Мишкой и его долговой тетрадью.

— Распишись. С тебя причитается. Обмывать будешь? Две бери сразу. На подметках сэкономишь.

Каждый год слушает Надя такие речи, а привыкнуть не может. Так же неловко ли, стыдно, словно в тот первый раз, когда плакала и кричала сожителю:

— Не хочу! Не поеду с тобой! Сам собирай свою дань!

Но Мишка укоротил ее в миг единый:

— Ты забыла, кто есть? Отберу все, и останешься с узелком. Беженка. Куски пойдешь собирать!

Голос у Мишки — железный, взгляд — ледяной. Такая сила не только солому ломит. Тем более рядом — мать и дочь.

Поехала и в другой раз, и в третий. А потом порою напивалась допьяна, плакала, ругая Мишку и пугая близких своих.

День нынешний закончился тоже скандалом. От дома к дому объехали хутор, раздали пенсии, собрали долги. Дерматиновая сума опустела. Мишка довольно похмыкивал.

Уже возвращались, когда остановил их Володя Арчаков возле своего подворья. Зная Мишкин обычай, Володя спросил:

— У тебя не осталось?

— Найдем, — отозвался Мишка и засмеялся: — Загулять решил?

— А мы что, не люди? — хохотнул Володя. — Может, кого в гости заманим, — подмигнул он Наде. — Тем более транспорт у меня получше, чем эта громыхалка. В кабинке не дует и мягкое сиденье...

Он смеялся так завлекательно, белозубо, что Надя подыграла ему, хохотнув:

— Не сравнишь. Да у тебя еще музыка.

Мишка их веселья не разделил, а позднее сказал Наде:

— Ты с ним больше не езд.

— А если попутно. Что, пешком лучше идти?

— Школьная машина ходит.

— Через три дня на четвертый.

— Тогда пешком ходи. А с ним чтоб не ездила.

Надя перечить сожителю не стала, перемолчав. Казалось бы, ее бабьей натуре должна была льститься очевидная Мишкина ревность. Но почему-то не льстила, а тяжелила душу.

Хорошо хоть дочь была на каникулах. А значит, в доме тепло и старая мать не лежит на кровати скорчившись: жива — не жива...

— Мы с бабушкой щей наварили и пышек напекли! — радостно доложила дочь. — Тебя ждем и в карты играем, в прокидного дурака.

— Играем, играем... — подтвердила мать.

И сразу ушло все недоброе: стылость январского дня, Мишкины укоры.

Дочке лишь десять лет минуло, а ростом уже мать догоняет. Большая рыжеволосая девочка, веселая, голосистая. И помогает во всем. С ней матери хорошо; а особенно — бабке, для которой журчливые внучины речи — лучшая лека.

— И кто же у вас в дураках?

— Попролам.

— Правильно. Зрде не совсем глупые и не больно умные. Все как в жизни, — посмеялась Надя и добавила: — Давайте обедать, слюнки текут.

Отобедали. А на воле уже смеркалось. Корову доили при фонаре. И кур запирали впотьмах, ощупкой. Уже проклюнулись звезды, тоже зимние, льдистые. А потом появилась луна, сначала багровая, кособокая. Но чуть поднялась, посветлела и стала точь-в-точь пасхальное яйцо, крашенное золотистой охрой ли, луковым отваром. Потом она всю ночь ярко светила режущей глаз стылой белью, охраняя просторную пустую степь да редкие людские селенья, разбросанные далеко-далеко.

Зима. Глухая январская ночь. Безмолвная и глухая. Хутор спит. Лишь у Мишки Абрека электрический свет горит в жилом флигеле и в скотьем сарае. Трудно телилась рябая корова Ханка, крупнотеляя, мослатая, зато сразу двух телочек принесла, таких же, как сама, рябеньких. Это удача: две телочки, тем более у Ханки молоко жирное и много его. Телилась корова трудно, измучилась, и Мишка устал, помогая. Но вышла вторая телочка; и мать тут же поднялась, стала вылизывать одну и другую, утробно и словно бы удивленно взмыкивая.

И еще одно везенье припало Мишке Абреку нынешней ночью: золотое кольцо, красивое, большое. Его принес Васька Дубилин. Конечно, где-то упер. Но Мишке какое дело. А расплатился он щедро: четверть самогона и два вяленых леща на закуску.

Удачная выдалась ночь. Засыпая, Мишка подумал о Наде, решил ей кольцо подарить. Потом, во сне, ему виделось лето: просторный зеленый луг, корова Ханка и телочки, а возле них Надя с большим букетом, целая охапка в руках: розовое, фиолетовое, голубое... и очень душистое, сладкое, такое же, как сама Надя. Мишка Абрек сны видел редко. Еще реже — хорошие.

И Надя нынешней ночью тоже заснула не вдруг. Сначала глядели телевизор, лузгая подсолнечные семечки и болтая. Потом решили тесто затеять, чтобы утром пирожков напечь. А к тесту Наде пришлось ночью вставать, подбивая да осаживая. Свет не зажигала. Тихо посапывает дочь. И мать теперь спит хорошо: не кричит и не плачет. Видно, что-то внутри у нее отгорело ли, отболело, и слава богу.

Слава богу, есть крыша над головой, хлеб на столе; есть покой. А к Мишке можно и притерпеться. Уже, считай, притерпелась. Пять лет позади. Правда, ревности до сих пор не было. Или не замечала ее. И зря.

Зима прошла спокойно. Хоть и подсыпало снегу, но грузовик-«вездеход» возил школьников почти каждый день. С ними Надя и ездила. А порой помогала ей дочь, забирая на почте письма, газеты. Текла жизнь привычно, спокойно.

Весной, как всегда, неделю-другую разливалась и ярилась речушка Малая Россошь. Через нее не всякий проедет. Там грузовики порой застревают. И снова, как на грех, подвернулся Володя Арчаков на колесном тракторе. С ним — надежно.

И ведь из трактора вышла на краю хутора. Но Мишка все равно углядел. Или передали ему. Абрек не ругался, даже голоса не повысил, сказал словно ненароком:

— С Арчаковым ехала? У тебя память короткая?

— Такие дороги... И Россошь... Ему спасибо... — заперечила было Надя, но смолкла, почуяв жесткий холод неморгающего Мишкиного взгляда.

А потом, за весной, пришло молодое зеленое лето. В лугах — разливы и дух медовый белого да розового клевера; сиреневый горошек цветет, да пенится розовым чином; островерхия кипрей и донник, словно воинство, полонили округу. Травный выдался год, слава богу.

Без колхозной работы люди нынче кормились лишь от своей скотины: молочное да мясное. И потому сено, что хлеб всем нужно.

У Володи Арчакова и косилка была. Он работал с подручными: валил траву, сушил, прессовал. Сам возил готовое тюкованное сено в станицу на продажу. Мотался туда-сюда ночью и днем. И Надю подцепил в станице, возле почты.

— Поехали! — крикнул он. — С ветерком прокачу.

Надя села в кабину, Мишкины наказы позабыв.

Поехали и впрямь с ветерком. В быстром машинном беге, в покойной кабине яркий день открывался просторнее и шире, словно книга листалась, за страницей страница: курчавая зелень балок, впадин; курганы в се-

ребристой полыни да пушистом ковыле; солнечно-желтые, алые, сиреневые да фиолетовые разливы цветущих трав. Все наплывает и кружится, открываясь за поворотом новой картиной, по-летнему праздничной.

В кабине грузовика обычно играл приемник. Нынче его не было слышно.

— А где твоя музыка? — спросила Надя.

— Ты разве не слышишь? — удивился Володя. — Давай сделаю громче. — Он выключил мотор.

Надя удивилась, но вдруг поняла. И нельзя было не понять, не услышать. По инерции машина катилась, а навстречу ей и вослед от земли и от неба звенели серебром жаворонки, нежно перекликались золотистые шурки, томно стонали горлицы, желтогрудые иволги выводили печальную песню, вызванивали варакушки... Птичий хор звенел стройно и слаженно.

— Теперь слышишь? — улыбаясь, спросил Володя.

— Слышу... — ответила Надя.

Машина завелась, поехали дальше.

— Приезжай к нам на стан. Там — соловьи, — пригласил Володя.

— И вы их сидите слушаете?..

— Сидим... Ночь напролет. На косилке, на граблях, на пресс-подборщике... И косим, и возим. Слава богу, погода хорошая, сено идет, и берут его нарасхват. Да еще бахчи культивируем. Тоже — морока. — На летней полевой работе Арчаков посмуглел, и улыбка стала ярче: посверкивали зубы.

Доехали скоро. С хорошим человеком время ли, километры всегда быстро бегут.

А прямо от машины, без захода домой, Надя понесла по хутору газеты и письма. Их нынче немного. Но их ждут. Особенно писем.

Всей почты разнести она не успела. Как снег на голову объявился Мишка. «Увидел...» — подумала Надя, пугаясь.

Мишка слез с мотоцикла, что было знаком недобрым. Он даже заглушил свою громыхалку. Что вовсе было немыслимым.

Мишка будто и не злился, был ровен и холоден.

— Я тебя предупреждал про Арчакова, чтоб не садилась к нему?

Надя раскрыла было рот, оправдываясь, но Мишка шикнул:

— Молчи! Приучилась в своей Чечне... Под каждого... Отрядная... Оперилась? Вылюдилась? Шалава партизанская...

Надю будто ударило. Разве она виновата в тех страшных, проклятых днях? Разве ее вина?..

Мишка не был бесчувственным. Он понимал, что говорит несправедливо, жестко, жестоко, а она — мягкая баба, ей такие слова — прямо в сердце, до крови. Он уже к Наде привык, прижился, была она ему по нраву: женской красотой, бабьей сладостью, повадкой, характером. Он знал, что другой ему не найти. И не нужна была другая. Об этой, порою наперекор уму, ревновало сердце.

Понимая, что бьет в самое больное, Мишка не чуял радости ли, сладости. Напротив: и ему было больно. Но он знал, что так надо. Он давно это понял — в тюрьме и на воле: надо придавить, пригнуть до земли, чтобы не кулака твоего, даже не крика, а шепота боялись. Так надо людей привязывать намертво. И эта женщина, ему уже дорогая, будет до веку в его руках. Арчаков ее не получит. Нужно лишь крепче взнудать.

— Слушай меня, — проговорил он тихо. — Еще раз узнаю — никаких разговоров, только расправа! Арчакова спалю, станет нищим. Тебя гокну, в ярах закопаю. Скажу, что в Чечню уехала, за документами. Старуху — в дурдом. Катьку к себе прислоню. У нее уж гнездо свилось. А я люблю молодятинку. Ты поняла меня? — вперился он глазами.

Надя опустила голову и заплакала.

— Ты отстай: поняла или повторить? — Не больно, но жестко он взял ее за волосы, поднял опущенное лицо, чтобы убедиться, увидеть страх.

Страх был. Даже не страх людской, а животный, скотиний ужас черным огнем горел в Надиных глазах, пробиваясь через слезную влагу.

Мишка поверил, шумно выдохнул:

— Иди и помни. Больше повторять не буду.

Надя не пошла, побежала не разбирая дороги. Скорей, скорей! К дому, к дому! К дочери, которой, может, уже и нет.

Она, запыхавшись и не помня себя, подбежала к воротам и увидела чудо. Посреди просторного зеленого двора, окруженного могучими грушевыми деревьями, на светлом солнечном окружье, словно на огромной сцене, танцевала молодая стройная девушка с распущенными золотистыми волосами. Танец ее был естествен и прекрасен. Гибкое тело, длинные ноги, тонкие руки. Так трепещет под ветром зеленая ветка или играет в воздухе птица. Так умеет дитя человеческое. И это была ее, Надина, дочь, единственная, дорогая. И тут же на низкой скамеечке сидел зритель — старая мать, радуясь, и смеясь, и беззвучно хлопая в ладоши.

Надя вошла во двор. Девочка бросилась ей навстречу:

— Я хорошо танцую, мама?

— Замечательно, замечательно... — шептала Надя, обнимая родную плоть, с которой, слава богу, ничего не случилось: живая, здоровая. — Замечательно танцуешь.

— А зачем ты плачешь?

— От радости... От радости... Вон какая ты выросла, рыжее счастье.

— Да, выросла, — подтвердила дочь. — Но я не рыжая, а золотая... И дядя Миша сказал: выросла. Он меня на мотоцикле научит ездить.

— На каком еще мотоцикле?! На каком мотоцикле, я тебя спрашиваю!! — закричала Надя, хватая ее за плечи и тряся что есть силы.

Дочь испугалась, ничего не поняв: то слезы, то этот крик. Она ничего не поняла и сделала единственное: тоже заплакала. И они стали плакать вместе, обнявшись. А старая седая женщина, сидящая на скамеечке, удивлялась вслух:

— Почему вы плачете? Здесь так тихо, так хорошо... Не надо плакать.

— Не надо, мама, не надо... — согласилась Надя, отирая глаза. И у дочери на щеках вытерла сияющие, прозрачные слезы. — Это я просто испугалась, — объяснила она. — Просто я боюсь мотоцикла и не хочу, чтобы ты на нем ездила.

Ей поверила дочь, а старая мать сказала:

— Плакать не надо... Здесь так хорошо, — обвела она руками и взглядом двор и округу. — Так тихо. Не надо плакать.

Просторный тихий двор, зеленая окрестность, долина, холмы, легкий пахучий степной ветер, чистое огромное небо, все, казалось, безмолвно, но повторяет за старой женщиной: «Не надо плакать».

День поплыл дальше в летнем, словно ленивом своем теченье, продолжая людскую жизнь.

Дочь покатила по хутору на велосипеде развозить остатнюю почту. Надя занялась делами привычными: огород и заботы кухонные. Слезы у нее высохли. Но думалось все о том же. Она понимала, что Мишкины слова — не пустая угроза. Он убьет. Закопает, и никто искать не будет. Степь-матушка всех схоронит. Мало ли случаев в последние годы. Пропал — и все. И с дочерью сделает что захочет. Кто ее защитит?.. И первая мысль была: «Скорее бежать! В охапку всех — и бежать». Эта мысль была первой, горячечной. А потом пришло холодное отрезвление. Куда бежать? Кто и где ее ждет, тем более в нынешние времена, когда работу с огнем не найдешь. А уж крыши над головой тем более. Да еще — малая дочь и старая мать на руках.

Хуторское житье Наде не больно нравилось. Но теперь, но сейчас будто глаза открылись: хороший дом, теплый; просторный огород с картошкой да прочей зеленью; корова да куры; и даже цветы во дворе эт самой

весны до осени: тюльпаны, пионы, потом георгины да астры. И почтальоном устроиться ей повезло, ведь даже местные без работы сидят.

Пусть далекий хутор и многое непривычно. Но старая больная мать правду говорит: «Как хорошо здесь, как тихо...» Сколько позади горького, страшного. И вот теперь, когда понемногу пришло забытье. Почему нужно все бросить и куда-то бежать?.. Сколько можно бежать, все оставляя.

Сначала убегали из Грозного, все кинув: квартиру и нажитое. Жили, работали... А потом пришли бородачи с автоматами, а глаза волчьи, пришли и сказали: «Вон отсюда... А ключи в дверях пусть будут, не надо замком ломать...»

Убежали. Все бросив. В родную станицу, к отцу с матерью. К дедам, в родовое гнездо. Но и туда пришли уже другие, тоже с оружием и волчьими глазами. А эти и вовсе оказались зверьем.

Та ночь, долгая, страшная, от которой мать в одночас поседела и помутилась рассудком... Потом был день — чернее ночи. А потом снова ночь, страшнее Судного дня. А потом их выплеснуло на этот далекий хутор, и надо было жить дальше.

Вот и жили. А теперь — снова бежать? Или терпеть и плакать. Плакать всю жизнь. И ослепнуть от слез. Как плакала мать, посевев и потеряв рассудок. А сколько Надя слез пролила. Кто их увидел и кто утер эти слезы?.. А теперь настала пора дочери?

— Нет! — закричала Надя и вскинулась, возвращаясь в нынешний белый день под ясным солнцем, среди огородной зелени.

— Нет! — твердо повторила она уже для себя. — Мы останемся здесь.

Теперь, через время, такой очевидной оказалась правота прадеда Матвея. Когда уже в станице началась заваруха и стали появляться бородачи с оружием, когда уже было видно, к чему дело клонится, когда пошли разговоры, ждть или бежать, да когда и куда бежать или, может, все обойдется... Старый казачура тогда сказал: «Не бежать надо и не ждть, когда горло перережут, а стрелять их надо». Кто его услышал...

Стрелять Надя не умела. А значит, оставалось одно...

Поздно вечером Мишка по обычаю подъехал и забрал ее к себе. И нынче, будто чувствуя себя виноватой, она любила Абрека жарче, слаже и яростней, чем всегда, измотав его вконец. А потом оставила спящим. Дома ведь мать и дочь.

И этой же ночью дотла сгорела усадьба Мишки Абрека.

Одним разом, высокими факелами, вспыхнули и запылали жилой флигель и бревенчатый амбар, а потом остальное.

Как обычно, пожарная машина из райцентра добиралась до хутора долго, успев лишь к тлеющим углям. Хозяина пожарники еще застали живым и вызвали по радию «скорую» из станицы. Мишка Абрек умер по дороге в больницу от сердца ли, от ожогов. Он ведь в пламя кидался, пытаясь что-то спасти.

Не первый то был пожар на хуторе. Кадакины тоже напрочь сгорели. А нынешней зимой — дед Култын. И все — от электричества, которое нынче вместо дров и угля. Оно ведь вольное, бесплатное. Воруй — не хочу. У всех самодельные «козлы», нагреватели, плитки. Вот и горят. А у Мишки тем более, у него — такое хозяйство. И печку никогда не топил, это уж точно.

Пожарные покрутились, составили акт и уехали. Мишку схоронили какие-то дальние родственники в городе. Они же продали всю скотину, оставив двух рябеньких телочек Наде-почтальонше, которая жила с покойным целых пять лет. И даже родила от него мальчика. Но это уже потом.

ОЛЕГ ХЛЕБНИКОВ

*

ЛЕСЕНКА

I

А по душевной склонности
ближе всего
мне, наверно, была эта лесенка из райсада,
к полумертвой воде ведущая,
волшебство
между листьев скрывавшая, —
так и надо.

А вела она к омуту,
и на пути
ей встречался мусор вялотекущей жизни.
И сидел я на ней, полусломанной,
впереди
тяжелела вода, позади — пауки и слизи.

Они что-то такое делали,
что назад
возвратиться нельзя было.
И вешали
на ступеньках ее
мы с тобою, брат, —
прямо в пустоту, что была в начале.
Это ли соседство устраивало меня —
или неподвижность воздуха
и возможность
выпить горькую чашу на склоне дня
и понять простую, как тыква, сложность:

все же как-то надо так
на деревяшку сесть,
чтобы не помешать появляющимся пешеходам,
вздумавшим путь по лесенке предпочесть
остальным,
проложенным всем народом.

Надо так поставить сосуд с веселой водой,
чтобы с ним не скатиться
в обнимку
к воде нелегкой,
надо как-то так завести разговор с собой

ВАСИЛИЙ ГОЛОВАНОВ

*

ЭТИ КВАРТИРЫ

Рассказ

В метро я сразу увидел убийц. Их было трое. Чтобы понять, что они убицы, потребовались доли секунды. Подошел поезд. Одни люди вышли из вагона, другие стали входить. Те трое, по-прежнему стоя у открытых дверей, негромко обменялись словами на грубом непонятном языке. Я шагнул в вагон и, обернувшись, прямо поглядел на них. У одного в руке был белый полиэтиленовый пакет. Если он бросит пакет в вагон, я выбью ногой стекло и выброшу взрывное устройство. Двери закрылись. Поезд утянулся в темноту туннеля. Было ощущение, будто я ненароком зашел в кадр фильма, где вот-вот должна начаться пальба, но, к счастью для себя, не в тот момент, когда стрельба начинается, а может, на один поезд раньше.

Была осень террора, в Москве только что был взорван первый дом.

За неделю до этого сгорела дача, которую я снимал. Вернее, снимал я полдачи. В другой половине хозяева гнали самогон в особо крупных размерах и не уследили за маленькой струйкой спирта, которая протекла откуда-то, светясь синим пламенем. Когда пламя стало желтым, погасить его было уже нельзя. Я выпрыгнул в окно в одних джинсах, схватив только портативный компьютер и свой любимый спальный мешок.

Друг дал мне ключи от своей квартиры, чтобы я мог перекантоваться тут некоторое время. У него маленькая уютная квартирка, вернее, идеальный фотоархив с рядами книжных полок и стеллажей, кое-какими приспособлениями для студийной съемки и человеческой жизни: телевизором, диванчиком, холодильником, телефоном и застекленным балконом, где хорошо курить вечером, глядя на прожекторные мачты стадиона «Динамо». Здесь у друга я бывал не раз, но в одиночку, в квартиру без хозяина шел впервые. Дом незамедлительно отреагировал на это. Дверь в коридорчик, охраняющая покой трех квартир на десятом этаже, была грубо вышиблена, дверной косяк разбит вдребезги. Я почувствовал тошноту: все это уже было однажды, и ничего хорошего это дежа-вю не предвещало. Не успел я подумать о неприятностях, как из-за приотворившейся бронированной двери в глубине коридора меня окатил женский голос, одновременно дрожащий и силящийся быть непреклонным:

— Это вы сломали дверь?

— Нет, — сказал я. — У меня есть ключ. Мне незачем ломать дверь.

— Это сделано специально! — набрав духу, вновь хлынул голос. —

И скорее всего, это вы...

— У меня есть ключ, — повторил я. — Дверь выбита ударом ноги снаружи. Поверьте моему опыту. Впрочем, можете не верить.

— Я вас не знаю и вызову милицию...

— Это правильно, — сказал я. — Кругом полно убийц. На вашем месте я сделал бы то же самое.

Голованов Василий Ярославович — прозаик, эссеист. Родился в Москве, в 1960 году. Окончил факультет журналистики МГУ. Автор книг «Тачанки с юга», «Остров, или Оправдание бессмысленных путешествий», «Время чаепития». Лауреат премии «Нового мира». Живет в Москве.

Дверь мягко щелкнула и ответила маслянистыми поворотами замков. Голос смолк, так и не став лицом. В эти дни многие представляли свои дома разрушенными до основания.

Итак, квартира: очередное пристанище мое на осень, а может, и на год. Мое убежище. Стараясь не потревожить квартиру, я несколько раз осторожно вдыхаю ее запах. Приятный, теплый, чуть пыльный. Запах дома, где не курят. Потом прохожу на кухню и осмеливаюсь включить чайник. Молча пью чай. Даю квартире привыкнуть к себе и сам обываю, прикидывая, где подключить компьютер. Пожалуй, на кухне и подключу. Мне начинает нравиться здесь.

За неделю до этого я пытался снять квартиру у хозяйки, от которой сбежала жилочка, преподавательница православного колледжа, задолжав ей за четыре месяца и за телефон. Я попросил три дня испытательного срока: объяснил, что мне нужно почувствовать, приживусь я на новом месте или нет. Я снимаю жилье с девятнадцати лет. Теперь мне сорок два. Так что кое-какой опыт у меня имеется. Кое-где лучше даже и не пытаться жить. Все равно ничего не выйдет. Некоторые квартиры так переполнены чужим прошлым, что в них нет места твоему настоящему; некоторые — долго копившимся невыразимым несчастьем, которое с радостью принимает тебя в свои объятия и долго не отпускает; некоторые — каким-то ползучим безумием. В одной такой безумной квартире я однажды пытался перезимовать. Въехал с вещами, сделал уборку, заправил кровать... Поужинал перед телевизором... В первую же ночь меня беспричинно охватил леденящий ужас. Во вторую ночь повторилось то же самое. И в третью, и в четвертую... Только решившись бежать оттуда, я, вынося вещи, узнал от подвыпившего соседа, курящего на лестничной клетке, что за несколько месяцев до моего появления из окна этой квартиры выпрыгнул постоялец. С тех пор я осмотрителен в выборе мест, где придется жить. Я не желаю спать на койках самоубийц.

Я получил от хозяйки разрешение на «испытательный срок» за обязательство вытравить тараканов и немного прибраться. Едва я открыл дверь, как мне на грудь прыгнул рыжий котейко, оставленный сбежавшей жилищной вместе со счетами за междугородние переговоры. Он изголодался и сошел с ума. Виною последнему обстоятельству был телефон. Это был современный аппарат с автоответчиком, записью и громкой связью. Котейко ходил по нему, наступал лапками на разные кнопки, записывал собственное мяуканье, потом, наступив на другую кнопку, воспроизводил его, орал еще громче, снова записывал, снова воспроизводил, слушал на автоответчике голос хозяйки и время от времени получал какие-то месседжи. К моменту, когда я открыл дверь, он вконец ополоумел от невозможности связаться с высшими сферами, которые даровали бы ему освобождение и хлеб насущный, а потому мое появление воспринял как явление Спасителя, в самое сердце которого он и впился всеми своими коготками. Забросив несчастного котейку на время в ванную, я разгреб мусор на полу. Нашел несколько дешевых заколок, детскую книжку, грошковые пластмассовые игрушки... Предыдущая жилочка была тут с ребенком. Мне стало жаль ее. Что это была за жизнь, исполненная страхов, бесконечно ускользящих денег и времени? Отчаяние... В отчаянии смотреть на родного ребенка, играющего копеечными игрушками в чужой квартире, пол которой качается под ногами, как плот, и вот-вот ускользнет... Гора телефонных счетов свидетельствовала о том, что несчастная пыталась взывать к кому-то, отыскивая сочувственные голоса в разных уголках планеты. Она пыталась спастись, но не успела...

Я установил стол посреди пустой комнаты, сел и попытался сосредоточиться. Тараканы шуршали в книгах, сложенных на антресолях. Скоро у меня возникло ощущение, что один таракан заполз мне в голову. Я ловил

его, но не поймал. Потом я подумал про котейку. Вернее, он навел меня на печальную мысль о том, что многие наши попытки взывать к Господу напоминают действия котейки с телефоном. Собираем персты щепотью, бьем челом, пытаемся что-то промякнуть... А когда Спаситель наконец является, то, не ведая о нашем отчаянии и любви, он просто зашвыривает нас в ванную, чтоб мы своими мольбами и надеждами не мешали ему вершить более насущные дела. На кухне не оказалось ни чайника, ни кастрюли. Я попил воды из крана и вышел из квартиры. Жить в ней, как выявил эксперимент, не стоило. Здесь тараканы никогда не выползут из моей головы. Никогда не выветрится из легких кислый запах их многотысячных испражнений. Но как Спаситель, я напоследок должен был позаботиться о котейке. Я взял в магазине фарш, молоко и пакет «Вискас». Вернувшись в квартиру, первым делом отключил телефон, а затем, выставив купленные яства на блюдечках в туалете, выпустил котейку из ванной. Он снова бросился было ко мне, но, не допрыгнув, уловил запах фарша и, в воздухе изменив траекторию прыжка, оказался перед моими дарами. Пока он ел, я осторожно закрыл дверь, по мобильнику позвонил хозяйке и договорился, что завезу ей ключи. При встрече сказал, что оставил в квартире изголодавшегося кота, которого надо спасти. Одинокие немолодые женщины обычно сердобольны к животным. Реакция хозяйки была столь бурной, что я понял — котейко будет спасен. Я бы и сам забрал его, но в тот момент у меня не было дома, где бы я мог его приютить.

Теперь дом у меня был. Квартира. К слову сказать, точная копия той, в которой я оставил котейку. «Двушка» в двенадцатиэтажном панельном доме образца 1965 года. И если бы не некоторые частности, сопутствующие артистической жизни фотографа, то квартира моего друга ничем бы не отличалась от миллионов подобных квартир, откуда все мы, обитатели этого города, вышли, как из инкубатора, десять миллионов из десяти, не считая нескольких сотен тысяч, которым повезло меньше нашего, и ничтожного числа тех, кому повезло больше. О, эти квартиры! Ячейки хрущев и прочих домов неулучшенной планировки, эти стенные шкафы бытия, где все мы как-то выросли и стали теми, кем стали, — автомеханиками, поэтами, бандитами, бизнесменами, идеалистами и прагматиками, патриотами и эмигрантами, сменившими эти квартиры на съемное жилье в Америке или в Австралии или, в лучшем случае, на коттеджи, стоимость которых им там придется выплачивать до пенсии... В общем, строились эти квартиры для людей единой социалистической судьбы, но в результате внеплановых исторических катаклизмов разбежались из них разные дорожки: были среди них и прямые, и кривые, и совсем гиблые, но что тут поделаешь? Начальник Чукотки Рома Абрамович вырос в соседнем со мной подъезде в доме № 27 по улице 2-я Новоостанкинская, но жизнь, как говорится, поставила каждого на свою книжную полку. Хотя, с другой стороны, так ли велика разница? Он пьет чай, и я пью чай. При этом достаю со своей книжной полки томик лучшего поэта XX века Сен-Жон Перса и читаю стихи:

«Тому, кто не пил, восхваляя жажду, воды песков из шлема, не склонен верить я, как торговцу душой...»

Воистину, о благородный Перс! Скоро люди в больших городах забудут, что такое жажда пустынь, и тогда перестанут пускать друзей под свой кров: это время грядет, оно близко, но пока что кров — не призрак, и мы с моим другом, фотографом Андреем Перье, все еще способны славить жажду, сжигавшую нас изнутри и снаружи среди раскаленных камней Усть-Юрта или в Красных барханах монгольской Гоби.

Портреты на стенах: их десятка два, в основном — незнакомых людей. Честно говоря, я недолюбливаю портреты. Дело в том, что они *смотрят*.

Когда тебя с момента пробуждения сверлит взглядом два десятка человек, это ощущение так себе. Добро еще, если сфотографирован какой-нибудь самовлюбленный человек, актер например, который красуется перед камерой и смотрит как бы внутрь себя. Но вот Ванька Охлобыстин — то ли поп, то ли драматург, с рюмкой водки в руке: он пытается заглянуть в твою душу. И как драматург, и — тем более — как поп он хочет, разумеется, знать — какими судьбами прибило тебя к берегу сему? И я говорю ему: не смотри на меня, Ванька, нечего тебе знать об обстоятельствах моей жизни, о рифах, на которые я посадил свой корабль, и об усилиях, принимаемых мною к его спасению. Бог с тобой, Ванька, живи по-своему, а я поживу по-своему, мне здесь хорошо, выпей водки и глазенки свои не тарашь.

Он слушается и отводит глаза. И я, успокоившись наконец, думаю, что никогда еще у меня не было убежища уютнее. Первая моя квартира была настоящим однокомнатным гробом с музыкой — непрерывно скрипящей под полом дверью булочной. Тем не менее она казалась мне раем. В пустой комнате стояли кровать и шкаф. Кровать. Она-то и была центром, вокруг которого все вращалось: ремонт, предсвадебные хлопоты, предвкушение счастья и каких-то неземных восторгов сладострастия под этот немолчный дверной скрип. В предвкушении я соскабливал старую пожелтевшую побелку и красил стены новой краской. Мне было девятнадцать лет, я чувствовал себя хозяином своей судьбы. Как только ремонт был закончен, бабуля, прописанная в квартире, умерла, так и не успев переписать ее на внучку. Свежевыкрашенный корабль любви был экспроприрован муниципалитетом, а мне выпала почетная миссия вынести из квартиры все, что оставалось в ней мало-мальски ценного. Но там ничего не было, кроме коробки с нитками, ветхого белья и протеза ноги, который носила бабушка. Когда я нес протез на помойку, это заметил какой-то старичок. Он заспешил в мою сторону и, запыхавшись, смущаясь, проговорил:

— Молодой человек... Я видел, как вы выбросили вещи... вещь... Зинаиды Ивановны... Не случилось ли что-нибудь с ней?

— Она умерла. — Я по-мальчишески глупо полагал, что крушение моих любовных надежд дает мне право быть жестоким.

Что тогда заставило меня обернуться? Старик стоял возле мусорного бака и беззвучно плакал. Я почти не понял его. В моей жизни еще не настало время утрат. Но эти слезы на его лице почему-то запомнил...

— Сволочь! Сволочь! Я же сказала тебе — закрой дверь, я, б...дь, сказала тебе... — Крик, похожий на вой, вдруг обрушивается на меня сверху. Да-с, этого я, честно говоря, не предвидел. Женщина. Орет на детей. И не просто женщина, а одинокая мать. Мужика в доме нет, потому что крик без тормозов, дурной, припадочный. Это крик женщины, которая однажды смертельно устала и не оправится уже никогда. Дети выжмут ее до конца. Она отдаст им все, что может: всю свою любовь, все свое отчаяние, весь свой ужас перед этой жизнью и перед этой квартирой, в которую ее жизнь оказалась заключена. И все мы заключены. Когда-то, покидая материнский дом, я был уверен, что не вернусь в него никогда. Что у меня будет собственный пентхауз или, на худой конец, дом с изолированной мужской половиной, где я займусь алхимией и изучением старинных географических сочинений. И вот — всего-то лишь мгновение вечности, судьба, выстроенная анархически, без хорошего финансового директора в голове, дефолт, семь лет, потраченных на экспедиции, а не на то, чем следовало бы заниматься серьезному человеку, — и я опять курю на балконе, с которого в детстве любил запускать бумажные самолетики. Да, совсем недавно я еще мог сказать: у меня есть дом. И семья. Которая трещит по швам. От этого мне страшно: будто с неизбежностью надвигается то, что случилось когда-то между отцом и матерью. Раз-вод. Одиночество. Тогда моя жена будет орать на детей, а я... что? Ну, опять буду таскаться по чужим квартирам,

стану попить, наверно, или искать близости с другой женщиной, с которой у меня не было, нет, а может, никогда и не будет ничего общего. Пока что трудно даже вообразить себе это. Делаю глубокую затяжку. «Толя-а! Толя-а!» — орут внизу. Сквозь мокрое железо голых ветвей видна автостоянка. Толя — это сторож. Пускает всех желающих припарковаться за пятнадцать рублей в ночь. Но иногда машины запирают друг друга, и их приходится катать. Вот, видимо, как раз такой случай. Надо катить. А Толя пьян. Я наблюдаю эту картину изо дня в день. Помню, что раньше на этом месте был барак, пока его не снесли. До мелочей помню весь этот пейзаж.

Дети спят. «Толя-а!» — опять внизу.

Жена выходит на балкон, становится рядом, прикуривает сигарету. Я тронут. Принял это за знак близости.

— Знаешь, — говорит вдруг она. — Семейная жизнь — это так... скучно...

Я обнял ее. Надо было сказать, что ее поймало заблуждение — одно из самых чудовищных заблуждений нашей цивилизации. Семья — это, может быть, последнее, что делает современную жизнь осмысленной. Но я не нашел в себе смелости возразить. Я чувствовал нарастающий стрем и муку наших отношений, чувствовал, как она устала. Но дело не в усталости, а в тщете. Как таковой.

Тщета тоже входит в план божественного замысла. Ее можно только перетерпеть. Быть взрослым — значит просто терпеть. Терпеть, когда ничего поделаться нельзя. Я мог бы сказать об этом жене, но вряд ли это утешило бы ее. А чем бы мог я ее утешить? Что сказать? Любимая, я давно ушел отсюда и уже никогда не вернусь. Это место не будет ни твоим, ни моим. Это просто база, хорошая база для хранения одежды, картин, негативов, рукописей и прочая. Хорошая база для экспедиции. Когда-нибудь я уйду далеко-далеко, а вернувшись, подарю тебе дом. Настоящий дом, с внутренним двориком, источником и садом, в котором можно будет посадить деревья и цветы. В саду будут петь птицы, а во дворике жить ящерики и серые жабы. Это и будет наш мир. А квартиры... Они отвечают философии настоящего — быть временным пристанищем, как пиджак, вагон метро, автомобиль. Они лишь чуточку больше, обиходнее, роднее. Но мира они не создают. Мир невообразимо шире. Это я понял еще в десятом классе. Именно тогда моя квартира стала тесна мне. Именно поэтому у жены моей навязчиво желание — «снести все перегородки». И уехать, забывает добавить она. Отдать ключ брату, пусть ночует там, заводит амур, а нам надо лошадь купить, сделать занавес, выучить пару цирковых номеров, похерить школу и отправляться в странствия по жизни, которая так коротка, что порой становится страшно... Жаль, что я так и не сказал ей этого. Но, думаю, она не поверила бы мне. Из квартир почти невозможно вырваться, потому что это не жилплощадь, это сознание. Или судьба.

Однажды зимой я целый месяц работал у друга на даче и наконец приехал домой ночевать. И удивительное дело — напрочь не мог заснуть, потому что за городом слух у меня очень утончился, и теперь сквозь стены и полы я слышал, что везде вокруг меня и подо мною люди ругаются и кашляют. Ругаются и кашляют. И больше ни-че-го. Кашляли во сне дети. Пару раз кашлянула жена. В конце концов я и сам раскашлялся так дико, как будто у меня внезапно открылся туберкулез. Совсем уже поздно ночью кашель и ругань раздались за соседней стеной. Какой-то старик ругался со своею старухой. И при этом называл он ее почему-то исключительно «е...на мать». И мне даже стало любопытно, назовет ли он ее хоть раз как-нибудь иначе, чтобы понять, как ее, эту его «е...ну мать», зовут. И вот он ни разу не обратился к ней иначе. А на следующий день там, за стеной, начались какие-то сборы, движения мебели — и старики эти исчезли. На их место вселилась молодая семья. И только тогда я подумал, что старик,

кашель и ругань которого я слышал за стеной, — это, наверное, был тот самый дядька, наш новый сосед, которого я видел лет двадцать назад, когда они с женой, имени которой я так и не узнал, въехали в эту квартиру за стеной, и он стоял на балконе, такой довольный, в белой майке, и курил «беломорину». И когда я высунулся, он подмигнул мне и сказал: «Ну-ка сделай погромче», — потому что я пылесосил и у меня на всю мощность был врублен «Revolver» «Битлз». Он мне сразу понравился, этот мужик, этот рабочий в белой майке, как я его окрестил про себя, этот сильный, веселый мужик, а потом время сморгнуло двадцать лет, и он старчески кашлял и ругался за стеной, а потом исчез, не оставив по себе даже протеза...

Мы развелись с женой через год. Я собрал вещи: в конце концов, детям нужно больше пространства для жизни, чем мне. Напоследок жена заварила чаю, мы поговорили о том о сем, вспомнили былое, поцеловались. «Все это форма, — сказал мой умудренный брат. — Отныне вы чужие люди. И в дальнейшем будете становиться все более и более чужими. Поверь моему опыту...» Мне не хотелось верить. Он взялся отвезти меня на квартиру к своему приятелю, которой сам пользовался иногда. Мы зашли в чужой дом, втащили мои сумки в обоссанный лифт. Дверь квартиры была крашена светло-коричневой краской, как дверь общежития.

— Учти, что квартира на охране, — сказал брат. — Надо открыть дверь и быстро отключить тревогу на пульте.

— Ясно, — сказал я и взял ключ. Взял ключ и повернул его в замке. Ключ сломался в замочной скважине, как будто был сделан из воска. Видимо, я нервничал.

Брат посмотрел на меня ошеломленными глазами и вдруг воскликнул:

— Выбивай дверь!

Не знаю, почему именно это нелепое решение пришло ему в голову, но в тот момент я не раздумывал. Дал ногой по двери раз, дал другой, она с треском отворилась, и тут-то я впервые и увидел разбитый вдребезги дверной косяк и крошечный коридорчик, в котором было серо от осыпающейся штукатурки. Замок вывалился из двери вместе с обломком ключа.

Брат нажал какую-то кнопку и бросился к телефону снимать охрану. Я занес сумки и прикрыл дверь. Как-то нескладно все выходило. Брат тем временем дозвонился, назвал пароль. Потом лицо его изменилось.

— Что? — сказал он. — Что?

И повесил трубку.

— Наряд уже выехал, — невесело произнес он.

— Надо бы тебе сматываться отсюда, — сказал я. — При чем тут ты? Скажи только фамилию своего приятеля и спускайся по лестнице, пока не поздно.

— Да, — сказал он. — Ты прав. Свешников, Глеб Свешников, запомнил?

— Конечно. Я же знаю его.

— Ну вот и отлично. Пока.

Он стал спускаться по лестнице, но через минуту появился вновь в сопровождении двух ментов с автоматами.

— Документы, — сказали они. — Что у вас в сумках?

— Мои вещи. Книги. Четыре обструганные рябиновые палочки. Шесть камней. Николай Чудотворец. В смысле — бумажный образок. Набор акварели. Старый ноутбук, — перечислил я.

Они осмотрели вещи и квартиру: не выглядит ли она ограбленной. Квартира выглядела нормально, только пыли было многовато.

— Придется вам заплатить штраф за ложный вызов наряда, — сказали двое с автоматами.

— Спасибо, — искренне возблагодарил их я. — Штраф — это гуманно. Не хотелось бы провести у вас остаток такого дня...

— А что за день? — спросили менты.

— Ничего. Просто я с женой разошелся сегодня.

— А, — сказали они. — Тогда все ясно. Смотрите еще чего-нибудь не учудите, а то точно окажетесь у нас.

— Храни Господь, — сказал я. — Все будет тише тихого.

Когда они ушли, настроение упало. Я выбивал на балконе диванные подушки и видел серую пыль, от которой у меня уже начинался кашель. То, что серая пыль города убивает нас всех, было, в конце концов, понятно. Я не понимал, что заставляло нас с женой так настойчиво убивать друг друга. Ведь мы любили друг друга когда-то. Недавно.

Потом я спустился на улицу и в ближайшем ларьке взял выпивки. Стало легче. Позвонил домой, надеясь, что все еще развеется, как кошмарный сон.

— Зачем ты звонишь? — спросила жена. — Ведь мы тысячу раз обо всем переговорили...

Я слышал, как где-то в глубине квартиры, дальше ее голоса, истошно орут дети. Мне наплевать, что она говорит, я только знаю, что двое детей остались беззащитными.

От этого — чувство соучастия в тяжком и жестоком преступлении.

Теперь я привык к одиночеству. Я уже не замечаю, как оно уродует меня. Но сегодня случилась странная вещь, которая заставила сердце заболеть с прежней силой. Несколько ночей и утр, которые я провел у своего друга-фотографа на квартире, автоответчик молчал. Сегодня, когда я вошел в начале первого ночи, телефон неожиданно зазвонил. Я выслушал автоответчик, настроенный на громкую связь, — и очень хороший, нежный женский голос передал в пустоту: «Андрей. Это Люба. Я просто хотела узнать, как у тебя дела. Если сможешь, позвони мне, я сижу дома и работаю». Вот, послание дошло, но не мне. У меня ощущение, что я сижу в куче обрубленных телефонных проводов: нет связи. Ни с кем. Эта Люба несчастна. Андрей ей не позвонит. И мне никто не звонит.

Если душа не востребуется, человек умирает. Видимо, от тоски.

Я никогда не думал, что придется надеяться на Господа и вверять свою судьбу в его руки. И молить его о том, чтоб отыскал тебя и позвал за собой в этой крошечной тьме. Не по автоответчику, а так, как это бывало с раскаявшимися разбойниками. Мистика не входила в мою жизнерадостную жизненную программу. И однако...

Тот, кто знает, что Творец не допустил ошибок в творении, избавлен от мелких придинок.

Тот, кто знает, что у Него нет любимчиков, когда Он наделяет удачей, избавлен от зависти.

Тот, кто знает, из чего он создан, свободен от гордыни.

Дети позволяют острее чувствовать Бога. Подарки, одежды, кашки, кашки — все это Бог включает в себя, и надо быть благодарным Ему за это. В одиночестве я остро завидую многодетным семьям. В одиночестве непросто быть взрослым.

В одиночестве в сто раз труднее и в сто раз важнее терпеть. Чтоб никто вокруг не догадывался, что ты в заднице.

А так-то бы — зачем? Видел достаточно, сделал достаточно, покуражился достаточно... Что еще? Не хватит ли? Точка? Эпитафия?

Не-е-ет, говорит жизнь, этак каждый могёт. А ты давай *поживи*...

Я вижу, как многих именно на этом повороте стирает в порошок.

Меня самого стирает в порошок. Я не могу передать, как мне все надоело. Надоело беспокоиться, выяснять отношения. Ходить на работу, ви-

деть их лица, пить, курить, есть, надевать свою старую куртку. Видеть, что она не хочет понимать, убеждаться, что сам не способен. Надоела трусость одних, коленца других и морды третьих, надоело звонить Н. и глупо надеяться, надоело мерзнуть, ходить в жмущем ботинке, чувствовать, как разрушаются зубы, переводить пиво в мочу, просыпаться утром и убеждаться, что ты опять вчера пил. Надоело быть вечно принимаемым не за того, надоело безденежье, надоел этот город, эта квартира и та квартира, надоела слякоть на улицах, этот подъезд, крики женщины сверху и соседей за стеной, собственная судорожность, ощущение несчастья. Надоело надменство одной компании друзей и пьяная солдатчина другой, собственное желание преуспевать, соединенное с неспособностью к преуспеванию, моя бесконечная разорванность. Надоело все. Я сам себе надоел. Безверие надоело. Болтовня. Нелюбовь.

Как хочется. Быть любимым — женой, детьми. Любящим. Полным. Трезвым. Обращенным к Господу. Сидеть на песке, лежать на песке, идти кромкой берега. Слышать стрекот кузнечиков. Колокола. Фотографировать. Встречать умных, интересных, дружных людей. Устраивать застолье. Варить холодец. Быть сильным и великодушным. Нырять с головой. Видеть пузырьки. Выныривать. Видеть ее счастливое и радостное лицо. Целовать ее. Украдкой позволять себе ласку более откровенную. Никому ничего не объяснять. Слышать, как, играя, радостно повизгивают дети. Работать. Думать. Ощущать. Смотреть и видеть. Идти вперед. Не к успеху — к просветлению. Не сомневаться в друзьях. Радостно выйти из дома, увидеть чистый белый снег. Или солнце, предвещающее весну. Слушать прекрасную музыку. Ходить с любимой на концерты и в театр. Никогда не ссориться с нею. Купить дом. Врасти в землю. Развести пчел. Потом. А пока сидеть на подоконнике в подъезде и знать, что нет более близких людей, чем она и я. Посмотреть «Не горюй». Спать двенадцать часов в сутки и работать двенадцать часов. Путешествовать, любить и работать. Сидеть рядом, мечтать, строить планы, любоваться ею и гладить ее. Слышать, как она произносит слово «любимый» голосом любимой и верит в то, что я отправляюсь в новый поход...

Слышу, как в коридоре кто-то пинком открывает дверь, бормочет что-то, после чего дверь в соседнюю квартиру сильно хлопает. Сынок соседей явился пьяный. Из-за тонкой стены-перегородки доносится короткий жестокый разговор, после чего — удар.

Ударчик не из слабых, констатировал я.

— Я же тебе сказал, — произнес низкий от гнева голос. — Я тебя предупредал... Я предупредал?

Не хотел бы я испытать того удара, который последовал затем.

— Я предупредал?

Это уже не по морде даже. Это как по мясу. Тут впервые другой голос закричал:

— Не надо, больна-а!

— Больно? — сказал голос соседа Гриши. — Ну, это только начало. Я же сказал: жалости не будет.

— Мне больна-аа!

— А я, б...дь, сказал: жалости не будет...

Я вышел на площадку и позвонил в соседнюю дверь.

Гриша почему-то почти сразу открыл.

— Слушай, ты его убьешь ведь. Сгоряча, — сказал я. — Если хочешь, пойдем ко мне, чайку-кофейку... А то, не ровен час... Под горячую руку...

— Спасибо. Спасибо, — сказал Гриша. — А что, слышно? Какое там под горячую руку... Мне пятьдесят два года... А ему двадцать семь. Подоконник... Телевизор из дома унес...

- Ладно, так или иначе — остановись.
— Спасибо.

Я вернулся в свое прибежище и поставил «Уленшпигеля» на видео.

Мне казалось, что фильм снят обо мне; о нас, какими мы были, когда только еще познакомились, о нашей свободной и не знающей преград любви, только в этих квартирах с нами сделали что-то, и мы забыли про это. Заболело сердце. Я накапал корвалола и выпил. Подумал, не позвонить ли Вике, что ли. Я всегда ей звоню, когда на душе хреново. Помню, перед разводом мне казалось даже, что стоит мне позвонить — и все обрывается. Может быть, я даже влюблюсь в нее и вся моя жизнь чудесно изменится...

Тогда я позвонил Вике и предложил ей посидеть где-нибудь.

Мы встретились в «Китайском летчике Джао». Это был модный подвал, хотя ничего специфически китайского там не было. Просто на стенах, крашенных синей краской, были расчерчены маршруты всемирных перелетов китайского летчика Джао Да, и сам он там был — деревянная фигурка в деревянном самолетике. Ну, еще вещи. Перчатки летчика, шлем и очки летчика, ботинки летчика и кусок пропеллера его самолета. Еще там выступали всякие модные группы, играли рок, атмосфера была веселая, шумная, располагающая к непринужденной доверительности.

Я сразу заказал два пива.

— Ну, — сказала Вика. — Рассказывай. В чем дело? Ты опять поругался с женой, что ли?

Я не собирался ничего рассказывать. Больше того, я хотел, чтоб обо всем рассказала она: каким-то непостижимым образом Вика лучше меня знает, что со мной происходит.

— Какая тебе разница? — ушел я от ответа. — Я просто захотел сходить куда-нибудь вечером. С кем-нибудь.

— И поэтому ты выбрал меня? — с интонацией глубочайшего издевательства и любви сказала Вика.

— Почему нет? — сказал я, хотя знал, что издевается она надо мной как старая подруга, а любит, должно быть, как мать. — В конце концов, ты единственная, кто помнит еще Андрюху в этой стране.

— Да уж, — сказала она с пониманием. — Такого дурака! Кого это сейчас колышет — Америка! Надо было возвращаться. А он не возвращается. Думает, что кто-то подумает, что это не круто, а про него уже все и помнить забыли.

Андрюха — это мой самый лучший друг.

— Так ты поругался с женой или нет? — наступает на меня Вика. В конце концов, она тоже мать двоих детей и у нее полно насиженного дома неутоленного любопытства.

Нет, любви у нас с ней не выйдет.

Лишь один раз у нас с Викторией могло получиться *это*. Когда мы случайно встретились на какой-то продвинутой выставке, где ни мне, ни ей не понравилось; она тогда была одинокой пьяной сукой с крашеными чуть ли не в красное рыжими волосами. Вот тогда. Я понял это, когда она сделала вид, что оступилась, и показала ножку из туфельки.

С тех пор прошло лет шестнадцать.

Я заказал еще пива и залпом выпил.

— Ты слишком много пьешь, — говорит Вика.

Они заодно. Матери двоих детей. Если бы Андрюха был здесь, я бы пошел в «Летчик» с ним. Во всяком случае, он бы не стал считать — кружкой больше, кружкой меньше.

— Знаешь, — говорит Вика. — Я видела много мужчин, для которых выпивка стала проблемой. Все дело в том...

— Для меня выпивка не проблема...

— Проблема это для тебя или нет, выпивка — это единственное, чем ты регулярно занимаешься.

Тут уж она права.

— Послушай, — говорю я. — Я не для этого пригласил тебя. Я думал, мы поговорим о чем-нибудь. Об Азии — ты же была в Азии? Мне хочется в Азию, пойми, мне хочется в Азию *по цвету* — но я хочу в Батхыз, в Туркмению, и не знаю ни единого хода туда. Там сейчас вообще — что?

— Я познакомлю тебя кое с кем, — говорит Вика. — А насчет цвета ты прав. Это правда офигительно. Такой цвет есть в одной штерновской съемке и у Антониони, в «Профессии — репортер»...

— А кстати, ты смотрела «Хрусталева, машину!»? — вдруг спрашиваю я и тут только понимаю, что ненароком, исподволь пытаюсь начать с ней какую-то странную, необычную для меня игру. Я в нее никогда не играл и даже правил ее не знаю, но просто мне надоело пить и я бы хотел чего-то другого... Нежности. Нежности я бы хотел. А то разве решился б на такое?

— «Хрусталева» я не видела, хотя хотела бы, — сказала Вика.

— Можем посмотреть. Прямо сейчас. Хочешь?

Она поняла. Она поняла, что я ценю ее материнскую нежность и не забыл момент, когда она как бы ненароком уронила туфельку с ноги. Но все-таки шестнадцать лет прошли даром, и возможностей для самообмана почти не осталось, и, в общем, игра в любовь — не лучшее это занятие для старых друзей, если так разбираться-то...

— Нет, — говорит Вика голосом радостным уже оттого, что у нее есть повод мне отказать. — Я не могу задержаться надолго. Ночью они приходят ко мне, мои котики, и если меня нет...

Почему они так беспокоятся?

Я тоже помню это беспокойство. Но оно появилось только после того, как ушел отец. Правда, муж ушел от Вики уже давно. Может быть, поэтому и ребята у нее такие нервные.

— Обещай мне, что сейчас поедешь домой, — говорит Вика. — И скажешь жене, что любишь ее.

— Сейчас я выпью текилы и поеду к другу, — говорю я. — С женой все слишком плохо. Все, что можно было сказать, я сказал уже тысячу раз. Поэтому мне наплевать, что обо мне подумаешь ты, она и все остальные. Понимаешь?

— Да, — говорит она. — Самое трудное — это поверить. Поверить, что все может быть не так. Я знаю это. И мужчины, которые пили, они просто не верили. Уже ни во что. И с каждым глотком вера уходила от них. И они забывали окончательно то, во что еще недавно верили, что еще недавно так досконально знали. Слушай, — добавляет она. — Я боюсь за тебя. Попробуй вспомнить, зачем ты говорил мне про Азию... Ну-ну, попробуй вспомнить...

— Знаешь, если бы *она* могла поверить в то, что однажды утром мы просто сядем в машину, оставим все лишнее и поедем туда, в самое красивое место на земле — в пустыню, — это было бы настоящее чудо...

Я был в пустыне, я знаю, что говорю. Да, там нет ничего, кроме камней и соли, собирающей солнце в сгустки ослепительного света. Белые, черные, фиолетовые камни и эти пылающие метеориты на земле... Если бы нам удалось подняться туда, на плато Усть-Юрта, где древние скалы обступают тебя, как замершие тени караванов, что прошли тут за тысячелетия, оставив на пути, словно гигантские слепки былого, изваяния шатров, верблюдов, воинов в седлах, кибиток и вертикально встающих столбов дыма, и провести ночь на вершине какого-нибудь заколдованного, обращенного в камень замка, глядя, как за спиной, на Западе, гаснут краски

заката, а краски утра рождаются из глубин Азии, — мы бы уже никогда не расстались, ибо это и значило бы, что все ненужное истлело в пути, как одежда, съеденная солью пота...

Я подумал, что сейчас больше всего на свете хотел бы очутиться в чистосердечии жены, в нежности жены, открытости жены, в разомкнутости и раздвинутости жены; я хотел бы пройти с нею все этажи сверху вниз и обратно, до того момента, когда действительно не понимаешь, сколько здесь существ и отдельное ли существо ты.

Если бы мы поехали с ней в Азию, я бросил бы там машину.

Просто она была бы больше не нужна. На самом деле машина нужна только для одного самого важного путешествия... Мы добрались бы до моря, самого нежного степного моря, цвета лазури, и смыли бы с себя соль пустыни, и сами растворились бы в его нежности, как соль...

Вика слушала меня и смеялась, как дура. Может быть, она и хотела бы поехать со мной, но, слава богу, у нас с ней разные дети.

— Текилу поджечь? — спросил официант.

— Зачем? — Я опрокидываю рюмку и поджигаю себя изнутри.

Я проводил Вику до метро и долго махал ей вслед, или это она мне махала, потому что она осталась на какой-то платформе, а поезд тронулся, ну да, со мной, слегка чересчур поддатым, дальше, и я чувствовал нежность к ней, похожую на любовь, но знал, что с ней у нас больше ничего не будет.

Утром я проснулся дома у приятеля и посчитал оставшиеся деньги. Их осталось меньше, чем хотелось бы. Надо было решаться на что-то; решаться, и все. Но денег было слишком мало на то, чтоб решиться. Слишком мало денег для принципиального решения.

Слишком мало денег, чтоб изменить жизнь.

Я вспомнил эту нашу последнюю с Викой встречу и не стал звонить.

Ничем ровным счетом не могла она мне помочь. И жизнь изменилась без денег, сама. И вот я стою, варю бульон и думаю о том, как мой очередной по жизни сосед Гриша, тихий, инженерный мужик, бил сына. Должно быть, это было неспроста. А может, и страшно. И теперь ему надо как-то переварить в башке то, что он сделал, и сыну переварить эти удары отца. Причем в одной квартире, в одном котелке. Во ситуация.

Бульон у меня вышел жидкий: слишком маленькая оказалась курица. Я бросил в него для запаха кубик «Gallina blanca».

Часов в девять раздался звонок в дверь.

Я открыл. Стоял в дверях сосед Гриша. Невозмутимый, как всегда. Но серьезный.

— Если можешь, помоги. Надо бы сына снести вниз. Траванулся таблетками. Шестьдесят штук. Съел. «Скорую» вызвали...

— Без проблем, — сказал я. — Только выключу суп.

В большой их комнате сидела Гришина жена Вера и перебирала бумаги.

— Полис, полис... откуда у него полис? Паспорт три раза терял, военный билет... ни одного документа. Как у бомжа...

Она разрыдалась.

— Ну ладно, — вскричала она, — ладно бы сразу — и все! Я бы отстрадала свое — и все! А то ведь жив остался...

— Так нельзя, — сказал я. — Я и сам бухал — не дай бог. Нельзя сейчас его ругать. Нельзя плохо про него говорить...

— А что про него — хорошо говорить? Подонок... У брата вон сын его возраста — две тысячи долларов зарабатывает, а этот...

Врачи «скорой помощи» занимались парнем. Он сидел в маленькой комнате на диване и пил воду с марганцовкой.

— Пей, и если не можешь больше, то два пальца в рот — и в ведро...

— Носилки в лифт не помещаются, придется стащить его вниз на ступе... — сказал сосед.

— Покрепче стул выбирайте, чтобы ножки в руках не остались, — сказала женщина-врач.

— А он не может ходить? — спросил я.

— Ходить не может.

Сидел он неплохо и говорил вполне осмысленно.

Пока они занимались им, мы с Гришей прошли на кухню.

— Ребенка на нас бросил... — сказал Гриша. — Жил с одной, потом с другой... Куда это годится? Все деньги ему отдавали. Все, что было... Под дачу участок купили, каждый год — то дорога, то электричество... Строиться даже не начали... Все деньги на него уходят...

— Ты знаешь, — сказал я. — Ему бы остаться одному. Без родителей. Пусть поймет, что все, край, — тогда, может быть, опомнится.

Врачи велели одеть Гришиного сына. Он стал одеваться, куртку надел. Но ботинки не мог. Очень тяжело приподнимал ноги, путая при этом правый ботинок и левый. Мы помогли надеть ботинки. Когда посадили его на стул и стали выносить, опять встряла Гришина жена.

— А ведь сам «скорую» вызвал. Значит, жить хотел? Значит, жить хотел?! — закричала она.

— Вот, правильно мать говорит, — сказала женщина-врач.

Мы подняли его, но нести не получилось.

— Завалите спинку назад, а передние ножки поднимите, как на носилках, — сказала врач.

Мы понесли, как сказали.

В лифте он произнес: «Пап, мне бы книгу какую-нибудь...»

Возле подъезда стояла «скорая». Я чувствовал, что Гриша нервничает, не хочет, чтобы кто-нибудь из жильцов подъезда оказался в курсе их беды. Тут же появился какой-то козел и стал спрашивать, в чем дело.

Подогнали «скорую». Гришиного сына положили на носилки.

— Завтра с одиннадцати до часу, — сказал парень-врач. Хороший парень. Крепкий, бесстрастный, трезвенный.

— Я приеду, — сказал Гриша. — Книгу тебе привезу.

Мы поднялись наверх.

— Выпить хочешь? — сказал Гриша.

— Нет, — сказал я. — Я если начинаю, трудно остановиться. Мне алкашом быть нельзя.

— Вот в том-то и дело, — сказал Гриша.

Я доварил суп, выставил его на балкон. Над стадионом «Динамо» прожекторные башни пылали белым, как фольга, светом. Видимо, шел футбольный матч.

Ночью я увидел ее во сне. Ту женщину, о которой всегда мечтал. Почему-то рыжую. Я так жестоко хотел ее, что в самой силе этого желания было что-то возвышенное. Потом я понял, что дело не в желании, а в тех словах, которые я хотел бы ей сказать. Когда я проснулся, из моих глаз к ушам текли слезы.

как медленно созревание понимание как медленно как долог путь как мало пройдено какая бесконечная дорога впереди как далеко мы друг от друга как близко жизнь ужасна прекрасна жизнь весна, зеленый дым и месяц молодой серебряный как трудно доверять себе как страшно слышать голос судьбы, зовущей к подвигу как страшно, не исполнив долга, стоять и знать, что время истекло и истекает каждую минуту как тяжелы доспехи лет, как заскоружлы страхи как трудно дышит душа

сквозь устья отвердевших створок как благороден бунт, как легок лет коней, как широко полощутся знамена ах, если бы! ах, если бы, ах, битва с мечами наголо! и все же человеческий удел — удерживать позицию незримо тысячу раз связывать то, что тысячу раз разорвано, вспоминать то, что забыто, очищать то, что испачкано, поддерживать то, что ослабло попытаться подняться хотя бы на цыпочки выплюнуть, и снова выплюнуть, и снова, пока не очистишься, искушение быть сильным, стильным, причастным, уверенным в себе небритым за рулем хозяином черной пантеры с зелеными глазами вхожим в кабинеты имеющим отношение к преступлениям, за которые сразу платят наличными с сердцем, не знающим сомнений как трудно это выплюнуть и растереть, стать не от мира сего, стать идиотом, не собирать сокровищ и даже знания не множить бесполезно просить Его о легкости и только о том, чтоб научил, как совместить любовь с необходимостью прожить всю жизнь до дна как хорошо.



СЕМЕН ЛИПКИН
(1911—2003)

ПРОСТИ МЕНЯ

* *
*

Делают мое стихотворенье
Хлеба кус,
Обонянье, осязанье, зренье,
Слух и вкус.

А когда захочется напиться,
Крикну в тишине,
Крикну — тишине: «Испить, сестрица!»
Станет легче мне.

И сестрица ласково подходит —
Круглая, как море, тишина.
Речи непристойные заводит
Как своя, привычная жена.

И на отмели, в песчаной пене
Возникают меж суровых бус
Обонянье, осязанье, зренье,
Слух и вкус.

1928.

Слепота

Пусть так. Я слеп. Дрожит эфир.
Горит заря. Скудеют реки.
Стучит разнообразный мир
В мои захлопнутые веки.

Но веки — как стена. Не сдвинуть, не открыть.
И мир другой, беднее, может быть,
За ними скрыт. Он ближе и дороже
И зренью моему ясней.
Вот несколько простых вещей:
Бродяга... поезд... бездорожье.

<Начало 30-х годов.>

Ручью

Что с тобой стало, ручей, был ты всегда безглагольным,
 Был нелюдимым всегда, треплешься нынче весь день.
 — Вышито небо к весне бабочек цехом игольным... —
 Врешь, это я написал, выложил суриком тень.

Знаю, что скажешь мне, всю речь твою знаю заране:
 Паводок — голос ее. В синих прожилках земли —
 В сонных озерах — зрачков отблески. А на поляне...
 Врешь! Это выдумал я! Песни мои расцвели!

Завтра придет моя жизнь — так вот в ушах раздается!
 (Лесу шепнул: зеленей! Воздуху: будь невесом!)
 Жизнь моя завтра придет, та, что Весною зовется...
 (Крови своей: не балуй! Ласточкам подал: начнем!)

Спросишь, хитрец: почему ж коврик не выткан зеленый?
 Рук не хватило тебе?.. Полно злорадствовать, друг!
 Лишь переступит она те полуголые склоны —
 Буду следы целовать, даром что скошен каблук.

1932.

Деревня

И вот потомки племени мотыг,
 Почивших в бозе сонмами святых,

Рассказывают путь земного шара,
 О полуголом гнутом дикаре,
 Бесплотную любовь ветеринара
 И порчу в брошенном инвентаре.

А рядом — выявляя превосходство,
 Одушевленность туловищ рябых —
 Наглядная краса животноводства —
 Лежат корова, и овца, и бык —

Как правила! Как правила — не нужны.
 Им не рожать, не хрюкать, не мычать —
 Смотреть в окно на месяц золотушный
 И первым день суровый замечать.

Когда с утра, обставлены железом,
 Что пахнет потом, лошадью, овсом,
 Ведомые Перуном и Велесом,
 Проходят пахари своим путем.

Идут, а молотилки и комбайны —
 Как старые библейские волы!
 И на полях, прогорклы и бескрайны,
 Вскипают жита первые валы.

И вот, побеждены суперфосфатом,
 Уже не благодетели земли,
 Дожди косые с видом виноватым,
 Как родственники бедные, пришли.

Страда... хмелеет голова от хлеба,
И вкусные трепещут облака.
А взглянешь на языческое небо —
И видишь ковш сырого молока.

И было мне открыто песней злака
Часовни тише и скрытней греха,
Что трактор, прирученный, как собака,
Еще хранит замашки бирюка.

<Начало 30-х годов.>

* *
*

Разве припомнишь развалин
Замшенные жерла,
Где, словно пчелкой ужален,
Закат узкогорлый?
Церковки новой, портовой
Смущенные звоны?
Матушку с вечной основой?
(А нитки — бессонны.)

Что вспоминать мне! Ты вспомни
Проулками всеми
Шедшие с каменоломни
Рабочие семьи.
Косточки, вспомни, валялись
Гнилых абрикосов...
К нам, на плечах, приближались
Останки матросов.

Мертвые ждали салюта,
Друзья по-матросски
Губы кусали, как будто
Ища папироски.
Ты не забыл те тужурки,
Пропахшие морем,
Мальчик болезненный, в жмурки
Играющий с морем.

1932.

Последний путь

Мы хоронили дряхлого певца;
Забытого и прочно, и давно.
А были дни — и он смущал сердца
Смятением, что в сердце рождено.

С трудом собрали два десятка лиц,
Чтоб сжечь пристойно одинокий прах,
И двигался автобус вдоль больницы
Сквозь гомон птиц в строительных лесах,

И в стекла иногда вливалась высь
Всей влагой вечеряющей зари...
Чтоб сделать много, вовремя родись,
Чтоб быть счастливым, вовремя умри.

30.6.1967.

* *
*

Я смотрю на город мой столичный,
На его дневную суету,
И впервые глаз, к нему привычный,
Открывает мрак и пустоту.

Так торгуем, плачем и ликуем,
Так задумали земную ось,
Будто мы взаправду существуем
И давно все это началось.

Мрак предвечный нами не осознан,
И ничто ни с чем не говорит,
Дольний мир пока еще не создан,
Только Дух над ним парит.

3.5.1980.

Ель в окне

Ель в окне, одетая
В белые меха,
Столько раз воспетая
Дудочкой стиха,

Я тебя-то, скромница,
Знаю много лет,
А тебе ли вспомнится
Старый твой сосед?

Как порой невесело
Он смотрел в окно,
А зима развесила
Серое рядом,

Как терзал он перышком
Толстую тетрадь,
Чтоб весною скворушкам
Повесть прочитать,

Как однажды жесткую
Не убрал постель,
А заря полоскою
Золотила ель.

22.1.1981.

Ночная тьма

Притормозив, спросил с небрежной
Усмешкой: «Есть ли закурить?»
А я шагал и думал, грешный:
«Здесь, на земле, мне долго ль жить?»

Он в фирменной дубленке вышел.
Был голос пьян, а сам — тверез.
Я понял раньше, чем услышал,
Что будет разговор всерьез.

Он вышел посреди дороги
Вдоль дач, переходящих в лес,
Такой же, как и я, двуногий
И с тем же признаком словес.

Зима ночную тьму простерла
На елей и заборов смесь,
А он схватил меня за горло:
«Вы долго жить решили здесь?»

Как видно, государь геенны
Гонца прислал на «Жигулях»,
Чтоб он раскрыл мой сокровенный,
Чтоб растолкал мой спящий страх.

Я — за угол, в калитку. Прячусь
В ночном снегу. За мной вдогон,
Утратив на минуту зрячесть,
Кидается автофургон.

Чего гонец бесовский хочет?
Поработить? Побить? Иль сбить?
То я шепчу иль ночь бормочет:
«Здесь, на земле, мне долго ль жить?»

7.3.1981.

Сонет Кларе*

В музеях, что для публики открыты,
Где множество реликвий и святынь,
Мы видим изваяния богинь —
Афины, Геры, Гебы, Афродиты.

В них также манускрипты знамениты,
Нам говорят кириллица, латынь,
Что блеск, и власть, и красота княгинь
И королев досель не позабыты.

* Пользуясь случаем, сердечно поздравляем многолетнего секретаря К. И. Чуковского Клару Израилевну Лозовскую с 80-летием! (Редакция «Нового мира».)

Но важных, пышных зданий мне родней
 Тот ветхий дом, где обитал Корней,
 Где дочь его — исполненная дара
 Свидетельница горестных годин,
 Где лучше изваяний и картин —
 Живая, восхитительная Клара.

11.10.1981.

Я царь, я раб...

Затерянных ослиц
 Искал я, как Саул.
 И среди встречных лиц
 Я на одно взглянул,
 И светлый Самуил
 Меня остановил!

«Я внемлю, — ты внемли.
 Ступай к другой мете,
 И будут все кремли
 Принадлежать тебе,
 И станешь ты царем
 Над Звуком и Пером».

Я Внемлющему внял,
 Пастуший кинул рог,
 Пошел я, но узнал:
 Ошибся наш пророк,
 И вот я страж добра
 У Звука и Пера.

Я стал у них рабом,
 Я царства не обрел,
 И стукаюсь я лбом
 Об их дворцовый пол,
 Но злы Перо и Звук
 На худшего из слуг.

20.11.1981.

Новый Иерусалим

При реках Вавилона сидели мы и плакали,
 когда вспоминали о Сионе.

Псалом 136.

Не сидят на Истре и не плачут,
 Здесь — не Вавилонская река.
 Кто же знал, что все переиначит
 Не чужая, а своя рука?

В зипуне кощунства и доноса,
 Из безумья, хмеля, нищей лжи
 Появился Навуходоносор,
 И пошли убийства, грабежи.

Здание стоит, а дом разрушен:
 Полой стала каменная плоть,
 Ибо тот и умер, кто бездушен,
 Если смертью смерть не побороть.

Мы пред стариной благоговеем,
 И когда районный городок
 Порешил потешить нас музеем, —
 Видеть не хотим его порок.

От вина и от лихвы пьянеют
 Областена начальники его,
 Даже в вечном сне они тучнеют,
 Ибо то и тучно, что мертво.

В доме Нового Иерусалима
 Нынче нет молитв и чистых слуг,
 Все же шум от крыльев херувима
 Иногда в себя вбирает слух.

Кто мне голос крыльев переводит?
 Правильно ли понял перевод?
 «Тот, кто жаждет, пусть сюда приходит,
 Воду жизни даром пусть берет!»

3.5.1986.
 Красновидово.

Предки мастеров

Я блюститель полнокровья,
 Но не хищных, а овец.
 И поэтому сословья
 Третьего певец.

Мы из лавки, банка, цеха,
 Знаем толк в камнях, в стекле,
 В шерсти, в жести, в громе смеха
 Грубого Рабле.

Твердо в здравый смысл поверив,
 Мы надежный строим кров,
 Мы потомки подмастерьев,
 Предки мастеров.

2.5.1992.
 Переделкино.

* *
 *

Сказал мудрец, не склонный к похвальбе:
 «Где б ни был ты, принадлежи себе».

Легко ли вникнуть в эту мысль живую?
Ведь для того, чтобы ее понять,
Сперва я должен верить, должен знать:
Я существую.
А не то солгу,
Что я себе принадлежать могу.

27.8.1998.
Переделкино.

* *
*

Не доносил, не клеветал,
Не грабил среди бела дня,
Мечтал, пожалуй, процветал,
Прости меня.

Не предавал, не продавал,
Мне волк лубянский не родня,
Таился, не голосовал,
Прости меня.

Мой друг погиб, задушен брат,
Я жил, колени преклоня,
Я виноват, я виноват,
Прости меня.

2.10.1992.



ПАВЕЛ БАСИНСКИЙ

*

ГОРЬКИЙ

Главы из книги

«А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК?»

Метрическая запись в книге церкви Варвары Великомученицы, что стояла на Дворянской улице Нижнего Новгорода: «Рожден 1868 г. Марта 16, а крещен 22 чисел, Алексей; родители его: Пермской губернии мещанин Максим Савватиевич Пешков и законная его жена Варвара Васильевна, оба православные. Таинство святого крещения совершал священник Александр Раев с диаконом Дмитрием Ремезовым, дьячком Феодором Селицким и пономарем Михаилом Вознесенским».

Неужели никто, бывший при крещении младенца Алексея, ни даже восприемники его «Нижегородской губернии г. Арзамаса сын кандидата Михаил Григорьев Иванова и нижегородская мешанка Наталья Ивановна Бобкова», ни бабушка Акулина Ивановна и дедушка Василий Васильевич Каширины, ни братья матери Яков и Михаил, — неужели никто не задумался о поистине роковом и нехорошем совпадении: первого ребенка Варвары Кашириной-Пешковой окрестили в церкви Варвары Великомученицы?

Странная это была семья. И крестные у Алеши были странные. Ни с кем из них Алеша не имел никакой связи в дальнейшем. А ведь если верить повести «Детство», и дедушка его, и бабушка, с которыми ему пришлось жить до отрочества, были личностями религиозными.

Станным был и отец его, Максим Савватиевич Пешков, и дед по отцу, Савватий, человек столь крутого «ндрава», что в эпоху Николая Первого («Николая Палковича») из солдат дослужился до офицера, но был разжалован и сослан в Сибирь «за жестокое обращение с нижними чинами». К сыну своему, Максиму, он относился так, что тот не раз убежал из дома. Однажды отец травил его в лесу собаками, как зайца, другой раз истязал так, что соседи отняли мальчика.

Кончилось тем, что Максима взял к себе на воспитание крестный, пермский столяр, и обучил ремеслу. Но то ли и там мальчишке жилось не сладко, то ли бродяжья натура опять взяла в нем верх, а только убежал он и от крестного, водил слепых по ярмаркам и, придя в Нижний Новгород, стал работать столяром в пароходстве Колчина. Был это красивый, веселый и добрый парень, чем и влюбил в себя красавицу Варвару.

Максим Пешков и Варвара Каширина обвенчались с согласия (и с помощью) одной матери невесты, Акулины Ивановны Кашириной. Как говорили тогда в народе, женились «самокруткой». Василий Каширин был в ярости. «Детей» он не проклял, но и жить их к себе, до рождения внука, не пускал. Только перед родами Варвары пустил их во флигель своего дома. Помирился с судьбой...

Басинский Павел Валерьевич родился в 1961 году. Закончил Литературный институт им. А. М. Горького. Книга «Горький» выходит в издательстве «Молодая гвардия» в серии «ЖЗЛ». Живет в Москве.

Однако именно с этого момента судьба начинает преследовать род Кашириных. Как будто появление мальчика знаменовало собой Божье проклятие для этой семьи. И как всегда бывает в таких случаях, сначала судьба улыбнулась им последней закатной улыбкой. Последней радостью.

Максим Пешков оказался не только талантливым мастером-обойщиком, но и натурой артистической, что, впрочем, было едва ли не обязательным для *краснодеревца*. *Краснодеревцы*, в отличие от *белодеревцев*, изготавливали мебель прежде всего из ценных пород древесины, производя отделку бронзой, черепахой, перламутром, пластинами поделочных пород камня, лакировку и полировку с тонированием. То есть они изготавливали стильную мебель.

Кроме того (и это не могло не понравиться Василию Каширину), Максим Савватиевич отошел от бродяжничества, крепко осел в Нижнем и стал там уважаемым человеком. Перед тем как пароходство Колчина назначило его конторщиком и отправило в Астрахань, где ждали приплывтия Александра Второго и сооружали к этому событию триумфальную арку, Максим Савватий Пешков успел побывать присяжным в нижегородском суде. Да и в конторщики нечестного человека не поставили бы...

Вот в Астрахани-то судьба и настигла Максима и Варвару Пешковых, а с ними и каширинский род. В июле 1871 года (по другим данным — в 1872 году) трехлетний Алексей заболевает холерой и заражает ею отца. Мальчик выздоровел, а отец, возившийся с ним, помер, чуть-чуть не дождавшись рождения своего второго сына, выкинутого Варварой возле его трупa и названного в его честь Максимом. Максима-старшего похоронили в Астрахани. Младший умер по дороге в Нижний, на пароходе, и остался лежать в саратовской земле.

По прибытии Варвары домой, к отцу, ее братья переругались из-за приданого сестры, на которое после смерти мужа она имела право претендовать. Дед Каширин вынужден был разделить с сыновьями. Так зачахло дело Кашириных.

Единственным положительным итогом всей этой внезапной череды несчастий было то, что через некоторое время и русская, и мировая литература обогатились новым именем. Но для Алеши Пешкова приход в Божий мир был связан прежде всего с тяжелой душевной травмой, вскоре перетекшей в религиозную трагедию. Вот так началась духовная судьба Горького. Наша версия...

Научного описания ранней биографии Горького (Алеши Пешкова) фактически не существует. Да и откуда бы ему взяться? Кому пришло бы в голову подмечать и фиксировать слова и поступки какого-то нижегородского пацана, полусироты, а затем и круглого сироты, рожденного в сомнительном браке, в семье какого-то пришлого из Перми мастерового и мещанки, дочери сперва богатого, а затем разорившегося владельца красивой мастерской? Мальчика хотя и весьма необычного, не похожего на остальных в его положении, но все же просто мальчика, просто Алеши Пешкова¹.

Несколько документов, связанных с рождением Алексея Пешкова, все же сохранилось. Они были опубликованы, например, в книге «Горький и его время», написанной замечательным человеком Ильей Александровичем Груздевым, прозаиком, критиком, историком литературы, членом литературной группы «Серapiоновы братья», куда входили М. М. Зощенко,

¹ Существует разногласие: как произносить фамилию Пешков? С ударением на первом или на втором слого? Чаще произносят с ударением на первом: Пешков. Но в повестях «Детство» и «В людях» Горький в фамилии Пешков неоднократно ставит ударение на последнем слого, тем самым указывая, что его и его отца следует именовать Пешковыми. В этом есть и определенный символический смысл. Отец и сын в молодости были бродягами.

Вс. В. Иванов, В. А. Каверин, Л. Н. Лунц, К. А. Федин, Н. Н. Никитин, Е. Г. Полонская, М. Л. Слонимский. Последний в 20-е годы решил стать биографом Горького, который из Сорренто всячески опекал «серапионов». Но потом Слонимский передумал и передал «дело» Груздеву. Груздев выполнил его с добросовестностью умного и порядочного ученого.

Груздевым и энтузиастами-краеведами были разысканы документы, которые единственные могут считаться научно обоснованными свидетельствами происхождения и детства Горького. В остальном биографы вынуждены довольствоваться горьковскими воспоминаниями. Они изложены в нескольких скупых, написанных в ранние годы литературной карьеры автобиографических справках, в письмах Груздеву 20 — 30-х годов (по его вежливым, но настойчивым запросам, на которые Горький отвечал ворчливо-иронически, но все-таки подробно), а также главной «автобиографии» Горького — повести «Детство». Некоторые сведения о детстве Горького и людях, которые его окружали в этом возрасте, можно «выудить» из рассказов и повестей писателя, в том числе позднего времени. Но насколько это достоверно?

Происхождение Горького и его родственников, их (родственников) социальное положение в разные годы жизни, обстоятельства их рождений, браков и смертей подтверждаются некоторыми метрическими записями, «ревисскими сказками», документами казенных палат и другими бумагами. Однако не случайно Груздев поместил эти бумаги в конец своей замечательной книги. В «Приложении». Как будто немножко «спрятал».

И в том же «Приложении» тактичный биограф как бы невзначай проговаривается: да, некоторые из документов «отличаются от материалов „Детства“». «Детство» (повесть) Горького и детство (жизнь) Горького не одно и то же.

Казалось бы, ну и что тут такого? «Детство», как остальные части автобиографической трилогии («В людях» и «Мои университеты»), — художественное произведение. Факты тут, разумеется, творчески преобразены. Ведь не считаются «Жизнь Арсеньева» И. А. Бунина, «Лето Господне» И. А. Шмелева или «Юнкера» А. И. Куприна научными биографиями писателей? При чтении их, помимо особенностей фантазии авторов, необходимо учитывать еще и временной контекст. То есть *когда* эти вещи были написаны.

«Жизнь Арсеньева», «Лето Господне» и «Юнкера» написаны в эмиграции, когда Россия, «которую они потеряли», рисовалась как бы «подсвеченная» кровавыми сполохами революции, а на разум и чувства неизбежно влияли воспоминания об ужасах гражданской войны. Возвращение в детскую память было спасением от этих мучивших их кошмаров. Так сказать, своеобразной душевной «терапией» для авторов. Сравним «Юнкеров» Куприна с «Поединком», написанным до эмиграции. Писали два разных человека.

Повесть «Детство» тоже написана в эмиграции. Но это была совсем другая эмиграция. После поражения первой русской революции (1905 — 1907), в которой Горький принимал активное участие, он вынужден уехать за границу, так как в России считался политическим преступником. Даже после широчайшей политической амнистии, объявленной Императором в 1913 году в связи с 300-летием дома Романовых, вернувшийся в Россию Горький был подвергнут следствию и суду за повесть «Мать». А в 1912 — 1913 годах повесть «Детство» писал на итальянском острове Капри русский политический эмигрант. Это необходимо учитывать.

Иначе странными покажутся некоторые места в повести о детстве, которая потрясла таких людей, как Александр Блок, Михаил Пришвин, Дмитрий Мережковский, Кнут Гамсун, Ромен Роллан, а именно поэзией своей и прежде всего образом Бабушки.

«Вспоминая свинцовые мерзости дикой русской жизни, — пишет Горький, — я минутами спрашиваю себя: да стоит ли говорить об этом? И, с обновленной уверенностью, отвечаю себе — стоит; ибо — это живучая, подлая правда, она не издохла и по сей день. Это та правда, которую необходимо знать до корня, чтобы с корнем же и выдрать ее из памяти, из души человека, из всей жизни нашей, тяжелой и позорной».

Это не детский взгляд.

«И есть другая, более положительная причина, понуждающая меня рисовать эти мерзости. Хотя они и противны, хотя и давят нас, до смерти расплющивая множество прекрасных душ, — русский человек все-таки настолько еще здоров и молод душою, что преодолевает и преодолеет их».

И это — слова и мысли не Алексея, сироты, «Божьего человека», а писателя и революционера Максима Горького, который одновременно раздражен результатами революции, винит в этом исторически сложившуюся рабскую природу русского человека и надеется на молодость нации и ее будущее.

Все эти мысли и чувства словно тонкими корешками пронизали «Детство». На это необходимо делать поправку при чтении описаний «свинцовых мерзостей», чтобы не прийти к ложному выводу, что Алексей Пешков родился в ужасной стране и ужасном городе (и это красивейший-то и богатейший купеческий Нижний Новгород!), среди психически ненормальных и социально обреченных личностей.

СИМВОЛИСТЫ О «ДЕТСТВЕ»

Вот удивительный факт. Символистская критика начала XX века (Блок, Гиппиус, Философов, Мережковский) в целом высоко оценила «Детство». Любопытно, однако, что чуть ли не единственный отрицательный отзыв о повести от символистов был Федора Сологуба. К тому же это еще и первый отзыв на повесть вообще.

В журнале «Дневники писателей» (1914, № 1) Сологуб писал: «Каким Горький уехал, таким и вернулся. Талант — топор, как было сказано о Некрасове. Рубит фигуры из слов, как Ерзя из мрамора. <...> Читаешь и досадуешь. Невольно вспоминаешь благоуханное детство Толстого. По контрасту. Такое злое и грубое это детство. Дерутся, бьют, порют в каждом фельетоне². Какой-то сплошной садизм, психологически совсем не объясненный. Не видим, какая душевная сила движет людей к совершению неистовств».

Сравним с восторженным откликом Александра Блока в письме к П. С. Сухотину 1916 года: «Прочтите „Детство“ Горького — независимо от всяких его анкет, публицистических статей и прочего... Какая у него была бабушка!»

Он же в письме к П. Б. Струве июля 1917-го возмущается, что среди учредителей Лиги Русской Культуры, созданной после Февральской революции, нет имени Горького: «...всякий скажет, что в истории русской культуры имя автора „Исповеди“ и „Детства“ знаменательнее, чем имя Председателя IV Думы». Значит, Блок считал «Детство» частью не только литературы, а всей культуры.

Сравним также мнение Сологуба со статьей его прямого соратника по лагерю символистов Дмитрия Мережковского. Статья была напечатана в 1915 году в газете «Русское слово» (той же, где впервые опубликовано «Детство») и имела название «Не святая Русь. (Религия Горького)». «Куда идет Россия? — спрашивал Мережковский. — Великие русские писатели

² Очевидно, «фельетонами» Сологуб иронически называет части повести, которая печаталась порциями в газете «Русское слово» с конца августа 1913 года по конец января 1914-го.

отвечают на этот вопрос — как бы вечные вехи указывают путь России. Последняя вежа — Толстой. За ним — никого, как будто кончились пути России. За Толстым никого — или Горький».

«Да, не в святую, смиренную, рабскую, а в грешную, восстающую, освобождающуюся Россию верит Горький. Знает, что „Святой Руси” нет; верит, что святая Россия будет. Вот этой-то верую и делает он, „безбожный”, Божье дело. Ею-то он и близок нам — ближе Толстого и Достоевского. Тут мы уже не с ними, а с Горьким».

Прав или не прав был Мережковский, оценивая «Детство» как повесть специфически религиозно-революционную (в то время подобное соединение мало кого смущало), но показательна та высота, на которую возносит Горького его вчерашний оппонент.

Ведь это Мережковский когда-то назвал героев Горького *грядущими хамами*. А сам писатель был их глашатай.

А в этой статье ему отводится место *впереди* Достоевского и Толстого!

Все это кажется странным потому, что именно Сологуб, казалось, должен был оценить «темное», «смрадное» содержание «Детства», где полуслепым мастерам подкладываются раскаленные наперстки, где братья пытаются зимой утопить мужа своей сестры в проруби, где сыновья дерутся за столом на глазах у отца семейства и где, наконец, как почти правильно заметил Сологуб, «бьют, порют в каждом фельетоне».

Ведь как раз Сологуб, не Блок и Мережковский, знал *такое* детство.

В книге «Русская литература конца XIX — начала XX века и первой эмиграции» (М., «Academia», 1998) читаем статью о Сологубе С. Р. Федякина. «Федор Кузьмич Тетерников (настоящая фамилия писателя) родился 17 февраля 1863 года в Петербурге. Отец его, портной, из бывших крепостных, умер, когда сыну было всего четыре года. Мать нашла работу прислуги, и с помощью хозяйки ей удалось при крайней бедности дать сыну неплохое образование: в 1882 году он окончил Санкт-Петербургский учительский институт. Но наука вгонялась в будущего писателя *непрекращающейся поркой* (курсив мой. — П. Б.), которая продолжалась и позже. Сологуб настолько привык, „прикипел” к битью, что уже не мог без этого жить: боль физическая стала восприниматься как лекарство от боли душевной. <...> Это болезненное сладострастие от битья вошло в его мироощущение и болезненным светом озарило все его творчество. Розги то и дело будут появляться в его стихах и прозе».

Вот так так! В самом деле, разве мало грязного и смрадного в романе Сологуба «Мелкий бес»? А в романе «Навыи чары»? Так почему Горькому Сологуб неожиданно отказывает в праве на «смрадное»?

Легко заподозрить здесь творческую ревность. Тем более, что личные отношения Федора Сологуба и Горького, назвавшего его «Смертяшкиным» за пристрастие к теме смерти, были... неважные.

Но дело, думается, в другом. В отличие от Блока и Мережковского, чьи детства были (по крайней мере внешней, материальной стороной) благополучными, Сологуб по своему опыту знал, «из какого сора» растут такие произведения, как повесть Горького. И хотя он понимал, что многое из описанного там — «горькая» правда, заподозрил писателя в субъективизме, нарочитости некоторых сцен и картин. И тем неприятнее было читать «Детство», что эта повесть была искажением *его* собственной и болезненной для него «правды».

«Что-то здесь не так...» — возможно, говорил себе Сологуб. И вот это «не так» помешало ему оценить высокую поэзию «Детства» с его чудесными образами Дедушки, Бабушки, Цыганка и других.

Что же «не так»?

Повесть «Детство» обычно рассматривали с двух точек зрения — реалистической и символической. Реалистическая точка зрения заявлена самим Горьким в цитированном отрывке из «Детства». Это повесть о «свин-

цовых мерзостях» русской жизни, в которой корчится несчастный русский человек. Но остается вера, что молодость и талантливость русской нации выведут ее «к свету».

Символическую точку зрения на повесть дал Мережковский. Он рассмотрел ее как своего рода символическую формулу России. Бабушка и Дедушка — две ипостаси русского мироощущения и русской религиозности. «Религия» Дедушки — это религия государственная, жизнеустроительная, идущая с петровских времен. «Религия» Бабушки — религия народная, стихийная, полуязыческая.

Обе религии отрицают Святую Русь, закладывая основы новой Святой России. И если бы соединить государственную, жизнеустроительную *волю* Дедушки со стихийной, всеобъемлющей *любовью* Бабушки, то состоялось бы рождение новой России.

Проблема, однако, в том, что эти ипостаси существуют одновременно и в неразрывности, и в неслиянности. Они не могут друг без друга. Но и породить что-то целостное не могут.

«Бабушка — Россия, но не вся, потому что у России — „две души”³, по вещему слову Горького, может быть, из всех его слов — самому вещему. Одна душа России — Бабушка, другая — Дедушка. Бабушка прекрасна, Дедушка уродлив. У Бабушки добрый Бог — „такой милый друг всему живому”; у Дедушки — злой. Если Бабушкин Бог — настоящий, то Дедушкин — не Бог, а дьявол.

Так или почти так для Алеши Пешкова, но не так или не совсем так для Горького. Он уже знает, что не вся правда у Бабушки, что есть и у Дедушки своя правда, такая же вечная, страшно верная, страшно русская. <...>

Бабушка делает Россию безмерною; Дедушка мерит ее, копит, собирает, может быть, в страшный кулак; но без него она развалилась бы, расползлась бы, как опара из квашни. И вообще, если бы в России была одна Бабушка без Дедушки, то не печенеги, половцы, монголы, немцы, а своя родная тля заела бы живьем „Святую Русь”. Бабушка — Россия старая, обращенная к Востоку; Дедушка — Россия новая, обращенная к Западу. Бабушка безграмотна; Дедушка полуграмотен. Но если когда-нибудь Россия будет грамотной, то благодаря не Бабушке, а Дедушке».

На скрещенье этих векторов — Алеша Пешков, который мучительно формируется в М. Горького. Бабушка напитывает его любовью, учит широте взгляда на мир. Дедушка учит церковной грамоте и жестоко порет его, приучая выносить боль и не смущаться доставлять ее другим. Бабушка — Поэзия. Дедушка — Наука.

А в целом — Горький.

Разумеется, схема Мережковского хромает, как все его излюбленные «диалектические» модели. Но в отношении влияния на Горького «религий» Бабушки и Дедушки он во многом прав. И потом, этот взгляд на повесть гораздо интереснее якобы «реалистических» рассуждений на тему о том, как закалялся характер Пешкова посреди свинцовых мерзостей русского быта.

Однако и первая (социальная) схема, и вторая (символическая) — все равно остаются схемами. За ними не видно живого Алеши.

Что это был за мальчик?

«БЕЗ ЦЕРКОВНОГО ПЕНЬЯ, БЕЗ ЛАДАНА...»

Чтение повестей «Детство» и «В людях» — дело хотя необыкновенно трудное, но и увлекательное. Если не читать эти вещи с наивно-реалистической точки зрения, как Сологуб «Детство», удивляясь обилию в повестях немотивированной жестокости, но и не поддаваться искушению символи-

³ Мережковский имеет в виду статью Горького «Две души», опубликованную в журнале «Летопись».

ческого схематизма Мережковского, то окажется вдруг, что в этих повестях заключен «шифр» всей биографии Горького и его творчества. Если воспринимать эти повести с некоторой степенью уважительного, но все же скептицизма к ним как к реалистическим автобиографиям, то открываются вещи удивительные и... странные. Для автора этой книги несомненно, что и сам Горький, когда писал «Детство» и «В людях», именно с уважительным недоверием смотрел на личность Алексея Пешкова и отнюдь не всегда идентифицировал его с собой.

Кстати, это качество (раздвоение «я») вообще было характерно для Горького. Оно проявилось уже в письме к Е. П. Волжиной, невесте, а затем жене. Это раздвоение имело как будто иронический характер: жених, естественно, слегка кокетничал перед возлюбленной. Но за этой иронией сквозило и что-то серьезное.

«Прежде Пешков недостаточно прост и ясен, — пишет он в мае 1896 года, — он слишком убежден в том, что не похож на людей, и слишком рисуется этим, причем — не похож ли он на людей на самом деле — это еще вопрос. Это может быть одной только претензией. Но эта претензия позволяет ему предъявлять к людям слишком большие требования и несколько третировать их свысока. Как будто бы умен один Пешков, — а все остальные идиоты и болваны. <...> А главное — его трудно понять, ибо он сам себя совершенно не понимает. Фигура изломанная и запутанная. Помимо этих очень крупных недостатков, есть и другие, из которых одни я позабыл, другие не знаю, о третьих не хочу говорить, потому что скучно и потому, что мне жалко Пешкова — я люблю его. И только я действительно люблю его. О достоинствах этого господина я не буду говорить — ты, должно быть, лучше меня знаешь *и*ж. Но вообще — предупреждаю, и совершенно серьезно, Катя, — вообще этот человек со странностями. Иногда я склонен думать, что он своеобразно умен, но чаще думаю, что он оригинально глуп. Главное — он слишком непонятен, вот его несчастье».

Это письмо написано уже «М. Горьким». И даже более или менее известным писателем, так как в 1895 году самый популярный в России «толстый» литературно-публицистический журнал «Русское богатство» напечатал рассказ «Челкаш».

И в то же время, повторимся, это письмо написано влюбленным женихом — невесте. Так что Горький тут, без сомнения, «рисуется».

Тем не менее оно вызывает сложное чувство. Здесь смешаны ирония, нарциссизм и раздвоение личности, даже страх перед самим собой.

30 августа того же года в Самаре Горький обвенчается с Екатериной Павловной Волжиной, а уже в октябре он настолько серьезно заболел туберкулезом, что три месяца будет находиться на грани жизни и смерти. Начало болезни совпало с каторжным каждодневным газетным трудом и тяжелым материальным положением. И у железного человека психика не вынесла б такого.

Но зачатки этого тяжелого душевного состояния прорастали в нем в детстве.

Поэтому пристальное прочтение двух повестей производит на читателя двойственное впечатление. Автор как будто сам удивлен формирующейся перед ним личностью, с недоверием изучает ее и делает для себя какие-то выводы, о которых не сообщает, а только намекает читателю.

Он как бы говорит: «Черт знает, что это за мальчик? Но мне кажется...»

Далее попадаем в густой лес знаков, символов, намеков, странных открытий.

Ну не странно ли, например, что на исповедь в церковь *крещеный* Алексей Пешков *впервые* попадает, будучи подростком, когда работает прислугой в семье подрядчика, родственника своей бабушки? Как такое могло быть? В семье В. С. Сергеева, согласно «Летописи жизни и творче-

ства А. М. Горького»⁴, он оказался примерно в сентябре 1880 года, а сбегал в мае 1881-го. Следовательно, двенадцати-тринадцатилетний крещеный подросток ничего не знал ни о том, что такое церковная исповедь, ни как совершается обряд Причастия?

Невероятно, но так получается, когда читаешь «Детство» и «В людях». Если только Горький не заставил себя «позабыть» о *сознательном* посещении им церкви, когда писал в повести «В людях», что Сергеевы обязали его ходить в церковь «по субботам — ко всенощной, по праздникам — к поздней обедне». «Мне нравилось бывать в церквях; стоя где-нибудь в углу, где просторнее и темней, я любил смотреть издали на иконостас — он точно плавится в огнях свеч, стекая густо-золотыми ручьями на серый каменный пол амвона; тихонько шевелятся темные фигуры икон; весело трепещет золотое кружево царских врат, огни свеч повисли в синеватом воздухе, точно золотые пчелы, а головы женщин и девушек похожи на цветы».

Это как бы *первое* открытие для Алешки обряда православного богослужения. Его отправляют исповедаться к отцу Доримедонту, он невероятно напряжен. Уходит от священника, «чувствует себя обманутым и обиженным: так напрягался в страхе исповеди, а все вышло не страшно и даже не интересно...».

Когда на следующий день его с пятиалтынным (для пожертвования) отправляют уже причащаться, Алексей пропускает литургию, да еще проигрывает деньги в бабки. В панике, что в доме Сергеевых обман раскроется, Алеша спрашивает «празднично одетого паренька:

— Вы причащались?

— Ну так что? — ответил он, осматривая меня подозрительно.

Я попросил его рассказать мне, как причащают, что говорит в это время священник и что должен был делать я».

Согласно православному правилу, которое в XIX веке было законом для крещеных людей, до семилетнего возраста ребенка причащают без исповеди. После семи он *обязан* исповедоваться.

Неужели в православной семье Кашириных не знали того, о чем знали в православной семье их ближней родни?⁵

Непонятно.

В одном из писем Груздеву Горький признался, что всегда был не в ладах с датами и фактами, но память на людей у него исключительная. Значит, если Горький вспомнил того паренька (кстати, он отказался рассказать о процедуре причащения), то к тому моменту Алеша действительно не знал, как происходит главнейшее из церковных таинств? Так же, как не знал и того, что образ Богородицы на иконе не целуют в губы? Это Алексей в порыве любви к Богоматери сделал, когда в дом Сергеевых внесли чудотворную икону Владимирской Божьей Матери из Оранского монастыря:

«Я любил Богородицу; по рассказам бабушки, это она сеет на земле для утешения бедных людей все цветы, все радости — все благое и прекрасное. И, когда нужно было приложиться к ручке Ее, не заметив, как прикладываются взрослые, я трепетно поцеловал икону в лицо, в губы.

Кто-то могучей рукой швырнул меня к порогу, в угол».

Четыре факта, связанные с воспоминаниями о живых людях, событиях и впечатлениях (посещение церкви, исповедь, обман с Причастием и целование лика Богородицы), как будто говорят о том, что в семье деда с бабушкой Алешу никогда не водили в храм.

⁴ Начало «Летописи жизни и творчества...», где идет речь о детстве и отрочестве Горького, можно отнести к научной биографии лишь с очень большой натяжкой, ибо многие данные там даются со ссылкой на автобиографическую трилогию Горького, то есть на художественные тексты.

⁵ Мать В. С. Сергеева приходилась сестрой бабушке А. Пешкова.

Впервые его отправили на исповедь именно родственники, которые, оказывается, куда больше заботились о душе Алеши, нежели любимая бабушка и весьма щепетильный в вопросах религии дедушка.

«Через несколько дней после приезда он (дед. — П. Б.) заставил меня учить молитвы. Все другие дети были старше и уже учились грамоте у дьячка Успенской церкви; золотые главы ее были видны из окон дома».

Главы-то видны были... Но, оказывается, ни деду, ни бабушке не пришло в голову, что Алешу нужно отвести на исповедь. Во всяком случае, в «Детстве» нет ни слова об этом. Хотя есть очень много размышлений о Боге бабушки, добром, и Боге деда, злом.

Сами-то супруги Каширины и их сыновья с семьями ходят в церковь исправно. «По субботам, когда дед, перепоров детей, нагрешивших за неделю, уходил ко всенощной, в кухне начиналась неопишимо забавная жизнь», — пишет Горький. И рассказывает о фокусах с мышами и тараканами Ивана Цыганка, подкидыша и вора, который воровал для жадного на деньги деда провизию на рынке. Тараканы изображали тройку архиерея, монахов. Почему Алексея дед не брал с собой? Понятно — Цыганок, кличка которого говорит сама за себя. Но Алексей почему не в церкви?

Когда братья Каширины, Яков и Михаил, убили Цыганка (случайно или преднамеренно — не совсем ясно), задавив его комлем огромного креста для могилы жены Якова, дед и бабка находились в церкви, куда за ними посылают.

В глазах же маленького Алексея православный крест, панихида, которую служат по жене Якова (будто бы замученной Яковом до смерти), дед с бабкой на церковном кладбище, странное поведение дядьев («Сволочи! Какого вы парня зря извели! Ведь ему бы цены не было лет через пяток... Знаю я, — он вам поперек глоток стоял...» — кричит примчавшийся из церкви дедушка) и кровь, текущая изо рта Цыганка, связываются в единый образ. И этот жуткий образ едва ли приближает маленького Алексея к православной церкви.

Но главное, когда семья в храме, на кухне двое. Иван и Алеша. Первый подкидыш. Его любят дед и бабка. Но он не свой. А Алексей? Вроде бы свой. Наполовину — Каширин. И тем не менее его положение в доме почему-то напоминает положение Цыганка. Положение подкидышей.

Заглянем в первую известную автобиографию Горького под несколько вычурным и явно навеянным влиянием поэта Гейне, которым Горький увлекался в молодости, названием «Изложение фактов и дум, от взаимодействия которых отсохли лучшие куски моего сердца». Эта автобиография обращена к некой Адели, героине немецкого романа. Под Аделью несложно заподозрить «первую любовь» и гражданскую жену Горького переводчицу О. Ю. Каменскую, ради которой, по-видимому, и писался этот автобиографический очерк в виде письма, при жизни автора нигде не напечатанный.

Горький рассказывает о своем детстве и вдруг, между прочим, отмечает: «Очень не любил ходить в церковь с дедом — он, заставляя меня кланяться, всегда и очень больно толкал в шею». Есть об этом и в «Детстве»...

Значит, дед все-таки водил Алексея в церковь. Но при этом ни разу не принуждал исповедаться и причаститься? Либо Горький забыл об этом, либо отношение к мальчику в семье Кашириных было очень странным. Вернее всего — второе.

В том же «Изложении...» говорится, что Алешу не взяли в церковь, когда его мать венчалась с вотчимом, хотя с вотчимом его накануне свадьбы познакомили, и тот даже поцеловал его и пообещал купить ему ящик красок. (Впрочем, в «Детстве» это объясняется тем, что мальчик повредил ногу заступом.)

«На другой день было венчание матери с новым папой. Мне было грустно, я это прекрасно помню, и вообще с того дня в моей памяти уже по-

что нет пробелов. Помню, *все родные* (курсив мой. — П. Б.) шли из церкви, и я, видя их из окна, почему-то считал нужным спрятаться под диван. Теперь я готов объяснить этот поступок желанием узнать, вспомнят ли обо мне, не видя меня, но едва ли этим я руководствовался, залезая под диван. Обо мне не вспоминали долго, долго! На диване сидели новый отец и мать, комната была полна гостей, всем было весело, и все смеялись, мне тоже стало весело — и я уж хотел выползти оттуда, но как это сделать?

Но пока я раздумывал, как бы незаметно появиться среди гостей, мне стало обидно и грустно, и желание вылезть утонуло в этих чувствах. Наконец обо мне вспомнили.

— А где у нас Алексей? — спросила бабушка.

— Набегался и спит где-нито в углу, — хладнокровно отвечала мать. Я помню, что она сказала это именно хладнокровно, я так жадно ждал, что именно она скажет, и не могу не помнить...»

Не здесь ли скрывается подсознательная (или сознательная?) причина того факта, что в 1912 — 1913 годах, когда писалось «Детство», Горький забыл (забыл?) о том, как ходил в храм, когда жил с Каширинными, и вспомнил о церкви, только описывая свою жизнь у Сергеевых? Но в любом случае первые «церковные» воспоминания Горького связаны с детскими травмами. Буквальными (дедушка больно толкал в шею) и душевными (вся родня пошла в церковь на венчание Варвары, затем все сели за стол, а про мальчика забыли). Это были первые кирпичики того фундамента, на котором строилось отношение писателя к церкви...

«СЕЯЛИ СЕМЯ В НЕПАХАНУ ЗЕМЛЮ»

Эти слова произносит дедушка на похоронах Коли, сводного брата Алеши Пешкова. Братик Коля почти даже не умер, а «незаметно, как маленькая звезда на утренней заре, погас», по словам Алеши.

Да, именно Алеши, не Горького. В «Детстве» и отчасти в повести «В людях» (которая является продолжением «Детства», в отличие от повести «Мои университеты», где перед нами не Алеша, а уже весьма резко оформившийся будущий Горький) нужно научиться постоянно различать их голоса. Правда, порой они смешиваются.

О каком «семени» и о какой «земле» шла речь? Почему смерть собственного внука воспринимается дедом Василием Кашириным как-то неправдоподобно равнодушно? Словно умер не родной человек, а сдохла тощая и больная курица?

«— Вот — родили... жил... ел... ни то ни се...» — бормочет дед о внуке.

Не менее странным, если задуматься, является всем знакомый конец «Детства»:

«Через несколько дней после похорон матери дед сказал мне:

— Ну, Ляксея, ты — не медаль, на шее у меня — не место тебе, а иди-ка ты в люди...»

Просту говоря, мальчика выставляют за дверь через несколько дней после того, как умерла его мать и он стал окончательным сиротой!

Больше того. Отказ Алексею от дома Кашириных как раз и вызван кончиной его матери.

Почему?

Потому что со смертью дочери Варвары рвется последняя нить, которая связывала деда Каширина с Алешей Пешковым родственной ответственностью. Отныне он в глазах дедушки не «пол-Каширина», так сказать, но чистый Пешков, сын человека без роду и без племени, который увел его дочь.

Ради дочери (она после смерти отца Алеши, ее первого мужа, должна была как-то устраивать свою женскую судьбу, в чем мальчик ей, конечно же, мешал) дед Каширин еще мог потерпеть маленького Пешкова в своем

доме. Но по мере разорения Кашириных Алеша все больше становился обузой, то есть «медалью на шее». Смерть дочери развязала Василию Васильевичу руки. Ступай вон!

Дед Горького по материнской линии Василий Васильевич Каширин прожил долгую и насыщенную жизнь. Он родился в 1807 году в городе Балахны Нижегородской губернии, в семье солдата Василия Даниловича Каширина и был крещен в Покровской церкви, а в 1831 году в том же городе, но уже в Спасо-Преображенской церкви, венчался с девицей Акулиной Ивановной, дочерью нижегородского мещанина — Ивана Яковлевича Муратова.

Эти дальние родственные истоки Горького важны для выяснения подлинного, а не мифологического его социального происхождения. Социальные истоки Горького и по сей день вызывают у несведущих читателей разноречивые мнения. Остались люди, которые верят в миф о Горьком-«босьяке», трактуя это то в его пользу (бродяга, романтик!), то в отрицательном смысле (хам, человек без почвы). Советский миф о «пролетарском писателе Максиме Горьком» породил представление о его «рабочей» и даже «пролетарской» закваске. Этот миф успешно распространялся среди европейских «левых», но и в России до сих пор звучат его отголоски. В 20-е годы, выступая в собрании эмигрантов, бывший соратник Горького по товариществу «Знание» Иван Бунин попытался развенчать миф о Горьком-босьяке. И тотчас же создал новый — о Горьком-«мещанине», вышедшем из богатой буржуазной семьи.

Бунин публично «удивлялся», читая свой очерк о Горьком. Вот, мол, открыл словарь Брокгауза и Ефрона, а там... При всем уважении к Бунину нельзя не отметить, что делалось это не без задней мысли и не без расчета. Оба, Горький и Бунин, были претендентами на Нобелевскую премию по литературе. Развенчивая действительный миф о Горьком-«пролетарии», Бунин почему-то «забывал» о его действительно трудной и трудовой ранней биографии. Как бы не были еще написаны повести «Детство» и «В людях». Как бы, общаясь с Горьким в начале века, он не видел перед собой человека, который прошел не только медные трубы славы, но и огонь, и воду... Поставив перед собой задачу доказать, что слава Горького чрезмерна и не имеет оснований с точки зрения творческой, Бунин делал акцент на биографическом «трюке», который якобы проделал Горький. Внук богатого владельца красильной мастерской заставил публику считать себя изгоем и бродягой. Это было модно в начале века, ведь тогда все «почвенное», основательное, консервативное считалось реакционным.

Бунин лукавил, что не делает ему чести. Но была в этом и естественная обида человека, который сам происходил хотя и из дворянской, но бедной семьи. Среди предков Бунина были Василий Жуковский и поэтесса начала XIX века Анна Бунина. Но детство свое он провел в деревне, в небольшом имении отца на хуторе Бутырки Елецкого уезда Орловской губернии и елецкую гимназии не закончил — в связи с неуплатой денег.

Отец Бунина крепко пил, проигрывал и без того небогатое состояние в карты, был необуздан в гневе и порой третировал свою жену.

Горький же (здесь Бунин лукаво прав) родился в самом деле в счастливой и благополучной семье. Но беда в том, что счастья и благополучия этих совсем не досталось на долю мальчика. А самое-то страшное, что едва ли не главной причиной краха этих счастья и благополучия был он.

Этого ужаса (стать причиной несчастья родных тебе людей, долгое время из-за малого возраста не понимать этого, но чувствовать себя чужим и нелюбимым, а затем, по мере роста самосознания, ожесточиться на целый свет), — этого ужаса Бунин, слава богу, не пережил. Он рос в небогатой, но теплой и любовной атмосфере. В семье Буниных никогда не нака-

зывали детей. Однажды папаша в шутку повел детей в сад и приказал им самим срезать розги для наказания... которое на этом и закончилось. Родители и старший брат Юлий всегда гордились талантливым Иваном. Отец не то шутя, не то серьезно говорил: «Иван рожден поэтом, ни на что другое не способен». А сказал бы он ему: «Ты — не медаль, на шее у меня — не место тебе». И выгнал бы из дома, как подкидыша...

Вернемся к деду Василию Каширину.

На основании документов Илья Груздев сделал вывод, что уже в Бадахне Василий Васильевич «приобрел хорошую „оседлость“» и был в числе зажиточных граждан. Будущая бабка Алеши Пешкова Акулина была младше Василия на 6 лет.

Переселившись в Нижний Новгород, уже довольно людная семья Кашириных зажила богато.

В данных «Обывательской книги Нижегородского цехового общества с 1855 года по 1857 год» о Василии Каширине говорится: «Служил старшиной по красильному цеху в 1849 и 1855 годах».

Купчая от 14 января 1852 года на приобретение Кашириным деревянного дома тоже подтверждает его состоятельность. А в «Списке цеховых служащих по выборам городского общества» сказано:

«По выбору городского общества служил: в 1855, 1856 и 1857 годах старшиной красильного цеха и в 1861, 1862 и 1863 годах гласным в Думе». Для справки: Дума состояла всего лишь из 6 гласных. Одним из них стал Каширин.

Вершиной благополучия каширинского рода была постройка в 1865 году большого деревянного дома на каменном фундаменте на Ковалихинской улице. Это было за 3 года до рождения Алеши.

Да, Василий Васильевич Каширин был небедным и уважаемым в Нижнем человеком. Два или три раза переизбирался цеховым старшиной и даже метил в ремесленные головы (не избрали, чем смертельно обидели гордого деда Василия). Поднявшись со дна трудовой (все-таки трудовой, не криминальной) жизни до относительно обеспеченного социального положения, он мечтал поднять род Кашириных еще выше. Сыновья, Яков и Михаил, для этой роли не совсем годились. Братья слишком часто выпивали, скандалили между собой за наследство и даже дрались на глазах у отца, так что он был вынужден разделить с ними, что в конце концов вместе с жадностью Василия Васильевича погубило «дело Кашириных». А вот красавица дочь Варвара, да еще и с хорошим приданым, могла претендовать на дворянина.

Не вышло.

Между тем сам Василий Васильевич когда-то был бурлаком и исходил всю Волгу. Но врожденный ум его был замечен хозяином, и из бурлаков его перевели в «водоливы». Водолив — старший рабочий на барке, старшина над бурлаками, наблюдавший за сохранностью груза и исполнявший обязанности «артельщика», то есть заведовавший артельным хозяйством, хранением артельных денег, выдачей кашевару продуктов. Такому человеку должны были доверять не только хозяин, но и бурлаки. А почему «водолив»? Потому что обязан был следить за водотечностью барок и при необходимости еще плотничать.

Умер Василий Васильевич Каширин нищим в 1887 году и был погребен на приходском нижегородском кладбище.

Неудачными оказались судьбы и почти всех его детей и внуков. И жены, о которой будет особый разговор.

Разделив с отцом собственность, братья Яков и Михаил погубили не только «дело». Сын Михаила Саша стал босяком и пьяницей, трижды судился за кражи, но при этом, по воспоминаниям Горького в письмах к Груздеву, был романтиком по природе.

Горький писал о нем: «Прекрасная, чистейшая душа русского романтика, лирик, музыкант и любитель — страстный — музыки... Он очень любил меня, но читал неохотно и спрашивал с недоумением: „Зачем ты все о страшном пишешь?“ Его жизнь бродяги, босяка не казалась ему страшной... Несколько раз я пробовал устроить Сашу, одевал его, находил работу, но он быстро пропивал все и, являясь ко мне полуголый, говорил: „Не могу, Алеша, неловко мне перед товарищами“. Товарищи — закоренелые босяки. Устроил я его у графа Милютина в Симеизе очень хорошо... Через пять месяцев он пришел ко мне: „Не могу, — говорит, — жить без Волги“. И это у него не слова были, он мог целые дни сидеть на берегу, голодный, глядя, как течет вода. <...> Босяки очень любили его и, конечно, раздевали догола, когда он являлся к ним прилично одетый и с деньгами. Умер он в больнице от тифа, когда я жил в Италии».

Отец Саши — дядя Алеша — Михаил был, как писал Горький Илье Груздеву, «тощий, сухой плоти и раздраженного разума человек. <...> Бабушка называла его „злоокий“. „Эх ты, змей злоокий! Кикимора злоокая!“

Глаза у него — круглые, птичьи, белки — в красных жилках, зрачки рыжеватые, с искрой. Ходил — быстренько, мелким шагом, раскачиваясь, болтая руками, сутулился, прятал голову в плечи, — так пьяные идут в драку. Работу — не любил и работал всегда в состоянии крайнего раздражения, со злобой, бегал по двору засучив рукава, с руками по локти в синей, черной или желтой краске и — матерно ругался.

Работа не удавалась ему, и толстущая его жена зорко следила, чтоб не испортил материй, которые красил, а он ходил на нее с мешалкой, как со штыком. Был случай, когда она, вырвав мешалку, огрела мужа так, что он завыл: „Господи! Из-ззувечила!“

У него всегда были любимые словечки, но он часто менял их. Помню, любил он говорить: „По-азбучному“, наполняя это слово различным содержанием, произнося его то — с иронией, то — пренебрежительно или равнодушно, изредка — одобрительно.

Как-то, при мне, он словесно и очень долго травил сына своего, кротчайшего Сашу, — у Саши был трогательный роман с кухаркой, женщиной старше его лет на двадцать. Сашок очень долго не поддавался травле, но, когда отец пошел на него с кулаками, оттолкнул отца: „Отстань, пьяное чудище!“ Дядя покачнулся, упал и, сидя на полу, одобрительно произнес: „По-азбучному!“ — и горько заплакал, но когда Саша, смущенный его рыданиями, наклонился, чтоб поднять его, отец ловко схватил его за волосы, подмял под себя, сел верхом на грудь ему и победительно, торжествуя, заорал: „Аг-га, по-азбучному!“ <...>

Меня дядя Михаил не терпел, пожалуй, можно сказать, — ненавидел. Дважды выразил искреннее сожаление о том, что не разбил мне голову о печку.

Я не имею возможности хвастаться этим, ибо он, кажется, всех ненавидел. Теперь я думаю, что он кроме алкоголизма страдал истерией. А основная причина всех его уродств, конечно, в том, что он, старший сын ремесленного старшины, в юности приученный к сытой жизни и хорошей одежде, затем женатый на дворянке, — принужденный был жить (после смерти первой жены, матери Саши. — П. Б.) с толстой, удивительно тупой и грубой бабой, дочерью темного трактирщика, должен был сам работать в крайней бедности, в постоянной войне с братом, отцом, конкурентами по ремеслу. Тяжелая фигура. Но и жизнь была не легка ему».

Ничего (или почти ничего) из этих живых и конкретных черт дяди Михаила не найдем в прозе Горького. Очевидно, когда писались «Детство» и повесть «В людях», они были не важны для него.

Из писем Груздеву выясняется, что не только Михаил, но и младший брат Яков был женат на обедневшей дворянке. Вероятно, это была семей-

ная политика Василия Каширина, стремившегося таким образом возвысить свой род. Однако безуспешно.

Мать второго двоюродного брата Алеши, тоже Саши, жена дяди Якова умерла, когда их сыну было всего пять или шесть лет. В повести «Детство» намекается на то, что Яков ее замучил. Умирая, она внушала сыну: «Помни, что в тебе течет дворянская кровь!» Судя по «Детству», дядя Яков пытался отомстить свой грех с помощью огромного креста на могилу жены, который при перенесении его на кладбище задавил приемыша Ваню Цыганка.

В письме к Груздеву дядя Яков предстает в более симпатичном виде, в отличие от его сына с «голубой кровью» Саши. «Дядю Якова Сашка держал в черном теле, называл по фамилии, помыкал им, как лакеем, заставлял чахоточного старика ставить самовар, мыть пол, колоть дрова, топить печь и т. д. Отец же — любил его, — „души в нем не чаял“, — смотрел на человека с дворянской кровью в жилах лирическими глазами, глаза точили мелкую серую слезу; толкал меня дядя Яков локотком и шептал мне:

— Саша-то, а, Бар-рон...

Барон суховато покашливал, приказывая отцу:

— Каширин, ты что же, брат, забыл про самовар?»

Не этот ли Барон, который, по словам Сатина, «хуже всех» в ночлежке, появляется в «На дне» в преломленном фантазией писателя виде. Во всяком случае, пристрастие дяди Михаила к необычным словам («По-азбучному!») Горький использовал для образа Сатина («Сикамбр!», «Органон!»), в чем сам признался в письме к Груздеву. Но опять-таки, этих живых черт сына Якова почти нет в «Детстве» и в повести «В людях». Нет там и речи о том, что Саша, будучи помощником регента церковного хора, пытался носить дворянскую фуражку, но вскоре это запретила полиция. Не сказано там, что Саша прекрасно пел и был вторым тенором в знаменитом церковном хоре Сергея Рукавишникова. Потом он работал «сидельцем» в винной лавке, просчитался, был судим, пытался организовать «Бюро похоронных процессий».

Зато в первых двух частях автобиографической трилогии Горького множество подробностей весьма странных, не имеющих отношения к «прозе жизни». Например, в начале повести «В людях» говорится о влечении сына Якова Саши к магическим обрядам, что заставляет вспомнить слова деда Каширина, обращенные к младшему сыну: «Фармазон!» В самом ли деле суеверный Яков увлекался франкмасонскими книгами, как повар Смурый, приучивший Алексея Пешкова к чтению? Едва ли. Скорее дед Василий называл Якова «фармазоном» просто потому, что так было принято именовать вольнодумцев вообще. А все-таки?

«Саша прошел за угол, к забору с улицы, остановился под липой и, выкатив глаза, поглядел в мутные окна соседнего дома. Присел на корточки, разгреб руками кучу листьев, — обнаружился толстый корень и около него два кирпича, глубоко вдавленные в землю. Он приподнял их, — под ними оказался кусок кровельного железа, под железом — квадратная досочка, наконец предо мною открылась большая дыра, уходя под корень.

Саша зажег спичку, потом огарок восковой свечи, сунул его в эту дыру и сказал мне:

— Гляди! Не бойся только...

Сам он, видимо, боялся: огарок в руке его дрожал, он побледнел, неприятно распустил губы, глаза его стали влажны, он тихонько отводил свободную руку за спину. Страх его передался мне, я очень осторожно заглянул в углубление под корнем, — корень служил пещере сводом, — в глубине ее Саша зажег три огонька, они наполнили пещеру синим светом. Она была довольно обширна, глубиною как внутренность ведра, но шире, бока ее были сплошь выложены кусками разноцветных стекол и черепков чайной посуды. Посредине, на возвышении, покрытом куском кумача, стоял маленький гроб, оклеенный свинцовой бумагой, до половины при-

крытый лоскутом чего-то похожего на парчовый покров, из-под покрова высывались серенькие птичьи лапки и остроносая головка воробья. За гробом возвышался аналой, на нем лежал медный нательный крест, а вокруг аналая горели три восковые огарка, укрепленные в подсвечниках, обвитых серебряной и золотой бумагой от конфет» («В людях»).

На детском языке такие захоронки называются «секретками». Невинная традиция эта сохранилась по крайней мере до 60-х годов XX века, когда проходило детство автора этой книги. Но я не помню, чтобы в «секретки» прятали мертвых птиц, превращая это в подобие церковного отпевания усопшего. Даже если традиция эта и была у детей XIX века, все равно странными и загадочными представляются слова Саши после того, как Алексей в результате ссоры между ними выбросил воробья через забор на улицу:

«— Теперь увидишь, что будет, погоди немножко! Это ведь я все нарочно сделал для тебя, это — колдовство! Ага!»

На следующий день Алексей опрокинул себе на руки судок с кипящими щами и попал в больницу. Сработало «колдовство»? Как тут не вспомнить «фармазона» и слова мастера Григория о Якове, отце Саши, сказанные Алексею:

«— Дядя твой жену насмерть забил, замучил, а теперь его совесть дергает, — понял? Тебе все надо понимать, гляди, а то пропадешь! <...>

— Как забил? — говорил он не торопясь. — А так: ляжет спать с ней, накроет ее одеялом с головою и тискает и бьет. Зачем? А он, поди, и сам не знает. <...>

— Может, за то бил, что была она лучше его, а ему завидно. Каширины, брат, хорошего не любят, они ему завидуют, а принять не могут, истребляют! Ты вот спроси-ка бабушку, как они отца твоего со свету сживали. Она все скажет — она неправду не любит, не понимает. Она вроде святой, хоть и вино пьет, табак нюхает. Блаженная как бы. Ты держись за нее крепко».

Насколько разительно не похож этот образ дяди Якова на тот, что нарисован в письме Груздеву. И это не единичный пример. В повестях «Детство» и отчасти «В людях» Горький явно выстраивал особую мифологию семейных линий Кашириных и Пешковых. Главной фигурой этой мифологии являлся он сам. И хотя положение его в семье Кашириных как будто было таково, что он почти никому (включая свою мать) был не нужен, в тягость, в мифологическом пространстве этой странной автобиографии главная схватка шла как раз за его бессмертную душу.

Чья сила перетянет? Деда Каширина? Бабушки Акулины, совсем не похожей на Кашириных? Или кровь отца Максима — малоизвестного Пешкова?

В какой-то степени именно появление среди Кашириных Пешковых приводит Кашириных к краху. Окончательная и уже неразрешимая ссора между Яковым и Михаилом начинается с появлением в доме Алеши. Формально они ссорятся из-за приданого вдовы Варвары. Но ведь изначально-то причиной ее вдовства (о чем пойдет речь ниже) был как раз Алексей Пешков. Случайность? Или это Судьба?

Свара ведет к разделу между отцом и детьми. В результате, раздробив «дело» и став конкурентами сами себе, они разоряются, впадают в нищету.

Отношение дедушки к Алеше очень сложное. Он жестоко избивает его, до полусмерти, а потом приходит к нему исповедоваться. И он никак не может понять: кто Алексей — Каширин или Пешков? Вот их первая встреча на палубе парохода, который прибыл с Алешей, Варварой, бабушкой:

«Дед выдернул меня из тесной кучи людей и спросил, держа за голову:

— Ты чей таков будешь?

— Астраханский, из каюты...

— Чего он говорит? — обратился дед к матери и, не дождавшись ответа, отодвинул меня, сказав: — Скулы-те отцовы...»

Потом дед Василий будет не раз «придвигать» и «отодвигать» Алешу, пытаюсь разобраться: чей он? Дядья же (особенно Михаил) невзлюбят его за то, что в доме появился еще перспективный наследник. И все это: травля Алексея Каширинными, гибель (фактически убийство) любимого им Цыганка, отказ от дома странному человеку, которого Алексей называл «Хорошее Дело», отказ от дома самому Алексею, — все это в конце концов завершается полным крахом каширинской семьи.

Сеяли семя в непахану землю.

Да, но для краха семьи все же был необходим какой-то внешний, последний толчок. Этим толчком стали незаконный, без согласия отца, брак дочери Варвары с пришлым мастеровым Максимом Пешковым и появление в доме Кашириных Алеши Пешкова. Именно Алексей, сам того не желая и не ведая, оказался «проклятием» для рода Кашириных.

Инстинктивно они чувствовали это и почти все (за исключением бабушки Акулины) не любили этого мальчика. Даже родная мать, понимая, что Алеша ни в чем не виноват, что причиной смерти Максима он стал невольной, не любила его.

Не сразу, но со временем он стал понимать это и заплатил родне этой же монетой. Нет ничего страшнее души ребенка, которую лишили любви. И нет ничего более непредсказуемого, чем выводы того разума, который, оформляясь и закаляясь в этой атмосфере «без любви», начинает делать свои выводы о мире, о Боге и о людях.

БАБУШКА АКУЛИНА

Но бабушка Акулина Ивановна?

Ведь она в глазах Алексея — *не Каширина*. Она добрая. Она святая. За нее советует «держаться» добрый мастер Григорий. А Алеша?

Мифологию образа Бабушки Горький прописывал с особой тщательностью и большой любовью. Поэтому как художник именно здесь он превзошел самого себя. Ничего более нежного, поэтичного, чем этот образ, Горький не создал ни до, ни после повести «Детство». И если бы кроме этой повести он не написал ничего, мировая литература все равно бы пополнилась гениальным писателем, а этот шедевр остался бы великой не только художественной, но и психологической загадкой. Отчасти он таковым и остался. Но все-таки только отчасти.

Жаль, что мы не располагаем фотографическим портретом бабушки Горького. В ее внешности, видимо, было что-то «темное», языческое. Недаром в своей семье ее называли «ведьмой».

— Что, ведьма, народила зверья?!

Это кричит Василий Каширин после безобразной потасовки Якова и Михаила прямо во время обеда. Можно не обратить внимания на этот странный крик дедушки и принять его просто за бессмысленное ругательство раздраженного главы семейства. Но в «Детстве», повести невероятно плотной по обилию всевозможных «знаков», намеков, символов, почти нет случайностей. Потому задумаемся: почему дед Василий именно собственную супругу обвиняет в начале распада семьи. Только ли потому, что она «потатчица», по словам Василия, и выступает за раздел имущества Кашириных между детьми? Но при чем тут «ведьма» и «зверье»? Вот и еще одна загадка «Детства», не разгадав которую многое останется непонятным в этой повести.

Зададим себе простой вопрос. Каким образом в семье хотя и скуповатого, но честного, трезвого, трудолюбивого и богобоязненного Василия Каширина народились такие непутевые дети? Это — пьющие, дерущиеся между собой братья Яков и Михаил. Это непослушная и неумовитая дочь Варвара, которая, потеряв первого мужа, бросает ребенка в семье родителей и живет как ветер в поле, не неся за мальчика никакой ответственности.

«Не удались дети-то, с коей стороны ни взгляни на них, — жалуется дедушка. — Куда сок-сила наша пошла? Мы с тобой думали, — в лукошко кладем, а Господь-от вложил в руки нам худое решето...» И снова в недостатках детей он винит мать: «А все ты потакала им, татам, потатчица! Ты ведьма!» Вот опять.

Если смотреть на бабушку глазами Алеши, то она поистине свет в окне, сердце мира, чуть ли не земная богородица. И это понятно. Бабушка для Алеши, если можно так выразиться, первое и даже единственное «теплое» место, которого коснулась его детская, но уже навеки травмированная душа. Это даже не любовь, а просто спасение в холодном безлюбовном мире, где мальчик с самого начала обречен на гибель. С первых мгновений более или менее отчетливого детского самосознания вокруг него трупы, трупы и трупы. Холод, холод и холод. Мертвый отец в гробу. Мертвый младший брат. И даже мать, хотя и живая, выглядит как мертвая на корабле из Астрахани в Нижний:

«Мать редко выходит на палубу и держится в стороне от нас (Алексея и бабушки Акулины Ивановны. — П. Б.). Она все молчит, мать. Ее большое стройное тело, темное, железное лицо, тяжелая корона заплетенных в косы светлых волос, — вся она мощная и твердая...»

Одно из самых первых жизненных впечатлений маленького Алеши: «В полутемной тесной комнате, на полу, под окном, лежит мой отец, одетый в белое и необыкновенно длинный; пальцы его босых ног странно растопырены, пальцы ласковых рук, смиренно положенных на грудь, тоже кривые; его веселые глаза плотно прикрыты черными кружками медных монет, доброе лицо темно и пугает меня нехорошо оскаленными зубами».

«Второй оттик в памяти моей — дождливый день, пустынный угол кладбища; я стою на скользком бугре липкой земли и смотрю в яму, куда опустили гроб отца; на дне ямы много воды и есть лягушки, — две уже взобрались на желтую крышку гроба. У могилы — я, бабушка, мокрый будочник и двое сердитых мужиков с лопатами. Всех осыпает теплый дождь, мелкий, как бисер...

— Зарывай, — сказал будочник, отходя прочь.

Бабушка заплакала, спрятав лицо в конец головного платка. Мужики, согнувшись, торопливо начали сбрасывать землю в могилу, захлюпала вода; спрыгнув с гроба, лягушки стали бросаться на стенки ямы, комья земли сшибали их на дно».

Матери не видно рядом с ними. Прямо возле трупа супруга Варвара родила второго сына. В честь мертвого отца его назвали Максимом. Через несколько дней, на пароходе, мальчик умрет и будет похоронен в Саратове.

Ее сын от второго мужа, Коля, тоже окажется не жильцом и угаснет, «как маленькая звезда на утренней заре...».

В «Детстве» все пронизано сложной символикой. На гробе отца две лягушки, и обе обречены на смерть. Алеша еще раз вспоминает о них на борту парохода, когда из каюты унесут гробик с младшим братом. Алексей рассказывает об этих несчастных лягушках матросу, а матрос говорит ему:

— Лягушек жалеть не надо, Господь с ними! Мать пожалей, — вон как ее горе ушибло!

Отца, братика и даже вот лягушек «прибрал» Господь. Потом он «приберет» к Себе мать, брата Колю и вотчима. Зато Алеша Пешков останется на земле только и исключительно благодаря бабушке, которая «сразу стала на всю жизнь другом, самым близким сердцу моему, самым понятным и дорогим человеком, — это ее бескорыстная любовь к миру обогатила меня, насытив крепкой силой для трудной жизни (курсив мой. — П. Б.)».

Фактически бабушка не просто заменяет Алеше мать, но и становится для него богом в мире, где Бог бросил его на произвол злой, холодной судьбы. Ничего странного, что этот Бог, «Бог дедушки», не нравится Алексею.

Мережковский называет этого Бога дьяволом, но это неверно. Бог дедушки — Бог истинный, Бог настоящий. И мальчик чувствует Его присутствие в мире, но он обижен на Него. Сознательно или нет Горький обыгрывает в своем «Детстве» слова Ивана Карамазова о «слезинке ребенка», из-за которой Иван готов «почтительно» возратить Творцу билет в Царство Небесное. Только в «Детстве» ребенок оказывается не пассивным, но активным героем. Проблема в том, что как раз ребенку-то и не достается билета в Царство Небесное. Бог как бы отвернулся от него...

Подобно третьей лягушке, он брошен, но уже не в могилу с водой, а в кувшин со сметаной, как в народной притче, и отныне должен месить лапками окружающее его холодное чужеродное пространство, пока оно не превратится в масло и не позволит ему выбраться наружу.

Но хватит ли сил?

Сила идет от бабушки. Она «как земля». Она насыщает мальчика невидимой, но необходимой для него энергией выживания, и вот эта загадочная энергия спасает Алешу.

Такова мифология образа Бабушки. Живая, но все же мифология. А какова была бабушка Акулина Ивановна в реальности?

Наша задача — не развенчание мифа, тем более такого прекрасного и поэтичного и, значит, уже художественно состоявшегося, а попытка пробыть к истокам очень непростой души (по мнению Корнея Чуковского, «двух душ») Максима Горького, на формирование которой оказал влияние не образ Бабушки, созданный писателем гораздо позднее, а живая Акулина Ивановна Каширина.

Во-первых, она была пьяница.

В «Детстве» и «В людях» Горький предельно бережно касается этой больной проблемы бабушки, поскольку она звучит в контексте его размышлений о русском человеке как отрицательный момент. Но и скрыть очевидного для семьи Кашириных факта он не может. «Правда выше жалости».

Для Алеши бабушка — бог. Ее явление сродни Божьему явлению. Но Варвара стыдится собственной матери, которая на пароходе бродит «от борта к борту и вся сияет, а глаза у нее радостно расширены», потому что бабушка не смущается угощаться у матросов водкой, за что рассказывает им разные смешные небылицы. Матросы хохочут, и Алексею весело. Но Варвара сердится:

— Смеются люди над вами, мамаша!

— А Господь с ними...

Только что Господь был с лягушками. Но для Алеши бог един — Бабушка. Настоящий Бог обидел его. Бабушка оказывается единственным устойчивым смысловым центром мироздания. Все прочее страшно и абсурдно, как лягушки в могиле. Алеша жмет к Бабушке. Да, но в глазах остальных, и даже собственной дочери, это просто добрая, смешная, шалапутная пьянчужка, непутевая бабка с рыхлым, распухшим от пьянства красным носом.

Задним числом Горький понимает это и подает как бы вторым, непроявленным планом.

Бабушки стыдится не только ее дочь.

Странно! Время от времени Василий Каширин, цеховой старшина, уважаемый в Нижнем Новгороде человек, уходит к кому-то в гости. Но законную супругу он с собой не берет. Почему?

«...в праздничные вечера, когда дед и дядя Михаил уходили в гости, в кухне являлся кудрявый, встрепанный дядя Яков с гитарой, бабушка устраивала чай с обильной закуской и водкой в зеленом штофе с красными цветами, искусно вылитыми из стекла на дне его; волчком вертелся празднично одетый Цыганок; тихо, боком приходил мастер, сверкая темными стеклами очков; нянька Евгенья, рябая, краснорожая и толстая, точно ку-

бышка, с хитрыми глазами и трубным голосом; иногда присутствовали волосатый успенский дьячок и еще какие-то темные, скользкие люди, похожие на щук и налимов».

Есть в музыке понятие «контрапункта», или нарушения гармонии, когда одна мелодия вступает в конфликт с другой и рождается музыкальный эффект. Этот образ из «Детства», как и многие другие в повести, построен на «контрапункте». Фраза начинается в одной тональности, но на нее накладывается другая. И взрывает гармонию.

С уходом деда, с его жестоким, но ясным и понятным Богом, в доме Кашириных начинается языческое, русское «дионисийское» действо.

Водка размягчает сердце русского человека. Дядя Яков поет жалостные песни, такие, что Алеша плачет «в невыносимой тоске», а Цыганок весело, ухарски пляшет, «неутомимо, самозабвенно, и казалось, что, если открыть дверь на волю, он так и пойдет плясом по улице, по городу, неизвестно куда...».

Все эти лица еще индивидуальны. Куда более смутными видятся мастер Григорий, нянька Евгений и «волосатый успенский дьячок». Но остальные, «какие-то темные, скользкие люди», уже вовсе неразличимы, а только похожи на «щук и налимов». Между тем они тоже составляют окружение бабушки Акулины, ее «мир».

Это «мир», а вернее, «дно», в которое Бабушка точно утянет за собой Алексея, если он останется верен своему богу.

И только ценой предательства (своего рода убийства в себе) этого страшно милого, доброго, поэтичного и страшно русского бога Алеша Пешков станет М. Горьким.

Когда Горький писал «Детство», «В людях» и «Мои университеты», он это прекрасно понимал. Тем более, что уже в 1895 году в «Самарской газете» опубликовал первый набросок к будущему «Детству» (изначально повесть замысливалась под названием «Бабушка»), очерк «Бабушка Акулина», который с тех пор благоразумно не включал в свои сборники и собрания сочинений, как бы похоронив в прошлом живую Акулину Ивановну. Этот живой бог «умер», чтобы затем воскреснуть в мифотворческом образе «Бабушки»⁶.

В очерке «Бабушка Акулина» рассказывается о нищей старухе, которая живет в сыром подвале, собирая вокруг себя последнюю городскую шваль, последние отходы человеческого общества, больных алкоголизмом и распущенных до такой степени, что не стесняются жить за счет нищей старухи, за счет ее милостыни.

«Бабушка Акулина была филантропкой Задней Мокрой улицы. Она собирала милостыню, а в виде подсобного промысла иногда, при удобном случае, немножко воровала. Около нее всегда ютилось человек пятьдесят „внучат“, и она всегда ухитрялась всех их напоить и накормить. „Внучатами“ являлись самые отчаянные пропойцы-босяки, воры и проститутки, временно, по разным причинам, лишенные возможности заниматься своим ремеслом. <...> Вся улица знала ее, и слава о ней выходила далеко за пределы улицы. Но все-таки, на языке босых и загнанных людей, «попасть во внучата» значило дойти до самого печального положения; поэтому бабушка Акулина как бы знаменовала собой крайнюю ступень неудобств жизни и, пользуясь большой известностью за свою филантропическую деятельность, не пользовалась любовью со стороны опекаемых ею людей».

Вот куда утащил бы Алексея его добрый бог, если бы он прислушался к совету тоже доброго, но полуслеплого (что символично!) мастера Григория «держаться» бабушки. Если бы он благоразумно не предал своего бога. Не убил его в себе.

⁶ Сравнительный анализ образа «Детства» и реальной бабушки Акулины см. в интересной книге Л. Спиридоновой «М. Горький: новый взгляд» (М., ИМЛИ РАН, 2004).

В сущности, начало «М. Горького» приходится именно на «убийство» этого бога в себе.

«Мои университеты», самое начало повести, момент отплытия Алеши Пешкова в Казань:

«Провожая меня, бабушка советовала:

— Ты — не сердись на людей, ты сердись все, строг и заносчив стал! Это — от деда у тебя, а — что он, дед? Жил, жил, да в дураки и вышел, горький старик. Ты — одно помни: не Бог людей судит, это — черту лестно! Прощай, ну!»

«За последнее время, — признается Горький, — я отошел от милой старухи и даже редко видел ее, а тут вдруг с болью почувствовал, что никогда уже не встречу человека, так плотно, так сердечно близкого мне».

В сердце Кая, благодаря слезам Герды, тает льдинка Снежной Королевы. Алеша Пешков «с болью» вырывает из сердца «теплого» бога, Бабушку, зная, что с этим «теплым» богом он пропадет и «Бог дедушки» надежнее.

Беда в том, что он не любит этого дедушкиного Бога и не понимает Его.

Через некоторое время он попытается создать нового бога и назовет его «Человек». Но даже гуманист Владимир Короленко смутится, прочитав поэму Горького с одноименным названием и увидев этот поистине ледяной образ, одиноко шествующий во Вселенной. Через десять лет Горький вспомнит о «теплом» боге, Бабушке, и поэтически воскрепит его в «Детстве». Но убийство в себе живого бога не пройдет бесследно...

В начале 1890-х годов Горький еще не понимал этого. В очерке «Изложение фактов и дум, от взаимодействия которых отсохли лучшие куски моего сердца» (1893) бабушка Акулина названа просто «бабкой», и никакой идеализации ее там нет: «Пила она сильно и однажды чуть не умерла от этого. Помню, как ее отливали водой, а она лежала в постели с синим лицом и бессмысленно раскрытыми, страшными, тусклыми глазами».

Сравните это с началом «Детства», написанным двадцать лет спустя: «...вся сияет, а глаза у нее радостно расширены...». Бог и человек.

Во-вторых, у Бабушки нет своего Бога.

Мережковский, который пытался в статье «Не святая Русь. (Религия Горького)» противопоставить «Бога Бабушки» и «Бога Дедушки», несомненно впал в искус язычества и многобожия, но кроме того воспользовался горьковским образом Бабушки в целях осуждения «казенного» церковного Бога, так как сам в это время искал «третью религию», не совпадающую с «официальным» православием.

На самом-то деле, если внимательно читать повесть, никакого особенного «Бога Бабушки» там нет. Да и откуда бы ему взяться у неграмотной старухи, когда-то вышедшей замуж за грамотного «по-церковному» Василия Каширина? Илья Груздев считает, что замуж она вышла 14 лет от роду, а в одном из писем Груздеву Горький сообщает:

«Бабушка Акулина никогда не рассказывала о своем отце; мое впечатление: она была сиротою. Возможно — внебрачной, на что указывает „бобыльство“ ее матери и ранее нищенство самой бабушки...» Что означает — «раннее нищенство»? Значит ли это, что четырнадцатилетняя Акулина Муратова была, по сути, профессиональной нищенкой?

«Хорошо было Христа ради жить...» — так рассказывает она Алексею о своем прошлом.

Так или иначе, но ее поведение еще до краха каширинского благополучия совсем не отвечает поведению супруги цехового старшины, гласного Городской Думы, метящего в ремесленные головы. Не очень понятно ее влияние на детей, о котором с горечью кричит дед Василий. Зато истинно русская «мощная» красота дочери Варвары, у которой «прямые серые глаза, такие же большие, как у бабушки», тяжелые светлые волосы и свободолюбивый нрав, говорят о том, что эти черты достались ей не от «сухого»,

«с птичьим носом» Василия, книжника и начетчика, а от матери-«ведьмы», Акулины Ивановны. Как и, увы, склонность сыновей к водочке.

Бабушка странно молится, и это объясняет тот факт, что в доме Сергеевых Алексей вдруг целует иконный образ Богородицы — в губы.

«Глядя на темные иконы большими светящимися глазами, она советует богу своему:

— Наведи-ко ты, Господи, добрый сон на него, чтобы понять ему, как надобно детей-то делить!»

Поначалу можно подумать, что у бабушки и в самом деле какой-то «свой» Бог. Но дальнейшая ее молитва говорит о том, что это просто невинное обращение доброй неграмотной старухи к Богу, где личные семейные просьбы перемешаны с обрывками канонической православной молитвы.

«Крестится, кланяется в землю, стукаясь большим лбом о половицу, и, снова выпрямившись, говорит внушительно:

— Варваре-то улыбнулся бы радостью какой! Чем она Тебя прогневала, чем грешней других? Что это: женщина молодая, здоровая, а в печали живет. И вспомни, Господи, Григорья, — глаза-то у него все хуже. Слепнет, — по миру пойдет, нехорошо! Всю свою силу он на дедушку истратил, а дедушка разве поможет... О Господи, Господи!»

«— Что еще? — вслух вспоминает она, приморщив брови. — Спаси, помилуй всех православных; меня, дуру окаянную, прости, — Ты знаешь: не со зла грешу...

— Все Ты, родимый, знаешь, все Тебе, батюшка, ведомо».

В этой бесхитростной молитве неграмотной старухи только строгий начетчик вроде дедушки Василия заподозрит какую-то ересь, какого-то особого Бога.

Но совсем иное — молитвы Бабушки, обращенные к Богородице.

«Выпрямив сутулую спину, вскинув голову, ласково глядя на круглое лицо Казанской Божьей Матери, она широко, истово крестилась и шумно, горячо шептала:

— Богородица Преславная, подай милости Твоя на грядущий день, матушка!

Кланялась до земли, разгибала спину медленно и снова шептала все горячее и умиленнее:

— Радости источник, красавица пречистая, яблоня во цвету!

Она почти каждое утро находила новые слова хвалы, и это всегда заставляло меня вслушиваться в молитву ее с напряженным вниманием.

— Сердечушко мое чистое, небесное! Защита моя и покров, солнышко золотое, Мати Господня, охрани от наваждения злого, не дай обидеть никого, и меня бы не обижали зря!»

Дедушка злится, слыша все это:

«— Сколько я тебя, дубовая голова, учил, как надобно молиться, а ты все свое бормочешь, еретица! Как только терпит тебя Господь! <...> Чуваша проклятая! Эх вы-и...»

Вот и еще одно возможное объяснение странной «религии» бабушки. «Чуваша»! Языческая кровь бродит в ней и в детях, взрывающая изнутри когда-то насильно привитое ее народу христианство. Культ Богородицы ближе ей, чем иудео-христианский Бог, которому молится дед Василий. Да она просто не понимает Бога как первооснову и первопричину мироздания. Кто Его-то родил?

Понятное дело — Богородица!

И хотя Алеша, уже обученный дедом церковной грамоте, объясняет ей, что это не так, бабушка все равно сомневается. Она язычница чистой воды, воспринявшая от христианства идею милосердия, но так и не став церковной христианкой в строгом смысле. И это нравится Алексею. Не столько идея милосердия, сколько подмена Бога — Богородицей, Матерью мира, а значит, и его Матерью! Вот зачем он целовал Богородицу в губы.

Но это, в конце концов, означало страшное. Предавая Бабушку, «теплого» бога, «убивая» этого бога в себе, он «убивал» в себе Мать и такой ценной становился самостоятельным человеком. О да, конечно, эти дорогие «могилы» оставались в его душе! Они продолжали питать его творчество, притом лучшие его стороны. Но «отсохшие», по его выражению, части сердца были уже невосстановимы. Отправляясь в Казань, будущий Горький заключал договор с новым богом, упрямым и любопытным. Да, этот новый бог был ближе к «Богу дедушки», как Его понимал Алексей. Но и ближе к тому, о чем писал Мережковский, глубоко понявший религиозный дуализм Горького, но не знавший его реальных истоков.

А истоки? Вот они: «...отца опустили в яму, откуда испуганно выскочило много лягушек. Это меня испугало, и я заплакал. Подошла мать, у нее было строгое, сердитое лицо, от этого я заплакал сильнее. Бабушка дала мне крендель, а мать махнула рукой и, ничего не сказав, ушла. *Все об отце* (курсив мой. — П. Б.). Мало. Я бы, наверное, больше оставил моим детям и, уж во всяком случае, не забыл извиниться перед ними в том, что они обязаны существовать по моей вине (наполовину по крайней мере). Это обязанность каждого порядочного отца, прямая обязанность...» («Изложение фактов и дум...»).

Став невольным отцеубийцей, маленький Алеша лишился не только отца, но и матери. «Я лежал в саду в своей яме (опять яма! — П. Б.), а она гуляла по дорожке недалеко от меня с своей подругой, женой одного офицера.

— Мой грех перед Богом, — говорила она, — но Алексея я не могу любить. Разве не от него заразился холерой Максим <...> и не он связал меня теперь по рукам и по ногам? Не будь его — я бы жила! А с такой колодкой на шее недалеко упрыгаешь!..»

«Медаль на шее», «колодка на шее». «Женщинам, имеющим намерение наслаждаться жизнью, — жестоко замечает Горький о своей матери, — ничем не связывая себя, следует травить своих детей еще во чреве, в первые моменты их существования, а то даже для женщин нечестно, сорвав с жизни цветы удовольствия, — отплатить ей за это [одним или двумя существами, подобными мне]...» («Изложение...»).

Сколько «могил» было в сердце этого юноши, когда Алексей отправлялся на пароходе в Казань, оставляя в Нижнем погибать проклятый каширинский род и так и не найдя живого человека, который на полных правах поселился бы в его душе, где не нашлось места ни Богу, ни отцу и ни матери? Единственный человек, кто мог бы претендовать на это вакантное место, была Бабушка, Акулина Ивановна. Зимой 1887 года она упала и разбилась на церковной паперти и вскоре скончалась от «антонова огня». На ее могиле рыдал дедушка. Алексей Пешков узнал об этом спустя семь недель после похорон.



ЕССЕ НОМО

АНДРЕЙ СТОЛЯРОВ



РОЗОВОЕ И ГОЛУБОЕ

Сейчас, видимо, ни у кого уже не вызывает сомнений, что началась какая-то глубинная перестройка основ современной цивилизации, происходят фундаментальные сдвиги в структурах, образующих базис нынешнего мироустройства — форматы мировоззренческих и социальных систем принципиально меняются.

Обычно это связывают с переходом к когнитивной (постиндустриальной) фазе развития: явлениями глобализации, унификации мира, исчезновением национальных государств, распадом парадигмальной реальности, плавлением идентичностей и так далее и тому подобное.

Все это, разумеется, правильно. Однако если суммировать аналитику последнего времени, то можно легко убедиться, что фиксируются в основном процессы деструкции, фиксируется то, что уходит: постмодернизм, постиндустриализм, постматричная реальность, постгуманизм, постхристианство.

Между тем, как нам кажется, гораздо важнее процессы не «пост», а «прото» — важнее та принципиальная новизна, которая только еще зарождается и которая будет определять собой новую мировую реальность.

Попробуем эту цивилизационную новизну обозначить.

Здесь сразу же можно отметить важное обстоятельство. До сих пор все переходы между различными фазами глобальной цивилизации — переход от архаической фазы к фазе традиционной, переход от античности к Средним векам, переход от Средневековья к Новому времени — хоть и представляли собой системную катастрофу, то есть приводили к тотальной смене экономических, социальных, культурных и религиозных структур¹, однако не затрагивали организующей основы цивилизации — биологической сущности человека. Цивилизация в любом случае оставалась антропоморфной — с гуманизированными форматами всех ее несущих характеристик.

Механика этой антропоморфности достаточно очевидна. Техносфера, то есть совокупность всех технических признаков цивилизации, обладает собственным потенциалом развития. Любая техническая инновация, от спичек до космических кораблей, конечно, осуществляется человеком, но ни в коем случае не произвольно, а лишь по логике существующего в данное время технологического горизонта. Нельзя построить двигатель внутреннего сгорания, пока не будет открыта плавка металлов, возгонка нефти с выделением из нее фракций бензина, пока не будет изобретена система механических передач, пока не станут известны принципы промышленного конструирования. Инновационный процесс вырастает из этой логики и в момент своего проявления

Столяров Андрей Михайлович — писатель, публицист. Родился в 1950 году в Ленинграде. Окончил биологический факультет ЛГУ. Печатается с 1984 года. Автор одиннадцати книг. Лауреат нескольких литературных премий. В «Новом мире» публикуется впервые.

¹ Переслегин С. Б., Столяров А. М. Научно обоснованный конец света. — «Октябрь», 2003, № 1.

подчиняется только ей. Автор изобретения не может выйти за обозначенные пределы. А потому каждая крупная техническая инновация первоначально неудобна для человека. Она более сформатирована «для себя», нежели для него. Вспомним хотя бы первые велосипеды, автомобили, телевизоры, самолеты — крайне громоздкие и ненадежные в эксплуатации. Управление ими было сродни искусству.

Далее же происходит процесс приспособления техники к человеку, делание ее более удобной и предсказуемой. Инновация при этом утрачивает уникальность и превращается в серию. Управление ею сводится от искусства к рутине. Этот процесс называется «гуманизацией техносферы». Он идет непрерывно, тысячи лет — с тех пор, как появились на Земле первые каменные орудия. Разумеется, одновременно идет и встречный процесс — «технологизация человека», непрерывное приспособление человеческого существа к различным техническим новшествам. Этот процесс осуществляется как за счет общего образования («умения нажимать кнопки»), так и за счет специальных тренингов, то есть профессионального обучения.

Итак, с одной стороны — гуманизация техносферы, с другой — технологизация человека. Смыкаясь в точке баланса, они обеспечивают устойчивость «машинной цивилизации».

Так же обстоит дело и в социальной сфере. Формализованный социум, например государство, имеет свои структурные интересы, далеко не всегда совпадающие с интересами человека. Примеров здесь великое множество. Взять хотя бы визы в зарубежные страны. Государству визы необходимы — они служат регуляторами перемещений. Однако собственно человеку визы вовсе не требуются. Человеку не нужны визы, границы, досмотры, таможи — вся эта «нечеловеческая» структурность, неумолимо наращиваемая социумом. Гуманизация здесь идет по пути упрощения данных структур: «зеленые коридоры» с редуцированной процедурой досмотра, полностью безвизовое перемещение в «Шенгенской зоне» Европы.

И одновременно идет встречный процесс — процесс непрерывной социализации человека, вписывание его в правила существования конкретного общества. Этим занимаются семья, школа, различные воспитательные программы. Причем человек здесь не только усваивает законы «социальной игры», но и учится аккуратно их обходить в тех случаях, когда они чрезмерно мешают.

Аналогичную картину можно наблюдать и в сфере культуры.

Вообще можно сказать, что антропоморфность цивилизации возникает «по определению» — просто как продолжение свойств *Homo sapiens*, биологические характеристики которого не менялись уже долгое время.

Это представляет загадку само по себе.

Дело в том, что все высокоорганизованные системы испытывают в процессе развития неизбежную дифференциацию. Они неуклонно расходятся внутри себя на несколько самостоятельных подсистем, которые затем либо интегрируются в нечто иное, либо обособляются и дают начало новым сложным системам.

Данный процесс наблюдается на всех уровнях материального мира.

Скажем, английский язык уже довольно давно расслаивается на несколько самостоятельных языков. Это — английский английский, американский английский, австралийский английский, канадский английский и даже вполне автономный, со своим ареалом носителей, компьютерный английский язык. Данное расхождение пока нивелируется Интернетом, но оно реально осуществляется, накапливая «базу несовпадений», и при определенных условиях, вероятно, способно привести к образованию трех — пяти достаточно отличающихся языков.

Христианство, первоначально пытавшееся создать универсальный канон, как известно, разделилось в дальнейшем на несколько крупных конфессий: православную, католическую и протестантскую, — каждая из которых фактически представляет собой отдельную мировую религию.

Из истории нам известно, как происходил распад империй на национальные государства, а если мы обратимся к биогенезу, эволюции жизни на Земле, то увидим непрерывное расслоение видов на видовые отдельности, образующие в дальнейшем новые ветви развития. Материал здесь имеется колоссальный; вряд ли его можно оспаривать.

Исключением является только вид *Homo sapiens*.

Современный человек практически ничем не отличается от кроманьонца. Анатомические признаки, которые он обрел за последние 40 — 50 тысяч лет, находятся на уровне макияжа. Ни о каком существенном биологическом продвижении говорить не приходится.

Понятно также, почему это произошло. Регулятором эволюции *Homo sapiens* с определенного момента стал социум. Социальные отношения, как только они укрепились, сразу же начали нормировать само понятие «человек», и биологические маргиналы немедленно отторгались. Социум еще готов был принять слепого Гомера, одноглазых Нельсона и Кутузова, Геца фон Берлихингена с железной рукой — история знает немало подобных примеров, — однако, например, шестипалость, встречающаяся не так уж и редко, наличие на ладонях остаточных перепонки, сросшаяся ступня считались абсолютно недопустимыми. Уроды либо уничтожались, либо оттеснялись на социальную периферию.

Видообразование *Homo sapiens* было, таким образом, остановлено. Социальный геноцид, длящийся уже несколько тысячелетий, стал тем оператором, который жестко удерживал биологический формат человека.

Сейчас ситуация принципиально изменилась. Это связано с появлением двух новых факторов, которых ранее в человеческой истории не было.

Прежде всего это распространение либерализма, ставшего ведущей идеологией Западной цивилизации.

Здесь, вероятно, следует вспомнить, что либерализм — это не только рыночная экономика, как иногда слишком упрощенно считают; либерализм — это в первую очередь социальная философия, предполагающая, что у каждого человека есть врожденные, «естественные» права и что социум, государство обязаны обеспечивать неукоснительную реализацию этих прав.

Так вот, либерализм, утверждая в реальности этот философский концепт, параллельно осуществил одно интересное действие. Он социализировал маргинальные гендеры. Как известно, помимо традиционных гендеров, мужского и женского, которые необходимы для продолжения вида *Homo sapiens*, природа непрерывно создает их маргинальные составляющие: условно говоря, «голубой», маскулинный гендер, чисто мужской, и, условно говоря, «розовый» гендер, феминный, чисто женский. Биологически виду *Homo sapiens* они вовсе не требуются и тем не менее возникают уже в течение многих тысячелетий. Отношение к ним со стороны натуральных гендеров было негативным: от общественного отрицания в эпоху Средневековья до государственного, узаконенного преследования в фашистской Германии и Советском Союзе. Так, видимо, выражалась биологическая ксенофобия «человека разумного» к самому процессу видообразования.

Либерализм дал «цветным» гендерам одинаковые права с натуралами. Принадлежность к маргинальному биологическому состоянию ныне не является препятствием к социальной карьере. Более того, это даже может способствовать успешному продвижению, поскольку маргинальные гендеры, как и любые меньшинства, проявляют корпоративную солидарность. Это — основа их социального выживания. Так, по данным некоторых американских исследователей, возможно преувеличенным, гендерные сообщества контролируют сейчас в США весьма значительный объем средств массовой информации. Это свидетельствует и об их финансовом потенциале, и о том влиянии, которое они постепенно приобретают.

Либерализм открыл маргинальным гендерам дорогу в общество. Однако есть еще один фактор, который в истории человечества также появился впервые. Речь идет о современных биологических технологиях, в частности, о клонировании.

Вокруг клонирования слишком много непрофессионального шума, а потому, вероятно, следует подчеркнуть, что клон вовсе не является абсолютной копией человека: он копирует биологию, но не личность, которая в значительной мере зависит от воспитания. Иными словами, клон Эйнштейна, наверное, будет способным физиком, но вот физиком гениальным он, скорее всего, не станет. Чтобы стать Эйнштейном и создать теорию относительности, нужно все-таки жить в начале минувшего века, в провинциальном Берне, служить в патентном бюро, ездить по улицам на велосипеде, перенести личный кризис, как это было у Эйнштейна с югославской студенткой М. Марич. Все это воспроизвести невозможно.

Однако применительно к нашей теме клонирование имеет важный аспект. До сих пор маргинальные гендеры не имели реальной биологической самостоятельности. Они могли возникать, лишь отщепляясь от натурального гендера. Их генетическая зависимость была очевидной. Клонирование же впервые обеспечивает им биологическую автономность, а в перспективе и полную репродуктивную изоляцию. Традиционный способ продолжения вида, половым размножением, становится уже не единственным. Чистые линии, «розовые» и «голубые», могут поддерживаться неопределенно долго именно за счет клонирования.

Строго говоря, образуется новый вид человека. Границы вида, помимо анатомического родства, определяются еще и пределами скрещивания. Если особи какой-либо популяции скрещиваются между собой, давая потомство, значит, они представляют единый биологический вид. Как только подвиды такую характеристику утрачивают, они признаются в систематике разными видами.

Конечно, подобные выводы могут показаться слишком поспешными. Клонирование в настоящее время — технология исключительно дорогая, трудоемкая, ненадежная. Обеспечить непрерывность «цветных» гендеров она пока что не в состоянии. Однако здесь можно вспомнить историю компьютерной революции. «ЭНИАК», первая электронно-вычислительная машина, построенная в 1946 году в США, занимала более сотни квадратных метров площади, весила около 30 тонн, была маломощной, капризной и требовала для обслуживания громадного персонала. А уже через сорок лет, в 80-х годах, компактные персональные компьютеры с соответствующим программным обеспечением начали в массовом порядке появляться в офисах и домах граждан высокоразвитых стран.

Прошло всего четыре десятилетия.

Удешевление технологий, их упрощение, повышение их надежности — дело времени, был бы социальный заказ. А социальный, точнее, цивилизационный заказ на технологии клонирования уже имеется.

Оценим количественный потенциал такого заказа. Считается, что склонностью к нетрадиционной гендерной ориентации обладает примерно 10 процентов всех живущих сейчас людей. В действительности четко выраженных маргиналов, конечно, значительно меньше, поскольку во многих случаях крайние гендерные эффекты легко подавляются.

Цифры тем не менее впечатляют. Можно полагать, что около 600 миллионов человек, по крайней мере в принципе, склонны существовать в «голубом» или «розовом» ареале. Для такой страны, как, например, США, это будет составлять 25 миллионов граждан. Причем помимо отмеченной выше корпоративной «биологической» солидарности «новый гендер» обладает еще и повышенной пассионарностью. Он уже сейчас играет заметную роль в политической и общественной жизни многих западных стран, а в дальнейшем степень его влияния будет только усиливаться. Это видно хотя бы по тому факту, что Хил-

лари Клинтон, первая из супругов президентов Соединенных Штатов, приняла участие в параде геев в Нью-Йорке. А когда самая известная лесбийская пара Америки разорвала свои отношения, уже собственно президент США выразил им сочувствие². Политики западных стран, впрочем, как и некоторые политические деятели в России, уже начинают осознавать, кто составляет значительную часть активного электората.

Причем дело, вероятно, не ограничится только влиянием. Культура «цветных гендеров», основанная на однополюсной любви и «технологическом» продолжении рода, будет достаточно сильно отличаться от «натуральной», традиционной культуры. Это будет способствовать постепенному их разделению и созданию социальных институтов и механизмов, поддерживающих иной биологический статус. Процесс может пойти весьма далеко. Фактически речь идет о возникновении новых цивилизаций — о выделении в современном сознании принципиально иной ментальности, о построении обществ, реализующих иной тип биологических отношений.

Формальная схема здесь давно отработана. Сначала представители новых «цветных культур» обретут наравне с общественным и полное юридическое признание. Собственно, эти процессы уже идут: в ареале западных стран гомосексуальные отношения больше не считаются преступлением. Во многих странах официально разрешены гомосексуальные браки; таким образом, «человек гендерный» получает защиту закона. Далее, скорее всего, возникнут «цветные коммуны», то есть дома, кварталы, районы, возможно, целые города, населенные полностью или в подавляющем большинстве представителями «новых цивилизаций». Эта тенденция также уже достаточно очевидна. В мегаполисах США и Европы такие коммуны существуют вполне открыто. Следующий шаг — культурная автономия, затем — автономия политическая и как конечный этап — полная государственная независимость. «Цветные культуры» оторвутся от породившей их «натуральной культуры» и пойдут собственным цивилизационным путем.

Не следует думать, что это слишком экзотический сценарий развития. Конечно, маргинальные гендеры сейчас составляют по отношению к натуралам абсолютное меньшинство. Трудно поверить, что они могут бросить вызов всему человечеству. Однако стоит напомнить об одном странном свойстве истории: она имеет обыкновение осуществляться именно через маргиналов. Первые млекопитающие, появившиеся на Земле, несомненно, были уродами среди динозавров. Вряд ли какой-либо здравомыслящий наблюдатель мог бы предвидеть за ними хоть сколько-нибудь перспективное будущее. И где теперь динозавры? А невзрачные поначалу млекопитающие являются ныне господствующим на Земле видом. Маргиналами были первые либералы в Соединенных Штатах, полагавшие, вопреки общему мнению, что права человека выше прав государства. Из этой «бредовой» идеи выросла могущественнейшая империя нашего времени. Очевидными маргиналами были христиане в Римской империи, большевики в России, демократы в СССР. Фашисты, чуть было не создавшие мир расового неравенства, тоже начинали свое движение лишь с кучкой сторонников. Это даже нельзя отнести к неким парадоксам истории. Просто новое в миг своего зарождения всегда выглядит смешным и нелепым. Более того, в этом есть какая-то железная логика: если что-то в данный момент кажется вздорным и абсолютно неосуществимым, значит, можно не сомневаться — оно будет жить дальше. Можно не сомневаться — за этим явлением будущее.

Сейчас маргинальные гендеры растворены в традиционной культуре. Присутствие их в социальном пространстве практически неощутимо.

Однако времена изменились.

Уже ничто не препятствует «тайным народам» подняться из катакомб на поверхность.

² Бьюкенен Патрик Дж. Смерть Запада. М., 2003.

Гендерное расслоение можно назвать «расслоением по горизонтали»: цветные культуры, «розовые» и «голубые», могут при благоприятных условиях существовать наравне с традиционной культурой, могут взаимодействовать с ней и, вероятно, даже чем-то обогащать. Взгляд на себя из параметров иных мировоззренческих смыслов всегда полезен. К тому же возникающая множественность полов увеличивает генетическое разнообразие человечества, а это, в свою очередь, усиливает его эволюционный потенциал. То есть разделение гендеров можно в определенной мере считать явлением прогрессивным.

Однако в настоящее время набирает силу и другой важный процесс, который можно было бы обозначить как «когнитивное расслоение».

Дело в том, что современное образование, впрочем, как и современное воспитание, становится достаточно дорогим. Непрерывно растет стоимость развивающих игрушек и игр, детских книг, учебных пособий, воспитательных тренингов, прививающих «опережающие» социальные навыки, стоимость спортивного инвентаря, секций, кружков, дополнительных курсов, не говоря уже о зарубежных поездках и межкультурных обменах. В результате только высшие имущественные группы, только семьи, обладающие высоким и очень высоким доходом, могут предоставить своим детям соответствующую подготовку.

Разумеется, государство как гарант социального равенства пытается противостоять этой тенденции — с одной стороны, вводя обязательную для всех систему среднего образования, а с другой — создавая специальные фонды, школы, секции для развития одаренных детей. Такие «образовательные каналы», сшивающие социальные «верхи» и «низы», существуют во многих странах. Следует, однако, иметь в виду, что оба эти механизма начинают работать лишь с детьми школьного возраста, то есть в значительной степени уже сформированными. При этом наиболее важные, первые годы жизни ребенка полностью отдаются на откуп родителям.

Возникает ситуация, при которой дети из хорошо обеспеченных «современных» семей будут иметь практически безусловное социальное преимущество: при любом тестировании, каковое оценивает прежде всего подготовленность, они покажут более высокие результаты, нежели контрольная группа. Это, в свою очередь, означает, что такие дети свернут на себя все государственные программы по элитному образованию и воспитанию.

Первичное расслоение общества, сословное или материальное, превращается, таким образом, во вторичное, то есть в расслоение интеллектуальных потенциалов.

Для государства это означает резкое сокращение социальной базы («низы», отторгнутые от «лотереи», будут относиться к власти индифферентно), сокращение вертикальной мобильности и тем самым — устойчивости к внешним воздействиям. Для общества это означает переход от одnogорбой к двугорбой кривой распределения интеллекта.

Иными словами, из современного распределения, имеющего единый максимум при ста единицах условного IQ (принятый в западной социологии коэффициент умственного развития), мы приходим к совершенно иному распределению, обладающему уже двумя «разведенными» максимумами. Первый, чрезвычайно обширный, будет соответствовать интеллекту порядка 60 единиц (с современной точки зрения — на уровне инфантилизма), а второй, чрезвычайно узкий — IQ порядка 140 (уровень одаренности с признаками таланта). Очевидно, что с развитием данной тенденции «когнитивное расслоение» только усилится: первый максимум устремится влево — к значениям, характерным для медицинского идиотизма, в то время как второй уйдет в область гениальности или даже дальше³.

³ Переслегин С. Б. Око тайфуна. СПб., 1994.

Конечно, «когнитивное расслоение» возникло не в наши дни. Дети привилегированных классов получали «опережающее образование» уже в течение многих столетий. Для этого существовали системы закрытых школ, колледжей, престижных университетов, выпускники которых занимали потом командные должности в государстве. Демократия это явление ослабила, но не устранила. Механизм «рекрутирования из низов» позволяет лишь периодически вливать в элиты «свежую кровь». Преодолеть само когнитивное расслоение он не в состоянии. Видимо, эта проблема относится к числу тех, которые удовлетворительного решения вообще не имеют.

Однако в нашу эпоху она приобрела неожиданное звучание.

Мы уже говорили, что возникновение в популяции *Homo sapiens* социальных структур остановило антропогенез, то есть видообразование человека. Дальнейшее их развитие, в частности появление высоких универсалий, связанных с христианством, привело к осознанию ценности человеческой жизни. Если в древнегреческой Спарте слабых или больных детей попросту убивали, если в Римской империи нежелательного ребенка можно было бросить в холмах за городом — такой поступок никому не казался чудовищным, — то в христианской цивилизации с ее базисным принципом «не убий» и больные, и слабые, и увечные получили шансы на выживание.

Правда, по-настоящему этот фактор начал работать только в XX веке, когда, во-первых, были ликвидированы массовые эпидемии, уносившие миллионы людей (прежде всего — генетически слабых, с пониженным жизненным тонусом), а во-вторых, медицина достигла такого уровня эффективности, который позволял сохранять жизнь особям даже с явными наследственными аномалиями. Действие естественного отбора было резко ослаблено, и в генофонде человечества стал накапливаться груз «летальных мутаций». Теперь они уже не изымались из оборота за счет смерти носителя, но поддерживались вместе с ним и передавались следующим поколениям.

Свою лепту внесла сюда и война. С появления в XIX веке массовых армий, формируемых не по найму, а путем принудительного рекрутирования, начал работать мощный механизм «антиотбора»: в армию призывались и в результате военных действий гибли в первую очередь те, кто по своим физическим, а следовательно, и генетическим качествам принадлежал к верхней границе нормы. Глобальные европейские войны эту границу неуклонно снижали. Известно, например, что после блистательных побед императора Наполеона средний рост французов уменьшился на два сантиметра. Такова была плата нации за империю. Можно, кстати, с достаточной долей уверенности предположить, что успех идей фашизма в Германии и большевизма в России не в последнюю очередь был вызван именно этими обстоятельствами. Обе нации понесли колоссальные потери в Первой мировой войне, и общественное сознание сместилось в сторону психопатических аномалий.

О том же свидетельствуют и вспышки нынешних эпидемий. СПИД, лихорадка Эбола, атипичная пневмония и некоторые другие болезни, время от времени выползающие из экзотических уголков мира, на языке биологии говорят об одном: генофонд человечества нестабилен, развала его можно ожидать в ближайшие годы. Пока средствами медицины эти эпидемии удастся держать под контролем, но не исключена возможность некой «сверхбыстрой» инфекции. Именно таким путем регулируется численность популяций в животном мире, и природа, скорее всего, пытается сейчас включить уже известный ей механизм.

Отсюда вытекает необходимость чистки глобального генофонда, удаления из него тех мутаций, которые представляют угрозу для человечества. В принципе эта проблема решаема. Характерно, что правительства некоторых европейских держав, Англии и Франции например, уже узаконили исследования в этой области. Однако, как и в случае с образованием, решение данной проблемы будет доступно отнюдь не всем. Очистка средствами генной инженерии

родительского генотипа от летальных мутаций, «терапевтическое клонирование» — выращивание «запчастей» человеческого организма, «персональная медицина», то есть производство лекарств, учитывающих не общие, а индивидуальные особенности человека, еще очень долго будут обладать фантастической стоимостью. Использовать их сможет лишь тот класс людей, который принадлежит к финансовой мировой элите. А это, в свою очередь, означает, что когнитивное расслоение будет закреплено не только социально, но и биологически, разделив в предельном случае все человечество на две расы: расу «генетически богатую», представляющую собой сообщество «управляющих миром», и расу «генетически бедную», обеспечивающую в основном промышленное производство.

Метафорически это состояние было описано Г. Уэллсом — в романе «Машина времени» человечество будущего тоже оказывается разделенным на две расы: утонченных элоев, благоденствующих во дворцах, и уродливых дегенеративных морлоков, обитающих под землей.

В действительности ситуация может быть даже хуже: современные «морлоки» с их интеллектом кретина будут не способны на какой-либо внятный протест. Равным образом они постепенно потеряют умение выполнять хоть сколько-нибудь квалифицированную работу, поэтому их способность к индустриальному производству вызывает сомнения.

Что же касается современных «элоев», то их будет, по-видимому, слишком мало, чтобы обеспечивать нормальное функционирование цивилизации. К тому же устремления «корпорации сверхлюдей» почти наверняка будут лежать вне сферы материального производства.

Здесь возможны два варианта развития. В одном случае происходит «первичное упрощение» — системная катастрофа с быстрой гибелью сначала культуры «элоев», а затем и «морлоков». В дальнейшем же постепенно восстанавливается однопиковое распределение IQ.

Во втором варианте, на наш взгляд более вероятном, «элои» могут создать группу поддерживающих технологий, которые остановят деградацию культуры «морлоков» на сколько-нибудь приемлемом уровне. Двухпиковое распределение интеллекта здесь, разумеется, будет сохранено, причем разрыв между пиками со временем начнет увеличиваться. На одной планете будут обитать две разные цивилизации.

Следует также отметить, что транснациональные сверхэлиты существовали всегда. Уже в Древнем мире имела тенденция к заключению браков исключительно в слое племенной знати. Эти родственные отношения и определяли во многом принципы тогдашней геополитики. Аналогичное явление наблюдалось и в Средневековье, когда Европой фактически управляла родственная между собой англо-франко-шведско-немецкая наследственная элита. Конфликты внутри такой элиты были в основном конфликтами внутри единой «семьи» и, как правило, не выражали интересы более низких сословий. Здесь характерен пример Северского князя Игоря, который потерял в битве дружину, но спас жизнь, поскольку являлся родственником своего противника. «Князьями» современного мира являются владельцы и менеджеры крупных транснациональных корпораций, ведущие финансисты, некоторые интеллектуалы, политики, сверхбогатые представители эстрадных профессий, которые, постепенно смыкаясь между собой, образуют господствующую мировую элиту.

Корпоративные, в том числе и биологические, интересы такой элиты, несомненно, будут выше интересов среды, из которой она первоначально вышла.

Теперь вернемся немного назад и вспомним тезис об определенной самостоятельности техносферы. Большинство инноваций, возникающих в логике технического развития, должны быть гуманизированы, то есть приспособлены к человеку, иначе их будет трудно использовать. С другой стороны, у подобной гуманизации есть известные ограничения: технику нельзя сделать абсо-

лютно «биологичной», ее нельзя упрощать без предела, и потому необходим встречный процесс — технологизация человека, приспособление его к техническим новшествам, которые по мере цивилизационного продвижения становятся все менее и менее «естественными».

Есть все основания полагать, что сейчас этот второй ресурс, ресурс адаптации человека, уже исчерпан. У всех на памяти техногенные катастрофы последних десятилетий: аварии танкеров с нефтью, взрывы на заводах, использующих ядовитые вещества, крушения поездов, автобусов, самолетов, спонтанные отключения энерголиний. Это наблюдается даже в таких высокоразвитых странах, как США, Канада, Италия, Англия. Причем интересно, что почти в каждом конкретном случае, почти при каждой аварии можно обнаружить причину техногенного сбоя. Можно даже предложить комплекс мер, предотвращающих аналогичные сбои в будущем. И тем не менее к принципиальному улучшению ситуации это не приводит. Динамика катастроф нарастает. Нарастают их масштабность и частота.

Частично это вызвано явлениями глобализации. Связность мира за последние десятилетия ощутимо усилилась; принципиально, вероятно в разы, увеличилась его производственная и коммуникативная плотность. Возросли транспортные потоки, и вероятность нежелательных «пересечений» стала весьма высокой.

Однако дело не только в этом. В конце концов, одновременно с плотностью техносферы усилились и методы ее регулирования. Теперь возможные техногенные сбои просчитываются заранее и разрабатываются специальные программы, позволяющие их избегать.

И все равно — самолеты падают, поезда сталкиваются или сходят с рельсов, нефть из поврежденных танкеров заливает целые побережья.

Вероятно, дело тут не в конкретных причинах. Дело даже не в том, что в сверхсложных процессах, каковыми стали сейчас процессы индустриального взаимодействия, нельзя предусмотреть каждый шаг. Всегда остается некая «зона неопределенности», некий зазор, который и порождает наибольшее количество рисков. Суть здесь лежит несколько глубже. Просто техносфера, опирающаяся ныне на сетевые методы управления, достигла, по-видимому, такой степени сложности и быстродействия, которая требует реакций, несвойственных «классическому человеку». Она уже превышает его физиологические возможности, и никакие профессиональные тренинги, никакие дополнительные регуляторы, никакие меры по безопасности не в состоянии восстановить былое единство.

Техносфера постепенно выходит из-под контроля. Дальнейшее рассогласование «человеческого» и «машинного» времени чревато катастрофами планетарных масштабов. Это, в свою очередь, выдвигает вопрос о технологизации современного носителя разума и синхронизации его биологических качеств с динамикой инноваций.

Естественным, эволюционным путем этого не происходит. Значит, потребуется искусственное, целенаправленное преобразование человека. Модернизация его теми биологическими технологиями, которые уже появляются.

Собственно, ничего нового мы не высказываем. Операции по вживлению простейших чипов, позволяющих человеку непосредственно управлять компьютерами, начали производиться уже несколько лет назад. Первые результаты выглядят весьма перспективно. Теперь дело, как и в случае с клонированием человека, только в удешевлении и повышении надежности этих биопластических операций.

Катализатором же такого процесса, как обычно, послужит война.

Сейчас, прямо на наших глазах, разворачивается громадный цивилизационный конфликт между Югом и Западом, между Миром ислама, добивающимся равноправия, и Атлантической цивилизацией в лице Соединенных Штатов Америки. Со стороны Юга здесь используются глобальные террорис-

тические стратегии, опирающиеся на фанатизм и традиционно низкую в культуре ислама ценность человеческой жизни. Запад ведет войну классического «европейского типа», основанную исключительно на технологическом превосходстве.

И вот тут возникают те же самые трудности.

Современные компьютерные системы могут просчитывать миллионы вариантов в секунду, но принятие окончательного решения все же остается за оператором. Можно создать автомат, танк, самолет практически с идеальными характеристиками, но использовать это военное совершенство будут солдаты, далекие от каких-либо технических идеалов.

Биологические реакции человека — вот что служит сейчас главным ограничителем военного могущества Запада. Они сводят на нет преимущества высокоточного оружия современности, и они же, снижая темпы принятия оперативных решений, позволяют критическим ситуациям развиваться в значительной мере спонтанно.

Это особенно ощутимо при операциях наземного типа, которые часто оказываются непродуктивными из-за «диффузных», партизанских действий противника. То, что Запад выигрывает в небе, он затем проигрывает на земле.

Очевидно, что новый цивилизационный прорыв будет совершен именно в данном технологическом направлении.

Войска специального назначения — различного рода «коммандос», «силы быстрого реагирования», группы «альфа», «бета», «гамма», «омега», «морские котики», «крапчатые береты» и тому подобные элитные воинские подразделения, появившиеся в период локальных конфликтов эпохи «холодной войны», представляют собой первые попытки решить эту проблему. Роль их в современных боевых действиях часто оказывается определяющей. Не случайно, что на создание и поддержание в боеготовности элитных подразделений иногда тратятся средства, сопоставимые с расходами на всю остальную армию. Правительства ведущих индустриальных держав уже давно поняли, что сейчас является самым эффективным оружием.

Однако никакие длительные тренировки, прививающие навыки сверхремительных действий, и никакие химические препараты, временно повышающие у человека скорость реакций, не могут сравниться по результативности с теми фантастическими возможностями, которые уже сейчас открывает «новая биология».

Расшифровка генома, ведущаяся в последние годы, биопластические технологии и методы геной инженерии позволяют создать такой тип людей, который будет обладать прежде всего «нечеловеческими» характеристиками. К ним относятся расширение диапазона слуха и зрения, быстрая регенерация повреждений и модификация параметров тела, непосредственное воздействие на электронные системы противника и непосредственное, ментальное управление средствами ведения боя. Говоря иными словами, вся военная техника, используемая сейчас, включая ракеты, танки и самолеты, включая компьютеры и спутниковые системы слежения, станет естественным продолжением боевых качеств такого солдата. Самое важное здесь, что «человек новый» будет жить в совершенно ином восприятии времени — упреждая и опережая противника сразу во всем оперативном пространстве. Причем это будет не экстремальным выражением его скрытых способностей, а вполне обыденным превосходством абсолютно иного способа биологического существования.

Фактически такие люди уже не будут людьми. Фактически они станут *люденами* — новыми разумными существами, появившимися на Земле.

И здесь хочется обратить внимание на одну специфическую закономерность.

Каждая мировая война рождает тот тип оружия, который будет использоваться в следующем глобальном конфликте.

Первая мировая война породила танки и авиацию, массивное применение которых превращало затем в развалины целые районы Европы.

Вторая мировая война вызвала к жизни ядерное оружие, и хотя в дальнейшем оно применено не было, именно его наличие у обеих сторон, США и СССР, определило «холодный» характер последовавшего затем глобального противостояния. По сути, оно свелось к локальным военным конфликтам на чужой территории.

Причем именно локальность и быстротечность таких конфликтов, где успех операции определяется буквально в считанные часы, вызвали к жизни элитные воинские подразделения, способные подобные задачи решать.

Третья мировая война, таким образом, открыла дорогу к созданию нового вида людей, и в Четвертую мировую войну, исход которой пока не ясен, они станут, по-видимому, решающим фактором преобразования мира.

Выскажем «сумасшедшую гипотезу». На исходе Средних веков Европа как будто пережила приступ безумия. Вся она покрылась сетью судов инквизиции, которые посылали на смерть тысячи и десятки тысяч людей — колдунов, ясновидящих, знахарей, ведьм, одержимых бесами, вообще — нестандартных.

Цифры здесь впечатляют. В Лотарингии в течение 15 лет были сожжены около 900 ведьм, епископ Бальтазар Фосс сжег в Фульде 700 человек, 600 человек были сожжены в Бамберге, 121 человек за три месяца — в Оснабрюке, в небольших деревушках вокруг Трира казнили 306 человек, в местечке Герольцгофен только за 1616 год сожжено 99 ведьм, в следующем году — еще 88, в Женеве за короткий период времени в 1542 году сожжено 500 ведьм, в Кведлинбурге за один день 1589 года погибли 133 человека. Считается, что к концу XVI века только в Испании, Италии и Германии было казнено не менее 30 000 человек⁴.

Разумеется, в большинстве случаев обвинения против колдунов или ведьм были просто плодом больного воображения, иногда — сведением счетов, иногда объяснялись политическими мотивами. Однако в качестве именно «сумасшедшей гипотезы» можно предположить, что тогда по каким-то пока не понятным причинам имела место первая попытка ароморфоза, первая попытка преобразования человека, обретение им качеств, которые традиционно человеческими не считаются. Вполне возможно, что у человечества, помимо исключительно «техногенного» пути развития, был и другой, связанный, скорее всего, с принципиально иным способом познания мира, с другой наукой, с другими методами организации общества, и природа, вслепую расшатывая вид *Homo sapiens*, пыталась следовать именно этим путем.

Четыреста — пятьсот лет назад за счет самых жестоких мер, впрочем, для Средних веков вполне естественных, биологический формат человека удалось удержать. Однако нет никакой уверенности, что это удастся сделать сейчас.

Сейчас расслоение «человека разумного», его биологическая полиморфность является уже не внутренним эволюционным потенциалом, который можно отрегулировать, а насущной цивилизационной потребностью, обостряющейся с каждым днем. Альтернативой ей предстает глобальная технологическая катастрофа.

Вряд ли поэтому антропогенез удастся остановить.

В результате основной коллизией современности становится не конфликт «Запад — Юг», не конфликт между индустриальной и постиндустриальной стратами мира, хотя данный конфликт, конечно, еще получит развитие, главным противоречием наших дней становится противоречие между «человеческими» и «нечеловеческими» элементами мирознания, потому что различий между Югом и Западом, между мусульманином и христианином, между русскими и китайцами наконец, может оказаться значительно меньше, чем различий между «цветными» гендерами и гендерами традиционными, между «элоями» и «морлоками», между «люденами» и людьми.

⁴ Лозинский С. Роковая книга средневековья. — В кн.: Шпренгер Я., Инститорис Г. Молот ведьм. М., 1990.

Подчеркнем еще раз принципиальную новизну нынешней ситуации. Разумеется, расслоение человека — «гендерное», «когнитивное» или «технологическое» — в том или ином виде существовало всегда. Оно всегда оказывало прямое или подспудное влияние на ход истории. Однако впервые эти различия могут быть закреплены генетически и, следовательно, привести к появлению на Земле новых видов людей.

Наша цивилизация утрачивает антропоморфность. Вид *Homo sapiens* еще остается «sapiens», но уже перестает быть «homo». Счетной единицей личности становится не тело, а разум. И потому главный вопрос, который затмевает собой все остальные, это — что есть человек?

Сможет ли он как-то реинтегрировать свою сущность, пусть даже в такой странной форме, о которой мы сейчас просто не подозреваем, или он необратимо разделится на множество «носителей разума», противостоящих друг другу и ведущих между собой ожесточенную борьбу за существование?

В этой связи новую ценность приобретают мысли о ноосфере, высказанные еще В. И. Вернадским. Человек — это лишь часть мира (Вселенной), и его эволюция должна быть сопряжена с эволюцией всего живого и неживого. Сапиентизация биоты — процесс, видимо, неизбежный. «Сфера разума», которая в результате возникнет, вероятно, гармонизирует различные интеллектуальные сущности. Эти мысли сейчас получают неожиданное развитие⁵.

И еще одно, как нам кажется, следует учитывать обязательно.

Преторианская гвардия в Древнем Риме, созданная первоначально для охраны священной особы римского императора, довольно быстро осознала свои собственные интересы и, руководствуясь именно ими, а вовсе не интересами государства, начала свергать неудобных правителей и возводить на престол послушных марионеток. То же самое делали «бессмертные» в Византии, мамлюки в средневековом Египте и в определенный период истории — российская гвардия.

Элита, воспринимающая себя как элиту, обычно рассматривает всех остальных в качестве существ низшего сорта.

Вряд ли и «новые виды» будут считаться с «человеком традиционным», если осознают свою биологическую солидарность. Антропогенез, как и землетрясение, вне морали. Тем более что исторический прецедент такого рода уже имеется.

Более ста пятидесяти тысяч лет господствовали на Земле неандертальцы. Они расселились по обширным континентальным пространствам и уже начинали использовать для труда первые каменные орудия. Неандертальцы имели все шансы образовать современное человечество. Однако возникли кроманьонские племена, и неандертальцев не стало. Костные их останки выставлены сейчас в музеях. Этот фактор, нам кажется, следует иметь в виду прежде всего.

Он может оказаться решающим.

И несколько слов в заключение.

За последние полтора столетия в культуре были сформулированы три предельные максимы.

Фридрих Ницше провозгласил «смерть бога», Мишель Фуко, по аналогии с этим, — «смерть человека», а Френсис Фукуяма — «конец», фактически «смерть истории».

В известном смысле они оказались правы.

Все это действительно имеет место.

Просто сейчас начинается совсем другая — «нечеловеческая» история.

С.-Петербург.

⁵ Ивашинцов Д. А. За пределами эволюции *Homo Sapiens*. — В сб. «Международные чтения по теории, истории и философии культуры», № 17. СПб., 2003.

АРМЕН АСРИЯН



ИГРЫ, КОТОРЫЕ НАС ВЫБИРАЮТ

Поляков Святослав Дональдович — 1925 года рождения.
По отцовской линии — Седьмой Младший Настройщик Дождя.

По материнской линии — Хранитель Жезла Великих Погонщиков.

Март — июнь 1938-го — участвовал в боях за озеро Хасан в звании младшего имперского пажа. Награжден орденом св. Владимира IV степени.

Сентябрь 1939 — август 1947-го — участник Великой и Малой Отечественных войн. Командир взвода, роты, зам. начальника, начальник разведки 3-й бригады 1-го гвардейского Воздушно-егерского корпуса. За решающее участие в штурме и разрушении Пирамиды Циклопов возведен в графское достоинство. Ордена св. Анны III и II степени, св. Георгия IV степени, св. Владимира III степени, великоморавский орден Черного Орла.

Февраль 1949 — май 1951-го — зам. начальника аналитического отдела ГРУ, генерал-майор (апрель 1949-го), активный участник подавления Второй и Третьей Научно-Технических Контрреволюций. За жестокое обращение с пленными уволен в отставку с половинной пенсией и без права ношения формы.

Январь — март 1953-го — участник проекта «Застава Королей». Пропал без вести. Предположительно — перенесен в мир Тринадцати Башен.

Мы не виделись лет пять. Несколько раз в коллективных сборниках промелькнули его рассказы — старые, институтских времен, я их хорошо помнил. Так что, столкнувшись с ним в той же кафешке на Малой Бронной, я сразу спросил, почему не публикует ничего нового.

— Да нет ничего нового, — скучным голосом ответил он, — не пишу я ничего. Некогда...

— Работа, что ли, мешает? — осторожно поинтересовался я.

— Какая работа? Я редактором в издательстве сижу. Издательство маленькое, зарплата — еще меньше, зато больше четырех часов в день там делать нечего. Не-ет, у нас Игра новая. Второй год уже играем!

Слово «Игра» было произнесено с большой буквы. И я вспомнил... Курс наш в Литинституте состоял практически из одних «беглых университетских», чем доставлял большинству преподавателей массу неудобств: народ там привык к аудитории попроще, понеграмотнее и соответственно без претензий. Он, как и я, раньше обретался на физфаке, так что сошлись мы быстро, тем более что он был единственным на курсе фантастом, а я время от времени, отвлекаясь от стихотворчества, совершал набег в ту же область. Какое-то время спустя он свел меня со своей старой командой, людьми, с которыми со школьных лет играл в настольные ролевые игры...

Здесь стоит объяснить кому помоложе: каких-то ...надцать лет назад не только сама идея «домашнего компьютера» казалась большинству населения немислимой роскошью вроде личного вертолета. Но и компьютеры «дикие», то бишь — государственные, за которыми народ просиживал ночи напролет, были... как бы это помягче выразиться... не чета нынешним. Как говорится в древних сказаниях, «было это в те времена, когда дискеты были большими, а программы — маленькими...». Компьютерные игры тех времен были просто лишены графики — поскольку машины были оснащены исключительно «алфавитно-цифровыми дисплеями». Первые «ролевухи» (или, цивилизованно

Асриян Армен Генрихович — писатель, публицист. Родился в 1962 году в Ереване. Учился в Ереванском университете и в Литературном институте им. А. М. Горького. Печатался в журнале «Грани», газете «Спецназ России» и других печатных и интернет-изданиях. В № 8 за 1998 год в «Новом мире» опубликована его хроника «Поход эпигонов».

выражаясь, RPG) представляли собой англоязычный текст такого примерно содержания:

«Зайдя в стоящий на поляне одинокий дом, вы видите старого гнома, продолжающего, не обращая на вас никакого внимания, затачивать секиру. Ваши действия:

1. Попробовать заговорить.
2. Обнажить меч и напасть.
3. Молча выйти...»

В таких антисанитарных условиях самодельные игры выигрывали хотя бы за счет богатой фантазии авторов. Все-то разницы было, что для поправки на случайность кости приходилось бросать самим...

В одну из этих игр я и вошел. Это были незабываемые три месяца в сумасшедшем мире, слепленном из Эллады VIII века до нашей эры, Британии V века нашей эры и полосы заколдованного леса между ними, населенной разнообразными чудищами — от тривиальных грифонов и единорогов до прикованного к кривой сосне бессмертного сержанта ВДВ с пулеметом Калашникова. Предметом моей особой гордости было то, что, создав в своем крошечном королевстве Ольстер кельтское казачество, я за каких-то тридцать игровых лет стал верховным королем Ирландии и Уэльса. Но через три месяца объективного времени у меня появились другие дела, и оставшиеся полтора года игру доигрывали без меня. Значит, все по-прежнему...

— А что за игра?

В ответ он вытащил две коробки дискет. Я посмотрел на них с некоторой оторопью.

— Это все материалы или только твои?

— Ты что! — возмутился он. — Это только материалы по Третьей контрреволюции. Всех материалов — по двадцать коробок у каждого игрока!

Выпросив пару дискет на день-другой и просмотрев их дома, я понял, что времени у людей действительно нет. Это был мир! С тысячами персонажей, с подробно разработанной экономикой, со сложнейшей и запутаннейшей политикой, с детальнейшей историей науки и культуры, с десятком конкурирующих магических школ... Мир, едва ли не более реальный, чем тот, другой, за окном. Тем более, что мир за окном стал беднее на одного очень недурного писателя... Он уже вряд ли вернется, создатель виртуальных миров для шести-семи верных последователей. Файл «colonPolSvDon.doc», выбранный почти наугад, послужной список третьестепенного персонажа, одного из тысяч — полковника Полякова — был намного длиннее, чем отрывок, приведенный в начале статьи, и включал десятки документов: генеалогические таблицы, служебные характеристики, наградные свидетельства, семейные легенды, юношеские литературные опыты самого виртуального полковника...

Но ведь дело не в одном моем однокурснике и полудюжине его школьных друзей.

Кто из вас не бывал в Нескучном саду (он же — «эльфятник»)? Или не сталкивался хоть раз где-нибудь в переходе между «Белорусской»-кольцевой и радиальной с маленьким эльфом — в широком плаще, берете, с ножнами, колотящими встречных по ногам? Толпа, торопящаяся с работы, на работу, на вокзал, с чемоданами, с сумками, детьми и домашними животными, и в ней, также торопясь и работая худенькими локтями в предэскалаторной давке, — сказочный персонаж, бегущий по своим сказочным делам.

Толкиенисты (они же «толкиенутые») — самая «раскрученная» московской прессой тусовка «игровых эскапистов». Причудливые костюмы, имена, почерпнутые из знаменитого «Властелина колец», штудирование эльфийского и гномьего языков, турниры по историческому фехтованию... Сколько-то раз в год леса под Москвой (Питером, Новосибирском, Пермью...) заполняются странными людьми — начинается Игра.

Нормальных туристов распугивают криками «Нуменорцы, вперед!». Впрочем, сами Мастера, то есть те, кто реально и занимается организацией, по ле-

сам не носят, некогда. Плести вязь игрового мира — работа ничуть не проще, чем рулить средних размеров нефтедобывающей фирмой или вести федеральную выборную кампанию...

Проводятся не только толкиеновские Игры. В качестве основы берется то «Трудно быть богом», то артуровский цикл, то всего лишь задаются общие правила, а далее каждый отыгрывает свою роль.

Жертвы переходного периода, не нашедшие себе применения в «реальном рыночном мире»? Просто люди с психическими отклонениями, бегущие от реальности? Или стремящиеся эту реальность расширить, принести в нее ценности, нашим миром забытые?

Хотя толкиенисты — это уже, можно сказать, вчерашний день. В свое время из их среды выделилось новое сообщество, довольно неуклюже названное «клубами исторической реконструкции». Люди, которым надоели деревянные мечи и плащи из маминых штор. которым позарез понадобилась полная аутентичность. Они месяцами просиживают в библиотеках, восстанавливая мельчайшие детали быта «своей» эпохи. Тратят годы на то, чтобы стать профессиональными ремесленниками — ткачами, скорняками, шорниками, кузнецами... Тренируются до изнеможения — настоящими мечами и секирами, выкованными собственноручно, с соблюдением всех технологических тонкостей. Между делом где-то работают, но это так, чтобы с голоду не подохнуть. С куда большим энтузиазмом каждое лето ездят на раскопки — совершенно бескорыстно, ибо сегодняшняя археология, как правило, просто не в состоянии оплачивать труд подсобных рабочих.

И постепенно настолько вживаются в свой дружинный, ватажный мир, что сквозь наш мир, кажущийся нам единственной реальностью, проходят, как сквозь неубедительное и неправдоподобное марево, морок, наведенный неведомыми вражьи колдунами...

Единственные мои знакомцы, живущие подобным образом, обитают в Питере. В городе, который, как бы ни отбояривалось городское начальство, действительно является криминальной столицей России. Так вот, этих ребят обходят и питерские бандиты, и питерские менты. — Люди, чьим любимым развлечением являются пятнашки с завязанными глазами на секирах, заточенных всерьез. Люди, которые действительно в любую минуту, днем и ночью, поднимаются по тревоге, если обидели члена ватаги, и несутся на разборки с теми же секирами, и пускают их в ход, не задумываясь о последствиях...

Кому охота с безбашенными связываться? Других дел хватает.

Впрочем, все это так или иначе — случаи экстраординарные.

А вот — простая бытовая картинка. Небольшое московское издательство, контора, каких много. Обычные люди, обычная суета. Висят на телефоне, ругают начальство, верстку и бухгалтерию, стреляют друг у друга стольник до зарплаты, чаевничают, курят в коридоре, в полседьмого торопятся к метро. По бартеру, в обмен на дармовую рекламу, славному трудовому коллективу предлагают сыграть в пейнтбол. Коллектив, преимущественно женский, некоторое время упирается, ссылаясь на детей, мужей и прочую хозяйственную необходимость. Но в конце концов решается и в собственный выходной, по плохой погоде, пилит куда-то на электричке...

...Первым выстрелом (из кустов в спину) укладывают главного редактора. И до поздней ночи, забыв про стирку, глажку, уборку, непроверенные уроки, ползают по грязи, стремясь захватить соседний пригорок, который, не считаясь с потерями и оглашая воздух жизнерадостным матом, обороняет крошечная компьютерная фирма — в полном составе...

Потом были сожаления. Об одном сожаления — дорогое это удовольствие, пейнтбол. Не больно разбежишься на издательскую зарплату...

Недоигранная в детстве «Зарница»? Радость от общения с природой? Попытка к бегству? Дай ответ! Не дает ответа...

Homo ludens. Человек играющий.

Колотящий ночи напролет по клавиатуре домашнего компьютера и разгняющий шестиствольным «вулканом» кровожадных монстров «Doom'a». Шьющий эльфийский плащ. Валяющийся на размокшей от дождей площадке для игры в пейнтбол и размазывающий по лицу краску, похожую цветом на кровь. И в настоящем окопе, в далеких чужих горах, под свист настоящих пуль, с настоящей кровью... Играющий.

После взятия Агдама на весь день пропал Володя-маленький, пулеметчик русского отряда. Объявившись к вечеру, смущенно объяснил, что нашел в разрушенном доме исправный компьютер с любимой игрой — «Цивилизацией». Ну и — заигрался...¹

Разговоры об эскапизме завяли сами по себе десять — пятнадцать лет назад. Завяли, поскольку даже до самых твердолобых стало доходить: если той или иной формой «эскапизма» охвачена едва ли не половина населения «цивилизованного мира» — это надо называть как-то иначе. Может быть, просто новой культурой? Причем культурой не в шпенглеровском понимании, — если помните, восемь великих шпенглеровских культур различались именно восприятием основных категорий — пространства и времени. Игровая культура лишена субъективного переживания пространства. Его место заняла новая базовая категория — информация. В этом смысле игровая культура гораздо дальше от «фаустовской» европейской, чем ханьский Китай или демоническая Мезоамерика. Пока это не бросается в глаза именно потому, что большинство ее проявлений не распознаются внешним взглядом. Взрыв интереса к нетрадиционным религиям, истерическая мода на Интернет среди людей, никак не связанных с ним профессионально, повальное увлечение читателей фантастики жанрами «альтернативной истории» и «фэнтези», при полном безразличии к так называемой «hard SF», то есть собственно «научной» фантастике, — кто вычленил игровую составляющую из этих и других явлений?

Из нескольких десятков моих приятелей и просто знакомых, воевавших в Карабахе, Приднестровье, Абхазии, Боснии — в местах, куда русский мог попасть, только если сам очень постарается, — почти половина искали в войне «пейнтбол для бедных». Тот самый пейнтбол, который было окрестили «игрой в войну для богатых»...

Не говоря уже о виртуальных мирах, насчитывающих на сегодняшний день по несколько сот тысяч обитателей, многие из которых проводят там больше времени, чем во внешнем мире. А десятки тысяч — просто зарабатывают себе на жизнь исключительно там, «прокачивая» на продажу героев, торгуя собственноручно добытыми трофеями: картами, артефактами, доспехами и оружием незадачливых соперников... Или просто работая проводниками и охранниками для туристических групп в те области, где неподготовленный человек не протянет и нескольких секунд.

Миры, чьи валюты уже несколько лет как представлены на некоторых валютных биржах, демонстрируя устойчивость курса, которой могли бы позавидовать многие из «реальных» валют...

Вообще очень похоже, что уже в ближайшем будущем «виртуальное гражданство» станет источником столь же серьезных жизненных бонусов — или проблем, — как и «гражданство реальное»...

Мы уже живем внутри новой культуры, незаметно проросшей сквозь старую, мы сами, не отдавая себе отчета, в той или иной мере принадлежим ей... Сейчас трудно предсказывать формы, которые она обретет в пору своего расцвета, но это будет весьма любопытный мир — мир, в котором разные субкультуры будут взаимодействовать, истолковывая сам процесс взаимодействия каждая в своих, возможно, совершенно несовместимых понятиях. Как? Один из моих друзей, готовивший статью про толкиенистов для покойного журнала

¹ История Володи-маленького вошла в хронике «Поход эпигонов».

«Столица», задал такой же вопрос Мастерам. Ответ стоит того, чтоб привести его дословно.

«Заявились в лес чайники — они не отдохнуть пришли, а водки выпить. Их предупредили, мол, в лесу надо себя вести соответственно: зеленку не рубить, под деревом костер не разводить, — но они не вняли. Пришлось произвести показательное внушение. Когда стемнело, наши с разных сторон ползком подобрались к костру. Те ничего не заметили и очухались только тогда, когда в темноте вокруг них выросли девять фигур в плащах. В полной тишине одна из фигур спрашивает, что, мол, Хозяин, делать будем, люди законов леса не уважают, предупреждений не слушают... А тот отвечает: ладно, на первый раз простим, но костерок потушим и еду выльем, чтобы понятнее было. Сделали — и исчезли. Те так и остались, как сидели, — с открытыми ртами и съезжающей крышей. Но наутро ушли — и за собой мусор убрали!»

Это уже произошло. Уже сегодня «политик», «солдат», «ученый», «писатель», «журналист» в глазах большинства внешних наблюдателей — не более чем ролевая игра. Все, наверное, помнят: по результатам последней переписи в России помимо русских, татар, евреев, башкир — несколько десятков тысяч эльфов, орков и хоббитов... Культурные сдвиги таких масштабов, по-видимому, вообще вне морали, как сдвиги геологические. Но если что-то происходит в нас и вокруг нас — по крайней мере стоит попытаться осознать происходящее. Тогда — по крайней мере под Агдамом, Дубоссарами, Баня-Лукой, Ачхой-Мартаном и где там еще случится завтра — будут погибать только те, кто ясно понимает, зачем они здесь. И среди них — будем надеяться — больше не окажется ни одного заблудшего романтика, который просто не успел понять, что на самом деле он — *«Дори, сын Двалина, гном из Синих Гор, из Габилгатхолла, идущий в Серебристые гавани к Сирдану-Корабелу и светлому королю Гиль-Гэладу, потому что им, сказывают, нужны умелые гномьи руки...»*

ТАТЬЯНА КАСАТКИНА

*

ВЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Согласившись написать отклик на статьи Андрея Столярова и Армена Асрияна, я и не предполагала, что это будет так трудно, пока не приступила к делу. Трудность оказалась связана прежде всего с первой из этих двух статей: она сплошь состоит из, мягко говоря, неточностей, казалось бы, лишающих разговор о ней смысла, а все же нет, сохраняется нечто в остатке, что не позволяет просто сбросить ее со счета, отвязаться от поставленных в ней проблем указанием на промахи автора в области генетики, истории, истории культуры, педагогики и т. п. От ощущения своей беспомощности пошла смотреть телевизор. В новостях сообщили, что уже неделю вся Америка не отрывает глаз от Сан-Франциско, где вопреки закону штата мэр города позволил регистрацию гомосексуальных браков. Показывали серьезные и встревоженные лица президента Буша и губернатора штата Шварценеггера, произносивших очень разумные увещательные речи, воодушевленную молодежь с плакатами, самоотверженно и солидарно требующую разрешить делать всем кто чего захочет, и нелепые, нежные и счастливые лица тех, кому удалось скрепить

Касаткина Татьяна Александровна — литературовед, критик. Родилась в 1963 году в Москве. Доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы РАН. Постоянный автор «Нового мира».

свой союз перед лицом людей. Смотрел ли на них в это время Бог, я не знаю. Затем я услышала, что американские ученые опять установили дату и причину гибели Вселенной, имеющей произойти через 30 млн. (не то млрд.) лет из-за «темной энергии», способствующей разбеганию космических тел в пространстве. Будут преодолены законы притяжения, планеты оторвутся от своих звезд, и постепенно во Вселенной останется одна «темная энергия». Затем говорили о теле, оставленном уже много лет назад одним буддийским учителем в Бурятии. Тело как живое, а с самим учителем некоторые ученики монастыря находятся в контакте. У тела совершаются исцеления, и именно ему приписывается спасение пассажиров самолета, потерпевшего там недавно аварию и развалившегося в воздухе на куски. А потом показали восьмилетнюю девочку, которая во время катастрофы в аквапарке под обвалившейся стеной, с поврежденной рукой и множественными ушибами, на холоде полтора часа держала другую, совсем незнакомую ей трехлетнюю девочку, пока не пришли спасатели. Ей стоило поднырнуть под стену, чтобы оказаться на свободе и в тепле, но с ребенком на руках она этого сделать не могла. Репортеру пришлось в голову спросить, смогла ли бы она это сделать, если бы ребенка оставила. Она ответила: «Поднырнуть? Конечно. Но как же человека одного оставить в беде». Тут же в «Честном детективе» рассказали про молодую женщину, спланировавшую убийство своих родителей и бабушки с дедушкой. Она привезла родственников на машине в лес, а ее муж с другом расстреляли их и закопали в заранее подготовленную яму. Потом, пока по второму каналу шла «Матрица», на седьмом показывали фильм «Другие» — о существовании на параллельных планах в одном и том же доме живых и умерших, при этом некоторые из мертвых не знают, что они уже мертвые. В это время в фильме, который показывали по «Культуре», живые и умершие существовали, по крайней мере некоторое время после смерти, на одном уровне бытия.

Передавали все это вечером в субботу, когда в православных церквях шла утренья прощенного воскресенья и поминали изгнание Адама из рая.

В результате странным образом для меня оформился «сухой остаток» статьи Столярова. Мы действительно не знаем, что такое человек.

Все настоящие споры о религии сводятся к вопросу, может ли человек, родившийся вверх тормашками, понять, где верх, где низ. Первый, главный парадокс христианства — в том, что обычное состояние человека неестественно и неразумно, сама нормальность ненормальна. Вот она, суть учения о первородном грехе. В занятом новом катехизисе сэра Оливера Лоджа первые два вопроса: «Кто ты?» и «Что, в таком случае, означает грехопадение?». Я помню, как я пытался сочинить свои ответы, но вскоре обнаружил, что они очень неуклюжи и неуверенны. На вопрос: «Кто ты?» я мог ответить только: «Бог его знает». А на вопрос о грехопадении я ответил совершенно искренне: «Значит, кто бы я ни был, я — это не я». Вот главный парадокс нашей веры: нечто, чего мы никогда не знали вполне, не только лучше нас, но и ближе нам, чем мы сами.

Г. К. Честертон, «Ортодоксия».

Только мы по-разному этого не знаем. Андрею Столярову, судя по статье, знаком некий «человек», чьи «биологические характеристики» не менялись на протяжении тысячелетий, и проблему составляет лишь определение границы «вида» и возможности его дальнейшей «эволюции». Мое незнание гораздо фундаментальнее. Я совсем не представляю себе, каковы действительные биологические характеристики этого странного «вида». Уже давно к сфере расхожего «научного» знания относится тот факт, что человек использует свой потенциал на какие-то ничтожные проценты. И скорость реакций, и выносливость, и сила, и точность, и сосредоточенность действий, диапазон терморегуляции и

так далее — все то, чего Столяров ожидает от успехов геной инженерии, и то, чего он даже и не ожидает, — могут быть увеличены в десятки раз без всякого изменения генотипа. Этот потенциал не используется большинством «популяции», но тем не менее предоставляется в распоряжение любого родившегося человека. Этот потенциал включает в себя мудрость, ясновидение, сочувствие, достигающее в пределе способности к исцелению и физических, и душевных, и духовных увечий, безграничную отвагу и самоотверженность и много-много чего вплоть до воскрешения мертвых, хождения по водам, питания пяти тысяч человек пятью хлебами. «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду» (Ин. 14: 12). В человеке может вместиться Бог — и при этом не понадобится изменить ни одну из «биологических характеристик».

Это поражало всех, кто всерьез задумывался над главным событием Христианства на протяжении веков. «Христианство есть доказательство того, что в человеке может вместиться Бог. Это величайшая идея и величайшая слава человека, до которой он мог достигнуть», — писал Ф. М. Достоевский в XIX веке. «Неужели не понимаем, — пишет митрополит Сурожский Антоний в наши дни, — человек так велик, что Бог может стать Человеком и человек остается собой? И что так велика тварь, которую Бог призвал к бытию, что человек может вместить в себя Бога?»¹ Но это не только поражало — это становилось главным заданием христианина: обожение. «Бог стал человеком, чтобы человек стал богом» — основание всех догматов семи Вселенских соборов здесь, в этой максиме. И если после Пришествия Христова всякий верующий в Него был призван сотворить дела, что и Он, и больше сих, то последующие обетования еще безмернее: «Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть» (1 Ин. 3: 2).

Христианские святые, стоявшие на воздухе во время молитвы, не вкушавшие годами, которым служили звери в пустыне, Сергей Радонежский, через несколько верст здоровающийся с Стефаном Пермским, буддийские учителя, оставлявшие свое тело и возвращавшиеся в него, «спорт» тибетских послушников — кто быстрее и больше высушит своим телом мокрых простынь на морозе, йоги, ходящие по ногам и лежащие на стекле, — какие «чипы» каким «коммандос» надо вживить, чтобы они все это выполняли? А ведь я сейчас говорю только о самых «простых» и «поверхностных» вещах из тех, которые доступно исполнять человеку.

Словом, параметры «человеческого формата» несколько сложнее и многообразнее тех, на основании учета которых Андрей Столяров решил, что пришло время виду эволюционировать.

Но в человека может вместиться не только Бог. Или, вернее, так: если уж в человека может вместиться Бог, то в него, в отсутствие Бога, может вместиться и всякое иное. Вообще проблема тех, кто считает возможным рассматривать человека лишь как существо «биологическое», именно в том и состоит, что человек никогда не остается на «биологическом» уровне, то есть на уровне того, что можно было бы назвать уровнем «здоровых инстинктов». Я опять повторяю общеизвестное. В животном мире взрослые члены одного и того же вида практически никогда не убивают и даже серьезно не калечат друг друга. Бой за самку или территорию — это «бой по правилам», турнир, а не война, не убийство. В животном мире совокупление — это способ продолжения рода: самка, не способная в данный момент зачать, не подпустит к себе самца, да и для самца она не представляет никакого интереса вне периода «брачного сезона». Дикое животное никогда не будет есть, если оно не голодно или если то, что ему предлагают, вредно. Жизнь с человеком быстро развращает, растлевает, сламыкает «добрые инстинкты» — вплоть до известного отсутствия у ко-

¹ Антоний, митрополит Сурожский. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Проповеди. Клин, 1999, стр. 27.

кер-спаниелей ощущения сытости, приводящего иногда к гибели от обжорства (недаром глагол *cosker* (*up*) по-английски и означает ласкать, баловать, потворствовать, закармливать сладостями). С точки зрения человека, обладающего, как некоторые сейчас с удовольствием говорят, «здоровыми инстинктами», дикie животные — нездорово аскетичны.

Таким образом, человек, следующий, как это принято называть, «зову плоти», вовсе не становится естественным; с точки зрения животного мира, он становится противоестественным. Он становится одержимым — алчностью, жадностью, тщеславием, самолюбием, сладострастием, сластолюбием — и свое порабощение этими страстями принимает за свою подвластность инстинкту. Но это обольщение. У человека *нет* инстинктов. Инстинкт (не путать с рефлексом) — это очень сложная программа поведения, благодаря которой пчелы строят ульи, а муравьи — муравейники, птицы знают дорогу в страну, в которой никогда не бывали, благодаря которой кошка точно знает время овуляции — то есть момент, в который она должна зачинать. И так далее. Инстинкт — это очень жесткая программа поведения, имеющая при этом в виду пользу не индивида, но рода². Пчела не может захотеть построить муравейник. Мы не можем нравственно осудить кошку за ее мартовские вопли. Человек не подвластен никакой программе поведения. Он свободен. И поэтому он ответствен. И поэтому он может из крайностей злодейства переходить к крайностям самоотвержения. И поэтому же он способен адаптироваться к изменяющейся среде *без процесса видообразования*. Не говоря уже о том, что с самого начала своей истории, насколько мы ее способны разглядеть, человек характеризуется не приспособлением к среде, но приспособлением среды к своим потребностям.

(Кстати, распространение — если правда есть распространение — «розового» и «голубого» в человечестве никак невозможно рассматривать в качестве процесса образования новых полов. Пол — половинка, половое размножение потому и половое, что в образовании каждого нового индивида участвуют два существа. А клонирование — это, простите, *почкование*, а вовсе не половое размножение. Средство размножения вовсе не для пар, а для *одинок*. И поэтому, конечно, никакой генофонд оно *обогатит* не способно. Разве что сохранить, дублируя генотип «почкующегося» организма. Но это действительно только замечание кстати. Останавливаться на промахах Столярова я не буду — вышло бы очень долго и неинтересно. Тема о человеке, им поднятая, гораздо увлекательнее и насущнее.)

Итак, в рамках животного, в рамках «биологического себя» человек никоим образом не удерживается. Он неизбежно больше. И в каком-то смысле у него нет этого «биологического себя» — ибо у него, как уже было сказано, нет программы жизнедеятельности, инстинктов, определяющих порядок и строй бытия всякого биологического существа среди нам известных. То есть в каком-то смысле он «пуст». Эту пустоту порой ощущает всякий. Она заполняется тем, что мы называем культурой в самом широком смысле. Культура для человека — заместитель инстинктов, программа поведения, но в отличие от инстинктов не бессознательная и принудительная, а осознаваемая и принимаемая. Но если культура секулярна, то ее неизбежно слишком мало, чтобы заполнить пустоту. Она не охватывает слишком многих уровней человеческого бытия. Пустота остается. И если в человека не вмещается Бог — в него вмещается бес. А иногда и — легион бесов. В случае бездумного существования

² Поэтому Артур Шопенгауэр («Мир как воля и представление», т. 2, гл. 44 «Метафизика половой любви») находил все же у человека единственный инстинкт — инстинкт *подбора полового партнера* (на всякий случай обращаю внимание, что это совсем не то, что так называемый «половой инстинкт»). Именно потому, что через наше влечение волит род, волит еще не родившееся поколение, наш выбор слишком часто бывает таким нелепым и так часто любовью, основывавшаяся, как старались себя убедить брачующиеся, на нравственной близости и духовном родстве, вскоре после своего осуществления оставляет навеки (во времена Шопенгауэра это еще было навеки) скованными общей цепью не просто чужих и различных, но глубоко антипатичных друг другу людей. В самом деле, действие этой силы в людях более всего напоминает инстинкт, но и ей человек вполне способен противостоять.

человека, наивно полагающего, что он «сам по себе», они — бесы (если кому-то не нравится «бесы», можно сказать — страсти, и это будет такой же правдой, а может, еще большей правдой — ибо принцип экономии везде соблюдается, и зачем вас еще пасти, если вы сами себя стреножили), — так вот, они просто перекрывают, забивают, засоряют каналы, позволявшие бы в ином случае человеку использовать наличный потенциал. И этот поврежденный человек принимается позитивистами, сознательными и бессознательными, за человеческую норму. Вычисляется его «интеллектуальный коэффициент». Ищутся пути его «дальнейшего развития».

(А кстати, этот интеллектуальный тест компьютеры потому успешно проходят, что он для компьютеров и создан. Этот тест вычленяет какую-то узкую полосу в «параметрах» человека, измеряет ее в отрыве от всего остального — и, полагая, пользующиеся им слишком часто попадают впросак. Ведь этот тест могли бы проходить на общих основаниях девочка, спасшая жизнь малышке, и молодая женщина, уничтожившая своих родителей и деда с бабушкой. И еще неизвестно, с каким результатом. А ведь совершенно очевидно, что они именно *интеллектуально* несопоставимы. Чтобы в боли, холоде и страхе — и при этом в ситуации полной неожиданности, ведь в аквапарке предполагался отдых и комфорт, — держать на руках человека, потому что «человека нельзя покинуть», нужно *знать* что-то такое, что совершенно недоступно другой юной леди, которую, между прочим, любящие родители развивали развивающими игрушками и заграничными поездками.)

Представьте себе толпу людей, слепых, глухих, увечных, бесноватых, и вдруг из этой толпы раздается вопрос: что делать? Единственный разумный здесь ответ: ищите исцеления; пока вы не исцелитесь, для вас нет дела; а пока вы выдаете себя за здоровых, для вас нет исцеления.

Владимир Соловьев, «Три речи в память Достоевского».

В общем, разговоры Андрея Столярова о дальнейшем развитии человека похожи на то, как если бы кто-нибудь, приняв слепоту за норму, провозгласил следующий этапом эволюции — нет, не появление органа зрения, а усовершенствование органов осязания³. А еще точнее — усовершенствование палки, которой слепой ощупывает дорогу и улучшение ее связи с рукой.

Но каков же человек неповрежденный? Когда мы были *мы*? В наших истинных «параметрах», в обладании нашими действительными способностями? И что такое — грехопадение? И — почему мы занялись усовершенствованием палки?

Святые (как и Писание) свидетельствуют о том, что человек был сотворен вовсе не таким, каким мы его знаем. (О том же, на самом деле, свидетельствует и потенциал, используемый на ничтожные проценты. Нами унаследовано нечто, с чем мы не знаем, как обходиться. Но чрезвычайно нелогично было бы полагать, что тем, что мы унаследовали, никто никогда не пользовался.) Итак, человек был иным. Он обладал совершенным знанием тварного мира — ибо он нарекал имена вещам и всем живым существам (Быт. 2: 19 — 20). Поскольку мир творился Словом, это значит, что он, взглядевшись в существо предстоящего, должен был окликнуть его тем именно именем, каким предстоящий был вызван к бытию, то есть, в терминах нашей современной науки, мы могли бы сказать: он прочитывал информационный код всякой твари. Предназначенный быть хозяином и работником сада Эдемского, Адам был господином всех стихий творения. Преподобный Серафим Саровский говорил: «Адам был сотворен до того не подлежащим действию ни одной из сотворенных Богом стихий, что ни вода его не топила, ни огонь не жег, ни земля не

³ И кстати, тестирование проводил бы именно на осязание. Все хоть сколько-нибудь зрячие имели бы самые плохие результаты.

могла пожрать в пропастях своих, ни воздух не мог повредить ему каким бы то ни было своим действием. Все покорено было ему...»⁴ Тем более не могло повредить ему никакое живое существо. То есть он обладал абсолютным знанием и абсолютным могуществом, что и неудивительно — он был создан по образу и подобию Божию. И он видел Бога лицом к лицу, как Он есть...

И наконец, он обладал свободой.

Свобода — единственное, что делает человека человеком, — образ и подобие Божие в нем; утраченное ныне подобие — и потому так сильна тоска по свободе и жажда ее; неуничтожимый образ — и потому в самом глухом и безнадежном рабстве (кто бы ни поработил человека: другой человек, его собственные похоти и страсти, внешние обстоятельства, беды и болезни или, напротив, роскошь и комфорт, затягивающие как в трясину, опутывающие по рукам и ногам страхом утраты или тоской и скукой), — так вот, в самом безнадежном рабстве человек ощущает вопреки всякой очевидности, что он свободен и что, если только он решится осуществить свою свободу, — никто и ничто не сможет этому помешать.

Итак, Адам обладал свободой — в том числе и свободой отречься от Бога, уйти, отвернуться от Его любви. Именно ею и соблазнил его змей: сами будете как боги, знающие добро и зло... Если вам покажется, что поведение Адама нелепо и неестественно, оглянитесь вокруг: эта история повторяется в человечестве с упорством, заслуживающим лучшего применения. Люди постоянно говорят как Отцу Небесному, так и отцу земному: знаешь, (Ты) ты, конечно, хороший, но мне бы лучше заполучить мою часть наследства и зажечь самому по себе... Из самого богатого дома, из самой любящей семьи наших детей слишком часто (здесь и редко было бы — слишком часто...) удается сманить в подвалы и подворотни. И знающие все, что стоит знать, они иногда влекутся к тому, чего узнавать не стоит: как гаснет свет, как растлевается плоть, как истощается жизнь, как надвигается смерть... Это не то знание, которое можно обрести в присутствии Бога, который весь — свет и жизнь. Но это то знание, которое пришлось обрести Богу, чтобы дойти до покинувшего его человека. Расплата за нашу любовь к подвалам — вопль смертного ужаса и безмерного одиночества на Кресте.

Но это — потом, а тогда — тогда Адам и Ева захотели быть одни. Как сотряслась земля и все, что на ней, когда Адам откусил запретный плод, какой ужас овладел всей тварью, думаю, мы даже представить себе не в состоянии. Потому что щедрый и заботливый Отец отправил с человеком в подвал все мироздание — это была его часть наследства. «Проклята земля за тебя» (Быт. 3: 17). Для одинокого Адама мироздание должно было быть преобразовано в такое, которое способно существовать автономно. Тернии и волчцы, жесткие, механистические «законы природы» возникают для создания этой автономной среды, годной отвернувшемуся от Бога человеку.

Теперь вопрос. Где поставить ангела с огненным мечом, если «Царствие Божие внутри вас есть»? То есть «ангел» должен был перегородить человеку путь к его же способностям. Сделать человека недоступным для себя самого. Причем исключительно по желанию самого человека (хотя, может быть, он слишком поздно понял, чего на самом деле пожелал) — то есть для обеспечения его автономности. Ибо эти способности все так или иначе были *способностями связи*. Связи с Богом, связи с другим человеком, связи со всем в творении. Именно эти способности связи и обеспечивали человеку знание и могущество.

На каналы связи были наложены печати. И люди немедленно начали учиться эти печати снимать. Этому учили древние мистерии, тем же занимались все, прибегавшие к магии. Тут было много путей (и соответственно было составлено немало карт — учений и культов), но, наверное, их все можно поделить на два типа: это раскрытие печати и ее взлом. Раскрытие всегда связано с жестким самоограничением. Взлом — наоборот, с экспансией эго на

⁴ Цит. по кн.: Серафим (Роуз), иеромонах. Православный взгляд на эволюцию. М., 1997, стр. 83.

окружающий мир, которой при этом пользуются силы, посторонние человеку. Раскрывший печать владеет (в той или иной степени) своими способностями и открывшимися средствами связи. Взломщик оказывается в положении человека в доме со снятой дверью. Он ни в какой момент не застрахован от вторжений силы, которой управлять не может, хотя иногда не сразу это понимает.

Таким образом, овладение своими способностями, доступ к своему наследству человек мог получить, только соблюдая все то, что мы называем «нравственными правилами», и в большинстве случаев совершенно не можем объяснить, почему их надо соблюдать. Но даже когда Христом были сняты все печати и открыты все каналы, вступление в полноту наследства осталось возможным лишь через святость, к каковой и были призваны все христиане. По этому пути пошли многие. Но совершенно очевидно, что это узкий путь. У тех, кто предпочитал «сласти творить», было две возможности вступить во владение иными путями. Первый — древний путь магии, путь взлома. Вторым — путь цивилизации, путь протезирования. Если вы не хотите, чтобы ваша способность видеть на расстоянии и знать о происшествиях в соседнем городе зависела от того, предадитесь вы чревоугодию или нет, вы можете или вступить в контакт с неподвластными вам силами посредством жертвы (это фундаментальный способ «привлечения к работе» духов стихий, известный всем культурам и основанный на законе сохранения энергии и вещества: чтобы где-то прибыло, надо, чтобы где-то убыло, — то есть на законе *автономного* мира, мира, удалившегося и замкнувшегося от своего Создателя), или изобрести телевизор. И в том, и в другом случае человек оказывается не владельцем, но пользователем, в первом случае зависящим от духов стихий, во втором — от коллектива, производящего и осуществляющего функционирование технического средства, замещающего ту или иную естественную человеческую способность. Что мы не способны изобрести никакого технического средства, если не имеем соответствующей способности, — вполне очевидно: в противном случае мы просто не смогли бы им пользоваться. Протез может быть на месте слабого (например, очки) или отсутствующего члена, но никак не на том месте, где никакого члена вообще не было⁵.

Между путем магии и путем цивилизации и выбирала Европа XVI — XVII веков.

Теперь, кажется, уже всем понятно (хотя относятся к этому все по-разному), что возрождалось в эпоху Возрождения. Возрождалось прежде всего представление о мироздании как об *автономной* системе, где человек — хозяин и работник, которому все подвластно. Христианство извлекло человека из сетей духов стихий и падших духов, вновь увенчало отнятой у него короной венца творения⁶, и он вновь решил, что в качестве такового он вполне обойдется без

⁵ В начале XX века немецким ученым Э. Каппом в книге «Философия техники» было предложено понятие органопроекции. Это понятие разбирает о. Павел Флоренский в работе «У водоразделов мысли». Идея органопроекции состоит в том, что технические орудия создаются человеком «по образу и подобию» естественных органов, продолжая человеческое тело туда, куда достигнуть ему мешает «ограниченность нашей власти над самими собою» (Флоренский П. А. Органопроекция. — В кн.: «Русский космизм. Антология философской мысли». М., 1993, стр. 150). Об идеях «усовершенствования человеческой природы» в 20-х годах XX века в России см.: Гачева А. Религиозно-философская ветвь русского космизма (1920 — 1930-е гг.). — В кн.: Гачева Анастасия, Казнина Ольга, Семенова Светлана. Философский контекст русской литературы 1920 — 1930-х годов. М., 2003.

⁶ В некоторых религиях, то есть — в контакте с некоторыми духами стихий, с венцом увенчанного творение поступали изощренно издевательски. Так, в шумеро-вавилонском эпосе причиной сотворения человека был бунт богов Игигов против непосильной работы, возложенной на них Анунаками («Сказание об Атрахасисе»). Бессмертные боги устали от бесконечной работы, и решено было сотворить смертных людей, которые, устав, умирали бы и потому выполняли бы работы богов безропотно. В другом сказании описывается процесс творения: мудрый Энки вместе с Нинмах (великой богиней-праматерью) лепят человека из глины подземной бездны, но, прежде чем приступить к работе, устраивают пир, на котором напиваются, и человек выходит из их рук ущербным и беспомощным созданием (первое существо не умеет держать голову и не имеет признаков пола, второе — неродящая женщина и т. д.). Миф так и не рассказывает, как боги вышли из положения, но, судя по всему, они

Творца. Земля опять стала круглой, замкнутой (как это и было во многих языческих системах), перестала быть включенной в иерархию уровней мироздания. В живопись вновь пришла перспектива — изображение мира и вещей с точки зрения человека, их наблюдающего, а не самих по себе, как они есть. Изображение мира с запланированным искажением, вызванным сворачиванием мира на себя. И, конечно же, во множестве начали возрождаться магические практики. В начале XVII века те, кто их развивал, объявили в знаменитых и непонятных розенкрейцерских манифестах о своем намерении сообщить о достигнутом всем и каждому и не беречь и не хранить отныне тайного знания «наподобие некоего драгоценного убора до назначенного срока»⁷. По-видимому, лишь чрезмерным напряжением сил Католической Церкви европейский мир был повернут от розенкрейцерского Просвещения к Просвещению рационалистическому. Это очень сложная и для меня во многом темная история, хотя она постепенно вырисовывается из работ западных историков, особенно Фрэнсис Йейтс, наконец-то у нас переведенной; но то, что рационализм восторжествовал именно усилиями Церкви, — для меня очевидно. Очевидно и то, что выбирать пришлось из двух зол: рационализм — как это быстро выяснилось, а умным людям, видимо, было ясно с самого начала — развивался, формируя секулярное сознание и секулярную культуру.

Церковь предпочла рационализм с порождаемой им машинной цивилизацией, с культурой протезирования, в которой глухнут естественные человеческие способности (так же как неудержимо слабеет глаз, на который надели очки и которому не надо больше напрягаться), в которой человек запирается в узкой области очевидно-наличного — по вполне понятной причине. Как уже было сказано, здесь человек оказывался в зависимости от человеческого коллектива и хотя бы бездушно и механически, но неумолимо осуществлялась человеческая солидарность всех, связанных обеспечением функционирования общих систем человечества. Человечество не забывало о своем — хотя бы внешнем, навязанном — единстве. Правда, человек забывал о своей душе. Но на другом пути он душу терял. Он, искупленный дорогой ценой — и потому опять имеющий что заложить, — в поисках могущества без условий (без того самоограничения, способность к которому только и доказывает наши права на наследство) взламывал печати при помощи магических практик на таких условиях, которые обращали каждого во врага каждого и в соратника падших духов, делали человека предателем человечества. Человек недоступен демону без своего согласия на его вторжение, но *при помощи человека* демон может настичь любого⁸.

Может возникнуть вопрос, почему самоограничению⁹ придается такое значение; вопрос, закономерный внутри культуры, настроенной как раз на захват. Самоограничение, в отличие от экспансии «я», доказывает наши права на наследство, поскольку соответствует замыслу о человеке как о хозяине и работнике, хранителе и питателе мироздания; замыслу о человеке как о связующем звене между творением и Творцом. Человек призван, получая от Творца, *отдавать* творению. Но когда человеческим решением творение становится автономно, руки человека, чашей поднятые к Небесам для принятия благодати и передачи ее, опускаются вниз, охватывая землю как то, что теперь становится

загнали несовершенства человека внутрь, и он стал глиняным подобием богов с ушербным нутром. А посмертие здесь существовало одно — медленный процесс доумирания мертвых в царстве Эрешкигаль, вших прах из-под ног и пивших воду из луж до тех пор, пока сами они не становились прахом — пищей для следующих умерших.

⁷ «Confessio Fraternitatis, или Исповедание достохвального Братства всечтимого Розового Креста, составленное для уведомления всех ученых мужей Европы». — В кн.: Йейтс Фрэнсис. Розенкрейцерское Просвещение. М., 1999, стр. 434.

⁸ Я уже касалась этой темы со ссылкой на «Молот ведьм». См.: «Книжная полка Татьяны Касаткиной» — «Новый мир», 2004, № 2, стр. 187 — 188.

⁹ Хотя, впрочем, о том, что *любые человеческие способности* зависят от самоограничения, знает любой циркач, любой спортсмен; да и любой водитель, на вечеринке пьющий сок и воду не только потому, что его может остановить милиция.

источником питания. Человек автономный пожирает то, что должен был кормить. Берет у того, чему должен был давать¹⁰. Соответственно самоограничение становится первым шагом на пути возвращения к своей истинной природе. Человек с восстановленными связями с мирозданием при обрыве главной связи — с Творцом — становится не кормильцем, а пауком мироздания, заплетающим его в свои сети и тянущим из него соки. И это тоже опасность, которой угрожал магизм, развивающийся внутри христианской культуры. Рационализм повел себя, в сущности, аналогично, но он был (и, наверно, сейчас остается) значительно маломощнее.

Своим выбором Католическая Церковь спасла европейское человечество от распада на враждующие атомы, каждый из которых стремится к захвату мироздания. Она, во всяком случае на какое-то время, исключила возможность внешней автономности отдельного человека. Но тем острее он с течением времени начинал ощущать свою внутреннюю автономность — при внешней жесткой вплетенности в сеть «общественных отношений», свою ненужность и заброшенность в человечестве — при хищном желании использовать его как рабочий элемент в общественной схеме. Он был заперт рационализмом в узкой сфере наличной реальности, и тем самым его охраняли от вторжения демонов — но и от возможности всяких других связей. Уже давно он стал задыхаться и биться в стены своей незримой тюрьмы. Я не говорю здесь о тех, кто возвращался на узкий путь. Их много, но узкий путь — всегда узкий. Я говорю о тех, кто не знал, что есть куда возвращаться и что этот возврат возможен в любое мгновение. Многие из них стали *играть* в возвращение.

В сущности, эти игры сродни самой техногенной цивилизации. Мы мечтаем летать, но, поскольку путь к обретению этой способности, по нашей несклонности к самоограничению, закрыт или чрезвычайно затруднен, мы начинаем строить летательные приспособления. История авиации началась с «игрушечных» крыльев. Но эти игры давно превратились в настолько «общее» дело, что человек отдельный практически не способен ни построить самолет с начала до конца, ни летать на нем вполне самостоятельно — как минимум ему придется покупать горючее. А человек мечтает о *полноте* обладания своими способностями.

Тоска по своей истинной сущности и привела некоторых наших современников к бегству в игру — от серого, ущемленного, обрезанного человека, каким его представил позитивизм. Человеку тоскливо без крыльев. Ушедшие в игру решили, что проще представить, что у них есть крылья, чем их обрести. Человек стремится к полному контролю над своим миром. Проще создать этот мир в компьютере. Но на самом деле разгадка даже не в том, что это проще. Уходящие в Игру, как это видно из статьи Армена Асрияна, способны преодолевать серьезные трудности, способны к нешуточному напряжению и, кстати, склонны к перенесению Игры в реальное пространство. Перед нами люди (во всяком случае — иногда), всерьез ищущие обретения истинных себя в *пределах*

¹⁰ Суть этого извращения человеческой природы так описывает Владимир Лосский: «Оторвавшись от Бога, его природа становится неестественной, противоестественной. Внезапно опрокинутый ум человека вместо того, чтобы отражать вечность, отображает в себе бесформенную материю: первозданная иерархия в человеке, ранее открытым для благодати и изливавшим ее в мир, — перевернута. Дух должен был жить Богом, душа — духом, тело — душой. Но дух начинает паразитировать на душе, питаясь ценностями не Божественными, подобными той автономной доброте и красоте, которые змий открыл женщине, когда привлек ее внимание к древу. Душа, в свою очередь, становится паразитом тела — поднимаются страсти. И, наконец, тело становится паразитом земной вселенной, убивает, чтобы питаться, и так обретает смерть. Но Бог — и в этом вся тайна „кожаных риз“ — вносит, во избежание полного распада под действием зла, некий порядок в самую гущу беспорядка. Его благая воля устроит и охранит вселенную. Его наказание воспитывает: для человека лучше смерть, то есть отлучение от древа жизни, чем закрепление в вечности его чудовищного положения. Сама его смертность пробудит в нем раскаяние, то есть возможность новой любви. Но сохраняемая таким образом вселенная все же не является истинным миром: порядок, в котором есть место для смерти, остается порядком катастрофическим; „земля проклята за человека“, и сама красота космоса становится двусмысленной». (См.: Лосский и В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. М., 1991, стр. 253.)

запертого рационализмом мира. Именно поэтому они пытаются уйти в иное время — в то время, где люди пользовались несравненно большим количеством своих способностей, чем в пределах, допускаемых рационализмом: скакали на конях, сражались на мечах; во время, где их могущество зависело от силы, ума и выучки, а не от качества пистолета, пулемета, огнемета; во время, где врагу смотрели в лицо, за друга отдавали жизнь, где честное слово стоило всех писаных договоров, — то есть во время, где человек жил в своем, человеческом, формате, не отделенный от других людей и от мира горами технических приспособлений, не погребенный под созданными для него протезами. Эти люди определенно чувствуют, находясь в нашем культурном пространстве, что *не туда попали*, и это-то их ощущение, уж во всяком случае, истинное и здоровое.

В других случаях, стремясь к необрезанному и непокалеченному бытию, к союзу с миром, опеке над мирозданием, люди уходят в «фэнтези». Толкиен действительно создал мир, из которого не хочется возвращаться. И опять-таки — по той же самой простой причине: этот «фантастический» мир гораздо больше соответствует человеческому формату¹¹, чем мир, созданный нашей *культурой цивилизации*. Играющие пытаются выбраться из нашего мира боковыми, скорее всего — тупиковыми, ходами, хотя, полагаю, никогда нельзя предвидеть, что произойдет в процессе игры. Как бы тщательно она ни была спроектирована, как бы ни были расписаны все роли, всегда остается возможность, что кто-то *угадает* или случайно повернет незапланированно — и окажется перед самой настоящей реальностью. Нечто подобное (хотя там это было вполне по плану) происходило ведь во всех мистериях. Там то, что представляется нам театральным действием, масштабной игрой, приводило к истинной встрече. Так что в том случае, если для кого-то игра — это попытка осуществления полноты своей человечности в *безопасном и контролируемом* пространстве (вроде пейнтбола как «войны для богатых»), думаю, он не может быть полностью благонадежен.

А тому, кто действительно хочет быть человеком, светлым и могущественным (гораздо могущественнее эльфов), нянчащим мироздание, а не жрущим его, понимающим зверей и птиц, видящим на расстоянии, проходящим бездны морские и пропасти земные, больных исцеляющим, мертвых воскрешающим, силой своей молитвы охраняющим города, — так к такому себе есть истинные, проверенные пути (хотя и нельзя сказать, чтобы освоенные, ибо здесь каждый — первопроходец). Нужно только помнить, что истинное могущество смиренно, не гордится, не превозносится, скрывается от глаз человеческих, потому что истинно могуч и велик человек, когда дает действовать в себе Богу, а где же вместится Бог, если мы сами себя не потесним. Христианские¹² смирение, терпение, пост, покаяние — это не образ жизни, не круговорот бытия, не место, в котором человек хочет пребывать (так считать в той же степени нелепо, как думать, что человек, втиснувшийся на третью полку переполненного поезда, хочет побыть в этом поезде), — словом, Христианство — это не быт. Это путь, который ведет нас к себе самим, потому что Бог — это единственное «место», в котором человек равен себе.

¹¹ Почему мы так любим смотреть фильмы о магах и волшебниках? Да потому же, почему любим цирк, большой спорт или вокал. Мы видим осуществленное развитие во всех нас заложенных способностей. Наши угнетенные способности резонируют с увиденным, это, может быть, единственная оставшаяся возможность их проявления в нас — поэтому подобные зрелища столь захватывающи.

¹² Можно сказать: а почему, собственно, христианские — вот другие религии тоже пользуются похожими средствами, и исповедующие их достигают впечатляющих результатов. Здесь начинается совсем другой, долгий, разговор — о сходстве и различиях разных религий. Поэтому скажу только, что развитые способности — это еще не результат, не цель. А в религии важна именно цель, с которой все делается. Вас могут тренировать пожарники, спасатели или воры-домушники. Цели у них будут разные, но в форточку вы научитесь залезать во всех случаях. Однако если вы поинтересуетесь этими целями, только уже залезши в форточку, возможно, будет поздно заявлять, что вы лично с ними не согласны.

ИЗ НАСЛЕДИЯ

ИВАН ШМЕЛЕВ

*

«Я ВСЕГДА ЖИЛ СЕРДЦЕМ...»

Письма Раисе и Людмиле Земмеринг

В мае 2000 года архив Ивана Сергеевича Шмелева вернулся из Франции в Россию. Это произошло по воле наследника писателя Ивистиона Андреевича Жантийома. Он передал уникальное собрание рукописей и фотографий Российскому Фонду культуры, который и сегодня продолжает поиски материалов, связанных с жизнью и творчеством И. С. Шмелева.

Недавно благодаря содействию митрополита Лавра, главы Русской Православной Церкви за рубежом, из Бахметьевского архива Колумбийского университета (США) в Россию переданы ксерокопии писем И. С. Шмелева Раисе Гавриловне Земмеринг и ее дочери, Людмиле Гербертовне Келер.

Начало переписки восходит к 1933 году, когда Шмелев получил письмо от читательницы из Риги. Писем Ивану Сергеевичу приходило в те годы много, но это показалось ему особенным. Своим впечатлением он поделился с Ксенией Васильевной Деникиной: «...Сейчас подали письмо из Риги... — удивительное письмо! Есть читатели, которые молятся за меня... плачут... Это предел награды писателю... Нет, я богат, не могу гневить Господа: много, много получил я признаний в любви» (3 октября 1933 года).

О своей рижской читательнице Шмелев рассказывает и другим близким друзьям. 2 ноября 1935 года он пишет Ивану Александровичу Ильину: «Порядовала меня милая Раиса З_{еммеринг}».

Но отчего-то Шмелев не вполне уверен в своей радости, и в этом же письме он спрашивает о Земмеринг у друга-философа и его жены Наталии Николаевны: «Она — милая? ведь — да?! да???! Я чувю, что — да. Скажите, милые, вы оба — чуткие. Какие она трогательные письма пишет. Кто она?»

И. А. Ильин, неоднократно приезжавший в Ригу с лекциями и знакомый с Р. Г. Земмеринг, не сказал Шмелеву «да». Его ответ неутешителен. 8 декабря 1935 года он пишет другу: «Раисой Земмеринг не очень увлекайтесь издали... Очень тщеславна, „почвенна“ больше на словах, неумна, истерична...»

И все-таки благодаря именно Ивану Александровичу писатель и его читательница вскоре встретились. Это произошло в 1936 году, когда Ильин предложил Шмелеву выступить на Дне русской культуры в Риге. 8 февраля 1936 года он пишет Шмелеву: «Вас там любят, ценят, гордятся Вами. Я им пишу, чтобы устроили Вам ряд открытых и закрытых выступлений. С визами и разрешениями все пройдет гладко. Не беспокойтесь». Поездка в Латвию намечалась на конец августа.

В июне 1936 года скорострительно умерла жена Шмелева Ольга Александровна. После сорокового дня Иван Сергеевич находит в себе силы собраться в дорогу. Он знает, что в Латвии его ждут читатели. А это для него святое.

Публикация Дирекции президентских программ Российского Фонда культуры. Подготовка текста Н. В. ПЕТРАШОВОЙ, Д. Г. ШЕВАРОВА, О. Н. ШОХИНОЙ. Вступительная статья Д. Г. Шеварова.

* Здесь и далее переписка И. С. Шмелева и И. А. Ильина цитируется по изданию: Ильин И. А. Собрание сочинений. Переписка двух Иванов (1935 — 1950). М., «Русская книга», 2000.

Поездка оказалась удачной. Шмелев любил и умел выступать перед отзывчивой русской аудиторией. Его прекрасно встречали. 27 августа 1936 года Шмелев сообщает Ильину о первых впечатлениях: «Здесь все трогательно, природа, люди <...> Я радуюсь здешнему порядку, труду, культурности». Ему кажется, что в Латвии его принимают даже лучше, чем в горячо любимой им Югославии.

«Здесь, в Риге», — поразительная молодежь, девушки — чудо! <...> Я — жив, взвинчен. Еще 3 выступления, а сколько было. Старообрядцы удивительны. Много новых друзей. Бездна читателей», — пишет Иван Сергеевич И. А. Ильину 25 сентября 1936 года.

А через несколько дней, 3 октября, журналисты и читатели, новые и старые знакомые провожали И. С. Шмелева на рижском вокзале. Среди провожающих была и Раиса Гавриловна Земмеринг с дочкой Милой. Иван Сергеевич уезжал в Берлин, где его ждали Ильины. Второе из публикуемых ниже писем Шмелева написано вскоре после того, как поезд отошел от платформы.

Вернувшись домой, в Париж, Шмелев часто вспоминает поездку в Ригу. 15 октября 1936 года он пишет Ильину: «...Нет сил все высказать, послать привет рижанам. Сколько там любили меня! Как внимали, как нежно брали <...> Нет, хочу умереть хотя бы под отсветом Родины. И меня тянет на окраину...»

Вскоре и Ильин в очередной раз побывал в Риге. Его мнение о Р. Г. Земмеринг не только не изменилось, но стало еще категоричнее. «Раиса Земмеринг носила мне просфорки и злые клеветы. Надо с ней как можно осторожнее, может быть, она душевно невменяема». «Эта женщина, по-моему, галлюцинантка... Она буквально разжигает подозрительностью».

Нам трудно сейчас судить о том, насколько объективен был Ильин в своей неприязни. Вполне возможно, что мудрый и проницательный Иван Александрович во многом был прав. Но доводы логические, здравые не были решающими для Шмелева.

При огромной привязанности и верной дружбе Ильин и Шмелев совершенно по-разному воспринимали жизнь. Ильин, правовед и государственный деятель, человек очень волевой и четко, системно мыслящий, видел в страстной горячности и упоенной созерцательности большую опасность для Шмелева как художника.

Ильин настойчиво советовал другу-писателю не отдавать себя в творчестве на волю чувственной стихии, ждал от него «ясности духовного видения», трезвости; просил его в переписке быть строже и отчетливее хотя бы тогда, «когда речь идет о деловом». Письма Ильина наполнены призывами к «Вулкану Сергеевичу» умерить пыл и уравновесить эмоции «земным умом», но, кажется, эти призывы не имели успеха.

Шмелев оправдывался (в письме от 14 марта 1937 года): «Я неуч, я непоследователен <...> я лишь — вспыхивающий фонарик, может быть, от дальних блесков, от вне меня <...> Все мои книги явились вне обдумывания... Часто я за минуту не знаю, что напишу, как и почему напишу так, как потом явится. Так вышло с главными моими — из туманной дымки, из ощущения, из дрожи, из вспышки где-то между сердцем и... душой...»

Ильин же считал все эти «дымки» и «вспышки» самой уязвимой стороной творчества Шмелева. 21 марта 1937 года он отвечал Шмелеву: «„Пути Небесные“ я выпил со всем вниманием и восприятием <...> В нем все Шмелевское мастерство слова и внешне-чувственного изображения. Но души главных героев — неясны, недоскульптурны, недооформлены <...> Необходима величайшая осторожность в подходе к своему собственному творческому акту...»

Публикуемые ниже письма к Раисе и Людмиле Земмеринг — это, конечно, полное торжество чувства. Письма с туманного берега к дальним отблескам. Тут почти нет «вкусных» подробностей быта, столь характерных для прозы Шмелева. Только отраженные на бумаге душевные движения, поступки сердца. Здесь не найти и дежурной учтивости, вообще ничего «теплохладного». Шмелев исповедален и беззащитно распахнут. (Иногда душевная распахнутость кажется чрезмерной, взвинченной, как говорил сам Иван Сергеевич. Что ж, он хорошо знал о своих слабостях...)

Как и в вопросах творчества, так и в том, что касается оценок общих знакомых, Иван Сергеевич дипломатично уступал напору Ильина. В случае с

Р. Г. Земмеринг он готов порой согласиться с аргументами Ильина: «Я знаю недостатки Земмеринга, и ее истерическое благочестие, и тысячу недостатков. И все учитываю, вношу поправки...» (4 февраля 1938 года).

Шмелев выслушивает друга, терпит его внушения, благодарит за советы, но внутренне остается при своем. Переписка с Раисой Земмеринг продолжается. И как художник, и как человек, оставшийся после смерти жены глубоко одиноким, Иван Сергеевич не мог жить без «ласки писем».

Шмелеву немного было дела до того, какой Раиса Земмеринг была в жизни, в быту, в общении с другими людьми. Ему важно было лишь то, какой она была в письмах. А этот «письменный человек» был чуток, предупредителен, деликатен, заботлив. (Кстати, когда во время войны Шмелев бедствовал и порой голодал, его спасали посылки с продуктами, которые Раиса и Людмила Земмеринг посылали из США, куда они переехали в конце 30-х годов.)

Письма для Шмелева были продолжением творчества. Шмелевская проза и шмелевские письма — одна художественная ткань. Поэтому и образ далекого адресата творился по тем же художественным законам, и лишь слабая привязка к местности — адрес и фамилия — совмещала этот образ с реальным земным человеком. Вот почему вопреки разочарованиям, обидам и охлаждениям Шмелев продолжал свои эпистолярные романы, мало сообразуясь со здравым смыслом.

*Вершиной среди этих романов стала переписка Ивана Сергеевича с Ольгой Александровной Бредиус-Субботиной — дочерью уличского священника, художницей, оказавшейся после эмиграции в Голландии. Уже через несколько лет после начала переписки Иван Сергеевич и Ольга Александровна вместе решают, что их переписку необходимо сохранить для последующей публикации. Шмелев возвращает Ольге Александровне ее письма и завещает ей сохранить их переписку для будущих поколений русских людей. Благодаря протоиерею Григорию Красноцветову, бывшему в начале 90-х годов настоятелем православной церкви в Роттердаме, удалось спасти архив О. А. Бредиус-Субботиной. Ее огромная переписка с И. А. Шмелевым была передана в РГАЛИ, а в прошлом году «Роман в письмах» вышел в свет**.*

И тут стоит вспомнить, отчего Шмелева связывали с читателем-современником столь доверительные отношения. В 20 — 30-е годы Шмелев своими книгами вернул чувство родины, дома многим тысячам русских людей, оказавшихся в эмиграции. Он вернул им родину зримо и близко — с запахами, голосами и оттенками, — и это было похоже на чудо. А для самого Шмелева читатели были прежде всего братьями и сестрами во Христе.

*И еще — о письмах. По ним видно, как Шмелеву — несравненному знатоку русского языка — и в бескрайних пределах родной словесности будто бы тесно. Он все время пытается довести слово письменное до интонационной полноты устной речи — отсюда в письмах Ивана Сергеевича столь частое выделение слов подчеркиванием или разбивкой на слоги. Бесчисленные многоточия выдают волнение или минутное раздумье***.*

Переписка с Раисой Гавриловной Земмеринг и ее дочерью Людмилой длилась почти двадцать лет, до последних дней жизни писателя. После войны Людмила Земмеринг вышла замуж, стала профессором-славистом; после смерти близких

** Шмелев И. С. и Бредиус-Субботина О. А. Роман в письмах. Т. 1. 1939 — 1942. Предисловие, подготовка текста и комментарий О. В. Лексиной, С. А. Мартыновой, Л. В. Хачатурян. М., «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2003.

*** Из письма И. С. Шмелева О. А. Бредиус-Субботиной (27 февраля 1942 года): «Я, например, для оттенения люблю писать иные слова „разрядкой“, т. е. вынимаю между буквами так называемые „шпоны“, связи букв. Это я принял сравнительно недавно, м. б., злоупотребляю... иногда, но почитаю важным, когда надо или взять внимание читателя, или показать, что это слово имеет особый смысл... У нас слабо еще развита пунктуация, мало знаков для пауз, например, для передыхания — при чтении вслух, — ведь речь-то наша часто обрывается, не кончается... приходится самому создавать „дыхание живых слов“. У меня слабость... — вот ругались типографшики! — к многоточиям. Не понимали, что в речи нашей всегда „обрывчики“: у них не хватало точек-значков! Идиоты говорили: „Это он строчки гонит себе“. Истинно, эти идиоты не знали, как я выкидывал целыми столбцами уже написанное...»

ушла в русский православный монастырь в Джорданвилле (США), где и проживает в настоящее время.

Мы благодарны Российскому Фонду культуры за возможность впервые опубликовать несколько писем из архива Ивана Сергеевича Шмелева. Надеемся, что эта публикация станет событием для тех наших читателей, кто в недавние годы открыл для себя «Лето Господне» и «Богомолье», «Няню из Москвы» и «Пути небесные».

Дмитрий Шеваров.

I

19/ХІІ/33
Севр.

Многоуважаемая Раиса Гавриловна, меня глубоко тронул дар Ваш — листочек со Пс. 90 из заветной для Вас книги, из Св. Библии. Горячее Вам спасибо за Ваше благословение. Всегда добрые чувства и пожелания читателей — радость для меня, а так высказанные, так духовно-ласково трогающие сердце — чудесно-радостны.

«Неупиваемая»¹... Да, кажется, ее любят. Каждый, конечно, берет из нее — сколько может. Я не судья своей работе и не могу ее истолковывать. Произведение искусства должно само говорить, и говорит оно по-разному: как — кому. Вы душой, сердцем берете... — прекрасно. Искусство только этим и берется, ибо его высокое назначение (да, назначе^ни е!) — поднимать человека. Сия благодать — от Света Светов. Нам, бранным, изредка только выпадает счастье принимать эту благодать: писателям — вдохновение в творчестве; читателям радость и тоже «вдохновение» — воспринимать, соучаствовать в творчестве. Думаю, что Вам выпала эта радость, говорю без всякой гордыни. Не стали бы Вы читать-перечитывать книгу, как вот выходит с «Неупиваемой Чашей», если бы не тронуло Вас (как-то) вдохновением. И о себе сказал бы — что-то и со мной было, когда рождалась «Неупиваемая». Я рад, что она отвечает религиозным отзвукам на религиозный зов, как струна отзывается соответственно другой (в том же тоне). Я не думал о религиозном — тогда. Только вдолге после чувствовать стал, что на разные зовы отзывается — звучит «Неупиваемая», сколько у кого силы и желания... и вкуса (т. е. — кому что желательно, желанно). Один, может быть, даже только плотское воспримет, хоть Илья² и сжигает это в себе, претворяя мукой, искусом, искусством это тленное — в вечное, до Святости поднимая земное. Вот оно — назначение искусства, подвига искусства. И вот из земной любви рождается «Неупиваемая», икона, то, к чему, не понимая, тянутся взгляды многих-многих...

Как будто в «Неупиваемой» неволью оказывается Образ Творчества. Илья — так (инстинктивно) принял-создал. Архиерей — так, барин — по-своему, большой — так, монахини — так, народ — так, а я — скажу — как кому можно, по воле и силе. Вы вот — глубоко взяли. Утешает? Я счастлив. Когда-то 13 лет назад³, в боли несказанной, в глухой стороне, я попросил жену прочитать мне «Чашу»... Я почти никогда не перечитываю своего как читатель. Это было исключение. И я слушал, как посторонний. И — легче стало. Почувствовалось: вечное есть, нетленное. Жертвы — нужны, нужны — страдания, и есть — недостижимое. Есть — правда, непостижимая нам. Да это нельзя сказать.

Писалась «Чаша» — написалась — случайно. Без огня — фитили из тряпок в постном масле, — в комнате было холодно — 6 градусов. Руки немели. Ни единой книги под рукой, только Евангелие. Как-то неожиданно написалось. Тяжелое было время. Должно быть, надо было как-то покрыть эту тяжесть. Бог помог. После сего я 4 года почти прожил в России, в Крыму.

Писалось о «Чаше» много, но я не собирал. Она вышла без меня в Европе⁴ в 1920 — 21 гг. (первое издание), тогда и писали. Потом много писали об

издании на иностранных языках (она переведена на 10 языков, а может, и больше). Конечно, европейцы все го не могут понять. Для сего надо быть не только с Богом в сердце, но и (если Бога нет в душе) большим художником-критиком. Ведь европейцы — в большинстве очень мелки, маленькие они (хотя бы и были художниками). Подлинный писатель поймет, ибо подлинный-то — всегда религиозен (пусть не церковно). Вот писала мне Сельма Лагерлёф⁵: «наш читатель не сможет объяснить этой рабской покорности Ильи Вашего». Я думаю, что Сельма Лагерлёф не всё постигла. А мне бы так хотелось дать книжечку эту шведскому читателю: проверить. Да вот, хотя и переведена «Чаша», но шведские издатели не ожидают барышей и воздерживаются издавать, хотя «Человек из ресторана» давно переведен, и с успехом, и оценен Кнудом Гамсуном⁶. Вот Гамсун, может быть, понял бы...

Вот Вам словечко мое о «Чаше» и об искусстве вообще. Еще раз благодарю душевно за дар и искренность Вашу.

Но почему Вы — меня это удивило: пишете по новой орфографии. Я не старOVER, но тут... в новой орфографии я не нахожу удовлетворения всем звукам и оттенкам родного языка. Я не мог бы писать.

Всего Вам (и дочке Вашей) доброго.

Ваш Ив. Шмелев.

¹ Повесть «Неупиваемая Чаша» была написана Шмелевым в Крыму и впервые опубликована в Симферополе в 1919 году.

² Илья — Шаронов, главный герой повести «Неупиваемая Чаша».

³ В конце 1920 года был бессудно арестован в Феодосии и 3 марта 1921 года расстрелян единственный сын Шмелева Сергей — офицер, герой Первой мировой войны.

⁴ Шмелевы уехали из России в Берлин 20 ноября 1922 года.

⁵ Сельма Лагерлёф (1858 — 1940) — шведская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе (1909), член Шведской академии. Шмелев переписывался с ней, посылал ей свои книги.

⁶ Кнут Гамсун (1859 — 1952) — норвежский писатель. Шмелев также переписывался с ним.

II

5 октября 1936

Берлин
Pension «Bayerischer Platz»

Милая Раиса Гавриловна, друг нежный, и Вы, чудесная девушка русская, редкая, Милочка... Что Вы со мной сделали! Это чудесно, необъяснимо это. Это... какое-то *ясновидение*. Этого Вы не могли знать. *Как же* это так вышло?! Чуткия Вы покрыли все, виденное мной за эти месяцы на пути, Вы — преисполнили и — озарили. Вы — душу мою осветили таким светом душевным, светом богатого сердца Вашего. Да нет, тут лишни и безильны всякие слова.

Взволнованный отъездом, я долго провожал взглядом отходивших, посылал всем привет прощальный, все позабыв, себя не чувствуя. Долго сидел один, смотрел на розы — розовые и белые, Ваши... Теперь они со мной, доживают, дышат еще — милыми глазами, нежными, родными... блекнут. Только в Литве спохватился — блекнут! Проводник принес ведро воды, — и они ожили. И — вот — здесь, дышат. Уже в Литве, в сумерках... я пришел в себя. Нежный сверток, от Вас...?

Вот он... и он, раскутанный, осиял меня, и я увидел, так ярко и осознательно, — и так, до грусти, нежно-животворящую ласковость милой девушки русской — во всем мире единственной, — таких нигде нет в мире, только у нас это чудо, только родная душа таит в себе, чудо творит собою... Увидел дар чудесный. Я неотрывно смотрел, смотрел... — и не в силах передать Вам, что переживал.

Помню — я склонился к ней, к этой светлой... (а какое простое слово, бытовое, захвата — милое! Подушечка, подушечка!) подушечка! А какое чудес-

ное — думка, думочка! Была снежна, чиста, свята. Святые руки, святые пальчики шили, вышивали, творили.

Я завернул ее опять — так, как было. Мне стало больно, что жаркая, вязкая духота вагона войдут в нее. Но я уже не мог, не смел расстаться, отложить, отнять руку. Я положил щеку на обертку, на эту святую пушинку, и сидел, и грезил, и — молился. За что, за кого, кому?..

Я сердцем молился — за все, без слов. Но не это — все. Ведь тут другое, странное, поразительное. Уезжая из Парижа, я, хоть весь подавленный, все же как-то нашелся и взял все необходимое, — что-то (не Олечка¹ ли моя?), кто-то руководил мной, вел меня и только думку свою забыл...

А я привык к ней, заботливо-нежно оберегаемый Олей моей, единственной. И вот забыл. И скоро привык обходиться без этой неги светлой, без этой детской подушечки. Надо привыкать к неуютю, к одиночеству, к раздраженности, — надо забыть о «думках», бездумно заканчивать путь последний!

Так я — не думал: чувствовал. И вот Вы, светлая, нежная, чуткая... Но как же так?! Будто подслушали Вы, всем сердцем вняли — и... Слова у меня нет.

<...> Теперь свет Ваш, от Вас, сердце Ваше — со мной, всегда. Ночью я просыпаюсь — и светло думаю — Вы, кто Вы, милая... Меня мысленно называющая своим писателем-другом, — Вы здесь, со мной, всегда, всюду, до конца. Вы обвеяли меня, обвили движением духа Вашего, сердца Вашего, Вы меня одарили так, как никого, никогда никто не одарял. Это божественная награда — за все. Много *всего*, это только душа моя знает, что такое — *в с е*, за что Вы наградили меня, возместили. <...>

Ив. Шмелев.

¹ Олечка — Ольга Александровна Шмелева, урожденная Охтерлони (1875 — 1936), жена писателя.

III

25 октября 1936, 12 ч. 45 м., потом 26-ое

Милый, добрый друг Раиса Гавриловна,

Спасибо вам, нежная душа, за Ваше утешение, за нежность светлую. Не возвеличивайте только меня, не называйте себя с Милочкой «маленькими» и — ужас! — «ничтожными»! Зачем? мне больно от этого. Все мы, все — маленькие перед Высшим, перед Вышним, — и только. Мне стыдно себя, я-то ведь знаю себя и все мои грехи и недостатки. И если в моих книгах есть светлое и чистое, так это тайной Господней как-то хранимо в сердце углом, и часто я сам не узнаю себя в писаниях моих. Правда, сердцем излитое, изливаемое делает и меня лучше, — это и есть очищение работой. А так... да, Господи, сколько же немощи и слабости во мне! Знаю я, милые, светлые, радость вы мне дали, хоть я и не находил случая и <нрзб.> в себе, чтобы сказать Вам. Олечка моя видит все — ведь е с т ь же, жива же ее светлая душа, и она видит все, и меня, и вас. И ее утончившиеся чувства, душа ее — с нами, и молитвы ее о нас.

Я живу, хотя и нелегко мне. Я пока что-то делаю, три раза был в Ste Genevieve des Bois¹. Вчера все завершено, — поставлен постоянный крест на могилке, дубовый, восьмиконечный, с накрытием, врезана в малом перекрестьи иконка литая Богоматери — дар Соколов Русских², за стеклом, на главном перекрестьи прикреплена дощечка дубовая с именем Почившей (начертание «остромировское» XI века) и числами начала и конца жизни ее земной, а понижее укреплен скаутский фонарик, оксидированный, с отзолоченным яблочком и крестиком. Вчера, перед панихидой, я затеплил лампаду в нем. И долго, уже в сумерках, не мог уйти, отходил и оглядывался и от ворот, издали, видел, — светит, теплится мне свет тихий, далекий свет. Кроткий, как она

была, — безвопросная, святая. Все сделано. Теперь — что? Не знаю. Надо чем-то жить, а сердце... — нет ему для жизни духа, не только для работы. Я же ведь им, сердцем, всегда писал-жил. Жил же я только в работе. И проглядел жизнь, и Олю мою проглядел, не сохранил. И теперь — мне казнь, по заслугам. Несу. Буду сердце обманывать, у него просить самообмана — жизнь, обмани меня, боли, но отдай же последнее свое, не мне (и мне, немножко), — жизни. Но отдаст ли? Смогу ли писать-жить?.. Не знаю. Нет если — нет и отходи. Так, житье-бытье не могу, да и не привык. И это хорошо знала Оля, вечная моя. И принимала, за меня на свое сердце — все, за меня и за себя. Это так, я знаю. И если я дал людям что-то, так через ее подвиг. <...>

Милые вы, нежные. Я часто вспоминаю Вас, и всегда ложась. У лица — думочка, ласка чистая, кроткая, нежная моей читательницы-друга. Я вижу, вижу и Вас, и так ярко, так близко — это мне награда, — послано. Принимаю благодарно, благоговейно. <...> Я привык — к своему, у себя. Да, вдруг мысль мне мелькнула — в Ригу! Но... это так жутко, несбыточно. Здесь, в Париже, — больше духовности, тонкости духовной?! — говорите. Нет, это заблуждение. Здесь — холод, ходульность, свичка, сухостой, безразличие... Да, есть у меня и здесь души, но... — далеко, да и безильные оне. Нет, с Вами на окраинах, — я больше видел людей. Да что говорить... Вы сами это чувствуете. И знаете... писателя лучше любят, ценят — издалека. Да. Не осваивать как человека бытового, не копать в нем. Здесь мы слишком — свои, освоены. Если бы знали Данте в обиходе, как он морщится от зубной боли, или еще там что с ним в жизни его было, — о, как бы побледнело его «бессмертие»!³ Вы правы, вот у меня и зубы не в порядке, не до зубов. А лучше — просто: вот, писал что-то... вот оно, вот он — в делах его, в чувствах, думах. И — только.

Ну, уже час ночи. Пора — старался забыться, уйти. Целую Вашу руку, милый друг. Молитвы Ваши — мне помощь. Спасибо Вам.

Ваш Ив. Шмелев.

¹ Сент-Женевьев-де-Буа, русское кладбище в Париже.

² «С о к о л ы» — скаутская молодежная организация, основанная русскими эмигрантами в Праге в 1921 году.

³ В некоторых случаях И. Шмелев колеблется между старой и новой орфографией, что воспроизведено в публикации.

IV

25.XI.46

Милая Милочка — bravo!

Мои письма — праздник? Так вот Вам, празднуйте. Сегодня утром В<аше> письмо, — отличное, продолжайте перышко вострить! — и мамино. Отвечаю экспрессом, дабы пра-аздновали. Праздники вам нужны, побуднились.

И пра-вильно, что дали зарок радоваться, в каждом миге искать радости. За Вас нестрашно: от б и р а т ь умеете, шелуху ответе. А не «хвалю» В<ас>, а просто ра-дуюсь и бодрости и воле. И еще раз скажу: писать умеете. А там видно будет. Отлично, что мама с Вами, — иконка она Ваша, как моя «няня» при Катюше¹. Она чудеса творит. Не руководитесь «надписанием над столом»: пусть это допинг, но сколько же и самомнения! И — «игры». Не будь в мире «степной крови и степной воли», — не свершилось бы «невозможное», и тем менее — «чуда!». Но разумею не бесов-угнетателей, а народ, его душу-силу. А бесы — канут. Присоветуйте, если случится, тому «максималисту»² повесить рядком и еще надписаннице: «помни всегда, дурак, что есть земля, Пушкина породившая... земля, которую — в с ю — „в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя”». Земля страшного размаха-качанья... И чтобы в поминание вписал святое И-м-я: Святая Русь, — кроткая. А главное — поучился видеть и постигать. Чудо-то сотворил не он — менюскуль, а Он, избрав матерьял добротный, — лучше и не найти. Лучше бы псалом пове-

сил — «Живи [sic! — Д. Ш.] в Помощи Вышняго..» — и сочините ему пословку: «На атоме-то весь свет пройдешь, да назад не воротишься». Учите слепцов, будущая вещательница правды. У Вас — талант. Чую... А там — что Бог даст.

Нет, «балет» не по Вам и не для Вас. Много искусств и помимо «па». Могли бы быть и первоклассным юристом — защитником. Права и Правды. Могли бы блистать в адвокатском фраке, не — в мантии. Словом — найдете путь.

Говорю так потому, что «закваску» чую. Она — от степных просторов и сильной почвы. Питайтесь соками этой великой почвы, — Словом, и нашим, земным, но великим и чистым словом, — великой нашей художественной словесности. Евангелие — Псалмы — в одном кармане, «Пушкин» — в другом. Третьяго — нет. Третье уже не карман, а сердце.

Самое ценное, — что все безумие этих лет не только не сдавило, не исказило души Вашей, а обогатило, осветило ее. Живите вечным, но, земная, благодарственно и благоговейно принимайте — дары Земли. Чудесной гармонии держитесь, чудесной меры... — примером да будет Пушкин, творящий.

Вы — да и почти все мы — как поднявшиеся с одра болезни смертной: новые глаза — на все. И как же они должны теперь радоваться всему, что не замечалось раньше, не ценилось. Смертно-больной, встающий, которому врачи разрешили вкушать, как чувствует глубоко не видную прежним глазом красоту мира Божьего! Вот, держит в исхудавших пальцах дольку апельсина... смотрит на нее, сквозь нее на свет лампочки... — и сколько же и как-ак видит! и как-ак слышит это дыхание живого апельсина!.. А когда выведут его в теплый июньский день в садик... в чутошный палисадничек... да он весь Универс увидит, восчувствует... до не изведанных еще слез, потому что прежняя его слезы — соленые были и горькия... а тут — восторг и благословение. Вот так-то и должен чувствовать ныне человек... особенно в Вашем возрасте, Вашей чуткости, Вашей душевно-сердечной полноты! Дорожите такими чувствами. <...>

Верно вы — о критике. Как чудесно дал И<ван> А <лександрович>³ о ней же, о новом его методе художественной критики в не изданной пока книге — «О тьме и просветлении»⁴! И как разобрал творчество Бун<ина>, Рем<изова>, Ш<меле>ва! Когда-то напечатают. А читал три раза! И ответил ему — стихами! Когда-нибудь прочтете.

Будьте здоровы, бодры — и славьте Показавшаго нам Свет. Знайте: шмель никогда не жалит. По Брэму: «шмель — насекомое благодушное».

Ваш Ив. Шмелев.

<Приписка:>

Слава Богу, осталось еще во мне горение, не «задора».

По поводу «задора»: вот вам пример стихов (когда-нибудь все прочтете):

... я пылок, скор, кипуч, мятежен,
 Порой уныл, порой речист;
 Но сердцем радостен и нежен,
 Но в чувствах искренен и чист.
 Задорен, буен, своенравен, —
 От дедов принял этот склад:
 Я простотой всегда им равен,
 Я весь от них, их строй и лад...

.....
 Как и они, — неліцемерен,
 Как и они — не очень глуп,
 Привязчив, ласков, леґковерен,
 К соблазнам жизни, право, туп.
 Мои пороки — их пороки,
 Большие ль, малые, — Бог весть;
 Но жизнь дала-таки уроки... —
 И можно смело все зачесть...

В жарком разговоре со мной, — да, «сыпались бы искры»... Но не сжигающие, а... звездные, елочные... Помните? И... рождественские — со снегу... — лазурная пыль — сверкание! И вы не обожглись бы. И спели бы мы кварталом: «Тебе кланяемся, Солнцу правды...» Вот что надо повесить над столом и петь сердцем. Это по-русски, по-православному.

Господи, Слава Тебе — за все.

И. Ш.

26.XI.46 Paris.

¹ Имеются в виду герои романа И. С. Шмелева «Няня из Москвы».

² Неустановленное лицо.

³ И. А. Ильин.

⁴ Замысел книги «О тьме и просветлении» возник у И. А. Ильина в 1938 году. Первоначально книга называлась «О тьме и скорби. Книга художественной критики. Бунин. Ремизов. Шмелев».

ВИКТОР АСТАФЬЕВ

*

«...БУДЕТ ВОСТРЕБОВАНА ПРАВДА...»

Письмо Светлане Новиковой

Светлана Новикова — профессиональный журналист. В 2000 году она выпустила книгу «*Портрет отца в интерьере времени*» (М., «Скорпион», 2000) — о своем отце, главном маршале авиации Александре Александровиче Новикове, человеке, чья роль в истории Великой Отечественной войны как-то слишком явно не соответствует той скудной памяти, которая о нем сохранилась. Книга Светланы Новиковой отчасти и объясняет, почему широко известны имена героев-летчиков и только немногие знают имя Александра Новикова — человека, чей портрет был напечатан на обложке июльского номера американского «*Time*» в 1944 году, человека, который возглавлял авиацию, завоевавшую господство в воздухе и разгромившую люфтваффе Геринга. В книге две главы: «Глава первая — о том, как мой отец воевал» и «Глава вторая — о том, как с отцом расправились после войны».

Светлана Новикова отправила свою книгу Виктору Астафьеву, и он откликнулся. Виктор Астафьев прислал Светлане Новиковой бандероль, в которой было письмо и его последняя книга «*Веселый солдат*» с авторской надписью: «Светлане Александровне Новиковой из Сибири поклон и самые добрые пожелания здоровья, возможных радостей на этом свете и всего самого, самого доброго. Спасибо за книгу об отце, за память болящую, за то, что и нас, солдатиков, помните и не презираете, хотя и маршальская дочь. Храни Вас и внуков Ваших Господь! В. Астафьев. 26 июля 2000, с. Овсянка».

Светлана Новикова ответила Астафьеву письмом, в котором, в частности, писала: «Чтобы написать такую страшную правду о быте на войне и послевоенных мытарствах солдата, надо обладать чрезвычайно высоким авторитетом и абсолютно незапятнанной репутацией, а это Вы давно заслужили у народа своей судьбой и своим творчеством. Никому другому этого не дозволили бы, обвинили бы в чернухе и клевете. Но Вам нет судьбы на Земле. Вам судья только Бог».

Письмо Виктора Астафьева мы публикуем с любезного разрешения Светланы Новиковой.

Редакция «Нового мира».

Дорогая Светлана Александровна!
Уже давно получил Вашу книжку, но прочесть ее никак не удавалось, суета, болезни, слабеющее зрение и графоманы, ломящиеся в дверь, не оставляют времени на чтение.

Книжку-документ, пусть и тысячным тиражом, Вы бросили в будущие времена, как увесистый булыжник, как еще одно яркое свидетельство наших бед и побед, не совпадающее с той демагогией, что царила, да и до се царит в нашем одряхлевшем обществе, одряхлевшем и грудью, и духовно, и нравственно. Нужная, важная книга. Конечно, те, кто бегают или уже ковыляет с портретиками Сталина по площадям и улицам, никаких книжков не читают и читать уже не будут, но через два-три поколения потребуются духовное воскресение, иначе России гибель, и тогда будет востребована правда и о солдатах, и о маршалах. Кстати, солдатик, даже трижды раненный, как я, на Руси еще ре-

денько, но водится, а командиры, маршалы и главные и неглавные давно вымерли, такова была их «легкая» жизнь, да еще этот сатана, за что-то в наказание России посланный, выпил из них кровь, укоротил век.

Я был рядовым солдатиком, генералов видел издали, но судьбе было угодно, чтоб и издали я увидел командующего 1-м Укр. фронтом Конева, и однажды, во судьба! совсем близко под городом Проскуровом видел и слышал Жукова. Лучше б мне его никогда не видеть и еще лучше не слышать. И с авиацией мне не везло. Я начинал на Брянском фронте (спасибо, что хоть Вы упомянули Попова¹) и первый самолет сбитый увидел, увы, не немецкий, а нашего «лавочкина», упал он неподалеку от нашей кухни в весенний березняк, и как-то так неловко упал, что кишки летчика, вывалившегося из кабины, растянуло по всей белой березе, еще жидко окропленной листом. И после я почему-то видел, как чаще сбивали наших, и дело доходило до того, что мы по очертаниям крыльев хорошо различали наши и немецкие самолеты, так свято врали друг другу: «Вот опять херакнулся фриц!»

История с Горовцом² не так хорошо выглядит, как в Вашей книге, он действительно сбил 9 самолетов, но не только <нрзб.> Ю-87³, но и других, и на земле были те, кто не сбил и единого, и они его послали в воздух тогда, когда предел его сил кончился, и к вечеру он был сбит и обвинен в том, что, упав в расположении врага, сдался в плен. Справедливость восторжествовала спустя много лет, восторжествовала по нелепой случайности, и когда на Курской дуге ставили памятник-бюст Горовцу, приехала одна мать, а отец сказал: «Они его продали, нехай они его и хоронять».

«Балладу о расстрелянном сердце» написал мой давний приятель Николай Панченко, он живет в Тарусе, под Москвой, почти уже ослеп. «Сталинград на Днестре» — документальную повесть — написал Сергей Сергеевич Смирнов⁴, она печаталась в «Новом мире», а отдельного издания я и не видел.

О-ох как много мне хотелось бы Вам сказать, но на большое письмо меня уже не хватает, и я просто целую Ваши руки и прикладываю ладошку к тому месту, где сердце Ваше, столь вынесшее невзгод и выдержавшее такую работу.

Да, конечно, все войны на земле заканчивались смутой и победителей называли. Как было не бояться сатане, восседающему на русском троне, объединения таких людей и умов, как Жуков, Кузнецов⁵, Новиков, Воронов⁶, Рокоссовский, за которыми был обобранный, обнищавший народ и вояки, явившиеся из Европы и увидевшие, что живем мы не лучше, а хуже всех. Негодование копилось, и кто-то подсказал сатане, что это может плохо кончиться для него, и он загнал в лагеря спасителей его шкуры, и не только маршалов и генералов, но тучи солдат, офицеров, и они полегли в этом беспощадном сражении. Но никуда не делись, все они лежат в вечной мерзлоте с бирками на ноге, и многие с вырезанными ягодицами, пущенными на еду, ели даже и свежемороженые, где нельзя было развести огонь.

О-ох, мамочки мои, и еще хотят, требуют, чтоб наш народ умел жить свободно, распоряжаться собой и своим умом. Да все забито, заглушено, и ис-

¹ Попов Маркиан Михайлович (1902 — 1969) — генерал армии, Герой Советского Союза. Участвовал в боях под Ленинградом, в Московской, Сталинградской и Курской битвах, в освобождении городов Орел, Брянск и других. (Примеч. здесь и далее С. Новиковой.)

² Горовец Александр Константинович (1915 — 1943) — летчик, гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза (посмертно). Согласно имеющимся печатным источникам Горовец погиб в воздушном бою 6 июля 1943 года.

³ Ю-87 — «Юнкерс-87», пикирующий немецкий бомбардировщик.

⁴ Смирнов Сергей Сергеевич (1915 — 1976) — писатель, автор документальных книг «Сталинград на Днестре», «Брестская крепость», «Герои Брестской крепости», «Рассказы о неизвестных героях» и других. «Сталинград на Днестре» опубликован в «Новом мире», 1954, № 2, 3.

⁵ Кузнецов Николай Герасимович (1902 — 1974) — вице-адмирал, Герой Советского Союза. В годы войны руководил боевыми действиями ВМФ.

⁶ Воронов Николай Николаевич (1899 — 1968) — Главный маршал артиллерии, Герой Советского Союза. Во время войны командовал артиллерией Советской Армии.

треблено, и унижено. Нет в народе уже прежней силы, какая была, допустим, в 30-х годах, чтоб он разом поднялся с колен, поумнел, взматерел, научился управлять собой и Россией своей большой и обескровленной.

Почитайте книгу, которую я Вам посылаю, и увидите, каково-то было и рядовым. Моя Марья комсомолка-доброволка и я, Бог миловал, ни в пионерах, ни в комсомоле, ни в партии не состоявший, хватили лиха через край. Баба моя из девятидетной рабочей семьи, маленькая, характером твердая, и все тяжести пали в основном на нее. Умерло у нас две дочери — одна 8-ми месяцев, другая 39 лет, вырастили мы ее детей, двух внуков, но все остальное Вы узнаете из книжки. И простите за почерк, пишу из родной деревни, а Марья с машинкой в городе, я и печатать-то не умею.

Низко Вам кланяюсь. Бог с нами и Бог с Вами, как писал Карамзин в конце писем.

Ваш В. Астафьев.



О П Ы Т Ы

СЕРГЕЙ БОРОВИКОВ

*

В РУССКОМ ЖАНРЕ-26

В каком-то пьяном лысом старичке мне почудился *Слива*... В 9-м классе наш Ленька Назаров перешел в 19-ю школу с математическим уклоном, и мы узнали его новых одноклассников, пьяниц и хулиганов, хоть и математически одаренных. Но зачем меня вновь тянет распылиться в бесконечном мемуаре, когда мне просто почудился Славка Савельев по прозвищу *Слива*, который давно умер, я же вспомнил, как он, с, видимо, всем коротеньким толстякам присущей важностью, утверждал, что вчера ночью...

— Тринадцать палочек кинул!

Кажется, при этом кроме меня и Леньки был и кто-то еще, и никто из нас не напомнил *Сливе* про ноздревские семнадцать бутылок шампанского, мы с наслаждением следили за *Сливой*, который призывал в свидетели отсутствующего *Фаддея*, который якобы присутствовал и считал...

Не люблю купаться пьяным и ночью, хотя и случалось делать и то и это и порознь и совмещенно. Пьяный чувствуешь себя в воде как тело, очень чувствуешь, но утрачиваешь грань воды и воздуха, что есть опасно. Однажды очень жарким июльским днем мы с Сашкой В. отправились на пляж, почему-то в полном отсутствии жен... Он встретил на Радищевской у магазина, прозванного за узость и длину помещения *Кишкой*, какую-то девицу, я в те поры шиковал, тратил первые гонорары, превышающие скромные зарплаты приятелей, и купил прямо почему-то на улице продающееся шампанское, несколько бутылок. И не почему-то, а определенно потому, что напиток был в дефиците и его продавали в виде «наборов», прилагая к бутылке, скажем, пачку застарелого печенья, обернутую вместе с шампанским в целлофановый кокон.

И поехали мы с девицей, жилистой светло-рыжей блондинкой спортивного сложения и нехорошего выражения глаз, на городской пляж. Там ушли подалее от пристани, на оконечность острова, где обретались лишь редкие парочки да особо упрямые рыбаки, удившие даже в полдень.

Тяжкий зной стоял в этот день. В теплой воде не остывало шампанское, кислыми струями бившее из горлышек в горла. Ноги горели в рассыпающемся огненном песке. И тут Сашке загорелось удалиться с подругою, а я что-то захошел от шампанского, жары, от вчерашнего или даже многодневного похмеля. Я стал беспрерывно кувиркаться в воде и под водою, так что скоро потерял понятие верха и низа, мягко стучаясь головой о прохладный плоский песок дна и наблюдая бегущие как бы не вверх, а вниз из моего носа связки сверкающих пузырьков воздуха. Обессилев, набрав в нос запаха пресной воды, я вышел на берег, грохнулся и тут же задремал под солнцем, но вскоре меня кто-то осторожно потолкал в плечо. Открыв глаза в черное небо с ослепительной дыркой солнца, я увидел женщину, которая сказала: «Уходите, молодой человек, вон они ходят, присматриваются», и я не столько понял, сколько почувствовал, что мне угрожает опасность. Каким-то образом оделся и побрел к пристани.

Боровиков Сергей Григорьевич — критик, эссеист. Родился в 1947 году. Окончил филологический факультет Саратовского университета. С 1985 по 2000 год — главный редактор журнала «Волга». Автор книг «Алексей Толстой» (1986), «Замерзшие слова» (1991), «В русском жанре» (1999, 2003). Настоящая публикация — продолжение долговременного цикла.

Из ночных и нетрезвых купаний вспоминаю на даче у Жени Р., как там оказался, не помню, помню лишь, что в тот день я поставил рекорд — честное слово, не вру! — двадцать две кружки пива. Конечно, пиво то было советско-жигулевское, водянистое, слабое, но ужасает само количество жидкости. Видимо, со стороны я был тяжел, потому что когда плавал в черной звездной воде, нырял, в воду вошел Женя и внимательно следил за мною: младший брат школьного товарища мог утонуть по пьянке на его даче. А меня обвисающий от жидкости живот тянул ко дну. Помню более всего ощущение полной избыточности жидкого: внутри, вовне. Вода, вода... кругом вода... как пелось в песне, включаемой при отправлении теплоходов. Затем ее сменило «Прощание славянки».

А позавчера было 27, а вчера 28 июня 2001 года. И купил я газету «Саратов», где была страница про пиво из Маркса, Энгельса, Балаково, Калининска, т. е. городов Саратовской области (в областном центре пива не делают вовсе).

Я отправился по указанному в газете адресу, где якобы продавалось *живое* разливное марксовское пиво — на улице Новоузенской. Но в панельной девятиэтажке, кроме четырех подъездов квартир и маленькой парикмахерской, не было не только пива, но даже места, где бы могли торговать пивом. Обозлившись, я побрел туды-суды по этому району, где на каждом шагу торговали в летних кафе все теми же *Толстяком*, *Балтикой*, *Арсенальным* и проч. пастеризованной консервированной одинакового вкуса раскрученной дрянью. Я забредал и в Парк культуры, где было все то же, но дороже, и, ведомый странной уверенностью, что я дойду до искомого, вышел на неказистый пивной ларек (угол 2-й Садовой и Чернышевской), где наличествовал энгельсский *Цезарь*, а рядом с ним на улице тетки продавали недорогую старую воблу. Торговали пивом двое мальчишек лет 17-ти, и сидели двое пьяных, радостно потешавшихся над редкого безобразия похабными куплетами из динамика. Серия современного *Луки Мудищева* реяла в пластиковом помещении, я и не предполагал, что произойдет такая, под профессиональный оркестр, весьма грамотно словесно сотворенная, профессиональными актерами исполняемая похабель.

И напился я живого пива. И стало меня с тех пор тянуть в похабный ларек. Пользуясь тем, что по дороге был гараж, где ремонтировали мой двигатель с лодки, я заруливал на 2-ю Садовую, где уж не исполняли похабщины и не всегда оказывался *Цезарь*, но бывало *Балаковское*. А тут навалился зной. Серьезный июльский зной, наступления которого я с ужасом ожидаю каждый год. Когда с утра делаются горячими даже посуда на подоконнике, даже стены. Когда в восьмом часу вечера в раскаленном воздухе видишь уличный термометр с катастрофическими цифрами 37. Когда ночью часу в одиннадцатом выйдешь с собакою и ни разу нигде не встретишь ветерка или свежести, но кругом под неподвижными кронами деревьев висит серый душный воздух.

И почти ежедневно езда на лодочную базу *Рассвет*, на о-в Пономаревский напротив города Энгельса, после трудов по ремонту лодки и купанья с хозяйственным мылом в черной, словно на Амазонке, воде заливычка базы, я, волею заранее, доходил до пивной под тентом в том месте, где сходятся троллейбусные и автобусные маршруты, называемом *центром*, и набирал сперва две кружки пива. Я стал разбираться в живом пиве, немного отдающем молодостью, но, конечно, несравнимо лучшем, чем тогдашнее. *Волжский утес* был поядренее, но *Покровское* пленяло освежающей слабостью, хлебным духом, а грубоватый *Эльтон* взывал к закуске, и пьянил крутой, почти оранжевого оттенка *Цезарь*.

Пивная почему-то называется «Пончики», как выведено крупными буквами на дощатой стене ее грубого строения. Я освоился здесь. Я перестал покупать у прилавочных уличных торговцев рыбу, разложенную рядом с орешками арахис, семечками, сигаретами, реже вареными бурыми раками, ближе к осени и вареной кукурузой. Я стал покупать рыбу в крошечной щелеподобной лавчонке, поместившейся в железном ларе, крашенном голубой краской.

Меня полюбили обе сменяющиеся продавщицы, сноха и свекровь, часто заметно выпившие, сноха добродушная блондинка, делающаяся игриво-рассеянной, свекровь же с обликом учительницы, скорее даже преподавателя музыкальной школы, в широких очках на тонком, несколько порочном лице, выпивши держится с замедленной игривостью; лавчонка провоняла соленой чешуей. Я беру астраханскую воблу по 60 рублей за килограмм. Уличные торговки покупают здесь же, и если на вес добрая икрная вобла стоит 4 — 5 рублей, то у торговков на их прилавках-ящиках 7 — 8. Вобла неровная размером и качеством, бывает и вовсе замороженная с почерневшим брюшком, бывает подмокшая во всегда тающем холодильнике, бывает и такая, что в Саратове дешевле рублей 15 за штуку не купишь. Для меня обе встают на табурет и лезут вверх, где на холодильнике под низким потолком в решетчатом пластмассовом ящике разыскивают экземпляры получше. Пока они ищут, мы беседуем, и, если одна и другая выпивши, разговор невольно приобретает заигрывающее против моей воли направление. Стены крашены бледно-голубым, засижены мухами, и время от времени хозяйки протирают их мокрой тряпкой. Когда я в лавке, они не обращают внимания на других, кто входит, хотя лучше сказать втискивается в лавку — больше двух человек у прилавка не поместятся.

Я долго не понимал: отчего мне так мило здесь, возле захудалого базарчика, в пивной под тентом, где синюю пластмассу столиков юные девочки-подавальщицы протирают мокрой тряпкой, а по просьбе — для рыбы — приносят мокрые тарелки. И подавальщицами они бывают редко. Объявление: их услуга — принести кружку пива, стаканчик водки, закуску, проч. стоит 1 руб. Его редко кто тратит, предпочитая постоять у двух — изнутри помещения и снаружи — окошечек буфета. Ведь в двух шагах — стоячий пивной киоск, где тот же *Утес* стоит не семь с полтиною, как здесь, но и вовсе шесть рублей, тогда как в многочисленных саратовских летних кафе кружка пива от двенадцати и далее до пятидесяти и более рублей. Но не только цена нравится мне. Мне нравится здесь присутствовать, погружаясь в окружающее. Но почему?

Я понял, что, как в сказке про перемещение во времени, я попадаю в обстановку собственной молодости, атмосферу советского непритязательного, дешевого быта и грубоватых, но не отчужденных отношений. Проходя же в Саратове улицей Немецкой, сделавшейся почти европейской, с дорогим, причудливым, а то и изысканным дизайном, длинноногими мертвоглазыми красавицами, молодыми толстяками с мобильниками, изумрудными искусственными газонами, казино чуть ли не в каждом доме, электронными предсказывателями судьбы, пунктами *чейнджа*, компьютерными салонами, фирменными магазинами, вроде аквариумной «Лагуны» (я и близко не смог бы вообразить, что в Саратове будут продаваться не какие-то там барбусы и гуппи, но гигантские рыбы из фильмов Кусто, в аквариумах бог знает каких форм ценою в десятки тысяч рублей), проходя центром родного города, я давно не чувствую себя дома, и даже не в гостях, потому что в гости приглашают.

Сейчас (10 вечера) гулял с собакой, и вдруг с диким свистом, матом, гиканьем прокатил четырехколесный экипаж, запряженный одной лошастью, которая с трудом тянула в гору экипаж, полный пьяной и безобразной молодежи. Экипаж сопровождает всадник верхом, парень в камуфляже, явно нетрезвый, с папиросой во рту и матерными криками. Улицы не освещены совершенно — 10 вечера, лишь высветы фар да миганье окон и витрин.

16 июня 2002.

«Деньги есть чеканенная свобода» (Ф. М. Достоевский, «Записки из Мертвого дома», 4, 17).

Есть особая притягательность во власти не первого, второго (неофициально) лица, серого кардинала. Все знают первое, ему видимо подчиняются, но

твою власть знают лишь те, кому положено, а распространяется она на всех, и на тех, кто о ней не подозревает, о носителе же ее разве что слышал.

Мне почему-то особо близки такие фигуры, как Джек Бёрден в романе «Вся королевская рать», самый близкий Хозяину, но всего лишь что-то вроде пресс-секретаря, главное, что его опасается остальная камарилья. Мне интереснее читать про Тома Хейгена в «Крестном отце», чем про центрального Майкла. (Поискать в русской литературе.)

За 7 лет явились на свет почти *все*.

1889 Ахматова
 1890 Пастернак
 1891 Мандельштам
 1892 Цветаева
 1893 Маяковский
 1894 Г. Иванов
 1895 Есенин

Ежегодно, как с конвейера.
 А чуть раньше:

1886 Гумилев, Ходасевич
 1887 Клюев, Северянин
 1888 Нарбут

Кроме того, в один год с Ахматовой Вертинский, с Мандельштамом Зенкевич, с Цветаевой Адамович, с Есениным Багрицкий.

С. Залыгин в речи на каком-то писательском съезде заметил, что всю русскую классику XIX века могла бы родить одна женщина — Пушкина в 16, а Льва Толстого в 45. Возможно, он кого-то и повторил, как вполне вероятно, что и я сейчас кого-то повторяю.

Еще даты, с крестом.

+Ахматова 1966
 +Пастернак 1960
 +Мандельштам 1938
 +Цветаева 1941
 +Маяковский 1930
 +Г. Иванов 1958
 +Есенин 1925

Итак, больше всех прожила Ахматова, меньше — Есенин.
 Не может не быть связи между сроком жизни и самой главной сутью поэта.

Я уж делился своими домыслами о возможной пагубности долголетия для жизни общества.

Воля ваша, но как без омерзения наблюдать засасывающие поцелуи стариков обоого пола в американских лентах?

Да и вроде бы вполне невинный стариковский западный туризм не вызывает доброго чувства. Гогочущих бабушек и дедушек в вестибюлях гостиниц можно воспринимать и в бодро-юмористическом ключе, да ведь противно! Противно не только бессмысленное оживление на пятнистых лицах, которым вскоре предстоит замереть, не только подагрические суставы, не только шевелящиеся в сухом глянце кожи варикозные вены на бесстыдно обнаженных нижних конечностях. Противно нормальной человеческой природе спешить

увидеть как можно более из площади земного шара, когда для тебя приуготовлен уже малый объем его поверхности.

Для впечатлений было уж отведено свое время, и если их не доставало в географическом смысле, гоже ли ловить их у края одра?

«Он был твердо уверен, что имеет полное право на отдых, на удовольствие, на путешествие во всех отношениях отличное. Для такой уверенности у него был тот довод, что, во-первых, он был богат, во-вторых, только что приступал к жизни, несмотря на свои пятьдесят восемь лет. До этой поры он не жил, а лишь существовал, правда, очень недурно, но все же возлагая все надежды на будущее. Он работал не покладая рук...»

Сейчас в сравнении с 1912-м годом господину из Сан-Франциско уместнее было накинуть десятка два лет, но по сути ничего не изменилось.

Вероятно, это и есть средоточение протестантской этики?

Недавно, в ежедневных телебдениях вокруг выборов в Думу, вдруг обратил внимание на возраст участников. Ведущий 70-летний Владимир Познер, спорили 70-летние Василий Аксенов, Лев Аннинский, близкий к ним по возрасту Александр Проханов. Нет, все вроде бы в порядке, лица почти свежие, глаза, особенно у неугомонного Аннинского, блестят, полны задора...

Но как там у Тютчева?

И старческой любви позорней
Сварливый старческий задор.

Саратов.

НИНА ГОРЛАНОВА

*

ПИСЬМО ЧЕХОВУ

Дорогой Антон Павлович!

На днях по НТВ сказали:

В человеке все должно быть прекрасно: и бицепс, и трицепс, и дельтовидка!

А месяц тому назад там же говорили: «В собаке все должно быть прекрасно!»

Но Тютчеву еще больше не повезло — его вообще вон как переделали: «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется... Реклама прибылью вернется. Рекламу можно заказать» (на радио).

«Повезло» Тургеневу и Фету — в Орле висит плакат: «Земля Тургенева и Фета любовью Строева согрета» (Строев — губернатор).

Уж россияне ко всему привыкли, им это ПАРАЛЛЕЛЬНО, как сейчас говорят.

А еще недавно говорили: «мне это фиолетово».

Ну а в годы моей юности — «мне до лампочки» (до фени, по барабану). Слишком много синонимов для «все равно» — это плохо, конечно. Мы становимся равнодушнее. Даже по сравнению с Вашим временем! У Вас в «Трех страхах» произносят «все равно» 17 раз.

Наиболее долго держится в речи выражение «по фигу». Лет уж тридцать! Или даже больше. На днях в Москве прошел съезд «пофигистов» — под лозунгом: «Пофигистам всегда везет!» Значит, везение им все-таки не по фигу? А что такое везение? Это чудо. Получается, что чудо — важно. Может, еще не все потеряно!

Но я пишу Вам по другому поводу.

Предыстория такова.

Узнала я про экологический тест для детей: могут поцеловать лягушку — значит, созрели для борьбы за экологию.

И в это время ко мне в гости пришла внучка (8 лет) с подругой.

— Аленка, ты смогла бы поцеловать лягушку? — спросила я.

— Смогла бы, если мама разрешит.

— А ты, Алиса, смогла бы лягушку поцеловать?

— Смогла бы, если лягушка не заразная...

А моя младшая дочь Агния не поставила никаких условий:

— Поцеловать лягушку? Конечно, смогла бы!

Возможно, тут дело не только в возрасте, но еще и в том, что в нашей семье мы держали одно время жабу. Она вся переливалась, как драгоценный камень. Сын с классом ходил в сентябре в поход и нашел эту жабу.

Все дети наши тогда были малы и по очереди работали дождем для жабы — поливали сверху, чтоб не засохла. И очень любили ее!

Горланова Нина Викторовна — писатель. Живет в Перми. Окончила филологический факультет Пермского университета. Печатается как прозаик с 1980 года. Постоянный автор «Нового мира». Лауреат премии «Нового мира» (1995).

Когда Аленка и Алиса ушли, я решила посмотреть новости. Включила телевизор. Ну и, как обычно, новости из России — в основном катастрофические: там пожар, здесь авария. И я сказала Агнии:

— Плохо жить в большой стране — каждый день где-нибудь да беда, и с экрана они все идут в наши сердца.

И вдруг... вся Россия представилась мне такой непоцелованной лягушкой — никак она не может превратиться в Царевну! Ну никак...

В чем же дело?

Ответ пришел по телефону.

Позвонил мой друг, милый ВС (так я его называю всегда), и сказал:

— Моя тетя выбросилась с балкона шестого этажа — упала на «мерседес». Она насмерть разбилась, но и у «мерседеса» стекло разбила. Хозяин «мерседеса» требовал большую сумму, но мы — с большим трудом — все же в конце концов смогли все уладить миром...

Вы подумайте, Нина Викторовна, над этим случаем! Напишите где-нибудь о нем.

Стала я думать.

Бедная пенсионерка с отчаяния лишила себя жизни, но при этом лишила стекла хозяина «мерседеса»... Ничего случайного в жизни не бывает. Думай, Нина, думай...

Начнем с того, что хозяин «мерседеса» с тетей никак не связан. Он ее не обижал, за что же ему разбили стекло-то?

Но и обижал ведь! Богатые обижают бедных тем, что не помогают пережить трудное время перемен!

Да, этот случай — символический.

Если ничего не изменится в нашей жизни, рано или поздно — совершенно не намеренно — бедные так будут разбивать покой богатых, имущество как частное, так и государственное...

Уже разбивают.

И в Царевну наша родина долго не превратится...

В таком виде я опубликовала свои мысли в пермской газете «Звезда».

И вот получаю письмо из Москвы. Подруга пишет: ей привезли мою статью. И она возмутилась: почему же я «не заклеимила позором» хозяина «мерседеса», который потребовал деньги.

«Это история полного морального одичания человека!» — написала подруга.

Четыре страницы письма я не буду приводить полностью. Лишь главные укеры.

«Не скрою, Ниночка, мне больно было почувствовать, что трагедию смерти и страданий... ты и человечески, и писательски не чувствуешь».

«Представь, как о таком факте написали бы Толстой, Достоевский и Чехов!»

Но я не Толстой, не Достоевский и не Чехов...

В то же время, если бы меня не взволновала эта история, я бы не стала вообще писать! Пишешь ведь только о том, что растревожило мысли и чувства.

Сильно клеймить хозяина «мерседеса» — это навредить милому ВС, который и так с огромным трудом уладил конфликт. А если б конфликт возобновился? Ни у кого из нас нет денег! Нечем платить, вот в чем вопрос.

Вы-то меня понимаете, Антон Павлович?

Конечно, я перечитываю и люблю Толстого и Достоевского!

Однако... Вот Федор Михайлович! Он сам переживал припадки, но они не помешали ему сделаться великим писателем. А князя Мышкина — тоже с припадками — он свел с ума в «Идиоте». Разве это хорошо?

— Нина, ты будешь учить Достоевского писать романы?! — восклицает мой муж.

Нет, но почему же он выбрал худший вариант...

Со Львом Николаевичем другая история. Внук мой, двух лет от роду, увидел фарфоровую статуэтку Толстого на столе, обнял, поцеловал, а потом взгляделся в его строгое (слишком строгое) лицо и погрозил пальцем:

— Но-но-но! — (так же он грозит бабе-яге в книжке).

А Вы написали: «Какое наслаждение — уважать людей!» Да, наслаждение! Ведь у каждого так много хорошего!

И сочинилось трехстишие:

Господи,
Пошли мне смирение,
Как у Чехова!



Р Е Щ Е Н З И И . О Б З О Р Ы

В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ДОСТОИНСТВА

Отар Чиладзе. Годори. Роман. Перевод с грузинского А. Эбаноидзе. — «Дружба народов», 2004, 3—4.

Отар Чиладзе начинал — и как поэт, и как прозаик, — возможно, в самый беззаботный период грузинской истории. Истории советской, о чем писатель словно забывает в своих сегодняшних романах. Но вот как об этом времени — 60 — 80-е годы прошлого века — пишет Георгий Нижарадзе, один из немногих трезвых и острых умов современной Грузии: «Общереспубликанские потребности с избытком дотировались из Центра, денежных мест было много, цвели искусство и спорт, приезжие пили дешевое вино и поражались „несоветской” атмосфере легкомыслия и веселого вольнодумства, царящей в стране. Советскую власть ругали, не понижая голоса, но того, что она доживает последние годы, не мог себе представить никто».

Именно в это время, воспринимаемое в массовом сознании как вполне естественное и заслуженное страной, — полмиллиона грузин отдало свои жизни в борьбе с фашизмом, не считая тех, кто погиб в результате политических репрессий, — появилась потребность в создании и соответствующего исторического фундамента. Не могло же такое прекрасное здание висеть в воздухе, быть просто игрою случайных и чуждых сил.

Отар Чиладзе, остро ощущая эту потребность, начал, как и положено поэту, издав далеко — с истории мифологической: ведь в реальной истории, начиная с губительных набегов Тамерлана, грузины никогда не управляли единым государством. Роман «Шел по дороге человек» понравился всем. Вероятно, не только потому, что оказался новым и талантливым словом национальной литературы, но и потому, что тонко и умно льстил национальному самосознанию. К тому же писатель продемонстрировал знакомство с вершинами мировой литературы, как бы приобщая и читателя, помогая ему изжить комплекс провинциальности, хотя тем самым одновременно обнаруживая и подтверждая его. Привлекали и фрейдистские мотивы. Поведение героев определялось не разумно-рациональным началом, отождествлявшимся с директивами партии, а стихией бессознательного.

Понемногу продвигаясь к современности, в последних советских романах «Железный театр» и «Мартовский петух» Отар Чиладзе добрался и до начала XX века. Но с очевидными потерями. Подобный путь проходили многие национальные авторы: талантливая заявка, а далее — постепенное снижение, как адаптация к условиям печатания. При всем том слабое излучение таланта присутствовало. Но откровенная ориентация на количество губила качество. Для национальной культуры губительно именно создание тепличных условий.

В этом плане самым «советским» оказался у Отара Чиладзе роман «Мартовский петух». Его можно спокойно сократить до повести. По моему глубокому убеждению, Чиладзе все-таки представитель монологического мышления, лирик по складу своей души, и в каждом, даже самом неудачном его произведении обнаруживаются кусочки поэтических текстов, вставные новеллы, этюды. («Вот и день занялся такой, какой ты любишь, — исполненный нешумного, затаенного, спокойного биения жизни, как бы чуть одурманенный лягушачьим кваканьем, птичьим щебетом, шуршанием, стрекотом и шевелением мелкой живности в кустах и травах».) Прекрасна сцена из последнего романа, где героиня выпрыгивает из машины и бросается в заросли ежевики. Любопытно, что и в собственной прозе А. Эбаноидзе тоже присутствует девушка в кустах ежевики, правда, более патриархальная, чем в «Годори», — не истеричка лимоновского разлива. Я думаю, что интерес переводчика к роману возник в большей степени от этих общих импульсов чувственного восприятия мира, от благодатной природы Грузии, где прошло их детство.

Контраст с великим спокойствием природы присутствует как в первых, так и в сегодняшних произведениях Чиладзе. Беспokoйно-шумная, безумная жизнь людей оттеняется молчаливым терпением всезнающей и печальной матери. Правда, в

предыдущих романах встречались и герои, несшие это фундаментальное, незыблемое спокойствие. Перебираясь с трудом от одного лирико-философского оазиса к другому, всякий раз убеждаешься, что Чиладзе — поэт. Что бы ни толкнуло его на тропу прозы, он идет по ней в гордом, как и положено поэту, одиночестве, примеривая и отбрасывая маски главных персонажей, за которыми всегда только он сам. В «Годори» все главные герои (и Лизико, и ее отец Элизбар, и антипод Элизбара — Ражден Кашели, и сын последнего — Антон) — утомляют однотипностью своих внутренних монологов. При отсутствии жестко выстроенного сюжета сумма монологов производит впечатление слипшихся леденцов. Как ни странно, неглавные герои, не соотносящиеся с самим автором, получают у него намного живее и естественнее. Взять хотя бы белозубого кубанского казака или девушку-снайпера из Архангельска. Внутренний монолог соблазняет возможностью полного высказывания. Но давно известно, что лучше недоговорить. Воображение читателя постоянно требует себе свободного пространства, оно любит гулять без поводка и ошейника.

Впрочем, со свободой в прозе Чиладзе тяжело. Уже сам вид текста, где абзац равен главе, настораживает читателя. Но тот, кто берет в руки роман Чиладзе, должен признать заранее: главный здесь все-таки писатель, для которого любая тема — только повод для демонстрации своего видения мира. Поэтому и ценность прозы Чиладзе вовсе не в темах и проблемах — они только поводы, — а в том придонном иле, что оседает в сознании, а то и подсознании читателя — мысли, афоризмы, метафоры. Возможен даже некий дайджест из романов писателя, где была бы представлена мозаика его лирических откровений. Именно в них происходит иногда процесс внезапного осознания реальности (инсайт). Все остальное и прежде всего многословно-рациональные попытки вроде бы более глубокого и подсознательного воздействия на читателя становятся просто накладными расходами. Теми тоннами руды ради нескольких граммов радия.

Последние романы Чиладзе «Авелум» и «Годори», разделенные десятилетием суровых испытаний, посвящены проблемам так называемой творческой интеллигенции. В «Авелум» (1993) Чиладзе наконец впервые добрался до современности. Объектом анализа стал советский писатель, советский интеллигент, который в действительности и ни то и ни другое. Герой строит свою «империю любви» и живет в иллюзиях. «Авелум» вызвал самые противоречивые мнения. Одни — с присущей грузинам пылкостью — считали роман вершиной творчества Чиладзе, другие — откровенной неудачей. Очевидно, что писатель нащупал очень болезненные точки национально-интеллигентского сознания. Как замечал Шота Иаташвили, «для писателя, оказавшегося в новой эпохе, в новом обществе и в новом ментальном пространстве, стало вопросом жизни и смерти прозондировать прошедшую жизнь и оценить ее в системе таких абсолютных категорий, как свобода, любовь, мужество».

В «Годори» возникает острая, динамичная публицистика. Именно она и задевает, доказывает, что писатель тоже наш современник и проходит той же дорогой, падая и спотыкаясь, разбиваясь в кровь. Одновременно пытаюсь сохранить хотя бы остатки достоинства, и личного, и национального. Ведь без достоинства нет никакого будущего. Как утверждает стихотворение, закрывающее роман, «навсегда мы лишь то теряем, с потерей чего примирились». Главный герой романа ни с чем не примиряется. Смысл романа, его осознаваемая и насущная социальная сверхзадача — во что бы то ни стало отыскать утраченное достоинство грузинского интеллигента. Сегодня также и не до мифологических изысканий. В качестве фундамента требуется что-нибудь попроще и поближе. Правда, иногда эти попытки обнаружить вдруг испарившееся достоинство кажутся только истерикой прикормленного советской властью литератора. Особенно когда идут в русле обывательского стремления во что бы то ни стало найти виноватого. Тут уж достается всем: и России, и советской власти, и родной Грузии. Впрочем, истерический вопль о «нужде бытия» доносит читателю всю непридуманную фантазмагоричность ситуации грузинского интеллигента, привычно осознающего свою ответственность за судьбы страны, но полностью теряющегося в реалиях сегодняшнего существования. А последние таковы: на общем костре в закопченном подъезде многоквартирного дома, лишенного всех удобств, от света до воды, писатель готовит себе пищу — из найденных листьев капусты и очисток картофеля. Тем не менее герой романа, Элизбар, как и

сам писатель, не покидает родину, измученную судорогами нового времени. До последнего он пытается что-то писать. Пока не оказывается в конце концов в окопах на границе с Абхазией («Ничто, кроме совести, не заставляло его идти на эту войну»). Эту войну писатель понимает очень широко, как войну Запада и Востока, идущую еще «с тех пор, как Папа Римский Пий Второй задумал изгнать турок из Византии». Естественно, что его герой должен принять участие в таком всемирно-историческом мероприятии.

Есть времена, когда нужно просто молчать, а занятие привычным и когда-то комфортным писательством похоже на выдаивание убитой и недоенной коровы, чье разбухшее вымя — и не только его — видит Элизбар из окопа. То есть писатель все-таки признает, что нравственное иногда выше эстетического. И в этом он, конечно, наследник мощного толстовского начала. Что не вяжется с нередким у Чиладзе пренебрежением к простому человеку, исключенному из игр вокруг власти и лишенному духовно-творческих интересов.

До какого-то момента мы с живым интересом читаем нового Отара Чиладзе, резкого в оценках и грубоватого в выражениях. О мифолого-историческом величии, повторю, уже нет и речи: «...несчастные наши цари очнулись только тогда, когда их страну, расплзшуюся на лоскутья при грузинском Александре Первом, собрал воедино русский Александр Первый, причем собрал в утробе великой империи. Дабы впоследствии Грузия являлась миру исключительно из ее заднего отверстия и только по надобе, то есть тогда, когда в этом возникнет нужда; являлась уже превращенная в другое вещество...»

Невольно возникает вопрос: в какой утробе собирают сегодняшнюю Грузию? Предусмотрено ли хоть какое-нибудь отверстие, через которое она сможет явить себя миру? Вполне может случиться, что все вместе могут «опять оказаться заглоченными чудищем, но теперь уже без всякой надежды быть исторгнутыми обратно».

«Другим веществом» Грузия стала задолго до российского присутствия в ее жизни. Еще посланник Пия Второго (он появляется на последних страницах романа как обитатель сумасшедшего дома, пытающийся регулировать уличное движение в Тбилиси; надо сказать, занятие очевидно безумное) не обнаружил на положенном месте Грузии, той феодальной Грузии периода ее короткого расцвета в XI веке. «Живут по рабским законам, гордятся постыдным и стыдятся человеческого». Это с величием библейского пророка сказано Чиладзе не только о своих современниках. Публицистические отрывки в романе звучат сильно и горько, за ними стоит не вымышленный герой, но сам писатель. Хотя мне кажется, что в качестве чистой публицистики, не включенной в роман, они звучали бы еще сильнее.

«Продай родину и купи золотой унитаз!» — очевидно, что это девиз именно той властно-политической элиты, к которой когда-то принадлежал и сам автор. Одним из любимых занятий советской власти, как и всякой уважающей себя имперской власти, было создание национальных псевдоэлит. То есть элит, заботящихся больше о своем собственном благе, чем о благе родного народа. Сегодня на всем постсоветском пространстве именно эти элиты вершат судьбы народов, вопреки их воле и надеждам. Грузинская элита не исключение. Вот свидетельство Давида Бериташвили: «Стремясь материально обеспечить только себя или свой клан, не платя налогов, уклоняясь от службы в армии, примиряясь с криминалом, оставаясь равнодушной к судьбам сотен беженцев, готовая на любые злоупотребления ради сохранения себя во власти, [она] фактически бросила свой народ». То есть еще раз доказала, что, собственно, к элите как таковой не имеет никакого отношения. И что представляет собой эта элита? Как беспощадно показывает Чиладзе, это постоянно обновляемый союз подонков и аристократов. К которым примазываются литераторы и прочие «деятели культуры».

Хороши описания посещений советскими писателями дачи Раждена Кашели, играющего в меценатство и либерализм соответственно нравам эпохи загнивающего социализма. Кашели — всегда при власти, всегда расположен соответственно силовым линиям эпохи. Сегодня он благодушно беседует, ублажая интеллигентов коньяком «Энисели» с черешней, хотя вчера его предок убедительно общался с помощью пистолета. А его потомок, вполне возможно, найдет более действенные и современные, вполне цивилизованные способы держать в руках и подчинять себе

это убогое интеллигентное сословие, постоянно претендующее на роль высшего судьи.

История рода Кашели, основоположник которого вырос в корзине, изложена в несколько мифологично-библейском стиле. Метафора корзины, короба («годори»), дала название роману. Возможности ее толкования довольно широки. Видимо, любое замкнутое пространство способно порождать чудовищ. А чудовища по природе своей тяготеют в период созревания к некой защитной раковине, спасающей от пугающего мира. Потом они расплачиваются с миром за пережитый страх и за то ограниченное пространство, в котором томились. Годори — это, возможно, и сама Грузия, обреченная на судьбу, с которой расстаться ей никак не удастся. «Элизбара одолевает то же бессилие, что и его страну, и его народ, — это шок, вынесенный из утробы поглотившего чудища, общая национальная немочь, следствие шестисотлетнего душливого мрака и неподвижности». Годори — это и узкий национализм, также не рожающий праведников. Но годори — это и любое гнездо, которое создает всякое живое существо и до последнего защищает его от внешнего мира. В этом смысле мы все и всегда в «корзине», и избавиться от нее не дано никому.

Ну и конечно, в духе фрейдистских пристрастий автора годори — это всевластное Оно, «кипящий котел инстинктов». Именно ему служит достойный представитель своего рода — Ражден Кашели. Его полный антипод — Элизбар. Именно он носитель сверх-Я, совести. А противоположности, как известно, тянутся друг к другу. Но если тяготение Элизбара в какой-то степени вынужденное, то тяготение Кашели к нему, точнее, к его дочери вполне естественное. Она не только привлекательный эротический объект, но и способ окончательного утверждения его власти. Душа юной Лизико очарована силой Раждена Кашели, особенно очевидной в новое время. Можно представить себе бульварный вариант романа, где акценты смещены и на первом плане оказывается любовь Раждена Кашели к парниковому цветочку, тоже выросшему в корзине беззаботного существования и не желающего ее покидать. Только раньше это была корзина ее отца, очень хорошая, уважаемая корзина, а теперь совершенно развалившаяся. За то, что отец не уберег «корзину», и судит его так строго родная дочь: «Всю жизнь состязался с коллегами в сарказме, остротах и хохмах, пока мы разлагались и день за днем падали все ниже, до самого дна». Именно это и является составом преступления Элизбара, и за это дочь иступленно наносит ему удары ножом. А также за то, что пел по утрам в ванной. Правда, нож и убийство только воображаемые. Но тем не менее детишки дружно разделяются со своими родителями. Воображаемый триллер легко может стать реальным.

С помощью Антона, сына Раждена Кашели, который духовно был и остался сыном писателя Элизбара, — Антон умирает у него на руках — происходит переселение Лизико в новую прочную корзину. Официально — она жена Антона, но неожиданно обнаруживает в себе запретную тягу к его отцу. Да это и неудивительно: столько лет Ражден Кашели воспитывал в ней это чувство, осторожно и основательно развращая юную душу. Правда, этот «замысел упрямый» кажется несколько искусственным, заданным всецело писательской волей. Мне кажется, что писательский волюнтаризм и является главным недостатком Чиладзе. Обладая несомненным талантом, он, однако, чаще всего лишь сочиняет, а не творит, следуя мудрой логике вещей, которая только осторожно заглядывает сквозь лирическое окошко и, спугнутая властным «хочу», тотчас удаляется. Но суть творчества, как замечает белорусский поэт Алесь Рязанов, тоже волюнтарист, хотя сражающийся с самим собой, — беззащитное «хочется».

Проза Чиладзе всегда была отмечена повышенным вниманием к процессам, происходящим внутри человека. Мир его героев таков, каким они его видят и осознают. Но если первая половина романа, условно говоря, до грехопадения Лизико, соблазненной коварным змием Кашели, идет в русле равновесия между внешним и внутренним, то вторая проваливается в мир сновидений и кажимостей, где возможное существует на равных правах с реальным. Реальность, явленная только в сознании, бесконечно ускользает. Да автор и не стремится к ее определенности. Тогда читатель невольно должен подавлять в себе здоровое желание узнать, что же произошло на самом деле, а что происходит только в сознании геро-

ев. Покушение отца на жену сына? И гнев Антона, как гнев Ахилла, становится содержанием романа? Или отец мужа просто положил руки на обнаженные плечи юной невестки и «она смятенно-радостно отозвалась на его прикосновение»? Но тем не менее после этого Раждена Кашели сначала убивает сын, потом жена, потом они все вместе закапывают прелюбодея. Потом топят труп. После всех этих манипуляций наш дважды покойник сидит на кухне с перевязанной головой, потом навещает в клинике для душевно больных Лизико, которая вроде бы родила от него ребенка, а после этого перерезала себе вены...

В какой-то мере это попытки сделать роман более читабельным, наркотически-детективным. Однако тем, кому нужны такие добавки, не нужен ни сам роман, ни его проблематика.

Пробуждением Лизико, витавшей в очень содержательных сновидениях, заканчивается роман. Очевидно, что героиня, вскрывшая себе вены, как-то соотносится с многострадальной Грузией. Если Антон, сын Кашели, причастившись миру Элизбара, гибнет, то Лизико, тронутая миром Кашели, все-таки остается в живых. То есть начало Элизбара вроде бы одерживает верх. Во всяком случае, именно в этой точке истории, совпавшей с концом романа. Ведь противостояние Каина и Авеля продолжается. Открытая концовка подтверждает это. Правда, она похожа на летящий под гору перегруженный скарбом воз, когда кучер-автор в отчаянье хлестнул лошадей и бросил поводья.

«Годори» — текст скорее усложненный, чем сложный. Многоуровневый, противоречивый — и художественно, и идейно, — но тем не менее соотносящийся с сегодняшней реальностью. С жестким рациональным каркасом постоянно взаимодействует, разрушая его, сумма точных, хотя и частных интуиций-прозрений. На стороне последних и переводчик, который с присущим ему артистизмом справляется с таким противоречивым и усложненным текстом. Иногда возникает ощущение, что и писался этот роман по-русски. Возможно, оттого, что уже слишком много общего у русских с грузинами — и хорошего, и плохого. Но именно этот груз прошлого и не дает расстаться окончательно. Сможет ли Грузия, «прошлого не любя, уйти к другому»?

Можно сказать, что «Годори» — это роман обломков. На развалинах империи бессмысленно предаваться стенаниям, искать подлинных виновников и козлов отпущения, в ярости доламывая то, что еще уцелело. Надо убирать мусор и надежно хоронить своих покойников. Стоит напомнить, что в современную эпоху именно грузины первыми начали извлекать покойников из могил. Для жизни необходимо забвение. Ибо ничего нового в ней не происходит. Если бы человечество помнило все безумства, им совершенные, оно давно бы вымерло. Только забвение дает иллюзию новизны и движения. В сущности, определение меры памяти — постоянное и ответственное занятие интеллигенции.

Валерий ЛИПНЕВИЧ.

*

ОРФЕЙ, ЭВРИДИКА И СМЕРТЬ

Алексей Пурин. Неразгаданный рай. Книга стихов. СПб., 2004, 44 стр. (Альманах «Urbi», выпуск 44).

Если книги предназначались знатным лицам, то оне исключительно писались на пергаменте. Переплеты в Ватикане и Урбино были красного бархата с серебряною оправою.

Якоб Бурхардт.

«Неразгаданный рай» — седьмая поэтическая книга Алексея Пурин. Писать в прозе о стихах в общем-то бесполезно, если не вовсе бессмысленно. Даже чисто лингвистические соображения подсказывают, что проза — это искусство высказывания, то есть фразы, а поэзия — искусство слова, не связанного с обиходной риторикой. Слово — Бог, а вот риторика — дело книжников и фарисеев.

Поэзия, в таком случае, — не только «Бог в святых мечтах земли», но и слово о словах, и это хорошо видно на примере Мандельштама и Вагинова.

Поэзия Пурина — при всей его близости и к Вагинову, и к Мандельштаму (не говоря уже о Кузмине) — другое дело. Это поэзия визуальных образов, ставших словами, не утратив при этом своей весомости и, кажется, даже материальной плотности.

Не из кобальта, золота, хрома
создан мощно изогнутый щит;
он — плева, за которой — плерома:
там плывут мириады Плакид.

Он пленительней сладостной плоти,
шире всех представимых щедрот —
этот, рай отверзающий в гроте
и бессмертием дышащий, свод...

*(«Равенна» — из книги 2000 года
«Сентиментальное путешествие»)*

Но по сравнению даже с этой предыдущей книгой в «Неразгаданном рае» рельефнее обозначилась одна характерная особенность поэтического мировоззрения Пурина. В «Сентиментальном путешествии» он спокойно мог написать «В Венецию или Тоскану / Махнуть мне хочется с тобой», здесь же собеседников поблизости нет — кроме провиденциального. И Венеция фигурирует уже сама по себе. Вспомнив «Созвездие рыб» (1996), мы увидим, что там еще мог появиться текст непосредственно о мире, который «весь — из боли-сладости-кошмара-/соли-льда-стеснения-в-груди...», в то время как здесь, в «Неразгаданном рае», даже раздел «Ламентации», открывающийся циклом на смерть Бориса Рыжего, практически весь культуроцентричен. Даже слова:

И никого, никого, никого
вечно любить невозможно —

(«Здесь, во Флоренции, умер Монго...»)

оказываются окружены своеобразной исторической рамкой. Пожалуй, стихи Пурина, несколько не потеряв в качестве и индивидуальности, стали все же тверже и печальнее, интонационно взрослее, что ли. И ближе к Рильке.

Тут можно было бы предъявить Пурину чрезвычайно несправедливое обвинение — в том, дескать, что он явно предпочитает изысканнейшие культурные, если не сказать культурологические, темы «простым» бытовым впечатлениям — ведь, например, у Кушнера в их отношениях царит полнейшее равноправие. Сразу просится на язык слово «высокомерие» и все такое...

Можно проверить это впечатление с карандашом в руках. Итак, приступим. Книга, называемая «Неразгаданный рай», содержит в себе 28 стихотворных текстов, из которых 4 представляют собой переводы из Рильке, а один — цикл на смерть Бориса Рыжего. Остается 23 стихотворения, и тут мы видим, что непосредственно «жизнь» (знать бы еще, что это такое) послужила поводом к написанию всего шести!

Естественно, выводя все эти цифры, я не был искренен. Пруст и Набоков, писатели (прозаики), к опыту которых Пурин чаще всего обращается, ни за что не приняли бы такого разделения. И пусть кто-нибудь укажет такое место на земле, где действительно существует стерильная «жизнь», очищенная от всякого намека на «искусство». Ясно же, что все эти оппозиции в духе Леви-Строса, разводящие по разные стороны баррикад «природу» и «культуру», есть не более чем фикции (в смысле Фомы Аквинского). Когда у Пруста умирающий Бергот рассматривает картину Вермеера, чего здесь больше — искусства или жизни, переходящей в смерть?

Можно сказать и по-другому. Всякое произведение искусства есть разговор с провиденциальным собеседником. Разве не может он служить (через много лет) поводом для нового такого же разговора?

Так что же нам в сокровище подводном,
В окаменевшем чудище морском,
Когда оно объято сном бесплодным
И небеса не молит ни о ком?

(«San Marco»)

Для Пурина, как для Пруста, культура — в самом деле вторая природа. И мы переживаем Париж и Венецию (точнее — *Париж!!!* и *Венецию!!!*) даже сильнее, чем жизненные коллизии, все-таки имеющие свойство повторяться.

«Культурные» отсылки Пурина не имеют ничего общего с постмодернизмом. Ведь постмодернизм, по определению, располагает лишь цитатником из общедоступной классики, смыслы которой понимаются на уровне тургеневской девушки Муму. Спору нет, ее очень жалко. Основываясь на этом добром чувстве, можно переписать сюжетец, получив в итоге живую и здоровую собачку в обмен на утнувшего Герасима. Только эта рокировка не отменяет проигранной партии.

Но давайте лучше об эстетике.

Забавно было бы представить, как выглядели бы книги Пурина, пожелай какой-нибудь сумасшедший издатель привести внешность книги «как артефакта» в соответствие с поэтикой данного автора. К счастью, в книгоиздательском деле как нигде прижилось правило, приписывавшееся Ходасевичем Дельвигу. Я имею в виду сентенцию о нежелательности изображения ухабистой дороги ухабистыми же стихами. И все-таки жаль, что книги не показывают, что у них внутри (кроме разве что книжек с картинками для самого младшего школьного возраста). Жаль, что мы не увидим стихов Пурина с готическими (ренессансными, арабскими?) алыми и золотыми маргиналиями!

Вот, например, стихотворение «Если вновь родиться — на Востоке...»:

...Я любил бы улочек Багдада
путаное, пряное руно —
или стал бы юнгой у Синдбада,
записавшись в первое кино.
В снах моих меня манила б Мекка
и зрачок чернила бы во мне.
Я узрел бы звезды Улугбека
и хромого хана на коне.
И тебя, тебя бы вновь увидел...

Оно вызывает в памяти не столько многочисленные поэтические опыты русского ориентализма (не в последнюю очередь — кушнеровское «Кавказской в следующей жизни быть пчелой...»), сколько — благодаря насыщенности плотными и горячими визуальными образами — облик довоенного издания «Тысячи и одной ночи», закованного в фиолетово-золотые переплеты, покрытые арабской вязью и с фантазмагорическими иллюстрациями Николая Ушина (наш «персидский» вариант Бёрдслея). Мир плавится, стекая каплей меда (ср. «золотистого меда струю» у Мандельштама). И все же вещество, которое вспоминается чаще всего в связи с текстами Пурина, не мед, а его твердый аналог — янтарь. Живое некогда вещество затвердевает, не изменяясь, однако, внешне, и оказывается способным удерживать и сохранять в себе подвернувшиеся частички отошедшей жизни — то муравья, то муху. Так и здесь: мы восстанавливаем прошлое, исходя из того, что сообщают нам произведения искусства.

Русский поэт, по словам Алексея Машевского, — тот, кто пишет о Венеции (а иногда и похоронен там). Итальянские впечатления Пурина вызывают в памяти не тающие тускло-голубые стекла «венеицкой жизни, мрачной и бесплодной» Мандельштама, но парадоксальным образом — многоцветные лотарингские стеклянные чаши Эмиля Галле, с их причудливым населением, сошедшим со страниц то ли Эрнста Геккеля, то ли «Алисы в Стране чудес». Но этот поборник югендштиля прекрасно знает, что было потом и что происходит сейчас:

...Там опять — вулкан
надоевших всем
за века Балкан,

и Кабул горит,
и аул в огне —
неизменный вид,
надоевший мне.

(«Благодать — сидеть на траве, вязать...»)

Некоторые дискутируют о возможности поэзии после Освенцима и ГУЛАГА. Однако возможность искусства после (далее вписать все подходящее из опыта нашего века) — это постоянная тема Машевского, а вовсе не Пурина. Искусство само по себе — ответ на подобные вопросы, говорит нам Пурин. Эта проблема, восходящая к Теодору Адорно, для Пурина вовсе лишена смысла. Не материя, а дух первичен. Не мир — жестокий, а порой еще отвратительный на вид и дурно пахнущий — призван судить искусство, а искусство оправдывает его перед вечностью. В этой системе координат спрашивающий о возможности искусства после Освенцима — жертва аберрации близости. Никто ведь не говорит, что бессмысленно писать книги, если сгорела Александрийская библиотека! Да, конечно, ценность книги (сожженной) несоизмерима с ценностью человеческой жизни, но ведь наш долг перед мертвыми состоит как раз в том, чтобы жить.

«Гармония, — пишет Пурин, — всего лишь умеет ассимилировать и растворять трагедию, переводить ее на эстетический уровень. Зримо, поверхностно трагедийна как раз дисгармоническая литература — искореженная, подмятая тоталитарным мышлением... не способным проникнуть внутрь художественной структуры». («Воспоминания о Евтерпе», 1996). Любопытно сопоставить с этим рассуждением детское воспоминание, мешавшее Мандельштаму принять сталинскую «культуру-2» (согласно Владимиру Паперному) — эта «леди Годива с распущенной рыжею гривой» едва ли не из «моксонского» издания столь оторванного от «жизни» и необязательного для нас, мирных жителей социалистического государства, Теннисона.

И первоочередную заслугу Кушнера Пурин видит как раз в том, что он сумел «наперекор всему (а мы-то знаем — чему) настоять на разумности и коммуникабельности мироздания». Говоря обобщенно, «лирическое переживание... есть балансирование живого на струне экзистенциальной опасности». «Все на свете опасно, пока мы живы», — как говорил, помнится, один из персонажей Честертона.

Не найдя отзýва на страстный зов
у прекрасных уст, кроме смеха
(но ответь, не лучше ли участь сов,
если девичья суть — помеха?),
ты почти исчезла, дитя лесов,
всех живых насмешливых голосов
став лишь отзвуком, нимфа Эхо.

Значит, слышишь: беспечно спешит к ручью
твой смешливый обидчик, нимфа,
где безликую встретит он смерть свою,
где бесцельно в нем вспыхнет лимфа...
И напрасно я рифмой Любовь ловлю —
ни зеркал, ни ауканий нет в раю.
Нам троим не видать и Лимба.

(«Эхо»)

Неправильное понимание жизни ведет к бряцанию, романтизму и Вагнеру, писал некогда Кузмин, правильное — к умиленности св. Франциска и комическим операм Моцарта. Тем не менее и экзистенциальная печаль, заслонявшаяся раньше трагическим, если так можно выразиться, восторгом, проступает в «Неразгаданном рае» по сравнению с предыдущими книгами куда отчетливее. Да и вообще весь тон этой книги, весь строй пуриных текстов стал заметно жестче. О чем, например, написан пуриный «памятник»? Не о том ли, что нам не дано повлиять на вердикт суда истории, но зато определить свои координаты относительно ушедших поколений (даже если это ничего в нашей посмертной участи и не изменит) мы и способны, и должны.

* *
*

Я памятник воздвиг — едва ли ощутимый
для вкуса большинства и спеси единиц.
Живые сыновья, увидев этот мнимый
кумир, не прослезят взыскующих зениц.

И внуки никогда, а правнуки — подавно
в урочищах тщеты не вспомнят обо мне —
не ведая о том, сколь сладостно и славно
переплавлялась боль на стиховом огне.

Слух обо мне пройдет, как дождь проходит летний,
как с тополей летит их безнадежный пух, —
отсылкой в словаре, недостоверной сплетней.
И незачем ему неволишь чей-то слух.

Умру. И все умрет. И гребень черепаший
Меркурию вернет плешивый Аполлон.
И некому, поверь, с душой возиться нашей
и памятью о нас: нам имя — легион.

Капитолийский жрец, и род славян постылый,
и утлый рифмоплет — всё игрища тщеты.
Но, Муза, оцени — с какой паучьей силой
противилось перо величью пустоты.

И, согласимся, в ответ на эти слова ничего не может оказаться пошлее борхесовской гримасы и болтовни о библиотеке, которая кладбище. Далеко не все — кладбище, да и манерные рассуждения о тщете всего сущего (в стиле персонажа Туве Янсон) не требуют ни высокого ума, ни утонченной культуры. Даже не вспоминая об ожидаемом возвращении героического сознания, скажем, что человек, сознающий ответственность за свой дар, продолжает трудиться, не рассчитывая ни на славу, ни, тем более, на своего рода бессмертие. «Назначение стихотворца, — пишет Пурин в „Утраченных аллюзиях“, — состоит не в том, чтобы произнести впечатляющие слова. Оно состоит в том, чтобы самой своей жизнью создать еще один шлакоблок, еще один кирпич для той самой стены, что экранирует человека от вселенского холода и адского зноя. Время и напор пустоты постоянно грызут эту преграду — от Ариона не осталось песчинки... вот-вот рухнут Гораций и Шиллер».

Эстетика, выходит, ничто (перед лицом смерти), зато память — всё. И тут, пожалуй, не возразить. Остается только сказать о тех, кто до сих пор удерживает для нас преграду. В каких-то частностях с Пуриным можно и поспорить: вот, например, Джона Донна вернул из небытия Томас Стернз Элиот едва ли не через триста лет после его смерти; известны и другие открытия, так что время не только отнимает и уносит. Для автора «Неразгаданного рая» одним из важнейших культурных героев был и остается Рильке, к которому он обращается и сейчас. Название книги отсылает к цитате, помещенной в эпиграф: «Rose, oh deiner Widerspruch...», и переведенной Пуриным таким образом, чтобы сохранить внутри фразы имя Райнер. Открываясь словами Рильке, книга заканчивается пуринским переводом стихотворения «Орфей. Эвридика. Гермес»:

Она плыла, беременна собой;
она сама была бездонной смертью
своей, до полноты небытия
своею новизною наливаясь,
как плод бездумный — сладостью и цветом;
желать и знать не надлежало ей.

Книга, называемая «Неразгаданный рай», завершается не чем иным, как напоминанием о той,

что по стезе, привычной ей, обратно
уже, безвольно и неторопливо,
шла в погребальной тесной пелене.

И тут замечаешь, как много в книге сказано о смерти. Нет ли тут противоречия (*Widerspruch*) с названием, ведь преобладающее настроение книги вовсе не соответствует инфантильным аллюзиям слова «рай»? Пурин и сам пишет:

«Чистилищем», «адам», «раем» —
не все ли равно, как звать
тот край за чертой, за краем...

Не состоит ли высшее мужество как раз в том, чтобы действовать (писать, помнить) так, будто наши усилия все-таки отзываются чем-то в мироздании, при этом каждую минуту осознавая, что это, увы, заблуждение, заблуждение?.. И если жизнь неотделима от искусства, причем граница размывается со стороны жизни, то и от смерти она также неотделима, как бы ни обороняла свои рубежи:

И что же тогда под словом
«живу» понимаю я,
когда ледяным уловом
и ртутью небытия
моя осевшая лодка
наполнена до краев —
какую кличкой короткой
назвать теперешний кров?

Узнав, что корабельные доски толщиной в четыре пальца, Анахарсис сказал, что корабельщики плывут на четыре пальца от смерти, сообщает нам Диоген Лаэртский. Нет, поправляет его Антиох Кантемир, от бессмертия.

Владислав ДЕГТЯРЕВ.

С.-Петербург.

*

ГРЕЗЫ О РЕАЛЬНОСТИ

История страны / История кино. Под редакцией доктора исторических наук
С. С. Секиринского. М., «Знак», 2004, 496 стр.
Зара Абдуллаева. Реальное кино. М., «Три квадрата», 2003, 400 стр.
(«Artes et media»).

Внушительный сборник «История страны / История кино» собрал под одной обложкой около тридцати статей. Авторы — в основном историки и киноведы. Общий замысел, объединяющий их, — попытаться взглянуть на историю страны сквозь призму отечественного художественного кино. Идея, безусловно, интересная и нетривиальная. Впрочем, читать статьи было любопытно еще и вот с какой точки зрения. Кино не принадлежит к области традиционных исторических источников. Даже кино документальное, как отмечают многие авторы, всегда включает в себе некий индивидуальный режиссерский замысел — на уровне отбора сюжетов, монтажа и т. д. И вот к этому нетрадиционному, «неконвенциональному», как выражаются западные историки, материалу подступает целый авторский коллектив, и каждый на свой лад пускается в выстраивание основанных на нем исторических интерпретаций. И получается, что сборник примечателен не только тем, что в оборот взят непривычный источник. Отсутствие устоявшейся традиции исследования провоцирует на свободное варьирование методологий. Так что эта книга не только хронологически упорядоченный набор исследований об отечественном кино, охватывающий период от начала XX века до настоящего времени (сразу отметим высокое качество сборника — как в композиционном отношении, так и в том, что касается профессионализма его участников). Это еще и своеобразная энциклопедия тех подходов, которыми оперируют исследователи, стремящиеся выйти за пределы круга устоявшихся в исторической науке источников и традиционных постановок проблем.

Попытаюсь охарактеризовать основные из этих подходов.

В вводной части сборника несколько сравнительно кратких статей призваны показать, в чем состоит ценность кино как исторического источника. За отправ-

ную точку берется известное наблюдение: в современном мире культура текста уступает место визуальной, экранной культуре. И с этим историкам необходимо считаться, ведь сама жизнь все более определяется различными экранами, строится по сюжетным канонам. В известном смысле граница между кино и действительностью становится условной, на что обращает внимание в своей вводной статье С. Секиринский, говоря о «кинематографичности истории».

Но что может дать кино, тем более кино художественное, именно историку? Последний стремится установить достоверные факты, тогда как игровое кино является вымыслом. В случае отечественного кино этот вопрос стоит еще острее, учитывая предельно идеологизированный характер кинематографа в советский период. Так что общие методологические рассуждения упираются в традиционную дилемму насчет реализма художественного произведения. Какие черты реальности способно зафиксировать игровое кино? Размышляя об этом, И. Лапшина пишет: «...привлечение данных видов источников исторического знания (кино и художественной литературы. — В. К.) представляется равно оправданным и необходимым при выяснении культурно-исторических смыслов определенной эпохи, отраженных в индивидуальном художественном сознании, переводящем единичное явление в типичное, наиболее характерное для отдельных социальных групп или социума в целом». Рассуждение вполне в духе «соцреализма», хотя и с использованием современной терминологии. Если посмотреть, каким образом данная методология реализуется в практике предложенных исследований, то можно сделать вот какой вывод. Пытаясь выявить помянутые «культурно-исторические смыслы», значительная часть авторов (с большей или меньшей ясностью формулировок) использует в качестве инструментов анализа психологические категории. Но поскольку психика — это все же свойство индивида, то для того, чтобы придать такого рода предмету обобщенный, «типичский» статус, авторы предпочитают говорить о «социально-психических» явлениях (свойственных определенной культуре, эпохе, группе). Одной из самых распространенных категорий оказывается, разумеется, эклектичное понятие «менталитет» (с удивлением мы узнали даже о существовании науки «менталитетоведение» /О. Усенко/). Другие наиболее употребительные понятия — «психология толпы» (Г. Лебон — широко цитируемый в сборнике автор), «бессознательное» («коллективное бессознательное»), «подсознание», «архетипы» («архетипы массового сознания»), «эмоции времени» (М. Туровская) и — реже — эмоционально-психологически толкуемая «идентичность» (В. Тяжелникова). Все эти психологические и психоаналитические категории в меру приправлены рассуждениями о «мифах» и «мифологиях» (что составляет еще одну отличительную особенность постсоветской гуманитарной науки). Например, согласно В. Багдасаряну, советский кинематограф позволяет выявлять «мифологические категории» «имперского сознания» и особым образом преломляет «фобии массового сознания». В общем и целом — психологизм господствует. Ввиду этого доминирующего психологизма неудивительна высокая популярность у авторов сборника довольно старой работы З. Кракауэра «Психологическая история немецкого кино: От Калигари до Гитлера».

Значительно реже авторы прибегают к социологическим способам анализа, объектом которого оказываются те или иные группы кинозрителей. В сборнике есть весьма интересные работы, связывающие определенный кинематографический стиль с непсихологическими особенностями некоторых социальных групп. Например, в статье И. Ципоркиной популярность фильмов Тарковского увязывается со спецификой освоения и функционирования исторического знания в среде интеллигенции. Т. Дашкова рассматривает фильмы с точки зрения тех нормативов бытового и амурного поведения, которые транслировал сталинский кинематограф. К этому же разряду в какой-то степени можно отнести и реконструкцию ценностных систем и идеологий, вдохновлявших творцов советских кинофильмов. Так, в статье О. Юмашевой довольно убедительно выстраивается параллель между воззрениями евразийцев и тем поворотом к историческому наследию страны, который обозначен в фильме Эйзенштейна «Александр Невский». Кирилл Разлогов, в свою очередь, интерпретирует некоторые особенности «нового русского кино» в связи со сменой поколений режиссеров и социальным статусом современной генерации творцов кинофильмов. Но в целом методологические инструменты социологиче-

ского и нормативно-культурного анализа используются фрагментарно, привлекаемые концепции упрощены и их число немногочисленно (почему-то удивительной популярностью у авторов пользуется учебник А. Мендра «Основы социологии»). В основном история кино накладывается все же на некую «ментально-психологическую», а не на социальную историю страны.

Это ведет к интересному эффекту: собственный категориальный аппарат исследователей «натурализуется» и начинает рассматриваться как внутренне присущий предмету исследования. Так, согласно Е. Кабановой, логика построения фильмов всего постсоветского периода определяется тем, что режиссеры неустанно эксплуатируют «теорию Зигмунда Фрейда» и психологию массового сознания, а не исходят из социально-дифференцированной системы ценностных ориентаций современного российского общества. Со многими остроумными наблюдениями автора можно согласиться (например, по поводу «„необъемного баобаба” русской уникальности»), но с указанным объяснением едва ли. Скорее речь идет, выражаясь в духе того же Фрейда, о «переносе» черт, отражающих состояние исследовательского сообщества, на предмет его интересов. В подтверждение достаточно обратиться внимание на то, что М. Туровская в статье, посвященной фильмам совершенно другой эпохи (речь идет о периоде «холодной войны»), равным образом считает, что в их случае «мы имеем дело с проявлением социал-фрейдизма». В свое время неокантианцы воодушевлялись девизом «Назад к Канту!». Теперь же впору руководствоваться другим: «Прочь от Фрейда!» и обратиться для разнообразия к работам Ф. Брентано, К. Поппера, А. Макинтайра, Дж. Сёрла и многих других, для которых бессознательное (в том числе по Фрейду) — весьма проблематичное или вообще мнимое понятие. Да и без того легко заметить, что если какая-то теория объясняет все, что угодно, то она не объясняет ничего. Работы Фрейда, конечно, составляют важный культурный код для понимания многих художественных произведений XX века (по известным причинам отечественную культуру чаша сия во многом миновала). Но этим они ничем не отличаются от многих других источников, не имеющих к науке прямого отношения.

Вернемся от этих методологических вопросов к общему замыслу сборника. Рассмотрение истории страны сквозь призму кино не достигает, конечно, той степени радикализма, когда элиминируются все другие исторические свидетельства (такой опыт был бы интересен, но в чистом виде едва ли возможен). В итоге кино привязывается авторами к «большой», политической истории; изменения, происходящие с кинематографом, связываются с политическими и идеологическими колебаниями курса страны (особенно показательна в этом отношении статья В. Токарева, посвященная польской теме в конце 40-х годов). Чем жестче идеологический контроль, тем легче, разумеется, такие колебания констатировать. Неудивительно, что самый большой раздел в сборнике посвящен именно сталинскому периоду.

Весьма интересный поворот совершается при переходе к более поздним временам. Место широких и абстрагированных обобщений (таких, как в статье О. Усенко о «немом» игровом кино 1908 — 1919 годов) занимает личный взгляд авторов, непосредственно встроенных в культурный и социальный контекст появления соответствующих фильмов (именно так рассматриваются, например, «шестидесятнические» фильмы М. Хуциева в статье А. Левандовского, фильм «Семнадцать мгновений весны» в статье С. Секиринского). Киноповествование содержит для такого находящегося внутри контекста наблюдателя множество деталей и нюансов, которые не способен зафиксировать «внешний» исследовательский взгляд. В силу этого кино приобретает некий интимный характер (особенно в статье А. Левандовского). Источниковедческий статус кино в этом своем качестве определил во вводной статье редактор сборника С. Секиринский: «Художественные фильмы могут быть, вероятно, практически неисчерпаемыми свидетельствами *о времени и месте своего рождения*, историческими документами, фиксирующими, подчас в скрытой форме, далеко не только одни идеологические стереотипы, политические директивы или *заявленные* их создателями творческие задачи. В этом, наконец, и состоит отличие искусства от публицистики, как и одна из его особенностей в качестве исторического источника». Это хорошая мысль. Но в том числе данный сборник свидетельствует, что об этих незаметных «приметах времени» дол-

жен сперва написать тот, кто их помнит, распознаёт и понимает, иначе сторонний зритель воспримет их как информационный шум, как немотивированные жесты, сцены и сентенции. И приходим мы вот к какому интересному выводу: фильм всегда необходимо описывать, про него нужно *написать*. Иначе все эти приметы времени так и канут в лету, оставаясь невнятным лепетом с экрана.

Вторая из рецензируемых книг — сборник статей Зары Абдуллаевой, в разное время выходявших в журнале «Искусство кино» (статьи, впрочем, не датированы и переработаны для настоящего издания). Все они посвящены кино современному, и вопрос о том, что же есть реального в кинематографе, предстает здесь в совершенно ином свете.

Перед нами не научно-исследовательский жанр, а тот род кинокритики, который можно назвать вкусовым. Сам факт присутствия здесь статьи о фильме или режиссере — уже есть свидетельство симпатии к нему автора. Критике же обычно подвергается аудитория, которая не оценивает полюбившиеся автору фильмы так, как, по его мнению, следовало бы (например, в случае с фильмами В. Пичула, последовавшими за «Маленькой Верой»).

В предисловии говорится, что все представленные в книге статьи повествуют о кино, «которое, как ни странно, возвращает реальность жизни». Из других кратких концептуальных замечаний можно заключить, что именно данные фильмы имеют отношение к некоторой реальной реальности, тогда как в остальном — и фильмы и сама реальность — уже не реальны, представляют собой продукт деятельности прожорливого «медийного вируса». В отличие от прочих эти фильмы сохраняют «ауру искусства», которая, по Беньямину, легко улетучивается в эпоху технической воспроизводимости. Само собой, рассмотренные фильмы относятся к разряду «кино не для всех»; творения фон Триера, Ханеке, Зайдла, Муратовой и т. д., естественно, нельзя отнести к блокбастерам. То есть речь не о фильмах, которые формируют массовое сознание, но о тех, что дают доступ к другой реальности весьма узкому кругу знатоков и ценителей.

Такие фильмы, согласно автору, предполагают особую технику восприятия — «медленное смотрение». Так или нет, но то, что предложенные тексты написаны для медленного чтения, это точно. Дело не в концептуальной сложности, но в том, что логика порождения текстов — несмотря на все наши благожелательные читательские усилия — осталась за границами нашего понимания. В целом из заявленного принципа следует, что автор реализует вполне классическую задачу критика, воспитанного в духе В. Г. Белинского, — выделить в произведении некую реалистическую составляющую (советская критика настаивала, например, на том, что этой составляющей является «типическое в искусстве»), растолковав ее попутно читателю. Мы вполне допускаем, что для какой-то читательской группы собранные в сборнике тексты функцию эту выполняют. Но по отношению к читателю за пределами этой группы они, к сожалению, остаются герметически замкнутыми. Несмотря на то что большинство фильмов, описанных в статьях, нам видеть приходилось, степень понимающего согласия (или отчетливого несогласия) при чтении была практически такой же, как и в тех случаях, когда речь шла о фильмах, которых мы не видели. Фрагменты киножурналистики, связанные со знанием каких-то установок и предпочтений режиссеров и даже актеров, в основной массе растворены в сложной системе ассоциаций, которую если не разделяешь, то никогда и не постигнешь. Помимо этого, тексты перенасыщены отсылками к концепциям, которые, будучи известны в оригинале, почти не поддаются распознаванию в рамках предложенной логики построения статей. Допустим, главную книгу о формальной и трансцендентальной логике, написанную в XX веке, нам читать приходилось, но тезис о том, что фильм «После жизни» Корэ-эда раскрывает «вещи в себе», «если трансцендентальную логику свести с формальной», остается для нас непостижимым.

Вообще одно из главных впечатлений, оставшихся по прочтении всей книги, — сочувствие к автору, которому приходится прилагать огромные усилия, чтобы избежать тривиальностей и банальностей, что, по всей видимости, является тяжелейшим грехом в той самой целевой группе, для которой эти статьи пишутся.

Они в изобилии оснащены отсылками, выдающими осведомленность о том, что уже наговорили всякие «высоколобые интеллектуалы»: про исчезновение реальности, про смерть автора, про неактуальность эстетики прекрасного и т. д. и т. п. Критика обложили со всех сторон, приходится все это преодолевать и по ходу дела отправлять на свалку истории. Вот и выходит, что «все более или менее нормальные (обыденные) трактовки оказываются всего лишь вариациями масскультовой культурологии». Режиссеры также выступают с автором заодно, они над интеллектуалами «издеваются» и вообще посылают в тартарары «испорченность высоколобого зрительского восприятия». Обсуждать эти фигуры повествования — не вдаваясь в избитый социологизм — также довольно тривиально. И все же книга стимулирует вопрос о том, каким же образом киноискусство сегодня может претендовать на, так сказать, «укол реальности», который стремится обнаружить и передать автор.

С большим интересом мы прочли в книге два интервью, в которых этот вопрос, как нам представляется, обсуждается ясно и прямо. Одно из них — с Анатолием Васильевым, и говорит он вещь, которая имеет прямое отношение не только к кино или театру, но и к творчеству критиков: «...мы строили вавилонскую башню культуры разнообразными человеческими усилиями, не достроили, наши языки поссорились, и мы больше не понимаем друг друга. ... Не могут ни театр, ни кинематограф противостать всему залу тотально. Не выйдет, не получится. Времена тридцатилетней давности прошли». В том же ключе рассуждает и Сергей Добротворский, увязывая обморок отечественного кино со «смертью единой имперсональной идеологии». И по поводу реальной реальности выражается вполне точно: «У нас нет ничего, что имеет устойчивый статус в реальности. Я, например, с большим трудом выдерживаю вот что: выходя из дома, я имею привычку выпивать. Через дом есть бар. Я выпиваю день, другой, третий, полгода... А через полгода там оказывается магазин, где торгуют женскими лифчиками». На этот прекрасный пример автор-интервьюер выдает ряд заветных ключевых слов: «Это меняет твое представление о реальности? А о сверхреальности, о суперсоциальности, которая есть устойчивость этого пространства?». И хочется ответить: нет никакой ни «сверхреальности», ни «суперсоциальности». Они есть там, где есть большая идеология. Была в советском обществе, есть она и у идеологизированного, партийного искусства. Например, у левого (легкий флирт, сочувственные намеки на «левизну» проскакивают на страницах ряда статей — отсюда же и Брехт в большом количестве). Но здесь требуется вполне банальная ангажированность, чтобы сказать: реальность — это то-то и то-то, остальное — идеологический морок, иллюзия, самообман буржуазии. А если решимости занять сторону «большой реальности» нет, то остается зафиксированный «суперзвездами» философии и социологии диагноз: мы живем в таком мире, где есть много разных реальностей. И вопрос о реальности в рамках каждой из них тавтологичен. Задавать его — значит провоцировать диалог в духе известного разговора Петьки и Чапаева из романа В. Пелевина:

«— Хорошо, — сказал я. — Я тоже задам последовательность вопросов о местоположении.

— Задавай, задавай, — пробормотал Чапаев.

— Начнем по порядку. Вот вы расчесываете лошадь. А где находится эта лошадь?

Чапаев посмотрел на меня с изумлением.

— Ты что, Петька, совсем охренел?

— Прошу прощения?

— Вот она».

И эту реальность наших множественных миров художник также вынужден моделировать, пользуясь оптикой своего собственного мира, а значит, он делит со всеми остальными эту драматическую ситуацию современности. Очень трудно, но все же иногда удается наладить понимание с людьми, живущими другой реальностью. Однако общих мест в этом мире становится все меньше и встречи такие случаются все реже. «Жаргон подлинности» (Адорно), несмотря на высокую планку своих притязаний и филигранную отделку, решать такую задачу уже не способен.

Виталий КУРЕННОЙ.



МУЗЫКАЛЬНАЯ АПОКАЛИПТИКА ВЛАДИМИРА МАРТЫНОВА

Владимир Мартынов. *Конец времени композиторов*.
[Послесловие Татьяны Чередниченко]. М., «Русский путь», 2002, 296 стр.

Утверждаемая в письменных и устных высказываниях Владимира Мартынова неприемлемость «творчества», то есть своевольной личностной самореализации для православного верующего, и одновременно весьма активная музыкантская деятельность в течение двух десятилетий составляли постоянную интригу для наблюдателя и участника современной музыкальной жизни. И вот наконец в своей четвертой книге музыкальный писатель, исследователь-медиевист-культуролог и известный авангардный (поставангардный) композитор (посткомпозитор) слились воедино: «Конец времени композиторов» — это прежде всего своеобразная религиозная история и теория западноевропейского музыкального искусства. Характерно, что вскоре, в феврале 2003 года, в одном столичном клубе последовала и одноименная музыкальная акция «Зона opus posth//Конец времени композиторов» — мультимедийная авторская инсталляция и фестиваль музыки Мартынова.

Концептуальная оригинальность и значительность данной книги — отнюдь не в типично постмодернистской констатации «конца», каковая мысль сама по себе, как признает и сам автор, «на фоне многочисленных и давно уже примелькавшихся заявлений о смерти Бога, смерти человека, смерти автора, конце письменности, конце истории <...> выглядит вяло, тривиально и тавтологично». Восхищает и поражает глобальность аргументации «смерти композитора», для доказательства которой привлечен, кажется, весь мыслимый арсенал — западное и восточное христианское богословие, восточные религии, всемирная философия и мифология, космология и социология. История композиции вписана здесь в панораму Бытия, которое «может иметь различные интерпретации <...> по-разному переживаться, по-разному раскрываться и видеться».

И соответственно по-разному описываться. Мартыновская музыкально-культурологическая классификация звукового бытия выстраивается главным образом с помощью известной концепции М. Элиаде¹: «Если человеком традиционных культур Бытие переживается как космос, а нововременным европейским человеком Бытие переживается как история, то для христианина первого тысячелетия Бытие открывается и видится как Божественное Откровение». Но Мартынов, как кажется, полностью переосмысляет модель Элиаде, в которой Космос и История составляли два вечных полюса человеческого существования, а вера понималась как некая чудесная искра, или чудо, давшее человеку надежду свободы выбора — выхода из континуума этих двух полюсов, всякий из которых по-своему уничтожает личность. По Элиаде, именно вера породила иудео-христианскую культуру и цивилизацию, основанную на свободе личности.

Как мыслит Мартынов, новозаветное Откровение и История уникальны и единичны. А Бытие-Космос подобен физической Вселенной и существует до тех пор, пока существует «естественное» человечество и практики «космической корреляции», то есть ритуалы. Следовательно, ритуальная музыка была и будет, пока на планете сохраняется традиционный, естественный уклад жизни. Законы Вселенной и Космоса-Бытия едины. «Всеобщая история» для автора — это абсолютно энтропийный процесс «выстывания» или даже «вымораживания» бытия. Основываясь на теории энтропии и инфляционного строения Вселенной, философии Шпенглера и Тойнби, а также воззрениях древних греков и индусов, Мартынов выделяет «фазы» начального единства («Иконосфера») и последующей физической и духовной деградации обществ («Культура — Цивилизация — Информосфера»). Противостоять энтропии традиционный «космический» человек может, только поставив целью своего существования непрестанную корреляцию себя — микрокосма с макрокосмом. Его мышление и стратегии его поведения обусловлены необхо-

¹ См.: Элиаде М. Миф о вечном возвращении. М., «Ладомир», 2000.

димостью ритуалов «вечного возвращения», восстанавливающих начальную целостность Вселенной. Звуковым выражением подобной целостности является некая «мировая гармония», о чем свидетельствуют концепции пифагорейцев и Платона или авторов китайского трактата III века до н. э. «Люйши чуньцю». Ритуальный акт музицирования совершается анонимной, вернее, коллективной личностью и представляет собой «реализацию заранее заданной и известной интонационной модели», пространство этой реализации составляют определенно настроенные звуко-ряды — модели макрокосма. Принцип музыкальной организации, единственно возможный в «пространстве канона», обозначен заимствованным у К. Леви-Строса термином «бриколаж» — «техника манипуляции интонационными или мелодико-ритмическими формулами-блоками», при которой допустимы те или иные их сочетания и варианты, но недопустимы новые формулы, ведь любые своевольные изменения физического звучания вызывают катастрофы метафизической природы, а для этого «способа переживания реальности» физическое и метафизическое нераздельны.

Явления постоянной «партикуляризации» мира на все большее количество «дробных областей и сегментов реальности», отмечаемые Мартыновым вслед за А. Н. Павленко, и все большего отчуждения физического от метафизического были почти на тысячу лет преодолены реальностью Новозаветного Откровения, но затем неизбежно возобновились, что породило новый «цикл фаз» («Новую иконосферу», «Новую культуру» и т. д.). Откровение уходит из этого мира, оставляя после себя все более неодушевленный и пустой Универсум, что, по мнению автора, завершается переходом человечества в фазу «новой информосферы» конца второго тысячелетия от Р. Х. Мимолетное и локальное — всего лишь тысячелетнее — западноевропейское историческое Бытие имело главным своим содержанием «отчуждение Откровения», исчерпание его потенциала. Эта идея — сердцевина концепции Мартынова, для которого существование композитора — «человека исторического», таким образом, ограничено сравнительно кратким временем, а функция композитора есть изживание, «партикуляризация» звукового откровения — богослужебного пения, которому посвящена значительная часть книги. И здесь следует отметить, что работы Мартынова о богослужебном пении — это, на мой взгляд, лучшее, что написано у нас в настоящее время по данной теме. Для «широкого читателя» в них четко и ясно объясняются музыкальные феномены крюкового пения, а специалисты могут получить аутентичные толкования с поправкой на современное музыкантское (и не только) восприятие. С начала 80-х годов Владимир Мартынов является одним из главных пропагандистов старинного православного богослужебного пения, и его книга — свидетельство большого усердного труда: «История богослужебного пения» (М., 1994), «Пение, игра и молитва в русской богослужебно-певческой системе» (М., «Филология», 1997), «Культура, иконосфера и богослужебное пение Московской Руси» (М., «Прогресс-Традиция», «Русский Путь», 2000). В новой книге Мартынов повторяет их основные идеи.

Суть мартыновской концепции богослужебного пения заключается в следующем. Чудесная сила «метаисторического» Нового Откровения преобразила языческий «обоженный» космос «неведомого Бога» в Церковь, «космос обоженный»: «И вот тот Бог, о котором прежде можно было судить только косвенным образом на основании изучения сотворенного им, теперь сам открыл себя человеку...». Но одновременно Откровение было «явлением Метаструктуры», «Бог вычеловечился, чтобы человек обожился», и целью человека — «новой твари во Христе» — является «спасение», выход в иное. Достичь этого можно только уподоблением Спасителю, «теозисом». «Ангельский чин» жизни — аскетические практики «послушания» (молитва, иконопись, богослужебное пение, рукописные книги) — создает пространство «икон», где сквозь человека и мир просвечивает Бог. Богослужебное пение, уподобляющееся ангельскому пению, принципиально монодийно (одноголосно) — так в звуке обрисовывает «синергичное сотрудничество» Творца и твари. «В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, я сказал бы вам „Я иду приготовить место вам“» (Ин. 14: 2). Эти слова Спасителя, подтверждающие необходимое и исходно личностное начало веры и «внутренний неповторимый лик новой твари во Христе», находят звуковое воплощение в методе музицирования, ко-

торый определен автором книги как *varietas* (варьетас). Сам звук исходит из Слова, пение есть «последовательность уподоблений или варьированных повторений изначальных формул-моделей <...> каждое новое повторение изначальной формулы-модели представляет собой некий вариант этой модели, в результате чего возникает не повторение модели, но ее подобие...» (Мартынов, стр. 75). Сочетания попевок-моделей составляют восемь гласов, Октоих, пространство, которое охватывает все «многообразие мелодических структур» и «может рассматриваться как некое акустическое подобие Метаструктуры — Бога Слова, сотворившего этот мир».

Начало разрушения системы богослужебного пения связано с «осевым временем» конца первого тысячелетия, «когда фаза иконосферы сменяется фазой культуры» (стр.138). Суть фазового перехода «сводится к факту утраты целостности Бытия, раскрывающегося как достоверность спасения». Ослабление «силы жития», утрата традиций послушания отразились и в певческой практике. Переход от принципиально устной традиции пения к письменной и, следовательно, явления «рационализации, регламентации и унификации устной практики системы Октоиха» есть, по Мартынову, свидетельство того, что «теперь достоверность спасения начинает нуждаться в подтверждении собственной достоверности посредством рационального обоснования...».

Выход из пространства «иконы» в пространство «произвола» (что, по Мартынову, означает замену «достоверности спасения» хайдеггеровской «достоверностью свободы»), начинается с появлением многоголосия (IX в). Голоса, все менее строго следовавшие за мелодией хора, в органах школы Нотр-Дам (середина XII — середина XIII вв.) обретают максимальную самостоятельность — в них появляются собственно музыкальные разделы, не связанные с пропеванием молитвы. Именно тогда в музыке возникает История: «пространство иконы перерождается в пространство произвола, пространство монодии сменяется пространством контрапункта, а принцип *varietas* превращается в принцип композиции».

Человек, погруженный в исторический поток, обретает себя, только совершая некое «из ряда вон выходящее действие» — «революцию», создавая «новое» через насильственное изменение хода вещей. Результатом этого, в частности, является создание музыкального опуса революционным методом — методом «композиции». Композитор «просто обречен на совершение новационного шага — в противном случае он не будет композитором...». Мартынов резко отрицает «бог вдохновенность» такого музыкального творчества, но уверен: «Свобода, движущая композитором, берет свое начало в отталкивании от христианского Откровения», и вот в этом-то все более сильном отталкивании заключен для него религиозный смысл личности композитора и его трагическая участь: ведь, совершая творческий акт, он тем самым разрушает свое основание, а «утратив точку приложения, свобода уже не может осознаваться как свобода». «Смерть композитора» наступает, когда он совершает «полный и принципиальный разрыв с богослужебно-певческой системой (вплоть до абсолютного вытеснения памяти о ней как о недостижимом нереальном идеале)». «Композитор — это личность, через которую осуществляется расцерковление мира <...> назначение композитора заключается в осознании и фиксации каждого нового неповторимого момента расцерковления в виде *opus'a*. Оказавшись в условиях полностью расцерковленного мира, композитор лишается своего религиозного призвания и предназначения».

История композиции предстает для автора как ряд «музыкальных революций» — резких смен систем сочинения, предрешенных самой природой метода: «Готическая революция» XII века, *Arg nova* и «эвфоническая революция» XIV века, «гомофоническая революция» рубежа XVI — XVII веков и «симфоническая» XVIII — исчерпывающе охарактеризованы Мартыновым и в чисто звуковом своем аспекте (изменение отношения к звуку, изменения строев и ладов, принципов организации музыкального времени, музыкального склада, способов организации целого (формы) и способов нотации), и с точки зрения музыкальной эстетики, и в контексте всей культуры (изменения «отношения к богооткровенной истине» в богословии, смена «онтологических оснований» философии, социальных устройств, типов архитектуры, научных парадигм и др.). Музыкальная и общекультурная инволюция от сверхчувственного к чувственному и иллюзорному, от уподобления к подражанию,

представлению, изображению и выражению, от объективного к все более субъективному имеет, по Мартынову, духовное содержание постепенного опускания уровня — качества молитвы. Момент, когда молитва стала невозможной, так как окончательно утратилась «достоверность спасения», обозначен ницшеанским «Бог мертв», и, таким образом, с конца XIX века заканчивается как История-Бытие, так соответственно и «время композиторов».

Процессы, происходящие в «серьезной» музыке в эпоху цивилизации и в особенности в XX веке, описываются Мартыновым как коллапс принципа композиции. Серийный метод Шёнберга и сериализм Булэза и Штокхаузена, также как и «карнавал композиторских индивидуальностей» 60 — 70-х (конкретная музыка, электронная музыка, музыкальный театр, музыка действия, алеаторика, сонористика, стохастика и др.), являют для автора примеры все большей непрочности, недолговечности звуковой новизны, «симптомом агонии». Создание американскими композиторами так называемой формы «mobile», или «открытой формы», упразднило саму обязательность «последовательного и изначально заданного музыкального материала», то есть целостной структуры. Разрушение же единой системы линейной нотации, появление индивидуальных, условных нотаций, наконец, возможность полного отказа от записи музыки с появлением электронных носителей — это для Мартынова явления распада нотного текста как физического субстрата акта композиции, отдельной «вещи». Внутренний кризис принципа композиции и ряд внешних явлений, таких, как усиление интереса музыкантов к фольклору, появление «некомпозиторских», «нетекстовых» музыкальных систем джаза и рока, «привело к фундаментальному изменению музыкальной картины мира. Композиторская музыка лишилась монополии на владение музыкальной истиной и теперь вынуждена делить право на эту истину с целым рядом других систем и направлений».

С фазовым переходом человечества в «информосферу» возникает время хайдеггеровской «мировой ночи», того самого «выствывания Бытия», находясь в котором еще можем прозревать Космос, Откровение и Историю, но не способны быть к ним причастны, находясь в ином, более низком, «температурном режиме». «Те же, кто продолжает писать музыку, не считаясь со всем этим, не считаясь с судьбой, лишь тешат свои желания и умения» (стр. 238). Гегелевский «приговор искусству» и вопрос Хайдеггера об «окончателности гегелевского приговора» — центральные идеи Мартынова, но, по его мнению, «идеи конца истории и конца искусства не должны восприниматься в мрачных «апокалиптических» тонах, ибо и история и искусство, быть может, представляют собой всего лишь формы уже исчерпавшего себя способа совершения истины».

Тем не менее традиция европейского музицирования нашла свое продолжение в некомпозиторской или посткомпозиторской деятельности, сущность которой, как недвусмысленно показывает Мартынов, состоит в попытке достичь некоего «космического», естественного звукового состояния. Джон Кейдж, который «принципу композиции... противопоставляет принцип случайных процессов, принципу вещи — принцип потока», был, таким образом, «первым реальным некомпозитором». Окончательное «крушение гегемонии композиторской музыки» происходит в творчестве американских минималистов (Райли, Гласс, Янг, Райх), так как «практически все они так или иначе стали профессионально осваивать некомпозиторские музыкальные системы» (индийскую классическую, традиционную африканскую и индонезийскую и т. д.) и, значит, «учиться корреляции с Космосом, Ритуалу, канону и бриколажу». Репетитивная техника минимализма (*repeticio* — *ит.* повторение), как и «принцип репетитивности», распространяемый автором и на стили «новая простота» и «новая искренность», воплощают принципы «повторения и припоминания» (тут автор ссылается на мнение замечательного композитора В. Сильвестрова), «противостоящие осуществлению новационного шага». Так, по Мартынову, создается пространство нового канона. Из музыкантов последнего времени Мартынов упоминает А. Батагова и С. Загния, в чьих сочинениях «производятся некие манипуляции с уже существующим, вполне сформированным материалом» и «имеет место беспрецедентное самоустранение фигуры композитора».

К принципиальным «некомпозиторам», конечно, относится и автор данной книги, формирующий в своей музыке с 1984 года идею *Opus posth.* В небольшом

послесловии Т. Чередниченко, стоящим, впрочем, иных аналитических монографий, дается последовательное представление о Владимире Мартынове как о музыканте, стимулом деятельности которого является «представление об истории музыки как материале для возможного нового канона». Этот «канон», будь то христианское богослужбное пение, музыка композиторов-романтиков или камерные сочинения венских классиков, и создает пространство «посткомпозиции», в котором с помощью (в основном) техники минимализма реализуются мартыновские «творческие акты»...

Логическая и риторическая составляющие мартыновского текста, как и его убежденность, успешно способствуют стремлению создать концепцию внутренне целостную, но при этом, как мне кажется, удручающе одностороннюю. Так, из утверждения о непрерывной энтропийности духовной жизни следует, что процесс, обратный утрате Откровения, невозможен? Да и само Откровение предстает (как получается по логике текста) как некая субстанция — энергия (Благодать), однажды дарованная человечеству и с тех пор только (!?) изживаемая им без всякой надежды на ее восполнение (не говоря уж о прибавлении). Неужели Благодать имеет какое-то пусть невообразимое, но «количество» и может закончиться, что и произошло, судя по этой книге, в период «новой цивилизации»? Действительно ли все иссякало с течением Истории возможность личной веры, «синергийного сотрудничества» Творца и твари? И как же быть с возможностью участия Промысла в мире, возможностью, дающей надежду на дар Благодати (музыкальной, например) как подвизающемуся в исихии, так и далекому от жестких аскетических практик человеку?

Вследствие этого еще большее недоумение вызывает откровенно негативная авторская оценка «свободы» и «творчества» (любого вне строгой молитвенной практики?) лишь как «акта произвола», «отпадения», «насильственного изменения», «отталкивания» и т. д. Ведь очевидно, что может существовать и совершенно иное отношение к данной проблеме. Не вступая в подробную дискуссию, приведу точку зрения Олеси Николаевой — известной поэтессы и современного православного мыслителя, в центре внимания богословских трудов которой также находится вопрос совмещения веры и творчества. Так, в ее книге «Православие и свобода» (2002), в частности, утверждается: «...и в Церкви, и в христианской культуре совершается сходный процесс богоподобного человеческого творчества, цель которого — создание „новой реальности“, и прежде всего — в глубинах души человеческой; чаяние нового неба и новой земли (ср.: Откр. 21: 1), Царства Божьего, преображение себя и мира». В этом труде на многочисленных примерах рассматривается «способность к творчеству как богоподобию», талант и новаторство — как «Божий дар», «творчество как подвиг веры».

Мартыновская история неумолимой духовной деградации западной музыки, хотя автор подчеркивает, что не претендует на оценку внутреннего религиозного чувства отдельного человека и говорит только о результатах, вызывает множество недоумений при обращении от абстракции таблиц и схем к творчеству конкретных композиторов. Так, никак не могу примириться с тем, что музыка Палестрины (XVI век), который совершил радикальный отказ (по Мартынову — «новацию») от интеллектуализма и изысканности раннего «эвфонического» стиля ради ясности звучания слов молитвы, есть непременно «вырождение» и «простая» «чувственная» «эвфония благозвучия». При этом только наиболее полное подчинение фантазии правилам техники так называемого «вертикально-подвижного контрапункта» (или по-мартыновски «беспрецедентное самоустранение личности») обеспечивает приемлемый в этом стиле художественный результат (наверное, именно поэтому этой технике до сих пор обязательно учат музыкантов). И как это соотносится с декларируемым автором постоянным историческим расширением «пространства произвола»? А разве для Моцарта «богооткровенная истина теряет свою необходимость и превращается в гипотезу, в которой... не нуждается историческая картина мира», когда он финале 50-й симфонии («Юпитер») совершает небывалое, оборачивая музыкальное время вспять, *объединив* принципы формы фуги и сонатной формы (это что — «революция?»), каковые принадлежат разным историческим типам музыки (полифонии и гомофонии)? Да еще в главной теме использует «мотив креста»? И неужели уж совсем отчаянно «обманывал» себя религиозный композитор, всю

жизнь служивший в церкви, и в то же время — патриарх музыкальных новаторов XX века Оливье Мессиа́н?

Мартынов, на словах допуская существование «различных способов совершенства истины», тем не менее видит для европейских музыкантов единственный источник материала — так называемый «григорианский хорал». Чем же была тогда музыка европейских протестантов и, к примеру, музыка Баха, основанием своим имевшая собственное «богооткровенное пение» — лютеровский хорал? А разве «серьезная» музыка жила в некоем стерильном пространстве высоких жанров и состояла из мессы, мотета, оперы, симфонии и т. д.? Конечно, «красиво» и «высоко» находить исток «композиторского творчества» непременно в григорианском хорале и «отталкивании» от него, но разве в европейской музыкальной «композиторской» истории ничего не значили фольклор, полуанонимная бытовая музыка, светские жанры, представляющие собою типы «профанного» музицирования, кстати, ранее блестяще описанные автором и наряду с европейской композицией жестко противопоставлявшиеся богослужебному пению (см.: В. Мартынов, «Пение, игра и молитва...»)? Как классифицировать композитора, одновременно сочиняющего «легкую» песенку и мессу, танцевальную сюиту и симфонию? Где тут участник «игры», а где лицо «религиозно избранное», тем более если музыкальный стиль один и тот же?

Мартыновское утверждение приоритета «новации», «революционности» для композиторов происходит, как мне кажется, из его неискоренимого «романтического» культурного мироощущения. Именно для романтиков XIX века характерно было понимание творчества (в том числе и музыкального) как непрерывной новации и личного самоутверждения. Новое самосознание нуждалось в историческом подтверждении. Так был создан романтический «иконостас» — ряды великих композиторов (к примеру, общеизвестный «Бах — Моцарт — Бетховен — Шуберт — Шопен»), представляющие музыкальную жизнь как непрерывное обновление и отрицание предыдущего. Все остальные тысячи композиторов-традиционалистов являлись, как типично по-романтически сформулировал автор книги, «жалкими плагиаторами», способными «лишь подражать уже созданному» новаторами (в советском варианте, заметим, — «бунтарями-революционерами»²). Своеобразной компенсаторной идеей XIX века было понимание истории как некоего чисто объективного процесса, и мартыновское описание «музыкальных революций» — этапов духовной инфляции, происходящих независимо от желания и личностей отдельных композиторов, явно перекликается с гегелевскими идеями развертывания «объективного духа», «прогресса духа в сознании свободы» и т. д. В связи с этой идеей хочется отметить некую двусмысленность в отношении автора к своим коллегам-композиторам. Так, они, с одной стороны, упорствуют в личном тщеславии, не желая «смириться с судьбой» и перестать сочинять по-европейски, а с другой стороны, они не виноваты, происходит объективный процесс, их время, сожалеет Мартынов, просто «кончилось», а наступило ужасное «время портных и парикмахеров»... И стало быть, неизбежно пришло время «посткомпозиторов»? Не служат ли подобные высказывания и идеи обоснованием сугубо личных музыкальных пристрастий автора, прием, как показано выше, чисто «романтический» (и в какой-то мере «советский»)? Из романтизма же выходит и сомнительная идея исключительности, «религиозной избранности» композитора, хотя она и приобретает в личном духовном опыте автора оценку противоположную романтической.

Впрочем, многие возражения к содержанию отпадают, если попытаться понять, что же есть эта книга, заглянув за фирменную для ее автора маску академического «культурно-философского исследования». В этом, опять же, очень помогает послесловие Т. Чередниченко, которая убеждена, что «при всей важности идей, изложенных в его книгах, они являются лишь эхом его авторского музыкального мира». При таком угле зрения «Конец времени композиторов» есть не что иное, как «творческая акция» и творческая концепция. Словесно-художественное созда-

² Один из вариантов романтически-советского мифа об истории композиции как-то радостно сформулировал мне двенадцатилетний ученик: «Все композиторы были величайшие новаторы и реформаторы, родились в бедности, боролись с судьбой, умерли непризнанными в нищете, и о них забыли на сто лет».

ние «посткомпозитора» Мартынова несет в себе ясные отпечатки его музыкального стиля. Тут и типично постмодернистский, эклектичный всемирный контекст идей, привлекаемых для доказательства, казалось бы, христианской концепции: Новый и Ветхий Заветы мирно соседствуют с современными физическими теориями (как, например, грехопадение и Big Bang), идея «заката Европы» Шпенглера и учение об «абсолютной идее» Гегеля — с воззрениями анонимных авторов «Люнь-Чуйцы», структурализм К. Леви-Строса — с астрологическими толкованиями созвездия Рыб. И характерное для постмодернистского мифа стремление к четкой классификации, сочетающееся с произвольной трактовкой понятий и терминов³. И чисто постмодернистская идея «конца» и «смерти» композитора». И четкая средневековая модель (канон?) музыкального трактата, с его «общей» частью, где необходимы и вопрос о сути музыки, и миф о ее зарождении, и ее некая хронология (отметим в книге наличие этой собственной, «новой хронологии»), а также со «специальной» частью⁴. И при этом чисто мартыновский «минималистский» способ письма — словесный поток, состоящий из непрерывно обновляемых и, кажется, бесконечных повторов, делающих проблематичной исчерпывающую и целостную цитацию.

В современной российской музыке происходит возвращение из пространства советского музыкального мифа к миру реальному, все более сложному. Свидетельством чему, если взять к примеру только московскую концертную жизнь, — музыка множества замечательных, совершенно разных современных академических композиторов: А. Вустина, Н. Корндорфа, А. Раскатова, В. Тарнопольского, С. Загния, А. Киссельман, В. Николаева, С. Екимовского и еще многих других. Среди них свое особое место занимает и Владимир Мартынов — «мыслитель, доказывающий, что время композиторов (а с ним и вся история европейской высокой профессиональной музыки) исчерпано», и музыкант, который, опять сошлось на мнение Т. Чередниченко, «является выдающимся композитором — явно но завершителем эпохи, а открывателем впечатляющих, обнадеживающих, радостных горизонтов».

Наталья КУРЧАН.

КНИЖНАЯ ПОЛКА ДМИТРИЯ ШЕВАРОВА

+10

Виктор Астафьев, Евгений Колобов. Созвучие. Вступительная статья Валентина Непомнящего. Москва — Иркутск, «Новая Опера»; Издатель Сапронов, 2004, 304 стр.

Когда я только взял в руки эту книгу, мне вдруг увиделась далекая зима, Свердловск, сумерки в университетской аудитории, где за окном сквозь снег манит огнями здание оперного театра — воздушное, почти неземное. Как раз в то время, в

³ Пространные и подробные размышления автора полностью укладываются в столбцы таблиц книги, твердые рамки которых не оставляют места для промежуточных явлений (см. стр. 83, 169). И так, фольклор — это только канон, а композиторская музыка — только произвол, богослужбное пение — только в пространстве иконы. А термин «варьетас», характеризующий тип бытования звука в пространстве иконы, взят из трактата XV века, то есть из совершенно другого столбца таблицы, из времени композиторов и пространства произвола...

⁴ Только «художественной» задачей могу себе объяснить нарисованный в данной книге образ музыковеда как ученого, обязательно подверженного «историко-» и «европоцентризму», бесконечно анализирующего одни и те же великие сочинения великих композиторов и выстраивающего «филогенетические концепции», не замечая звукового разнообразия окружающего мира. А ведь автор, интересовавшийся некомпозиторскими практиками, не мог не читать труды современных российских музыкальных этнологов и медиэвистов, как раз посвященные тем самым практикам? Кто, как не музыковеды, Ю. Евдокимова или М. Сапонов, которых он цитирует?

конце 70-х — начале 80-х годов, главным дирижером театра был Евгений Колобов. В него был влюблен весь город. Его постановками, его обаянием была освещена тусклая нищета тех лет, когда, чтобы купить в магазине бутылку молока, надо было вставать в шестом часу утра. Но была музыка, тонкая фигура дирижера, трепет его рук над оркестром! И осталась навсегда в душе и музыка, и щемящая любовь к тем вечерам на галерке, к взволнованному дыханию внимающего зала, к возвращению из театра с благодарным, омытым высокой нежностью сердцем.

Знакомство Виктора Астафьева и художественного руководителя Новой оперы Евгения Колобова было кратким — всего пять-шесть лет. Всего несколько личных встреч и телефонных разговоров, ведь один жил в Красноярске, другой в Москве. Но дружеское расположение и художественное родство писателя и дирижера оказались столь велики, что их недолгое общение стало событием для отечественной культуры. Причем событием, которое длится до сих пор, открывая нам в новом свете дарования двух прекрасных людей.

В книге «Созвучие» гармоничное целое составляют проза Виктора Петровича о музыке и размышления Евгения Владимировича Колобова. Тут же — предисловие нашего выдающегося филолога и пушкиниста Валентина Семеновича Непомнящего. К книге приложен компакт-диск с записью любимой музыки Астафьева в исполнении дивного, несравненного оркестра Новой оперы.

Среди опубликованных в книге «Созвучие» рассказов Астафьева такие его шедевры, как «Ясным ли днем», «Зорькина песня», «Далекая и близкая сказка», «Песнопевница», «Есенина поют», «Ария Каварадосси», «Хрустальный звон», «Аве Мария»... Среди записанных на диск произведений (почти все они исполнены в оркестровке Евгения Колобова) — сокровища мировой музыкальной классики: «Адажио» Т. Альбини, «Ave Maria» Дж. Каччини, фрагмент «Реквиема» Дж. Верди, «Вокализ» С. Рахманинова, «Романс» Г. Свиридова...

Иркутский издатель Геннадий Константинович Сапронов, представляя книгу в Новой опере, рассказал со сцены: «Идея книги родилась в этом театре, когда после ухода Астафьева я однажды приехал в Москву и пришел сюда на спектакль. Потом мы сидели вместе с Евгением Владимировичем, вспоминали Виктора Петровича, и нам пришла мысль собрать вместе все написанное им о музыке и добавить к этому диск с его любимой музыкой... Потом мы вместе ехали на поезде через всю страну, в Сибирь и по дороге обсуждали, что отберем, что запишем... Я благодарен театру, который выполнил завещание Евгения Владимировича и записал этот диск. Сегодня утром я поехал на Ваганьковское кладбище, шел дождь... Поклонился Евгению Владимировичу. Он смотрел на меня с портрета с радостной грустью. Я сказал: „Женя, мы сделали то, о чем ты мечтал... Сегодня в твоём театре прозвучит твоя великая и вечная музыка“».

У Евгения Владимировича была еще одна мечта, еще один порыв душевный, связанный с поминанием Астафьева. В день 80-летия писателя Колобов хотел приехать с оркестром в Овсянку и исполнить на берегу Енисея «Реквием» Верди.

Произожди это событие, возможно, удалось бы избежать всей той «клеветы обожания», которая нахлынула нынче в бедную Овсянку вместе с показной бронзой, асфальтом и бетоном.

В саду «Эрмитаж», рядом со зданием Новой оперы, прижилась сосенка, привезенная Евгением Колобовым несколько лет назад из Овсянки. Когда они с Астафьевым говорили по телефону, Виктор Петрович всегда спрашивал: «Как, растет сосенка?..»

Сосенка подрастает...

А. В. Книпер. «...Не ненавидеть, но любить». Стихи. Воспоминания. Кисловодск, Театр-музей «Благодать», 2003, 247 стр.

Анна Васильевна Книпер (в первом браке — Тимирева) родилась 18 июля 1893 года в Кисловодске в семье известного педагога и дирижера, многолетнего директора Московской консерватории Василия Ильича Сафонова. Умерла в Москве 31 января 1975 года. Талантливый поэт, художница и мемуарист, Анна Васильевна, увы, известна большинству читателей лишь как легендарная возлюбленная А. В. Колчака.

Ее действительно необычная биография в последние годы пользуется пристальным вниманием не очень щепетильных и весьма легкомысленных литераторов. Тиражируются сплетни и домыслы, запросто перелицовываются подлинные документы, беззастенчиво используются воспоминания и письма Анны Васильевны, выходят беллетристические сочинения, написанные от лица... Анны Васильевны. (Яркий пример такого произвола — детектив Валентина Ставицкого «Замерзшие ландыши», изданный в 2003 году загадочным МООС «ЭзиОС».)

И все публикации вертятся вокруг прибыльного сюжета, вокруг отношений Анны Васильевны и знаменитого адмирала. До трагической судьбы замечательной русской семьи Сафоновых никому дела нет.

Книга «...Не ненавидеть, но любить» возвращает нас к чистоте и подлинности. Ее составитель Илья Кириллович Сафонов (племянник Анны Васильевны), по образованию инженер-связист, много лет оставался последним хранителем памяти и духовного наследия большой, многогранно талантливой семьи Сафоновых. Его трудами были опубликованы воспоминания А. В. Книпер о А. В. Колчаке (М., «Прогресс», «Феникс», 1990), вышел в свет сборник писем и документов «Милая, обожаемая моя Анна Васильевна...» (М., «Русский путь», 1996)¹, в Бутове прошла выставка работ сына Анны Васильевны, художника Володи Тимирёва, расстрелянного в 1938 году в возрасте 23-х лет.

В книгу «...Не ненавидеть, но любить» вошли более ста впервые публикуемых стихотворений Анны Васильевны, ее воспоминания «Дом, семья, детство», репродукции акварелей Володи Тимирёва, фотографии из семейного архива. Среди них — поразительный по красоте и забытому нами семейному ладу снимок «Сафоновская лесенка»: родители и дети стоят шеренгой, выстроившись по росту и возрасту, от крохотной малышки в белом платьице до студента в пенсне.

Публикацию стихов предваряет внимательный обзор поэтического творчества Анны Васильевны в статье Бориса Горзева «Argumentum contrario — доказательство от противного».

Свой лирический дневник Анна Васильевна вела и в лагерях, и в ссылке, везде, где она могла раздобыть карандаш и клочок бумаги.

Хорошо бывает уснуть
На холодной жесткой земле
После долгой и тяжелой работы
Рядом с сонным и теплым быком
Под шатром сияющих звезд...
Как же будет отраден сон
Глубоко под доброй землей
После длинной и трудной жизни...

(1946)

Заключает книгу очерк «Семья», написанный И. К. Сафоновым. Это строго документальное повествование с каждой прочитанной страницей вырастает в реке. И не только семье Сафоновых, а всем загубленным, безвестным, канувшим в лихолетьях двадцатого века.

«...Десять детей было в семье Сафоновых. Казалось, такое мощное дерево станет родоначальником роши, которая в свою очередь принесет новый урожай... Мне бы расти в окружении по крайней мере десятка кузин и кузенов, а уж число племянников даже не пытаюсь вообразить. Но нет... Можно пуститься в анализ причин феномена крушения семьи Сафоновых, но факт остается фактом: вместо того, чтобы увеличиваться, расти, она готова совершенно исчезнуть. Да, всего лишь два побега дало мощное древо Сафоновых на моем уровне, двух внуков: меня и Володю Тимирева, да и то одного из нас тирания уничтожила.

...Сегодня нет никого из семьи Сафоновых старше меня. За окнами плющи-хинской квартиры мелькают шуршащие автомобили, снуют озабоченные граждане — все так обыденно. Но стоит отойти от окна, и замершая за стеной комната

¹ См. рецензию на нее Юрия Кублановского («Новый мир», 1997, № 6). — *Примеч. ред.*

гасит законный шум, выключает сегодняшний день и переносит меня совсем в другое время: будто бы окликает меня из кухни тетя Аня — „И-лень-ка, подойди-ка сюда...”

Что же происходит здесь, чем объясняются эти путешествия во времени, где отличия этой комнаты от других, для меня обычных? Да нет в ней ничего особенного — здесь не музей и не храм, такой же поток быта, как в любой московской квартире, осаждается здесь илом узнаваемых мелочей. Главное — во взаимодействии всего, что есть в этой квартире, с памятью, с сознанием. А уж они-то легко откликаются на едва слышимые намеки предметов, рассыпанных там и здесь...»

Илья Кириллович с детских лет, с 1943 года, жил на Плющихе, где была квартира его тети (еще одной из сестер Сафоновых — Елены Васильевны). Она нашла маленького Илюшу в Иванове, куда он попал после гибели родителей из блокадного Ленинграда. «С тех пор Плющиха стала моим убежищем, — пишет Илья Кириллович, — родиной, а ее имя — моим паролем, талисманом, заговором, оберегом — центром жизни».

И. К. Сафонов в последние годы возглавлял историко-краеведческое общество «Моя Плющиха». Как горько, что приходится так писать — «в последние годы». В начале нынешнего страшного августа Илья Кириллович погиб в автокатастрофе под Сергиевым Посадом. Его похоронили на Ваганьковском кладбище в семейном некрополе Сафоновых.

О Плющихе и ее старинных жителях он оставил рукопись воспоминаний, которая ждет своего издателя.

Сергей Дурылин. Нестеров в жизни и творчестве. М., «Молодая гвардия», 2004, 541 стр. («Жизнь замечательных людей»).

Сухая аббревиатура «ЖЗЛ» отзывается во мне воспоминанием о дедушкином шкафе, где стояли все тома «ЖЗЛ», начиная, кажется, с горьковских времен. Среди них была и книга Сергея Николаевича Дурылина — впервые она издана в знаменитой биографической серии в 1965 году.

Новое издание, третье, переработанное и дополненное, на тринадцать страниц толще прежнего. Такая чуточка разницы неприметна, если смотреть на корешки, но для вдумчивого читателя — это событие. Искусствоведы В. Ф. Тейдер, В. Н. Торопова и сотрудники мемориального Дома-музея С. Н. Дурылина (Болшево) восстановили в книге страницы, ранее попавшие под цензурные сокращения. Эти страницы касаются подробностей работы М. В. Нестерова на лесах соборов в Москве, Киеве, Сумах...

«В глазах самого художника лучшее, что он сделал в области *церковной* живописи, были образа собора в Сумах... Образа Сумского собора — *последняя* церковная работа Нестерова» (курсив С. Н. Дурылина. — *Д. III*). Огромная часть работ Нестерова как церковного художника оказалась нынче за пределами России. И не только Киев и Сумы, но Гагры, Новая Чартория, Абастумани.

Высокогорное селение Абастумани находится на высоте двух тысяч метров. Здесь по инициативе тогдашнего наследника русского престола цесаревича Георгия Александровича (большой цесаревич последние годы жизни провел в Абастумани) была построена первая в России горная астрофизическая обсерватория, поныне прекрасно известная астрономам. На средства великого князя Георгия Александровича и по проекту художника Симансона в Абастумани был возведен православный храм в грузинском стиле, расписывать который и был приглашен Нестеров.

В этом году исполнилось сто лет с того дня, как Михаил Васильевич Нестеров закончил росписи в абастуманском храме Александра Невского. Первую всенощную служил в нем 3 июля 1904 года экзарх Грузии Алексей. «Церковь была во всем параде, — вспоминал позднее художник. — Горели сотни свечей... Я переживал вторично то, что перечувствовал когда-то за всенощной накануне освящения Владимирского собора».

Нестеров исполнил в храме более пятидесяти монументальных композиций. Как пишет С. Н. Дурылин, «по объему работы Нестерова в Абастумани превосхо-

дят работы любого из художников, единолично и собственноручно трудившихся в русских храмах в XVII — XIX столетиях». Тут интересно вспомнить, что во всех строительных и хозяйственных работах первыми помощниками художника были солдаты и офицеры Тенгинского гренадерского полка, стоявшего неподалеку. Пять лет жизни (1899 — 1904) Нестеров отдал Абастумани.

На стенах храма остались в вечном соседстве святой благоверный князь, защитник русской земли, и равноапостольная Нина. Как жаль, что сегодня и в Грузии, и в России политика затаптывает всякую культурную память. Кто сейчас в Грузии вспоминает о Нестерове? О первом настоятеле абастуманского храма о. Константине (Рудневе)? Или о великом князе Георгии Александровиче Романове?

А у нас об Абастумани вспомнили лишь однажды, года два назад, когда прошла информация, что туда якобы ушли чеченские боевики.

Но верится, что и сегодня кто-то утешен в абастуманском храме нестеровскими фресками.

Александр Яшин. Слуга народа. Поэзия. Проза. Вологда, «Книжное наследие», 2003, 695 стр.

Книги Александра Яшина не издавались в России лет пятнадцать.

Сейчас уже трудно восстановить контекст эпохи и понять, какое огромное впечатление Александр Яковлевич производил на современников. Без сомнения, он был одной из ключевых фигур русской литературы середины прошлого века. Вспомним, что дружескими отношениями с Яшиным дорожили Пришвин, Чуковский, Симонов, Паустовский, Тендряков и многие, многие...

Когда меня сгибают неудачи,
 Растерянность душой овладевает,
 Бессонница и страх, —
 Бывает все! —
 Я вспоминаю о хороших людях,
 О тех мне близких
 И не очень близких,
 А просто повстречавшихся в дороге...
 И мне становится легко на сердце,
 Ну, не совсем, быть может,
 Но спокойней,
 И хочется еще пожить на свете,
 Полюбоваться небом и землей.

Александр Исаевич Солженицын сидел в больничном коридоре у палаты умирающего Яшина и писал ему письмо — в надежде, что тот еще сможет его прочитать...

Увы, нет до сих пор серьезной, вдумчивой книги о Яшине. Недавно тихо миновала юбилейная дата, девяностолетие Яшина, и наконец-то вышли две его книги. Первая называется «Живая вода» (М., «Русская книга», 2003) — по названию послевоенной яшинской книги лирики, которая была набрана в 1947 году, но в свет так и не вышла. Вторая, «Слуга народа» (по названию одной из самых сильных повестей Яшина), издана на родине поэта, в Вологде.

В эти книги, бережно подготовленные дочерью писателя Наталией Александровной, вошла не только яшинская классика. Здесь нам приоткрывается новый Яшин. Скажу подробнее о вологодской книге, поскольку московское издание по понятным причинам доступнее.

Вологжане впервые без купюр опубликовали повесть «Баба-Яга», задуманную Яшиным еще в 1960 году. Это история о деревенской старухе Устине, прозванной председателем колхоза Бабой Ягой за то, что она, живущая одна-одинешенька в заброшенной деревне на острове, отказывается покидать остров и растит свой огород без руководящих указаний партии. Яшинская повесть во многом предвосхитила «Прощание с Матерой» Валентина Распутина, но при жизни автора не появилась в печати. В 1969 году ее планировал опубликовать Твардовский в «Новом мире», но вскоре он вынужден был уйти из журнала, и набор рассыпали.

Здесь же, в вологодской книге, переиздана другая выстраданная и провидческая повесть Яшина — «Слуга народа». Она появилась только в 80-е годы в журнале «Москва».

Впервые публикуются фрагменты из дневников Яшина последних лет жизни. Читая эти записи, порой кажется: это же про нас, про то, что мы переживаем. Из дневника А. Яшина (2 апреля 1962 года, Дом творчества писателей в Ялте): «Без конца болтают... О чем? Кто что вспомнит из вычитанного из западной литературы, из узанного о загранице, об американском кино, о кинозвездах... Анекдоты, хохмы о королях, о принцессах... Слушаю, слушаю и ухожу... Хоть бы что-нибудь доброе о нас. О России — не в сочинениях, не для вечности, а так, в простом человеческом разговоре...»

Вспомнилась мне сейчас одна из командировок на вологодский север. Как трясуций «газик» с рваным брезентовым верхом выбрался одним боком на сухую обочину и тормознул у опушки леса, а водитель махнул рукой: «Вон тропинка, глянь... Это на угор, к Яшину...» За глухой стеной тайги ничего особенного не угадывалось. «Газик» рванул, плюхнувшись в очередную лужу, и мы погнали дальше. Куда ехали, за чем спешили — разве теперь вспомнишь? А на Бобришном Угоре не пришлось побывать. Так и спешишь вечно куда-то, лишь краем глаза примечая самое, быть может, главное.

В начале 60-х на Бобришном Угоре, вблизи родной деревни Блудново, русский писатель Александр Яшин построил себе дом. Не коттедж для отдыха, не хоромы, а избенку, уединение для работы. Место это потаенное было примечено им еще в детстве, с друзьями-мальчишками он взбегал на Угор, откуда, кажется, всю Россию видно. Здесь, на Угоре, и похоронить себя завещал.

Есть снимок поразительный: как через поле, бескрайнее поле, течет по дороге народ — жители окрестных деревень провожают земляка-поэта в последний путь. Женщины в платочках, в старинных домотканых сарафанах... 1968 год. Яшину было всего пятьдесят пять лет.

В его дневниках духовный смысл Бобришного Угора ясно обозначен. Вот из записей 1966 года: «Уже давно у меня появилось желание творческого одиночества — этим объясняется и строительство дома на Бобришном Угоре... Очень уж моя жизнь стала тяжелой, безрадостной в общественном плане. Я слишком много стал понимать и видеть и ни с чем не могу примириться... Переселение на Бобришный Угор... Разложил свои тетрадки и гляжу в окно, наглядеться не могу. Мать и сестра ушли домой под дождем. Я остался и рад. Удивительное чувство покоя. Пожалуй, сейчас я понимаю отшельников, старых русских келейников, их жажду одиночества... Из-за одной этой лунной тихой, правда, еще холодной ночи стоило строить мою избу... Мне такое заточение в глуши лесов, снегов дороже славы и наград — ни униженья, ни оскорбления, ни гоненья. Я тут всегда в своем доме, в своем лесу. Здесь родина моя...»

Конечно, эти минуты затворничества были очень краткими. Надо было возвращаться в Москву, ходить по редакциям, зарабатывать на хлеб. Близкие друзья шутя говорили о семье Александра Яковлевича: «Яшинский колхоз». Семь детей! (Сейчас внуки и правнуки поэта живут не только в России, но и во Франции, куда еще в советские годы уехал сын Яшина Михаил.)

Каждое лето Яшин старался свозить детей на родину. Наталия Александровна Яшина вспоминает: «Я еще помню престольные праздники. Кажется, только что это было. Часовни, которые раньше были в центре деревень, давно сломали, но все равно каждая деревня собирала со всей округи родственников, знакомых, отмечая тот праздник, которому посвящен был престол часовни или храма. На плотиках, на лодках переплывали Юг-реку празднично одетые, подхватывали корзины с пирогами, снедью и шли в дома, где чистота была необыкновенная: выскобленные дресвой добела некрашенные полы, устланные половиками ручной работы... Деревня жила, хотя свет провели уже после смерти отца и не без его ходатайства...»

Множество крестьянских писем (до сих пор не опубликованных) хранит архив поэта. Некоторые особенно дорогие ему отклики он носил с собой, в кармане, на сердце.

Валентин Курбатов. Подорожник. Встречи в пути, или Нечаянная история литературы в автографах попутчиков. Предисловие В. Г. Распутина. Иркутск, Издатель Сапронов, 2004, 352 стр.

Книга, выросшая из домашней путевой тетради, куда всякий добрый попутчик волен вписать что-то мимолетное. Книга очень камерная, но, кажется, именно

благодаря камерности — редкой цельности и благородства. В ней нет той темпераментной науги «общественного звучания», которая быстро старит многие книги, написанные критиками.

Впрочем, Валентин Яковлевич Курбатов всегда избегал внешней актуальности, как избегал столичных проспектов. Ему неинтересно смотреть на литературу с высоты учености. Он всегда глядит на литературные творения с застенчивой, трудно скрываемой восхищенностью, будто впервые видит и русские буквы, и книжку, чудесно пахнущую типографией. Наверное, только человек, который свое дошкольное детство провел в землянке, может быть так нежен с книгами. В недавней поминальной статье о Викторе Петровиче Астафьеве он пишет: «Я гляжу в дорогие, знакомые лица книг...»

Курбатов в своей критике прежде всего увлекающийся и благодарный читатель, а потом уже эстет и философ. Все работы Курбатова вырастают из полудетского очарования — причем и текстом, и личностью автора. Эта чистая струна благодарности и детскости сообщает его работам не только живость, но и долговечность. В его недавно появившееся избранное (Курбатов Валентин. Перед вечером, или Жизнь на полях. Псков, 2003) вошли в основном статьи 70-х — начала 90-х годов, но время не лишило их свежести. Критику не обязательно быть художником, но дар не спрячешь. Работы Валентина Курбатова о Шукшине и Вампилове, Астафьеве и Чухонцеве, Конечком и Куранове читаются как документальная проза — и не столько о литературе, сколько о жизни.

И курбатовский «Подорожник» — это нечаянная книга о жизни, радостная в своей непредугаданности, сотканная из оброненных фраз, историй, баек... Слушать талантливых и мудрых собеседников, любоваться ими, беречь в сердце каждую встречу — какой это нынче редкий дар! И как в этом любовании открывается сам автор, как весело вдруг узнать, что он прекрасно владеет не только пером, но и кистью, и флейтой.

Если бы не настойчивость издателя, «Подорожник» так бы и остался тетрадкой, стыдливой обитательницей потертого чемодана. И тут издатель скорее автора угадал, что у этой укромной, тихой книги непременно будет свой читатель — с тайной тоской по чему-то подлинному, ясному и родному.

Предваряя книгу, автор с понятным смущением пишет: «В публикации таких „домашних“ книг неизбежно есть и элемент неловкости, словно ты пользуешься поводом выставить свои добродетели... И если, преодолевая неловкость, я все-таки не опускаю и некоторых личных страниц, то потому, что иначе нарушится сама чистота „жанра“ (никто ведь не поверит, что в домашнем альбоме люди решали только национальные задачи и забывали хозяина). И потом (напомню!), тут важен и почерк, который мы скоро станем забывать за компьютерным мертвым текстом. Поглядите-ка свою электронную почту — вроде и человек тот же, и словарь, и чувства, а читаешь с экрана, и сердце твое мертво одинаково и на укор, и на похвалу. Переведешь на бумагу, а в печатных буквах еще мертвее. Мы незаметно теряем в ровной слепоте механических шрифтов что-то необыкновенно важное, именно русское, сердечно-доверчивое. И теперь, счастливо оглядывая живые страницы, ты уже не об одном содержании записи думаешь, а радуешься теплу руки...»

Добавлю, что в книге читатель найдет неизменные доселе тексты (стихи, размышления, записки...) Павла Антокольского, Семена Гейченко, Анастасии Цветаевой, Валентина Берестова, Давида Самойлова, Арсения Тарковского, Булата Окуджавы, Юрия Нагибина, Владимира Максимова, Ярослава Голованова и многих других писателей, художников, композиторов...

Прощаясь с читателем, автор пишет: «Я выхожу из книги со странным чувством. В живом „Подорожнике“ остается еще с полсотни чистых страниц. Когда-нибудь заполнятся и они, и, может быть, новое время действительно принесет новые — и великие — имена и новый внутренний сюжет (Бог милостив и не оставляет Россию талантами и в горестные дни), но они уже будут „вслед“ и уже с тенью „незаконности“, словно *post scriptum* к уже завершенной жизни, начатой так беспечно и законченной так серьезно. Я словно впервые со смятением вижу, сколько прекрасных художников ушло только из этой книги. Целая культура...»

Павел Кривцов. Русский человек. Век XX. Фотографии. Белгород, «Истоки»; «Советский писатель», 2003, 366 стр.

Своим богатырским размером и холщевым переплетом этот альбом напоминает летописный свод. Для наших потомков он, возможно, и встанет рядом с летописями. Более трехсот избранных черно-белых фотопортретов, созданных фотохудожником Павлом Павловичем Кривцовым за сорок лет работы. Шахтеры и философы, учителя и солдаты, фронтовики и дети, крестьяне и монахи... Писатели здесь — это те, без кого народ не полон. Совсем не «глыбы». Просто люди одинокой судьбы и одинокого ремесла. Такие же свои, близкие, как сельский почтальон Олег Ларионов, бригадир Валерий Панов, жалеечник Марк Сычев или колодезных дел мастер Николай Юдаков. Может, поэтому так неожиданны и пронзительны портреты Олега Васильевича Волкова, Леонида Максимовича Леонова, Ксении Петровны Гемп, Виктора Петровича Астафьева...

Тут не торжество технического мастерства, а поэзия жизни, сочувствие и целомудрие. Драгоценные мгновенья на этих снимках не остановлены намертво, они бережно взяты на ладонь и поднесены к нашим глазам.

Как-то забылось нами, что прежде о фотографии говорили — «светопись». Нельзя не вспомнить об этом, глядя на серии снимков «Черная речка. День памяти А. С. Пушкина», «Писатель-фронтовик Евгений Носов», «Потомки Л. Н. Толстого»...

Вот что рассказал мне Павел Павлович Кривцов о том, как возник замысел альбома:

«Проснулся как-то ночью и стал думать: а что, если сделать такую фотокнигу? А что, если собрать воедино все, что я понял о русском человеке... Но тут же оторопел, испугался этим мыслям: замахнулся-то как! Постепенно привыкать стал, подбирать снимки. Мне захотелось обратиться к людям: а кто мы? какие мы? для чего живем? что с нами происходит?.. Напомнить о глубинной нашей принадлежности друг другу. Вся книга построена на встречах. Иногда это были совсем недолгие, почти мгновенные встречи, а вот случайных не было. Я почти полвека с фотоаппаратом, но для меня фотография остается чудом, тайной. Совсем как в тот день, когда я прибежал к маме и с порога попросил: „Давай купим фотоаппарат!“ В детстве каждый миг так переживается. Помню, как-то я стал разглядывать глаз коровы — и оё-ёй, какое это зрелище! Там я увидел отражение облаков, синеву и бездонность небесную... Или как-то зимой топить было нечем, и мы с мамой пошли бить камыш. Осенью вода разлилась по лугу и замерзла, можно легко подбивать камыш лопатой или граблями. И вот набили мы камыша, связали в снопы, уложили на санки. „Ну давай, сынок, перед дорогой немного отдохнем...“ Мама присела, а я прилег, откинулся на снопы, и вдруг на меня нахлынула такая тишина, покой... И я услышал музыку, такую тонкую! Это шелестели метелки камыша под ветерком, будто переговаривались между собой. Это было открытие... Все это подспудно живет в душе, и я всегда чувствую, что мое искусство должно быть как тот камыш — некричащим, неброским. Возможно, поэтому остаюсь верен черно-белой фотографии...»

Лев Шилов. Голоса, зазвучавшие вновь. Записки звукоархивиста-шестидесятника. М., «РУСАКИ», 2004, 367 стр.

Виниловые пластинки, «Кругозор», зеленый огонек магнитофона «Комета»... Как рассказать детям, сколько во всем этом было душевной ясности, счастливой уединенности и дружества! Все это были простые вещи, по нынешним временам — примитивные, а передать их обаяние невероятно трудно. Льву Алексеичу Шиллову это удалось¹.

¹ Когда этот номер журнала готовился к печати, пришло печальное известие о кончине Льва Шилова. В следующей «Книжной полке» (2004, № 12) о многолетней работе выдающегося звукоархивиста будет рассказано подробнее. (Примеч. редакции.)

Его новая книга, выросшая из маленькой давней книжечки (она тоже называлась «Голоса, зазвучавшие вновь»), доносит до нас звуковую историю поэтических 60-х.

Имя Шилова знакомо всем, кто когда-то уходил счастливым из магазина «Мелодия», унося с собой пластинки Новеллы Матвеевой, Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко... В 60-е годы на лекции Шилова сходилась вся литературная и студенческая Москва — только там можно было услышать еще нигде не опубликованные стихи Ахматовой, Волошина, Цветаевой. Звукоархивист и реставратор, Шилов вернул из небытия голоса Блока, Гумилева и Пастернака, создал отдел звукозаписи в Государственном литературном музее, где собрал уникальную фонотеку русских писателей и поэтов от Льва Толстого до Иосифа Бродского. До сих пор лучшие звуко-реставраторы бывшего Союза встречаются именно здесь, «в подвале у Шилова». Ему довелось сделать одну из последних записей Анны Ахматовой и составить первую у нас большую пластинку Булата Окуджавы.

В книге множество фотографий — удивительно авторских, шиловских. Многие из них публикуются впервые. Репортажные снимки, сделанные на литературных вечерах — за кулисами или в зале, — сейчас кажутся кадрами из «Заставы Ильича». В них — свежесть, напор и обаяние 60-х.

Почти в одно время с книгой «Голоса, зазвучавшие вновь» появился одноименный компакт-диск, составленный Львом Шиловым и выпущенный Государственным литературным музеем. На диск попали уникальные записи. Свои стихи читают А. Блок, И. Бунин, Н. Гумилев («Словно ветер страны счастливой...»), Анна Ахматова, Максимилиан Волошин, Сергей Есенин, Владимир Маяковский, Осип Мандельштам, Владимир Набоков. Здесь же А. Ремизов читает отрывок из гоголевского «Вия», а Михаил Зощенко — свой рассказ «Расписка».

Творчество Б. К. Зайцева в контексте русской и мировой литературы. Четвертые Международные Зайцевские чтения. Выпуск 4-й. Калуга, 2003, 423 стр.

Борис Константинович Зайцев смотрел далеко, он еще в конце 50-х знал, откуда русской литературе ждать беды: «Большая литература явно кончается. Ее заменяет радио, синема, телевизия. Ничего не поделаешь. Машина всех нас задавит и уже полусадавила...»

Борис Зайцев учился в Калужской мужской классической гимназии, куда его зачислили сразу во второй класс. После третьего класса отец, посчитавший гимназию далекой от жизни, перевел сына в реальное училище. Интересно, что математику и физику в училище в девяностых годах XIX века преподавал Константин Эдуардович Циолковский. Будущий писатель имел четверку по русскому языку и пятерку по физике. Закончил училище в 1898 году с отличным аттестатом, в честь чего дядя подарил ему прекрасный портфель, сказав при этом: «Нынче в твоей жизни важный день. Продолжай, трудись, поддерживай наше доброе имя». Мальчик не посрамил дядю. (Имя Зайцева в русской литературе — оно именно *доброе!*)

Статью, из которой я почерпнул вышеприведенные подробности, написал Евгений Николаевич Зайцев, внучатый племянник Бориса Константиновича. От него я и получил в подарок этот сборник, тираж которого всего 200 экземпляров.

Из впервые опубликованных здесь писем Зайцева (подготовка текста, вступительная статья и примечания Евгении Кузьминичны Дейч) я узнал, что в 50 — 60-е годы Борис Константинович был подписчиком «Нового мира».

Чрезвычайно интересной мне показалась статья Елены Спиридоновны Себешко «Скрещение судеб (Борис Зайцев — Павел Муратов — Уильям Бэкфорд)», а также исследование Артема Степанова, студента филфака Адыгейского государственного университета, «Борис Зайцев и журнал „София“». Этот малоизвестный журнал, который весьма ценил Александр Блок, выходил всего лишь полгода; он прекратил существование в ноябре 1914 года. Н. Пунин в рецензии на последний номер писал: «Среди многих обид, принесенных искусству войною, прекращение молодого журнала — тоже беда...»

В сентябре 2005 года в Калуге состоятся пятые Зайцевские чтения.

А. Комлев. Очерки встреч-разлук. Екатеринбург, «Банк культурной информации», 2004, 146 стр.

Очень точное, без всяких красивостей название. В небольшой книге — пятнадцать очерков, а могло бы их войти намного больше. Ведь почти вся жизнь автора — это именно встречи-разлуки.

Андрей Петрович Комлев, поэт и ученый-филолог, до недавних пор работал механиком по сохранности оборудования рефрижераторного поезда. В этом не было показного диссидентства, просто так ему было интересно жить. Он рассказывал мне: «Покойный СССР был такой удивительной страной, что немного надо было воображения для того, чтобы представить всю планету. Я сопровождал грузы из одних портов в другие, а это все пограничные наши края. Прибалтика — там можно представить провинциальную Германию. На Сахалине прорисовывается Юго-Восточная Азия, в Ташкенте — исламский мир...»

В этих поездках Комлев вырос и как поэт, и как исследователь (он автор ритмического переложения «Слова о полку Игореве»), и как человек. Сегодня Андрей Комлев — один из тех людей, кто связывает разные литературные поколения Екатеринбурга и согревает не очень уютное ныне культурное пространство большого города.

Среди героев его мемуарных очерков — блистательный и на своем закате русский актер Леонид Леонидович Оболенский, акварельный русский писатель Андрей Павлович Ромашов, художник Николай Григорьевич Засыпкин, переводчик армянской поэзии Марк Николаевич Рыжков, создатель музея «Слова о полку Игореве» в Новгороде-Северском Святослав Святославович Воинов... При всей лиричности очерки Комлева полны ссылками на источники. И тут чувствуется, что автор не только поэт, но и старший научный сотрудник института истории и археологии УрО РАН.

Ключевой для книги очерк — «Почва и космос Вячеслава Терентьева», о рано ушедшем свердловском поэте. Много лет назад Комлеву достался от погибшего друга машинописный сборник «500 стихотворений» и рюкзак с рукописями. При жизни у Вячеслава Терентьева была лишь одна публикация в московском журнале и маленькая книжка, вышедшая в Свердловске, — полтора печатных листа.

«...Житейски этот нескладный мужик, родившийся у геологов в селе Тюбук на Южном Урале, колотившийся понапрасну в селе Мартук на Западно-Казахстанской целине, руки на себя наложивший в поселке нефтяников Мегион на Тюменском Севере, не был конченным человеком, отнюдь не исписался, не выдохся...»

Андрей Комлев замечательно пишет о том, как он постепенно заново открывал для себя творчество друга. Но главное — он открыл имя Вячеслава Терентьева для читателей. Его первый посмертный сборник Комлеву удалось издать в 1981 году. А в 2003 году в серии «Библиотека поэзии Каменного пояса» вышла прекрасно оформленная книга избранных стихотворений Вячеслава Терентьева «Синь» (Екатеринбург, «Банк культурной информации»).

Очерк о погибшем друге Комлев написал в начале 90-х годов, и в книге есть к нему постскрипtum: «Тому всего десяток лет назад я обвинял в Славиной трагедии постылую эпоху. Теперь склонен вздохнуть и помолчать. И молвить: „Так уж получилось“. Теперь думаю, что жизнь вообще — и в привязке к любым оборотам времени, и не для одних обостренных одаренных натур — занятие трудное...»

И еще: мир все-таки удивительно тесен. Оказывается, Слава Терентьев и Андрей Комлев учились в свое время в той же свердловской школе № 76, что много лет спустя выпало закончить и мне.

Иван Иванович Зеленцов. Уроки по русской литературе XII — XX вв., творчеству Шекспира и Гёте. Фрагменты лекций, прочитанных в 1943 — 1949 гг. в старших классах. Составитель Г. Д. Понежевская. М., «Древлехранилище», 2004, 215 стр.

Появление этой книги — прекрасный поступок учеников московского (а до этого — рыбинского) учителя русской словесности Ивана Ивановича Зеленцова. Четыре года назад они выпустили воспоминания о любимом учителе, и вот те-

перь — издание его уроков. Архив Ивана Ивановича давно утрачен, но, к счастью, многие из его учеников всю жизнь хранят свои школьные тетрадки по литературе.

Благодаря аккуратным девочкам из 100-й женской школы нам теперь легче представить, какими были уроки старого учителя. В тетрадке Гали Сольц остались лекции Ивана Ивановича о Пушкине и Шота Руставели. У Татьяны Усевич сохранились записи по Льву Толстому и Салтыкову-Щедрину. В книгу вошли также записи из тетрадей Марианны Шохор-Тощкой (Бурлаковой), Светланы Гавриловой, Натальи Бурштиной и Галины Поневежской.

Увы, тираж книги даже по нашим временам микроскопический. Как рассказала мне составитель, деньги на издание собирали люди уж совсем небогатые — преподаватели и врачи. Многие давно на пенсии, ведь самым младшим ученикам Зеленцова сейчас за семьдесят. Вот и хватило средств всего на 60 экземпляров.

Послесловие к книге написал академик Российской академии образования Сигурд Оттович Шмидт. Он учился у И. И. Зеленцова в 110-й московской школе. «Детские тетрадки не являются рекомендательной методикой для учителей начавшегося столетия, — пишет Сигурд Оттович. — С тех пор накопилось много новых знаний — она стала непозлащенным кумиром, в котором слились достоинства и недостатки профессии: неистовая любовь к театральному делу и легендарная мизантропичность, работоспособность и сектантская непримиримость, колоссальная влияние и чрезмерная разборчивость в повседневном общении. В то время как ее достоинства поднимали честь профессии, ее недостатки открывали в критике — человека. Теперь, после того как Крымова ушла, те же недостатки противятся идеализации этой замечательной фигуры целой театральной эпохи.»

Так что не спешите выбрасывать старые тетрадки по литературе — возможно, они еще послужат потомкам!

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ПАВЛА РУДНЕВА

О НАТАЛЬЕ КРЫМОВОЙ

В прошлом году ушла из жизни Наталья Крымова — театральный критик, которой еще при жизни определяли место первой в своем цеху, место легенды. Портрет профессии писался с ее портрета, стиль жизни — с ее стиля поведения. Критик — это Крымова, лицо профессии.

Театровед-сочинитель и хранитель памяти, архивариус; отведя иным театральным деятелям почетные места, а иным — вечное забвение, сам критик редко сохраняется в памяти народной, если только не выступает в жанре Герострата, на чье место всегда серьезная конкуренция. Крымовой удалось добиться уникального положения — она стала непозлащенным кумиром, в котором слились достоинства и недостатки профессии: неистовая любовь к театральному делу и легендарная мизантропичность, работоспособность и сектантская непримиримость, колоссальная влияние и чрезмерная разборчивость в повседневном общении. В то время как ее достоинства поднимали честь профессии, ее недостатки открывали в критике — человека. Теперь, после того как Крымова ушла, те же недостатки противятся идеализации этой замечательной фигуры целой театральной эпохи.

Автор этих строк — ученик Крымовой с последнего из двух ее театроведческих курсов в ГИТИСе. Но на статус воспоминаний настоящий текст никак не претендует: пять лет с Крымовой на закате ее карьеры ни в коей мере не могут дать автору право судить о ней мемуарно. Целый ряд вечеров ее памяти в Бахрушинском музее и Доме актера, непрекращающиеся публикации вновь и вновь возвращают наше театральное сообщество к имени Натальи Крымовой. И вполне ясно — почему. Ее авторитет может стать существенным аргументом в ожесточенных и междисциплинарных дискуссиях о положении современной критики, ведь суть профессии меняется на глазах.

Проблема театрального опыта — в фактическом отсутствии преемственности. Изменчивость времени и понятие поколения — для театра важнейшие константы. Театр привязан к эпохе столь же капризно, как и мода. Что могло связывать Крымову, родившуюся в 1930-м, и нас, поколение перестройки, детей 90-х? Крымова

вспоминала о том, как девочкой видела Станиславского, которого привезли в экипаже (именно в экипаже, хотя это уже 30-е) домой, — особняк Алексеевых в Леонтьевском переулке находился напротив дома, где жила девочка Наташа (этот дом снесли сразу после ее смерти). Смутно в ее памяти сохранился спектакль Камерного театра (кажется, «Мадам Бовари»), где Крымова видела Алису Коонен. Наше же театральное прошлое было коротким, глухим. Мы почти не знали советского театра, как не знали почти и советской жизни. Мы пришли в эпоху кризиса, и первый семестр первого курса начался для нас с вооруженного конфликта, когда околоарбатский дворик Театральной академии содрогался от снарядов, пущенных в Белый дом, и очередей снайперов, орудовавших на Новом Арбате. Мы не видели вживую ни одного спектакля Эфроса, ни одного спектакля Товстоногова, мы застали позднего, бессильного Ефремова. Единственное, что нас связывало с крымским опытом, — это Таганка, шедевры Юрия Любимова, еще сохранявшиеся в репертуаре: «Живой», «Дом на набережной», «Добрый человек из Сезуана», «Преступление и наказание». Когда мне сейчас приходится говорить о том, что мой театральный вкус развит на режиссуре Сергея Женовача и первых шагах «Мастерской Фоменко», старшие коллеги смеются в голос, настолько их шокирует мысль, что вообще можно быть критиком без знаний о великом советском театре.

На каких наглядных пособиях было возможно нас учить в ситуации, когда разрыв поколений был столь удручающим? Парадокс заключался в том, что новообретенные гении, только-только вошедшие в общетеатральный лексикон, — Сергей Женовач, его команда в Театре на Бронной, молодые артисты «Мастерской Петра Фоменко» — составили тогда наш ближний круг. У Крымовой вообще была особенность открывать театральные имена и делить с ними славу, вводя их в этакий хоровод критических пристрастий. С ее колоссальной влиятельностью на театральное сообщество, перед которой мы в буквальном смысле слова немели, такой «ввод» означал всеобщее признание и обожание. Авторитет критика измерялся даже не даром или знаниями, а числом открытых и закрытых им талантов. Именно ее статья о паневежиском театре возвысила до небес режиссера Мильтиниса, именно с ее благословения прошли свои первые шаги ученики Петра Фоменко, именно ее дыханием дышал Театр на Бронной при Женоваче, именно статья Крымовой в газете «Дом актера» о спектакле «Смуглая леди сонетов» растопила лед недоверия к театру Калягина «Et cetera». Список можно еще продолжать. Михаил Туманишвили, Эльмо Нюганен, Михаил Бычков, Сергей Арцибашев — все они были пригреты суровым обаянием Крымовой, не допускавшим падений и измен своих подопечных.

При ее нраве, испорченном и закаленном страданиями и мытарствами Анатолія Эфроса и собственной личной драмой, легко было понять максимум: чтобы уметь любить, нужно научиться ненавидеть. Конфликтность мировоззрения она заимствовала у театра, пронизанного драматизмом и противоречиями. Ей было свойственно охранять и защищать свое понимание идеи театра, и, неистовствуя, как Савонарола, она могла сломать судьбы людей, уничтожить спектакль или даже карьеру. Толерантность и добродушие не были понятиями из ее словаря. Стоит задуматься над тем, что только после того, как Крымова перестала писать, театр Юрия Погребничко «Около дома Станиславского» перешел из разряда подвальных в первые круги театрального истеблишмента, дорос до Госпремии. При жизни Крымова методично уничтожала этот театр, даже боролась с учениками своего первого курса, обожавшими труппу в Вознесенском переулке.

Она открыто ненавидела всех, кто вставал на пути Эфроса. Однажды на вечере 80-летия Розова в Молодежном театре она показывала мне каких-то неведомых замшелых стариков, шепча: «Вот страшный человек, вот жуткая дамочка»... Она ненавидела директора Театра на Бронной Илью Когана, «сожравшего» и Эфроса, и позже труппу Женовача, ненавидела актеров с Таганки, устраивавших обструкцию ее мужу. С огнем в глазах она назидательно рассказывала нам не только как спускали шины эфросовского автомобиля, но и как ей самой приходилось находить острые булавки в пиджаке мужа или ритуальные иголки, вживленные в дверь их квартиры. И ни разу, буквально ни разу я не слышал из ее уст имени Ольги Яковлевой...

Недавно тиражом 500 экземпляров вышла изумительная книга — документ времени, — всколыхнувшая театральное сообщество. Людмила Зотова, «Дневник театрального чиновника» — неприукрашенные записи конца 60-х — начала 70-х, принадлежащие одному из сотрудников Министерства культуры СССР и повествующие о цензорских запрещениях спектаклей Эфроса, Фоменко, Любимова.

В большом количестве Зотова приводит стенограммы чиновнических обсуждений. Удивителен — прежде всего для меня, молодого критика, знающего советский театр понаслышке, — метод уничтожения спектаклей: с помощью языка, заимствованного у театральной критики, огнем театроведческой терминологии (Зотова, как и остальные чиновники, — дипломированная выпускница театроведческого факультета ГИТИСа). Научные объяснения, аргументированные мотивировки, фундированные обвинения — наука на службе контрразведки.

Собственно, эта книга объяснила мне многое в Крымовой и ее критическом «шестидесятническом» поколении: почему такими лиричными, такими неконкретными, такими размытыми и опозитизированными были тексты и почему сегодня старая гвардия театральной критики буквально шарахается от современного газетного формата. Оперативность, оценочность, краткость и конкретность, телеграфный стиль — все наглядные качества современной прессы напоминают официоз советских госчиновников, их поспешность в решениях и их способность наклеивать ярлыки, распределяя искусство по ступенькам иерархий.

Крымова сама признавалось нам в том, что тогда в тексте иной раз было важнее не просто выявить эстетические завоевания спектакля, но создать *блок защиты* против цензорских придинок. Критик, анализируя искусство, защищал театр щитом мыслительных конструкций. Задача профессионала усложнялась, но и становилась полезной практически. В этом смысле критик советской эпохи — без преувеличения героическая профессия, и в «железной леди» Крымовой этого рыцарства, искусно сражающегося за чистоту искусства, было много. Думаю, она страшно бы обиделась по примеру Ахматовой, если бы ее кто-то назвал «критикессой», — слишком суровым, неженским и небогемным был ее труд. «Женское театроведение» — это точно не про Крымову.

Я человек беспокойный. «По вашей, Павел, пластике я узнаю, что надо завершать семинар», — говорила Наталья Анатольевна. Я же следил за *ее* пластикой. Потрясающая живая мимика, пальцы, иллюстрирующие речь и танцующие кукольную джигу. Седой волевой хвостик затянутых в тугую узел волос — когда она была в ударе, хвостик ходил воробушком, кланяющимся любой театральной мелочи. В пластике этого танца было много энергичного задора, много от той молодой «Наташки», которую мы уже, увы, не застали (она как-то рассказывала, что тогда еще не знакомый ей Эфрос подошел к ней в стенах ГИТИСа и твердо произнес: «Ты будешь моей женой»). Тяжелые очки, въедающиеся в чудовищные «хронические» раны на носу, — они были словно созданы, чтобы давать представление о ее усталости и ее титанической работе. Культ работы был у них семейным — Крымова говорила, что Эфрос на репетициях так носился из зрительного зала на сцену, что-то актерам показывая, что ей приходилось вечером выжимать влажную от пота рубашку. Она умела, одеваясь бедно и неброско, быть стильной. Любила Прибалтику — не только тамошний театр и свой литовский хутор, который они с Эфросом снимали на все лето, но и северный стиль в одежде. На ней всегда были мятые цельные юбки до щиколоток и какая-нибудь вязаная и, наверное, жутко колючая, растянутая узорчатая кофта почти по горло. (В такой кофте в спектакле ее сына Дмитрия Крымова «Гамлет» в Театре им. Станиславского выйдет великий эфросовский артист Николай Волков — тень отца Гамлета — и передаст семейную реликвию по наследству. А Гамлет вручит согревающую одежду Гертруде, своей матери.)

На пальце Крымовой — огромный, в фалангу размером, серебряный овальный перстень, манящая игрушка чуть ли не из скифских кладовых, — на первом курсе среди нас ходила идиотская легенда о том, что там хранится частичка праха Анатолия Васильевича. Нам так хотелось Крымову «легендаризировать»... Очень важно, как выглядит театральный критик. Для собственного реноме и для реноме театра. Как только настоящая критика ушла с телевидения (а ее телепередачи были клас-

сикой жанра), на пустое место тут же пришли другие люди — манерные, ангажированные, неестественные. В ее облике не было ни физической, ни нравственной ущербности.

Она не читала лекций. Это были просто разговоры. Рассказы и размышления на темы, которые подбирались спонтанно, — такая несколько «кухонная» манера общения в советском понимании слова. Для нее, «шестидесятиницы», важнейшим словом была уже стремительно устаревающая «интеллигентность», форма темперамента, при которой душевность беседы становилась особым смыслообразующим качеством. Она учила не ремеслу, а позиции, не *как писать* или *как мыслить*, а *как быть критиком* — с дисциплиной мысли и почти военной суровостью во взглядах.

В отличие от других педагогов ГИТИСа, у нее не было культа учеников. Никогда и ни в чем не помогала им в карьерном отношении, за что, в сущности, следовало бы ее похвалить, — все это воспитывало самостоятельную волю к победе. Бывало, она даже конфликтовала с учениками. На четвертом курсе, например, она спорила со мной в прессе, отвечая на мою публикацию и несправедливо обвиняя в некоем страшном грехе. С учениками не сближалась, хотя иногда, казалось, настойчиво ждала встречных попыток к сближению. Часто просто не хватало мужества звонить и приходить к ней, когда она еще была здорова, а тем более — во время ее страшной предсмертной болезни, все более отдаляющей ее от людей. С ней вообще было очень тяжело — своим авторитетом она буквально принуждала к исключительному напряжению. Общение с Крымовой часто было сопряжено с чувством стыда — особенно на первых курсах, когда противопоставить ей что-либо в устном диалоге было студентам просто не под силу. Когда в Тбилиси умер ее близкий друг, режиссер Михаил Туманишвили, Наталья Анатольевна мне в интервью сказала: «Его поведение на шумных празднествах являло собой *терпеливый, иронический и молчаливый поединок с окружением*». Это было так похоже на ее собственный стиль.

Непримиримая и ироничная, она являла собой пример сурового гуманизма с почти религиозным отношением к предмету обожания — театру. «Нас с Эфросом можно обвинить в чем угодно, но нельзя обвинить в театральном цинизме» — и эти слова сказаны ею незадолго до смерти, когда цинизм в профессии достиг небывалых масштабов. После ее ухода этого цинизма стало еще больше. Некому стало сдерживать.

Она была страшно разгневана своим изгнанием из редколлегии журнала «Московский наблюдатель», и только ее болезнь оттеснила тот жуткий факт, что стало негде печататься и некому рассказывать о театре. Ее умирание было тяжелым, но и благостным. Как-то близкая Крымовой Алена Карась, второй педагог на нашем курсе, обронила мысль: ее, желчную и мизантропичную, изувеченную театральной средой и клановой борьбой, — ее в финале Господь наградил невозмутимым покоем, добродушием и смирением.

Однажды Крымова с упоением начала рассказывать историю. На одном капустнике ее взгляд впился в мужской зад, маячивший перед ее носом. Зад был одет в джинсы — одежду с дикого Запада, сколь труднодоступную для советского человека, столь и маняще-сексуальную. Наверное, добрых полчаса шестидесятипятилетняя Наталья Крымова, посмеиваясь и теплея, описывала прелести оджинсованных ягодичек. Игру мускулов, выразивших наслаждение тем, что происходило в этот момент на сцене; грубую мужскую силу, сосредоточенную в тугой спортивной плоти; свое сугубо женское эротическое волнение; актерский дар этой самой задницы, заморожившей маститого театроведа. Чуть позже Крымова обнаружила для нас загадку магии: это был зад Владимира Высоцкого!

За этой почти пародийной историей — свидетельство не только крымского задора и ее житейской естественности. Вот ее фантастическая способность увидеть театр с неожиданной стороны, полюбить — буквально — живую плоть театра, его материальность, его грубую природу, заставляющую творить объект искусства из тугой телесности актера. Это была сексуально-маниакальная любовь к искусству,

выражающаяся не столько в любви к театру как некой художественной абстракции, сколько в любви в людям театра — особому клану людей, зараженных театральной «чумой». Она не любила зауми и концептуальности — она любила театр конкретный и жизненный, человеческий. Театр, где, если угодно, можно наслаждаться как ролями и песнями Высоцкого, так и его задницей.

Легендарны ее проделки. С девическим задором Крымова вспоминала, как во время съемок телепередачи она спряталась в Музее Пушкина на Мойке и провела, запертая как Фирс, всю ночь в интерьерах последнего пристанища поэта. Точно так же вспоминала она поездку за границу, когда ей пришлось пойти на преступление и переснять на фотопленку секретные архивные материалы о Михаиле Чехове, вошедшие в ее блистательный двухтомник об актере.

...Однажды она зачем-то рассказала мне о Туманишвили — в доказательство его негрузинского, антинационального нрава, — что весь Тбилиси смеялся над мужчиной, который ходил с авоськой на рынок и стоял в очереди. Для грузина это был публичный позор.

Неоплаченный долг при жизни приходится отдавать после смерти. Учиться у такой значительной личности — значило всю жизнь соответствовать званию ее ученика. Рано или поздно приходишь к пониманию одной простой вещи: как наша слава станет и ее славой, так и наш позор — ее позором. Постараемся соответствовать.

КИНООБОЗРЕНИЕ НАТАЛЬИ СИРИВЛИ

«САМАРИТЯНКА»

«Самаритянка» южнокорейского режиссера Ким Ки Дука — снятый менее чем за полгода (и получивший «Серебряного медведя» на последнем Берлинском кинофестивале) малобюджетный шедевр, где скандальная коллизия становится основой поразительной по глубине философской притчи, а суетная материя современной жизни облекается в строгое совершенство почти музыкальной формы.

Сюжет, как водится у Ким Ки Дука, — парадоксален. Две школьницы тринадцати — четырнадцати лет решают заняться проституцией. Одна мужиков обслуживает, другая находит клиентов и ведет бухгалтерию. Зачем девочки втягиваются в эту игру? Затем же, зачем чеховские мальчики собирались когда-то бежать в Америку (у Ким Ки Дука тоже присутствует мотив побега — юные героини хотят накопить денег на поездку в Европу). Понятно, что и Америка, и Европа — сами по себе не важны. Важно тайное предприятие, небезопасная афера, щекочущая нервъ и скрепляющая союз двух сердец (между девочками — стыдливая и нежная лесбийская влюбленность); важно почувствовать себя независимыми от взрослых, открыть запретную доселе территорию секса, насладиться вдруг осознанной женской властью над «папиками»... Мотивов много, все они наивны, прозрачны и совершенно естественно включаются в круг пубертатных затей и фантазий.

Но есть и разница в отношении к делу. Девочка по имени Чже Энг (Со Мин Чон) — та, которая отдается, — называет себя «Васумитра» (так звалась легендарная блудница, обратившая в буддизм тысячи мужчин, вступая с ними в сексуальную связь) и воспринимает игру с удовольствием, видя в сексе упоительный способ познания мира, людей и жизни. Вторая — Е Чжин (Квак Чжи Мин), — воспитанная в христианской семье (папа-католик, офицер полиции каждое утро по дороге в школу рассказывает ей о чудесных исцелениях в Лурде, явлениях Богоматери и т. д.), хотя сама и не занимается «этим», испытывает чувство вины, легко перерастающее в ревность, тревогу, неприязнь по отношению к похотливым «папикам» и прочие негативные переживания. Радостная тема блаженства, воплощенная в счастливой улыбке Чже Энг, и тема греха, явленная в хмурой сосредоточенности Е Чжин, по всем законам сонатной формы задают внутренний конфликт первой части картины — «Васумитра».

Мы видим, как подружки после школы, переодевшись в цивильное, отправляются в район мотелей, украшенных красными флажками. Радостная Чже Энг поднимается в номер с очередным сорокалетним любителем нимфеток; сосредоточенная Е Чжин остается внизу, аккуратно заносит все данные клиента в толстый еженедельник с кнопкой и, поглядывая по сторонам, следит, нет ли полиции. В последний момент ей удается предупредить Чже Энг, та, хохоча, сбегает из номера по пожарной лестнице и полуодетая несется по узким улочкам в восторге от приключения. «Ты представляешь, он занимается производством сенсоров», — увлеченно сообщает она нагнавшей ее подруге. Та недовольна, ревнует: «Зачем тебе знать, чем они занимаются?» Но Чже Энг не унимается, с влюбленным любопытством влезая в жизнь каждого нового клиента.

Следующий оказывается музыкантом и любезно приглашает девочек отобедать. Е Чжин с неожиданной грубостью посылает его подальше и резко выдергивает напарницу из машины деятеля искусств. А с третьим придурком и вовсе выходит беда: Е Чжин не уследила, полицейские врываются в номер, и полуодетая Чже Энг все с той же улыбкой абсолютного счастья на юном лице, словно бы собираясь взлететь, а не покончить с собой, прыгает из окна третьего этажа.

Потрясенная Е Чжин поднимает ее, окровавленную и переломанную, с асфальта, тащит на закорках в больницу... Там, отказавшись назвать телефон родителей (родителей в данном раскладе словно бы и нет вовсе), умирающая Васумитра просит позвать музыканта, которого она, оказывается, полюбила. И Е Чжин идет к музыканту, которому, понятное дело, вовсе не хочется ехать в больницу, к постели умирающей малолетней проститутки. Правда, в ответ на настойчивые мольбы Е Чжин — соглашается; но не просто так — в обмен на секс: «Чем быстрее мы это сделаем, тем быстрее поедem к твоей подруге». Так Е Чжин теряет невинность, жертвуя собой ради Васумитры. Отдавшись возлюбленному Чже Энг, девочка словно бы принимает в себя ее опыт и впервые преодолевает тонкую грань, отделявшую ее от подруги.

Когда Е Чжин с музыкантом приезжают в больницу, Васумитра уже мертва. На ее мертвом лице — все та же блаженная улыбка: словно, прервав череду перерождений, Чже Энг достигла nirваны. Только вот Е Чжин теперь не знает, как жить. Их маленький, на двоих, запретный и сладкий мир — рухнул. Уже не будет ни тайны, ни ревности, ни зависти, ни робких прикосновений друг к другу в общественном душе, не будет ощущения власти над безраздельно доверившимся тебе близким существом. Будет только одиночество, отчаяние и огромное, несовместимое с жизнью чувство вины.

И Е Чжин изобретает более чем нетривиальный способ избавиться от этого невыносимого груза. Она решает переспать по очереди со всеми клиентами Чже Энг и раздать им заработанные подругой деньги. Если вдуматься — все логично: примириться с уходом Васумитры Е Чжин может, только сама став Васумитрой: пройдя ее путь и подарив радость мужчинам, которых она любила. А поскольку ощущение греховности связано для Е Чжин не столько с сексом, которым она не занималась, сколько с деньгами, к которым Васумитра была равнодушна, путь избавления от скверны новая Самаритянка видит в избавлении от всей этой пачки аккуратно сберегаемых в заветной штатулке купюр. Так, «буддийская» тема секса как сакрального акта к концу первой части парадоксальным образом преобразуется в «христианскую» тему жертвы, спасительной самоотдачи, саморасточения, самоуничтожения ради искупления совершенных грехов.

Вторая часть — «Самария» — начинается как зеркальное повторение первой. Только Е Чжин уже не сидит внизу на ступеньках в ожидании убажывающей клиентов подруги. Она внутри, в постели, на месте Чже Энг. Вот из душа выходит первый клиент — замотанный в полотенце пожилой дядька в очках... После: дядька и девочка лежат в постели; он говорит, что помолодел на десять лет, что «к черту мораль», нужно делать что хочется. Однако, получив от девочки деньги, устыдившись, немедленно принимается звонить дочке, проверять, как она занимается с репетитором.

Второй эпизод: такая же комната, Е Чжин — в кровати, неторопливо вытаскивает из-под одеяла юбку, блузку, лифчик, трусики... Второй клиент точно так же выходит из душа в купальном халате — этакий богемный парень с длинными во-

лосами; присев на корточки, трогательно подбирает и складывает девичьи вещички... После: он говорит, что счастлив, благодарит, предлагает встречаться. Раскрасневшаяся Е Чжин уверяет, что это она должна быть ему благодарна, и дает растерявшемуся парню купюру...

Эпизод третий: девочка на кровати, клиент в халате, она смеется нервным, чуть истеричным смехом, никак не может остановиться; он — закомплексован и агрессивен: «Прекрати!» — она смеется...

Следующий план — мертвое девичье тело под окровавленной простыней... Сюета экспертов и полицейских. Но это не тот номер и не та девушка; это отец героини (Ли Эль), который служит в полиции, приехал по вызову на место преступления. Он поднимает взгляд и в окне напротив видит... свою дочь в объятиях взрослого мужика, который что-то шепчет ей и нежно гладит по голове...

С этого момента в картину врывается трагическая и бурная, агрессивно-мужская тема жесткой патриархальной морали, тема насилия и мести. Потрясенный отец начинает следить за дочерью и третировать ее неосторожных любовников. Одному он прилюдно дает по физиономии; другого садистски отчитывает в его же собственном доме, на глазах у потрясенной семьи... Жертвы не сопротивляются, педофилия — очевидный грех и позор в глазах самих проштрафившихся отцов семейства. В этом жестоком противостоянии родительского гнева и непреодолимой тяги к запретным удовольствиям ощущается полное взаимопонимание участников поединка: каждый из «Гумбергов» точно так же бушевал бы, если бы героиней скандала оказалась его собственная дочь; и отец Е Чжин столь неуправляемо агрессивен потому, вероятно, что и ему хорошо знакомы подобные фантазии и позы. Яростный морализм — оборотная сторона глубоко укоренившегося чувства греха. Этот морализм убийствен и разрушителен. Едва выйдя из дома, где он только что опозорил в глазах у жены и детей незадачливого клиента Самаритянки, отец слышит глухой удар упавшего тела, и к его ногам подползают красные ручейки крови пополам с мозгами... Клиент выбросился с балкона.

Третьего любовника Е Чжин отец забивает собственноручно в общественном туалете. И как на грех, дочка видит окровавленный труп мужчины, с которым переспала десять минут назад. Она в ужасе выбрасывает в канаву еженедельник с именами клиентов, осознав, что избранный ею путь жертвенного искупления вины перед Васумитрой пробудил демонов насилия и убийства в душе единственно родного ей человека — отца.

И вот мужчина и девочка, отец и дочь, связанные самыми естественными и прочными в мире узами семейной любви, оказываются под одной крышей, в холодном доме, где поселился затаенный страх и затаенная жажда убийства. Рушится самое главное, на чем держалась их жизнь. Чтобы выправить ситуацию, преодолеть семейную катастрофу, отец готовит поминальную трапезу и везет девочку в горы, на могилу их матери. Долгое путешествие на фоне то ли осенних, то ли весенних хмуро-прекрасных пейзажей составляет содержание третьей части фильма — «Соната».

Автомобиль медленно тащится по разбитым дорогам, вечер сменяется ночью, ночь — утром; медленно идет время, не обещая ни счастья, ни примирения. У могильного холма они сидят подавленные и молчаливые. Попытка съесть ритуальную пишу вызывает у отца позывы рвоты, девочка заботливо придерживает его за спину...

Рифма к этому эпизоду — глухие ночные рыдания Е Чжин, когда отец и дочь останавливаются на обратном пути в крестьянском доме. Отец просыпается, обнаруживает, что дочери нет в комнате, выглядывает во двор и видит, как она безнадежно и горько плачет в полном одиночестве под темным, холодным небом...

Отец и дочь относятся друг к другу с нежной предупредительностью, чуть преувеличенной — как к серьезно больным. Они действительно любят друг друга, но каждый несет свою боль, страх и беду в одиночку, опасаясь, что любое произнесенное слово добьет другого.

Развязка наступает на следующий день. Машина едет по руслу неглубокой реки. Останавливается в воде. Девочка дремлет. Ей снится, как она покидает машину, бредет к берегу по щиколотку в воде, и вдруг железная рука отца, захватив сзади, сжимает ей горло; она видит, как отец укладывает ее на прибрежную галь-

ку, надевает ей на голову, как всегда по утрам, наушники, засыпает ее тело камнями и трогательно кладет сверху кругленький CD-плеер...

В ужасе Е Чжин просыпается и видит отца, который красит желтой краской речной голыш: «Ты хотела научиться водить машину? Смотри...» — на берегу уже заботливо выложена желтыми камешками учебная трасса... Е Чжин садится за руль, увлеченно и неумело жмет на газ и на тормоз, машина едет рывками, но скоро уже более или менее уверенно вписывается в повороты выложенной отцом дороги... И, оставив дочь, поглощенную этим занятием, отец потихоньку садится в стоящий поодаль полицейский джип: пока Е Чжин спала, он позвонил в полицию и сдался властям. Джип отъезжает, растерянная Е Чжин пытается ехать следом, преодолевая огромные лужи; в одной из них она застревает... Камера взмывает, мы видим разбитую дорогу, изгибы реки, туманные горы, покрытые лесом, — огромный мир, неподвижно-прекрасный, величественный, объятый покоем...

Если бы «Самаритянку» снимал европеец, финал наверняка был бы иным: девочка несмотря ни на что ехала бы вперед, стремясь к неведомой цели — к людям, к новой жизни, к социальной реабилитации... Здесь же — никакой цели, вместо движения — остановка: божественная полнота мира — рядом; и в тишине, в отсутствии страстей и стремлений великая истина бытия сама просачивается в сознание, как влага в землю...

Фильм выстроен так, что зрителю становится ясно: не сама по себе житейская ситуация, сколь угодно скандальная, — источник страстей и страданий, но внедренные в подкорку, навязанные религией и социумом модели ее восприятия. И чем жестче декларируется их «правильность», тем больше насилия рождается при соприкосновении этих моделей со стихийным напором жизни. Ким Ки Дук использовал в фильме вызывающую коллизию, связанную с педофилией и детской проституцией, не потому, что хотел поразить извращенцев или подразнить помешанных на политкорректности «гусей»: «Самаритянка» напрочь лишена набоковского «гумберт-гумбертовского» эротизма и, при всей откровенности сюжета, снята более чем целомудренно. Просто педофилия — одно из самых жестких табу современной цивилизации, а тяга к нимфеткам — одно из самых сильных искушений мужской половины рода человеческого. И режиссер использует это мощнейшее противоречие как рычаг, чтобы резким рывком перевернуть наше сознание; он разрушает инерцию восприятия, показывая, что одно и то же деяние кого-то возносит к вершинам блаженства, кого-то ввергает в чистилище, кого-то — в пучины ада. И значит — рай и ад внутри нас самих... Поняв это, испытываешь нечто похожее на просветление...

WWW-ОБОЗРЕНИЕ ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО

Игры программистов

1. Что может принести человеку его профессия? Кроме таких не вполне определенных вещей, как моральное удовлетворение или самореализация, она может дать славу, деньги и власть. Этот короткий список можно, вероятно, продолжить. Но, мне кажется, дополнения сведутся в основном к уточнениям, к тому, что конкретный человек имеет в виду под этими тремя определениями успеха. Есть сколько угодно людей, которым на самом деле (не для виду) абсолютно наплевать на два из трех результатов, но таких, которым безразличны все три, очень мало, а в молодости — просто нет. Или славы, или денег, или власти обязательно хочется, и по тому, как достигается цель, измеряется личный успех.

Существует десяток программистов, чьи имена широко известны: Дейкстра, Кнут, Вирт, Страуструп... Но их имена прославили не написанные ими программы, а книги. Существуют десятки тысяч программистов, чьих имен никто не знает, но чью работу знают все: Windows, Linux, Oracle, Delphi... Все остальные программисты — это бойцы невидимого фронта, их мало кто знает, их продукты мало кто использует. Так что вряд ли программирование приносит славу человеку.

Но если труд программиста огромной корпорации практически растворен в громадном объеме кода, то в небольших коллективах вклад каждого вполне конкретен и заслуга ясна.

Четыре молодых израильских программиста, которые организовали в 1996 году фирму «Mirabilis», решали абсолютно конкретную проблему — интерактивный обмен короткими сообщениями через Интернет. Они эту проблему решили. Они не стали знаменитыми, хотя их имена и выложены на сайте ICQ <<http://www.icq.com/comprany/about.html>>. Мечтали они о славе? Возможно. Но не это главное: они бросили свою реплику в бесконечном диалоге. А это разговор не только людей, но и компьютеров. А сколько компьютеров знает ICQ? Наверное, уже миллионы. Может быть, это другая форма славы?

Несколько программистов баснословно разбогатели. Билл Гейтс, например. Очень богатым человеком мог стать Алексей Пажитнов — автор «Тетриса», если бы он жил в цивилизованной стране и смог отстоять авторские права. Но чтобы по-настоящему разбогатеть, действующим программистам всегда приходилось становиться бизнесменами, а бизнес везде бизнес — и в цифровых технологиях, и в производстве презервативов, хотя и со своей спецификой.

Программирование не делает человека богатым. Адвокат или экономист той же квалификации могут заработать куда больше, не говоря уже о бизнесмене.

Может быть, программирование дает человеку власть?

2. Вы сидите за столом. Горит приятный приглушенный свет. Вы прекрасно выспались сегодня за день, и в холодильнике нашлась баночка-другая любимого легкого пива. Перед вами стоит вечный друг с огромным стеклянным глазом — ручной циклоп. Он смотрит на вас, вы смотрите сквозь него. Он готов ко всему. Тихонечко журчит музыка. Руки ложатся на стол. Пальцы трогают клавиатуру. Так ныряльщик трогает воду. Не холодна ли? Нет, в самый раз. Пора. Где вас будет носить этой ночью, не знает никто. Вы скользите в Сети.

Но что за непонятки? Какой-то неведомый лох серебристый, *Elaeagnus argenta*, вас не пропускает. Пароль, говорит, хочу. А не пошли бы вы, любезнейший? А он отвечает: у вас нет прав. Каких таких прав у нас нет? А мы зайдем через черный ход. Так, и там облом. Ну хорошо. А через каминную трубу? Ага, не ждали, гады. Начинает выделяться адреналин. Ну, будет вам на пряники. И, как следует пошуровав на сайтике, вы оставляете интересное сообщение вместо начальной страницы и продолжаете свой веселый путь с чувством выполненного долга и хорошо сделанной работы, очень скоро забыв о локальном происшествии...

Вы невидимы, незримы, неуловимы. Кто там сосет валидол, у кого сорвалась миллионная сделка, кто пошел по миру. Разве вы можете опускаться до таких мелочей? Вы сегодня в свободном полете. Вы выше этого.

3. Если вы физически можете замочить старушку-процентщицу, вы, скорее всего, делать этого не станете. Разве только из высших соображений. А в Сети? Вы ведь почти невидимы.

Возникает любопытная ситуация: человек в условиях реальной безнаказанности. Как он будет себя вести? Пойдет все крушить налево-направо или будет сам себя контролировать и сдерживать, опираясь на нравственный императив? А если я невидим и неуязвим, что запрещено мне или кто мне может что-то запретить?

Как можно застраховаться от преступлений, подобных тем, что произошли в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 года? Ответ в принципе ясен. Нужно продублировать управление самолетом с земли. Если самолет выходит из-под контроля, по команде с земли блокируются рули и кабина пилота плавно перемещается в наземный центр управления. Отсюда самолет выводят в рабочее состояние — конечно, если удастся, потому что сверху все равно видно лучше, — и аккуратно приземляют на заданном аэродроме. Конечно, беспилотное приземление — очень сложная задача, и не при всех погодных условиях она осуществима, но это не мистика. Никакое другое средство управления не может стать ни достаточно безопас-

ным, ни достаточно эффективным. Самолеты-перехватчики все равно не успеют, а люди погибнут и в воздухе, и на земле.

Но представьте себе, что будет, если мы реализуем этот чрезвычайно дорогостоящий проект и какой-нибудь — не подонок, не убийца, а просто легкомысленный человек — пробьется к управлению самолетом из глобальной Сети. Он аккуратно развернет воздушное судно, направит его на Всемирный торговый центр и будет смотреть, открыв на экране окошечко для веб-камеры, как самолет сталкивается с небоскребом. Высокий класс. А повторить?

4. В 2002 году Николас Вивер (Университет Беркли, Калифорния) опубликовал свое исследование «Warhol Worms: The Potential for Very Fast Internet Plagues» — «Черви Уорхола: потенциал для очень быстрых интернет-эпидемий» <<http://www.cs.berkeley.edu/~nweaver/warhol.html>>. Вивер описал механизм стремительного — за 15 минут — заражения всего интернет-пространства. Очень коротко идея состоит в следующем. Большую часть своего времени вирус тратит на поиск компьютеров, которые могут быть заражены. Как только такой компьютер обнаружен, он сразу же заражается. Но поиск потенциальной жертвы — процесс довольно-таки трудоемкий, поэтому распространение эпидемии происходит сравнительно медленно, и антивирусные программы успевают обновиться и отразить угрозу. Вивер предлагает другую стратегию: сначала происходит сканирование Сети и подбирается до 10 тысяч адресов потенциальных жертв, а затем вирус стремительно заражает все эти компьютеры и распространяется дальше, используя традиционные методы заражения, но атакует уже не одна вирусная программа, а десятки тысяч. В этом случае скорость распространения эпидемии может стать угрожающей.

В 2003 году вирусолог Евгений Касперский также описал подобный механизм и даже высказал предположение, что вирус «Slammer» распространялся подобным образом.

Главная трудность «отложенной атаки» состоит в том, что компьютер, уязвимый сегодня, завтра может стать надежно защищенным — например, обновив антивирусный пакет или установив «заплатку» на операционную систему. Поэтому скорость пополнения списка потенциальных жертв не только растет, но и уменьшается. И может стабилизироваться на небольшой константе, а то и вовсе сойти на нет.

Статья Вивера начинается словами Энди Уорхола: «In the future, everybody will have 15 minutes of fame» — «В будущем каждый получит 15 минут славы». Это те самые 15 минут, за которые может быть поражен вирусной эпидемией весь Интернет. Чья это слава? Вируса, который будет проклинать все, чье имя будет выкликать в выпусках новостей и печатать огромными буквами на первых полосах газет, или это слава создателя, имя которого, возможно, никто никогда не узнает?

5. Как это делается сегодня? Вирус распространяется в несколько этапов, используя разные технологические решения. Например, сетевой червь MyDoom и его многочисленные модификации и варианты, которые периодически встряхивают Сеть в течение последнего года. Этот вирус приходит с электронным письмом под видом архива фотографий. После того как наивный пользователь выполняет вложение, вирус устанавливает себя на компьютер. После этого вирус ведет себя как троянская программа. Он открывает один из портов и дает знать на управляющий сервер, что он готов к выполнению заданий. Чем больше зараженных компьютеров, тем выше потенциальная опасность. И главная опасность состоит в том, что все зараженные компьютеры могут действовать согласованно. Например, 26 июля несколько десятков тысяч зараженных компьютеров обратились к поисковым системам Google, Yahoo и некоторым другим с запросами, в которые должно было попасть множество адресов электронной почты. Поисковые порталы оказались практически парализованными, пытаясь обслужить запросы зараженных компьютеров. Google вышел из строя на несколько часов. А это был, судя по всему, всего лишь побочный эффект.

6. Я был знаком с одним вирусописателем. Он блестяще знал DOS. Его вирусы были практически безвредны. Просто в какой-то момент работы зараженной про-

граммы вирус активировал себя и предлагал использовать. А использовать было что — это была файловая оболочка типа Norton Commander, со встроенным довольно удобным редактором, и все это добро умещалось в 14 кб. Юноша был поклонником Егора Летова. Вирус назывался «Civil defence» — «Гражданская оборона».

Каждый вирусописатель — одиночка. Эти люди принципиально никогда не выходят на свет. В быту это может быть милейший человек, чаще всего нормальный — очень редко, кстати, блестящий — программист. Но по ночи безответной он выходит незримый и творит, что задумает. Это, конечно, терроризм. Но террор всегда имеет цель. Пусть не всегда совершенно конкретную. А здесь мы сталкиваемся с ситуацией самоуничтожения. Чего может добиться вирус в предельно удачном случае? Уничтожить среду своего существования. Но ведь мы имеем дело с разумными существами, которые эти вирусы производят. И это они уничтожают свою собственную жизненную среду.

7. Что такое слава или власть с точки зрения человека, которому подчиняются десятки тысяч компьютеров, тех, которые заражены его троянской программой, которыми он может удаленно управлять — например, уничтожить содержимое жесткого диска или начать атаку на сайт Microsoft?

Это слава и власть не человека, а некоторого объекта, который его опосредует, — компьютерной программы. В этом случае, как мне кажется, человек полностью ассоциирует себя со своим творением.

Если писатель от книги отстраняется и уходит, иначе он просто не сможет ничего больше написать, иначе сама книга не станет эстетически замкнутым и, значит, окончательно завершенным объектом, — то создатель вируса со своей программой совпадает. Он живет в ней. Она — это он. Он — это она. Только в этом случае слава программы и есть слава человека. А власть программы — это власть человека.

Вирусы — это не просто еще одна форма творчества. Возможно, что это в некоторых случаях уже форма жизни. Поэтому угроза, которую несут объективно вредоносные программы, несравнимо выше, чем может показаться на первый взгляд. Человек, одним из органов которого стала Сеть, будет сражаться за свою целостность и жизнеспособность всеми доступными ему средствами. И победить его будет непросто, потому что он сражается за собственную жизнь.



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

КНИГИ



Генрих Бёлль. Письма с войны. Перевод с немецкого и предисловие Ирины Солодуниной. М., «Текст», 2004, 207 стр., 3000 экз.

Письма Бёлля из армии и с фронта к своей будущей жене Аннемари Цех, датированные февралем 1940 — апрелем 1945 года, — собрание их представляет, по сути, первую книгу Бёлля о войне, содержащую также хронику молодости писателя и историю формирования его личности («...ненавижу каждого, кто питает к войне иные чувства, чем ненависть»).

Ивлин Во. Слепок эпохи. М., «Б.С.Г.-Пресс», 2004, 416 стр., 5000 экз.

Самый полный из вышедших на русском языке сборник рассказов Ивлиана Во.

Джозеф М. Кутзее. Мистер Фо. Роман. Перевод с английского А. Файнгара. Мишель Турнье. Пятница, или Тихоокеанский лимб. Перевод с французского И. Волевич. СПб., «Амфора», 2004, 415 стр., 8000 экз.

Романы двух ведущих мастеров современной прозы, переосмысляющие классический сюжет «Робинзона Крузо». Сюжет этот оказался необыкновенно емким, дающим возможности и для значительного расширения сюжетных линий — в романе южноафриканского писателя Кутзее повествователем является женщина, попавшая на остров Робинзона Крузо, а впоследствии, оказавшись в Лондоне, ставшая основным источником информации для мистера Фо, как называли близкие Даниэля Дефо; и для современного философского романа — «поздний экзистенциалист» Мишель Турнье сумел написать свою концепцию человека, не нарушая классической канвы старинного романа.

Сейс Нотебоом. День поминования. Роман. Перевод с нидерландского И. М. Михайловой. М., «Текст», 2004, 397 стр., 3500 экз.

Второй (первым были «Ритуалы» — М., «Текст», 2000) роман на русском языке одного из самых читаемых у себя дома и в остальной Европе современных нидерландских писателей. Герой романа, голландский кинодокументалист, работающий в Берлине, и его тамошние друзья-интеллектуалы живут с ощущением ускользающей от их понимания реальности современной Европы; мир для них «разорван на клочки» (разрушение Берлинской стены, религиозный кризис, тотальное чувство страха и угасание надежд на разум и добро, тени Ницше, Хайдеггера, Гитлера, современные войны, русская мафия в Европе и т. д., и т. д.), однако герои не теряют надежды, что из клочков этих «рано или поздно составится *summa*... и они сложатся в единую картину».

Вера Павлова. По обе стороны поцелуя. Книга новых стихотворений. СПб., «Пушкинский фонд», 2004, 160 стр., 1000 экз.

«Я словам не верю. / Я устала врать. / Как вернуть потерю? / Снова потерять. / Как увидеть Бога? / Выколоть глаза. / Потерпи немного — / вечность, полчаса».

Ежи Пильх. Песни пьющих. Роман. Перевод с польского Ксении Старосельской. М., «Иностранка», 2004, 191 стр., 5000 экз.

Внутренний монолог запойного алкача, а также — литератора и философа: автор-повествователь пытается разобраться в себе, в характерах своих собратьев по антиалкогольной клинике, регулярным пациентом которой является и сам, а заодно — и в смысле жизни, смысле любви, в смысле творчества. Веселое и грустное размышление о суете, тщете и подлинном содержании нашей жизни в романе одного из самых ярких польских прозаиков.

Мануэль Ривас. Карандаш плотника. Роман, рассказы. Перевод с испанского Н. Богомоловой. М., «Иностранка», 2004, 303 стр., 5000 экз.

Проза современного испанского писателя, представителя школы так называемого «галисийского магического реализма».

Александр Тимофеевский. Сто восьмистиший и наивный Гамлет. Стихотворения. М., О.Г.И., 2004, 128 стр., 1500 экз.

Четвертая книга поэта, собрание восьмистиший, писавшихся несколько десятилетий, — «Нет ничего смешней мужчины, / Когда в печали и тоске / Сидит он, теребя

морщины, / В кальсонах и одном носке. / Он все хитрит и половинит, / Носок наде-
нет, снова сымет / И взять никак не может в толк, / Что выше: чувства или долг?»

Транзит. Пьесы молодых уральских драматургов. Составление Н. В. Коляды. Екатеринбург, Уральское издательство, 2004, 312 стр., 2000 экз.; **Нулевой километр.** Пьесы молодых уральских драматургов. Составление Н. В. Коляды. Екатеринбург, Уральское издательство, 2004, 320 стр., 2000 экз.

Похоже, Екатеринбург становится одной из театральных столиц России — здесь стараниями известного драматурга и организатора не только театральной, но и литера-
турной жизни Николая Коляды налажено регулярное издание современной драматур-
гии (см. «Библиографические листки», 2004, № 7). На этот раз выпущен двухтомник,
представляющий творчество более двух десятков молодых драматургов. О том же см. в
«Театральных впечатлениях Павла Руднева» («Новый мир», 2004, № 9).

Елена Шварц. Видимая сторона жизни. СПб., «Лимбус-Пресс», 2004, 352 стр.,
2000 экз.

Эссе, малая проза, литературные мемуары известной поэтессы.

Ханне Эрставик. Любовь. Роман. Перевод с норвежского Ольги Дробот. М.,
«Текст», 2004, 157 стр., 1500 экз.

Роман, с которого в 1997 году началась литературная биография одной из самых
популярных сегодня норвежских писательниц.

Михаил Юдсон. Лестница в небо. Сказка для эмигрантов. СПб., «Геликон
Плюс», 2003, 272 стр.

Роман, состоящий из двух повествований (частей), связанных героем и темой.
Жанр романа сочетает признаки антиутопии и сатиры. В части первой («Москва злато-
главая»), больше тяготеющей к антиутопии, автор работает на том же пространстве,
что и Татьяна Толстая в романе «Кысь» (оба романа писались одновременно), — pano-
рама жизни Москвы, пережившей в отдаленном уже прошлом некий катаклизм, кото-
рый изменил ее климат на приполярный, ужесточил быт города, обострил социальные,
религиозные и национальные противоречия. Описываются мытарства молодого «Отца
Учителя» в гимназии, взятого, как еврея, под защиту его просвещенными, но при этом
хорошо адаптировавшимися к жестокой действительности учениками. Во второй части
романа, «Нюрнбергский дневничок», последующие скитания героя по Европе в каче-
стве эмигранта из России, «русского мыслителя с чемоданом», — по-шедрински гротеск-
ное изображение Украины, Польши, Чехии и — особенно подробно — Германии, где
герой попадает в резервацию русских эмигрантов. В Интернете текст романа доступен
по адресу <http://zhurnal.lib.ru/s/shehter_j_i/lestnitsanashkaf.shtml>.



Вячеслав Бондаренко. Вяземский. М., «Молодая гвардия», 2004, 688 стр.,
5000 экз.

Жизнеописание Петра Андреевича Вяземского в издательской серии «Жизнь заме-
чательных людей».

Войны XX века. М., Русский институт», 2004, 208 стр., 999 экз.

Традиционный ежегодник «Русского Журнала», на этот раз целиком посвященный
военной теме. «Авторы статей этого сборника — русских и переводных — анализируют
события Второй мировой, Вьетнамской, Шестидневной и других войн ушедшего столе-
тия. В текстах сталкиваются разные, порой ортогональные, идеи. Часть авторов счита-
ет, что лишь в XX веке война становится фактором нормализации жизни. Другие,
осмысляя радикальные изменения природы войн в XX столетии, определяют истори-
ческую границу этого феномена — 1914 год» (из аннотации). «„Спасение рядового Рай-
ана” или новая наша „Кукушка”, собирающие хорошую кассу, говорят сами за себя:
общество не хочет расстаться с войной нигде или почти нигде. Более того, оно уверен-
но воспроизводит такого рода нежелание в юных поколениях...» (Вячеслав Глазычев,
«Война никогда не кончается»).

Все герои Чехова — вся Россия. Каталог. Составитель Марина Ткаченко. М.,
«Ф. А. Ф. интертейнмент», 2004, 256 стр.

Неожиданный, но внутренне логичный и очень содержательный литературоведче-
ский проект: творчество Чехова как «энциклопедия русской жизни» — каталог персона-
жей Чехова, состоящий из 2355 словарных статей и, похоже, действительно представ-
ляющий все основные социально-психологические типы России на рубеже XIX —
XX веков.

А. А. Гапоненков. Журнал «Русская мысль» 1907 — 1918 гг. Редакционная программа, литературно-философский контекст. Саратов, Издательство Саратовского университета, 2004, 228 стр., 500 экз.

Историческая монография, содержанием которой стало исследование истории журнала «Русская мысль» периода редакторства П. Б. Струве, — анализ журнального контекста, программы, авторского состава, проделанный на основе материалов полного комплекта журнала, редакционного архива, мемуарной и исторической литературы. «Новый мир» планирует продолжить разговор об этой работе в разделе рецензий.

Александр Зеркалов. Этика Михаила Булгакова. М., «Текст», 2004, 239 стр., 3500 экз.

Новая работа Зеркалова является продолжением его предыдущей книги «Евангелие Михаила Булгакова. Опыт исследования ершалаимских глав „Мастера и Маргариты“» (М., «Текст», 2003). Автор обращается к одной из самых острых проблем романа — образам зла, творящего добро. Исследователь исходит из того, что, во-первых, этическую позицию автора следует искать в сложной системе масок («Есть причина, по которой этика „Мастера“ должна была быть скрыта под масками, и причина эта — общество, в котором жил писатель. <...> Действие романа датировано маем 1937 года... Время самой страшной — в буквальном смысле слова — охоты на инакомыслящих»), и, во-вторых, исследователь разводит, противопоставляя их, образ Власти и образ Воланда («Власть <...> есть как бы „настоящий дьявол“ в противоположность Воланду»). Вместе с тем исследователь констатирует, что «содержание „ершалаимских глав“ романа оппонирует содержанию Четвероевангелия по детально; элементы сюжета заменяются на противоположные по значению — таких замен найдено около сотни. И каждая такая замена этически окрашена; иногда одна оппозитная деталь содержит целый религиозно-этический переворот».

Михаил Новиков. Из пережитого. Составление Л. Гладковой. М., «Энциклопедия сел и деревень», 2004, 560 стр., 3000 экз.

Книга вышла в издательской серии «Семейный архив» — «впервые публикуемые в наиболее полном объеме воспоминания и переписка расстрелянного в 1937 году крестьянина Михаила Петровича Новикова (1870 — 1937), талантливого писателя-самоучки, друга Льва Николаевича Толстого, у которого великий писатель хотел поселиться, когда замыслил свой уход из Ясной Поляны <...> В воспоминаниях „Из пережитого“ встает Россия конца XIX — первой трети XX века, трагическая судьба крестьянства <...> Среди корреспондентов М. П. Новикова — Лев Толстой, Максим Горький, Иосиф Сталин <...>» (от издателя).

Бенедикт Сарнов. Случай Эренбурга. М., «Текст», 2004, 430 стр., 3000 экз.

«<...> пространное эссе о жизни и творчестве поэта, публициста и романиста. Непринужденный монтаж из мемуаров, размышлений, тонких характеристик эпохи 50 — 60-х, фотографий. Портрет писателя, то почитавшегося живым классиком, то объявленного „приспешником Сталина“. Вдумчивая и поучительная книга» («Книжное обозрение»).

Кирилл Сергеев. Театр судьбы Данте Алигьери: введение в практическую анатомию гениальности. СПб., «Летний сад», 2004, 244 стр., 1000 экз.

О проблеме жанра «Божественной комедии» — монография компаративиста, рассматривающего «Комедию» в контексте христианской (канонические и апокрифические видения загробного мира) и античной (Вергилий, Бозций) литературы, а также — ряда персидских текстов зороастрийской и исмаилитской традиций. «Корпус текстов Данте рассматривается с позиций герменевтического анализа. События жизни Данте в книге рассматриваются как материал для реконструкции основных принципов креативного мышления одного из основоположников современной европейской культуры».

Микаэл Таривердиев. Я просто живу. Вера Таривердиева. Биография музыки. М., «Зебра Е», 2004, 656 стр., 3000 экз.

Первую часть книги составило автобиографическое повествование знаменитого композитора Микаэла Леоновича Таривердиева (1931 — 1996), автора множества (более ста) романсов и разножанровой музыки для театра, из которой наиболее известны опера «Кто ты», во многом определившая эстетику Камерного театра Бориса Покровского, и написанная позже комическая опера «Граф Калиостро» (1983). У широкой публики имя Таривердиева связано прежде всего с кинематографом — как одного из самых востребованных позднесоветским кино композитора (130 фильмов). Вторая часть книги — воспоминания вдовы композитора. История его жизни и творческих исканий оказывается еще и историей жизни советской творческой элиты 60 — 80-х годов.

Фрэнсис Фукуяма. Наше постчеловеческое будущее. Последствия биотехнологической революции. Перевод с английского М. Левина. М., «АСТ»; «Люкс», 2004, 352 стр., 5000 экз.

Написанная в 2002 году самым популярным, пожалуй, современным политологом на Западе книга, тематику которой автор определяет так: «Террористические акты в США 11 сентября 2001 года снова вызвали к жизни сомнение относительно тезиса конца истории, на этот раз в связи с утверждением, что мы стали свидетелями „столкновения цивилизаций“ <...> — Запада и Ислама. Я лично считаю, что эти события ничего подобного не доказывают — просто исламский радикализм, стоящий за этими актами, ведет арьергардные бои и будет в свое время смыт широким приливом модернизации. Но на что эти события действительно указывают — это на то, что те науки и технологии, которые порождают современный мир, сами по себе являются ключевыми уязвимыми точками нашей цивилизации. Самолеты, небоскребы и биологические лаборатории — все эти символы современности — были превращены в оружие одним прикосновением злонамеренной изобретательности. В данной книге не идет речь о биологическом оружии, но возникновение биотерроризма как вполне реальной угрозы указывает на необходимость (о которой в книге говорится) большего политического контроля над применением науки и технологии».

Составитель Сергей Костырко.

ПЕРИОДИКА



«@кция», «АПН», «Вестник Европы», «Время новостей», «Газета», «Двадцать два» («22»), «День литературы», «Дети Ра», «Еженедельный журнал», «Завтра», «Знание — сила», «Иностранная литература», «Искусство кино», «Итоги», «Книжное обозрение», «Критическая масса», «Лебедь», «Левая Россия», «Литература», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Литературная учеба», «Логос», «LiveJournal», «Москва», «Московские новости», «Наш современник», «НГ Ex libris», «Нева», «Независимая газета», «Неприкосновенный запас», «Новая газета», «Новая Польша», «Новая Юность», «Новое время», «Новый очевидец», «Огонек», «Октябрь», «Отечественные записки», «Политический журнал», «Посев», «Простор», «Русский Базар», «Русский Журнал», «Русский курьер», «Русский предприниматель», «Сибирские огни», «Складчина», «Советская Россия», «Со-Общение», «Спецназ России», «Топос», «Урал»

Мурат Абдиров. «Я, генерал Корнилов...» (К 85-летию гибели человека, в чьих жилах текла казахская кровь). — «Простор», Алматы, 2004, № 5 <<http://prostor.samal.kz>>.

«Для казахстанцев личность генерала Корнилова интересна тем, что он наш земляк, более того, его мать — казашка, принявшая ранее православие». Автор статьи — доктор исторических наук, профессор Алматинского государственного университета им. Абая.

Галина Аграновская. Картинки. — «Октябрь», 2004, № 7 <<http://magazines.russ.ru/October>>.

Отдельные картинки писательского быта. «Александр Аркадьевич Галич пользовался у женщин большим успехом. И не без оснований: хорош собой, щеголь, безукоризненно одет, окутан ароматом хорошего одеколона. Блестящий рассказчик, певец, известный драматург. Как уберечь мужа от соблазна? Жена Саши, очаровательная Ангелина Николаевна, в быту — Нюша, никаких сцен мужу не устраивала. Пользовалась не совсем честным, но верным приемом: только Саша разомлеет от комплиментов и томных взглядов чаровницы, Ангелина Николаевна напоминает мужу о необходимости принять лекарство: „Сашенька, пора, а то опять будет несварение... Вы знаете, — обращаясь к даме, — Александр Аркадьевич страдает желудком хронически, это такая беда...”»

Василий Аксенов. «Я ни один из сериалов не посмотрел до конца». Беседу вел Игорь Потапов. — «Газета», 2004, 2 августа <<http://www.gzt.ru>>.

Завершились съемки телевизионного сериала «Московская сага» по одноименной трилогии Василия Аксенова: «Что меня еще поразило в современных актерах — они гораздо

выше нашего поколения, не говоря уже о поколении Сталина и Берии. Они физически выше ростом».

«<...> в романе есть несколько важных для меня моментов, отступления от основной линии повествования — реинкарнации героев в животных. Но ведь невозможно снять Ленина в виде огромного самца белки или как собака профессора Градова оказывается воплощением князя Курбского. Такие вещи невозможно передать языком кино».

«Повезло, что, когда снимали фильм, гостиница „Москва“ еще не была разрушена».

«Я думаю, что „Остров Крым“ просто просится на экран в качестве сериала или длинного полнометражного фильма».

Василий Аксенов. Зеница ока. Рассказ. — «Новый очевидец». Художественно-публицистический еженедельник. 2004, № 1, 16 августа <<http://no.lhouse.ru>>.

Рассказ об ужасах советской жизни, написанный специально для «Нового очевидца». Здесь же — стихи **Евгения Рейна**.

См. также: «Ничего подобного в России пока нет», — говорит о своем журнале главный редактор «Нового очевидца» **Сергей Мостовщиков** в беседе с Анной Рудницкой («Московские новости», 2004, № 30 <<http://www.mn.ru>>).

Загадка: откуда в самом первом выпуске нового журнала берется *почта*?

Вуди Аллен. Риверсайд-драйв. Пьеса. Перевод с английского Олега Дормана. — «Иностранная литература», 2004, № 7 <<http://magazines.russ.ru/inostran>>.

Любимый писатель/актер/режиссер Дмитрия Ольшанского.

Андеграунд и литература. Беседовала Татьяна Бек. — «НГ Ex libris», 2004, № 31, 19 августа <<http://exlibris.ng.ru>>.

Говорит издатель и главный редактор журналов «Футурум АРТ» и «Дети Ра», генеральный директор издательства «Вест-Консалтинг», лауреат Отметины имени Отца русского футуризма Давида Бурлюка **Евгений Степанов**: «Александр Федулов. Он прекрасный поэт и профессиональный художник. Вот у него и получается настоящая визуальная поэзия. Или Вилли Мельников. Он делает удивительные образцы люмонускриптов, драконографии. Это жанры, которые он изобрел сам».

См. также: **Евгений Степанов**, «Новый самиздат. Современная нетрадиционная поэзия опять уходит в подполья» — «НГ Ex libris», 2004, № 28, 29 августа; «Что я подразумеваю под поэзией? То, что нельзя пересказать прозой. Это, конечно, заумные стихи (Велимир Хлебников, Алексей Крученых, из современных — Сергей Бирюков, Георгий Жердев, Николай Грицанчук и некоторые другие), ОБЭРИУ (Даниил Хармс, ранний Николай Заболоцкий), русская сюрреалистическая поэзия (прежде всего Юрий Милорава, Михаил Лаптев, Элла Бурдавицына), блаженные (Эмили Дикинсон, Ксения Некрасова)».

Лев Аннинский. Медные трубы. Владимир Луговской: «Волна громовой меди над пустыней». — «Литературная учеба», 2004, № 3, май — июнь.

Один из фрагментов целого, распечатанного в разных изданиях. См. также: **Лев Аннинский**, «Михаил Светлов: „Приговор прозвучал, мандолина поет...“» — «День литературы», 2004, № 4, апрель; «Николай Заболоцкий: „Я сам изнемогал от счастья бытия...“» — «День литературы», 2003, № 12, декабрь; «Павел Антокольский: „Небыль сама превращается в быль“» — «Литературная учеба», 2003, № 4; «Илья Сельвинский: „Этот стих... как стакан океана“» — «День литературы», 2003, № 9; «Михаил Исаковский: „Болото. Лес. Речные камыши. Деревня. Трактор. Радио. Динамо“» — «День литературы», 2003, № 8 <<http://www.zavtra.ru>>.

Ольга Балла. Анатомия скуки. — «Знание — сила», 2004, № 7 <<http://www.znanie-sila.ru>>.

«Скука наших современников — свидетельство готовности к переходу в новую культурную стадию и переназрелости уже потребности в этом».

«<...> в русских памятниках письменности „скука“ с ее производными раньше Петровской эпохи не встречается».

«Именно скука, а не лихорадочная деятельность — свидетельство и доказательство того, что мы еще живы».

См. также: **Ларе Свендсен**, «Философия скуки» — «ПОЛИТ.РУ», 2004, 4 июня <<http://www.polit.ru>>.

Карл Граф Баллестрем. Церковь и демократическая культура: проблема адаптации и конфликты. Перевод с немецкого Владимира Кантора. — «Вестник Европы», 2004, № 11 <<http://magazines.russ.ru/vestnik>>.

«Вместо того чтобы сделать мир христианским, [католическая] церковь становится более мирской».

Лешек Бальцеревич. Работа на демагога. — «Новая Польша», Варшава, 2004, № 7-8, июль — август <<http://www.novpol.ru>>.

«<...> в Польше, как следует из результатов социологических опросов, люди сейчас настроены отрицательней по отношению к приватизации и заграничному капиталу, чем это было в начале наших реформ. Ухудшился также (в их глазах) и образ Польши после 1989 года, зато относительно улучшился образ ПНР — обанкротившегося и развалившегося строя».

Анатолий Барзах. [Людмила Петрушевская. Номер Один] — «Критическая масса», 2004, № 2 <<http://magazines.russ.ru/km>>.

«<...> решимость „потерять себя“, „начать сначала“, с неизбежными потерями и провалами, с неизбежным недовольством уже ангажированного читателя — с почти неизбежным поражением — это поступок, этическая и эстетическая ценность которого превышает, на мой взгляд, болезненность и фатальность утрат».

См. также: Алла Латынина, «Глаз из Нижнего мира» — «Новый мир», 2004, № 10.

Павел Басинский. Осознанная истерика. — «Политический журнал», 2004, № 24, 12 июля <<http://www.politjournal.ru>>.

«На простодушный вопрос одного из корреспондентов: „А вам не кажется немного неприличным, что российская интеллигенция ставит памятник самой себе?“ — кто-то из вышеназванных лиц не менее простодушно ответил: „Ну не сталевары же нам будут памятник ставить?“ Этот ответ <...> очень характерен. Дело не в сталевахах, конечно. Дело в том, что невозможно представить памятник интеллигенции „от благодарной России“, на народные деньги воздвигнутый». *Речь идет о пресловутом «Пронзенном Пегасе», открытом в Москве 30 июня.*

См. также: «Я, конечно, не надеюсь, что после моей статьи интеллигенция выйдет на площадь и, как Родион Раскольников, упадет на булыжник и воззовет: „Простите меня, люди, виноват!“» — пишет **Игорь Золотусский** («Интеллигенция: смена вех» — «Литературная газета», 2004, № 32-33, 11 — 17 августа <<http://www.lgz.ru>>).

Ингмар Бергман. Персона. Киноповесть. Перевод со шведского Галины Кабаковой. Предисловие Николая Пальцева. — «Новая Юность», 2004, № 3 (66) <http://magazines.russ.ru/nov_yun>.

Киноклассика.

Юрий Бондарев. Без милосердия. Роман. — «Наш современник», 2004, № 7, 8 <<http://nashsovr.aihs.net>>.

Художественная фальшь диалогов поразительная. *Люди так не говорят.*

См. также: **Юрий Бондарев**, «Красота, красота» (из книги «Мгновения») — «Завтра», 2004, № 33 <<http://www.zavtra.ru>>.

Владимир Бондаренко. Смерть безудержного оптимиста. О стихах и гибели Владимира Морозова. — «Литературная Россия», 2004, № 30, 23 июля <<http://www.litrossia.ru>>.

«Судьба Владимира Морозова чем-то близка судьбе Николая Рубцова, чем-то — судьбе еще одного шестидесятника, такого же одинокого и неукротимого романтика, оставшегося верным первым идеалам шестидесятников и ушедшего в мир иной вслед за этими идеалами, Геннадия Шпаликова».

См. также: **Владимир Бондаренко**, «Опаленный взгляд Алексея Прасолова» — «Наш современник», 2004, № 7 <<http://nashsovr.aihs.net>>.

Алексей Букалов. Итальянский Пушкин. О любви поэта к стране, где он никогда не был. — «Новое время», 2004, № 32, 8 августа <<http://www.newtimes.ru>>.

«Однажды Пушкин позволил себе пошутить по-итальянски, с использованием, как говорится, ненормативной лексики. Связана эта шутка была с одним из итальянских знакомых поэта...»

«**В ожидании варваров.** Из интервью профессора Бенни Морриса, данного газете «Ха-Арец». Беседовал Ари Шавит. Выборка и перевод Виктора Голкова. — «Двадцать два» («22»). Общественно-политический и литературный журнал еврейской интеллигенции из СНГ в Израиле. Тель-Авив, 2004, № 132 <<http://club.sunround.com/club/titul22.htm>>.

Жаль, что не могу — по понятным причинам — воспроизвести эту во многих отношениях примечательную беседу целиком. Вот — кусочки:

«— *Бенни Моррис, в течение двадцати лет ты исследуешь темные стороны сионизма. Ты специализировался на ужасах 1948 года. В конце концов, ты фактически все это оправдываешь? Ты сам сторонник трансфера?*»

— Нет оправдания насилию, оправдания резне. Это военные преступления. Но само выселение в определенной ситуации нельзя считать военным преступлением. Я не думаю, что выселения 48-го — это военные преступления. Нельзя изжарить яичницу без того, чтобы не разбить яйца. <...>

— *Есть что-то жуткое в спокойствии, с которым ты об этом говоришь.*

— Если ты ожидал, что я разрыдаюсь, мне придется тебя разочаровать: я этого не сделаю.

— *Выходит, когда руководители операции наблюдают, как длинная и страшная очередь из пятидесяти тысяч выселяемых из Лода марширует на восток, ты присоединяешься к наблюдателям? Оправдываешь их?*

— Я, безусловно, понимаю их. Мне понятны их побуждения. Я не думаю, что они испытывали угрызения совести, да и я на их месте не терзался бы особыми сомнениями. Не совершив этих действий, им не удалось бы выиграть войну, и государство бы не возникло.

— *Значит, ты их не осуждаешь? Они ведь произвели этническую чистку.*

— В истории бывают обстоятельства, когда этническая чистка оправдана. Ясно, что это утверждение совершенно неприемлемо с точки зрения XXI века, но когда выбор лежит между этнической чисткой и геноцидом, геноцидом твоего народа, я голосую за этническую чистку. <...>

— *Выражение «очистить» звучит ужасно.*

— Я знаю, что это слово не воспринимается приятно, однако именно оно использовалось в то время. Я столкнулся с ним в тех документах 48-го года, с которыми мне пришлось ознакомиться.

— *Вещи, о которых ты говоришь, трудно слушать и еще трудней их переварить. Ты производишь впечатление человека бессердечного.*

— Я испытываю симпатию к палестинскому народу, пережившему страшную трагедию. Я сочувствую беженцам. Однако если наше желание создать здесь еврейское государство было легитимным, у нас не было другого выхода. Невозможно было оставить пятую колонну внутри Израиля. <...> Необходимо воспринимать вещи в разумной пропорции. Речь идет о военных преступлениях малого масштаба. <...> По сравнению с *военными преступлениями русских, совершенными после Сталинграда* (выделено мной. — А. В.), это ноль. <...>

— *<...> Ты имеешь в виду, что Бен-Гурион выселил слишком мало арабов?*

— Если уж начал выселять, вероятно, надо было довести работу до конца. Я понимаю, что мои слова взбесят арабов, либералов и многих политиков. Но у меня есть чувство, что это место было бы более тихим и менее многострадальным, если бы дело было сделано. Если бы Бен-Гурион по-настоящему вычистил страну. Весь Израиль до Иордана. <...>

— *Я затрудняюсь понять. Значительную часть ответственности за ненависть к нам палестинцев несем мы сами. Ты ведь и сам доказывал, что палестинцев постигла историческая катастрофа.*

— Правильно. Но когда пытаются обезвредить серийного убийцу, не так уж важно разобраться, в силу каких причин он им стал. Важнее арестовать его или ликвидировать.

— *Объясни мне эту аналогию. Кто в данном случае серийный убийца?*

— Варвары, жаждущие нашей крови. Те, кого палестинское общество уполномочило совершать теракты, и в значительной степени само это общество. В настоящий момент оно пребывает в душевном состоянии серийного убийцы. Это очень большое общество. Душевно больное. К нему следует относиться так же, как относятся к одиночкам, становящимся серийными убийцами. <...>

— *В роли левого ты мне представляешься довольно-таки правым.*

— Я стараюсь быть реалистичным. Мне известно, что это не всегда кажется политически корректным, но я полагаю, что постоянное желание выглядеть политкорректным может отравить историю. Это усложняет нашу способность видеть истину. В этом случае я действую, как Альбер Камю. Он считался левым, и притом человеком совести, но когда речь зашла об алжирской проблеме, он заявил, что мать первичнее, чем совесть. Забота о своем народе важнее универсальных моральных принципов».

Антон Висков. Наследник Апостола Иоанна. — «Наш современник», 2004, № 6.

Рубрика «Мир Свиридова». «Среди своих литературных пристрастий в то время [Свиридов] указывал на Андрея Платонова („Потрясающая вещь — 'Чевенгур'», — говорил он, выразительно произнося последнее слово), на Ивана Солоневича (настоятельно рекомендовал прочитать его „Народную монархию”)».

Здесь же: **Станислав Золотцев**, «Духовный подвиг исполнина». Эту статью см. также в журнале «Сибирские огни» (2004, № 3 <<http://www.sibogni.ru>>).

См. также: **Георгий Свиридов**, «Из книги „Музыка как судьба”» — «Наш современник», 2003, № 5, 6, 8; «Разные записи. Тетрадь 1990 — 1994» — «Наш современник», 2002, № 9; «Разные записи. Тетрадь № 2 (1977 — 1979)» — «Наш современник», 2000, № 12.

Александр Вознесенский. 13 лет стилистической эволюции. Памяти «августовских событий 1991-го». — «НГ Ex libris», 2004, № 31, 19 августа <<http://exlibris.ng.ru>>.

«Важнейшее, казалось бы, событие в новейшей истории Российского государства не дало (пока?) ни одного значительного художественного произведения!»

Александр Волков. Мыслящая Вселенная. — «Знание — сила», 2004, № 8.

«Австралийский физик Реджинальд Кэхилл считает, что Вселенная устроена так же, как и головной мозг человека. Ей изначально присуще сознание. Она развивается, потому что сознает себя...»

Вячеслав Вольнов. Еще раз о минимальном государстве. — «Русский Журнал», 2004, 29 июля <<http://www.russ.ru/culture>>.

«<...> всякое право неестественно — в том строгом смысле слова, что *в природе* никаких прав нет и не может быть. В природе есть силы, действия и противодействия, но только не права. Право — понятие социальное, имеет место в обществе, и только в обществе, и всегда подразумевает *признание со стороны других людей*. Нельзя обладать правом, если никто из людей не признает за тобой это право. И наоборот, стоит хоть одному человеку признать за другим какое-либо право, как тут же второй станет его обладателем, хотя, разумеется, — лишь *по отношению* к первому. Иными словами, право всегда относительно, и право по отношению к одному может оказаться не правом по отношению к другому. Но в любом случае все права человека неестественны и ни из какой „природы человека” не выводимы». Критика *либертарианства*, то есть критический разбор книги Дэвида Боуза «Либертарианство. История, принципы, политика» (Челябинск, 2004).

Владимир Воропаев. «Вас развратило Самовластье...» Опыт прочтения одного стихотворения Ф. И. Тютчева. — «Литературная учеба», 2004, № 3, май — июнь.

«По Тютчеву, декабристы покусились на коренные законы русской жизни, на которых покоилась Российская империя». См. эту статью также: «Литературная Россия», 2004, № 38, 17 сентября.

См. здесь же: **Инна Ростовцева**, «Принятый в XX веке современник (Тютчев в зеркале „двойного сознания”)».

См. также: **Алексей Балакин**, «Первый том академического Тютчева»; **Сергей Бочаров**, «Тютчевская историософия: Россия, Европа и Революция» — «Новый мир», 2004, № 5.

Томас Вулф. О времени и о реке. Главы из романа. Перевод с английского и вступление В. Бабкова. — «Иностранная литература», 2004, № 7.

«Всю жизнь Вулф писал, по сути, одну бесконечную книгу, которую так и называл — *the Book*. Формально же это гигантское произведение оказалось разделенным на четыре романа, несколько десятков рассказов, письма, пьесы и т. д. Из четырех романов на русском языке изданы уже три (кстати, два из них были опубликованы на языке оригинала после смерти Вулфа и представляют собой, в сущности, редакторские компиляции из его литературного наследия). Первые же два романа, вышедшие еще при жизни автора, — „Взгляни на дом свой, Ангел” и „О времени и о реке”, — объединены общим героем, биография которого совпадает — естественно, *mutatis mutandis* — с биографией самого Вулфа. Объем второго романа, центрального в творчестве писателя, самого крупного из четырех и до сих пор не опубликованного на русском, составляет около тысячи страниц. При попытке втиснуть в журнал хотя бы половину этого огромного произведения он просто лопнул бы по швам, так что пришлось ограничиться фрагментами; однако они образуют нечто вроде законченной повести и полностью включают в себя одну из главных сюжетных линий романа» (от переводчика).

Роман Ганжа. наброски к критике государственного разума. — «Отечественные записки». Журнал для медленного чтения. 2004, № 2 (17) <<http://magazines.russ.ru/oz>>.

«Любой „продвинутый интеллект” знает, что Государство — это ширма, скрывающая реальные отношения власти, ее микрофизику и биополитику. Но это знание, которое не приближает к бытию. Опыт реальной власти — это грязный и отвратительный опыт, опыт канцелярской рутины, опыт бесконечных унылых коридоров, опыт саморазрушения, опыт небытия...»

Александр Генис. Самурай на экране. — «Иностранная литература», 2004, № 7.

«Для самурая главное — лояльность. Не зависящая ни от каких привходящих обстоятельств, она ценна сама по себе. Лояльность не нуждается в причине и оправдании.

Как раз эту — центральную — черту воинского кодекса „Бусидо” труднее всего освоить западному кино, обращающемуся к самурайской теме».

Алексей Герман. Полвека без хозяина. Монтаж Лилии Гушиной. — «Новая газета», 2004, № 51, 19 июля; № 52, 22 июля; № 53, 26 июля <<http://www.novayagazeta.ru>>.

«К Ельцину я попал дважды. В первый раз он меня засунул под пиджак, и я оттуда пискнул: „Борис Николаевич, дайте денег на кино!” Меня научили, что просить надо у него. „Россию любишь?” — пророкотал Ельцин сверху. „Очень люблю, Борис Николаевич, очень, очень люблю”. — „Тогда все будет в порядке”. — „И денег дадите?” — „Денег не дам, но все будет в порядке. Ты, главное, Россию люби”. Во второй раз это было собрание антифашистского комитета. За „круглым столом” — Ельцин и зловещие диссиденты, которые даже не встали, когда он вошел. Я встал. Все были очень сердиты и наперегонки хамили президенту. Потом всех пригласили к столу. Выпивают, закусывают и опять хамят Ельцину. Тогда я поднялся и говорю: „Борис Николаевич, вы их не слушайте, с той поры как Державин читал здесь императрице оду 'К Фелице' — самое холуйское произведение классической литературы, — с той самой поры и до сегодняшнего дня этот зал никогда не слышал, чтобы с правителями так разговаривали. Надеюсь, что это будет продолжаться. Я хотел бы выпить лично за вас. Потому что при вас это стало возможно. За вас и за оду 'К Фелице'...”»

Юрий Гладильщиков. Превращение Спилберга. — «Огонек», 2004, № 31, август <<http://www.ogoniok.com>>.

«Лукас и Спилберг — роковые фигуры, при помощи которых цивилизация нанесла один из самых сильных ударов по культуре».

Евгений Головин. Юбка — с разрезом и без. Послесловие Григория Бондаренко. — «День литературы», 2004, № 7, июль <<http://www.zavtra.ru>>.

«Говорить и писать про юбку можно с весьма бесчисленных точек зрения».

Михаил Голубков. Русский Сирич: эстетизм как творческая позиция Владимира Набокова. — «Литературная учеба», 2004, № 3, май — июнь.

«<...> его художественный мир основан на отрицании женского начала».

Александр Гольдштейн. «Словопрения об успехе нехороши». Беседу вел Томаш Гланц. — «Критическая масса», 2004, № 2.

«Бестселлером уже является не „Кысь”, проданная в презрительном количестве экземпляров, но конферирующая Татьяна Никитична, равно как и не многочисленные ерофеевские переиздания, но сам Виктор Владимирович в качестве любезного хозяина телевизионной гостиной».

Михаил Горелик. Возвращение Хоттабыча. Два любопытствующих иностранца в Москве 37-го года. Первый написал об этом книгу, второй стал героем повести. — «Новое время», 2004, № 31, 1 августа.

«Он оказался в СССР в тот же год, что и Фейхтвангер, и ему в Москве до того понравилось, что он решил натурализоваться. <...> Звали иностранца Гассан Абдурахман ибн Хоттаб. <...> „Старик Хоттабыч” был опубликован в тридцать восьмом — естественно считать, что Гассан Абдурахман прибыл в Москву годом раньше и, может быть, даже (почему бы и нет?) столкнулся как-то на улице Горького с Фейхтвангером, но они не обратили друг на друга ни малейшего внимания».

Ханс Ульрих Гумбрехт. Форма насилия. Похвальное слово красоте спорта. Перевод с английского Евгении Канищевой. — «Неприкосновенный запас», 2004, № 3 (35) <<http://magazines.russ.ru/nz>>.

«Подумать над вопросом, *почему мы любим спорт*, развить полноценную *эстетику спорта* — серьезный вызов нам, интеллектуалам. Во-первых, потому, что мы действительно не знаем ответа; во-вторых, потому, что спорт — это, вероятно, единственное масштабное современное явление, по отношению к которому наш аналитический инструментарий до такой степени неэффективен».

Здесь же: **Ханс Ленк**, «Этика спорта как культура честной игры. Честное соревнование и структурная дилемма».

Здесь же: **Вадим Михайлин**, «Аполлоновы лярвы: состязательный спорт в древнегреческой и новейшей культурной традиции».

Здесь же: **Михаил Прозуменщиков**, «За партийными кулисами великой спортивной державы».

Григорий Дашевский. «Пора идти». — «Критическая масса», 2004, № 2.

«<...> внутри современной поэзии, наоборот, проблемой стал страшный дефицит непризнанности. Может быть, осталось несколько человек старше сорока, которые

успели стать непризнанными поэтами, пока это еще было возможно. Нас тревожит репродукция внутреннего признания. Слишком много поэтов, которых признают хорошиими. 286 человек в интернетском рейтинге поэтов; 77 человек в антологии „Девять измерений“; около 400 человек в антологии „Современная литература народов России. Поэзия“ <...>.

Дело не в жанре. Тихая беседа Дана Дорфмана и Михаила Эдельштейна, с перерывом в месяц. — «Лебедь», 2004, № 386, 1 августа <<http://www.lebed.com>>.

Говорит Михаил Эдельштейн (по выражению Дана Дорфмана, *лидер всей сетевой критики*): «Есть вещи, в которых недостатков более чем, однако замечать их не хочется. И здесь мне очень легко привести пример, это мой любимый Борис Балтер, роман „До свиданья, мальчики!“». Все формальные слабости этой вещи очевидны, в ней очень много наивного, прямолинейного, — но роман-то от этого хуже не становится. <...> Вот, например: в декабрьском „Новом мире“ за 2003 год напечатаны две рецензии на быковскую „Орфографию“ — Максима Кронгауза и моя. Рецензия Кронгауза мне нравится куда больше собственной, это хороший аргументированный разбор, тонкий, остроумный. Но ощущение-то у меня от романа совершенно другое, и от этого меняется восприятие, оценка всех тех вещей, о которых говорит Кронгауз. И если я как читатель автору поверил, то никакой сколь угодно квалифицированный критический анализ меня не переубедит. Все, чем я занимаюсь как критик, — это обоснование своего первичного читательского впечатления».

Михаил Делягин. Подготовка социального геноцида. — «Москва», 2004, № 7 <<http://www.moskvam.ru>>.

<...> резкое сокращение масштабов социальной поддержки наиболее зависимой от нее части общества приведет к ее ускоренному вымиранию. Возможно, подлинная цель реформы — именно „разгрузка“ таким образом пенсионной и социальной систем. Таким образом, подготовка замены льгот на выплаты может рассматриваться как *подготовка социального геноцида*. Геноцид — преступление против человечества, не имеющее срока давности. Когда в России будет создано честное, ответственное перед народом государство, все лица, причастные к подготовке нынешней социальной реформы, должны понести за это ответственность на новом судебном процессе, аналогичном Нюрнбергскому, как за причастность к подготовке преступления против человечества».

См. также: Михаил Делягин, «Вектор прорыва. Нам предстоит еще раз перевернуть мир» — «Русский предприниматель», 2004, № 7-8 (20), июль — август <<http://www.ruspred.ru>>.

Юрий Дергунов. Компьютерные игры и гегемония. — «Левая Россия». Политический еженедельник. 2004, № 10 (109) <<http://www.left.ru>>.

<...> *Call of Duty* (разработчик *Infinity Ward* / издатель *Activision*). Игра сделана по мотивам фильма „Враг у ворот“, а это уже говорит о многом. Первый же уровень „за наших“, посвященный Сталинграду, начинается с переправы, на которой советских солдат преспокойно расстреливают из пулеметов. Затем они получают по одной обойме патронов и никакого оружия. Выполнение задания предполагает убийство советским снайпером своих же комиссаров (при этом, только играя за советские войска, игрок может убивать своих соратников без каких бы то ни было штрафов, при игре ни за какую другую сторону такое невозможно). Как финал — взятие рейхстага — совершенно левая операция, при этом красное знамя на него устанавливают бойцы — фамилиями Гречко и Суворов».

<...> игра *S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl* (*GCS Game World*), повествующая о борьбе с нечестью на Чернобыльской АЭС. *GCS* располагается в Киеве, и подобное стремление украинских разработчиков превратить национальную трагедию украинского народа в кровавый цирк не вполне понятно человеку с нормальной логикой и нормальным восприятием мира. Для буржуазного сознания в данной ситуации ни малейшего противоречия не возникает: Чернобыль — это у Украины такой *бренд*, на уровне с киевским „Динамо“ или братьями Кличко, а может, и намного известнее. Вывод может быть только один — надо делать деньги».

См. также: Борис Лебедев, «Враг в твоём доме. Наедине с экраном: нас оскорбляет голливудская стряпня о Сталинградской битве „Враг у ворот“» — «Советская Россия», 2004, № 104, 10 августа.

См. также: «Злейший поклеп. Участники Сталинградской битвы отвергают голливудскую стряпню „Враг у ворот“, распространяемую Первым каналом ТВ» — «Советская Россия», 2004, № 109, 21 августа <<http://www.sovross.ru>>.

Александр Долгин. Плацебо-эффект в литературе. — «Критическая масса», 2004, № 2.

«Обращает на себя внимание парадоксальный факт — цена книги определяется затратами на ее производство, но не ее содержанием. Также и билеты в кино — прода-

ются по одной и той же цене. Независимо от качества кинокартины билет на любой фильм в одном и том же кинотеатре будет продан по одной и той же цене. Примерно так же обстоит дело и с книгами, и с CD. Единообразие цен на однотипные продукты столь глубоко въелось в быт, что иное, кажется, и помыслить трудно. А тем временем унификация цен — не заповедь Божья, а „рукотворный” закон книжного рынка (как, впрочем, и любой технологично тиражируемой (цифровой) индустрии творчества), предопределяющий на нем все остальное. Поскольку цены книг причислены под одну гребенку, касса связана с тиражом и номенклатурой, но не с ценой отдельной книги. <...> Рынок продает эстетику, переживания, смыслы, но не берет за это денег. Тут и включается естественная, но порочная логика: раз за содержание не платят, то издатель вроде как никому ничего по этой части и не должен».

Денис Драгунский. Громкая тишина. — «Новое время», 2004, № 30, 25 июля.

«Известно, что одной из самых важных цивилизационных проблем современности является так называемый *digital divide*. Дословно „цифровое разделение”. По смыслу — некий водораздел между теми, кто владеет и повседневно пользуется современными компьютерными технологиями, и теми, кто в силу возраста, образования или политико-географических причин не умеет управляться с компьютером, не имеет электронной почты, не включен во „всемирную паутину”. Если давление на свободу прессы в России будет продолжаться, то единственной зоной свободного обмена информацией останется Интернет. <...> Пресловутый *digital divide* приобретет не только технологический, но и политический смысл. Возникнут, прямо по Ленину, две культуры внутри одной. Это будут совершенно разные политические культуры — постиндустриальная культура Интернета и неотрадиционалистская культура государственных телеканалов. <...> Люди, принадлежащие к этим культурам, будут различаться не только образованием и материальным положением — это бы еще полбеды. У них будет совершенно разная политическая лояльность».

См. также: **Денис Драгунский**, «Репетиция регресса» — «Новое время», 2004, № 24, 13 июня.

См. также: **Денис Драгунский**, «Горизонт вертикали» — «Искусство кино», 2004, № 4 <<http://www.kinoart.ru>>.

Зиновий Зиник. Дама с Каштанкой. — «Критическая масса», 2004, № 2.

«Когда Дом-музей Чехова навещал Путин (что привело к депортации бродячих собак из Ялты), директор, Геннадий Александрович, на вопрос Путина, чем можно помочь музею, предложил: когда в очередной раз в переговорах между Россией и Японией зайдет речь о возвращении Курильских островов, чтобы Путин прямо так и сказал японцам: „Пока не вернете зубную щетку Чехова, Курилы мы не отдадим!”»

Станислав Золотцев. Хранитель света. — «Сибирские огни», 2004, № 6 <<http://www.sibogni.ru>>.

«Так вот теперь мое твердое убеждение: потому и диссидентский „Метрополь” в 1979-м, и „красно-коричневый” запрещенный „День” в 93-м были нужны [Юрию] Кублановскому, потому и сегодня он, трудясь в либерально-псевдоавангардистском „Новом мире”, печатается и в изданиях совершенно иной направленности — потому, что, простите, плевал он на все „лагеря” и „фланги”, чуждо ему корпоративное отношение к литературе. <...> Потому, что он — русский поэт-бунтарь. Потому что для автора книги „В световом году” [М., «Русский путь», 2003] поэзия, как для любого настоящего поэта (русского по крайней мере), — всегда есть бунт, мятеж. Это бунт против стандарта, против трафаретно-устоявшихся (или официально-общепринятых) взглядов. Опровержение стереотипов, ниспровержение унифицированно-усредненного восприятия жизни, отрицание обезличивающих канонов. Это утверждение жизни, искусства и души человеческой во всем невероятном и невыразимом многообразии».

Алексей Иванов. «Не надо тыкать окурки в шкатулку с бриллиантами». Беседовал Владимир Потехин. — «Книжное обозрение», 2004, № 29-30, 26 июля <<http://www.knigoboz.ru>>.

Говорит пермский прозаик **Алексей Иванов**, выпустивший сразу две книги (краеведческую и исторический роман), связанной с рекой Чусовой: «Я рассматриваю [реку] Чусовую как целостный феномен, как стержень уникальной „горнозаводской цивилизации”, существовавшей на Урале в XVIII и XIX веках. Мы — наследники этой цивилизации, она до сих пор в значительной степени определяет наш быт и уровень жизни. Уникальность Чусовой в том, что здесь проявляются в первоизданном виде многие ныне забытые или искаженные исторические смыслы. Когда они раскрываются, становится ясно, что Чусовая — это национальная гордость России, что она — заповедник горнозаводской культуры, который надо беречь, холить и лелеять».

Дмитрий Ицкович. «Мы все время бегаем наперегонки со временем». Интервью с президентом группы компаний «ОГИ». Беседу вела Светлана Максимченко. — «@КЦИЯ», 2004, № 6 (33), июль — август <<http://www.akzia.ru>>.

«<...> Лев Семенович Рубинштейн замечательно поет, поет удивительно понтово, с интонацией, с пониманием, с любовью. Я хочу выпустить его пластинку. Потом буду ее слушать. Но, думаю, помимо меня ее будут слушать десятки тысяч людей. Потому что это будут песни мирового качества и невероятной ностальгии».

Александр Казинцев. Путь Филиппа. — «Наш современник», 2004, № 6, 7.

«Поистине — не делай добра, не получишь зла! Стоило России вести бесконечные войны с Турцией за освобождение Румынии и Болгарии, чтобы создать постоянный плацдарм для наших злейших врагов. Болгария дважды в XX веке воевала с Россией на стороне Германии, а румынские вояки безуспешно помогали Гитлеру штурмовать Сталинград...»

См. также: **Александр Казинцев**, «Симулякр, или Стекольное царство» — «Наш современник», 2002, № 11, 12; 2003, № 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12.

Светлана Кайдаш-Лакшина. О судьбе одной мифологемы комедии Чехова. Можно ли присвоить себе участок райского сада? — «НГ Ex libris», 2004, № 31, 19 августа.

«Вернувшись домой, я открыла „Независимую газету“, вышедшую в этот день со статьей Олега Клинка „Вишневый сад как райский“ в приложении „НГ Ex libris“ [2004, № 26, 15 июля], и поняла, что мое „открытие“ [в чеховедении], как аттестовали — возможно, и незаслуженно — мою скромную работу, уплыло от меня, словно вырвавшийся из рук воздушный шарик в ветреный день. Попробуй теперь слови его, что-то доказывая. Придется».

Елена Кацюба. Искусство промолчать. — «Русский курьер», 2004, № 164, 11 августа <<http://www.ruskur.ru>>.

«Лермонтов серьезен, как школьник, рисующий в туалете». Это — о сборнике: М. Ю. Лермонтов, «Стихи для взрослых» (М., «Альта-принт», 2004).

Александр Кашанский. Фантазмагория или пророчество? Фильм «Матрица»: кривое зеркало сакральных смыслов. — «Русский предприниматель», 2004, № 7-8 (20), июль — август <<http://www.ruspred.ru>>.

«<...> вполне масонский взгляд на мир <...>».

Константин Кедров. Круче Кручёных. — «Дети Ра». Международный литературно-художественный журнал. Главный редактор Евгений Степанов. 2004, № 2 <<http://www.detira.ru>>.

«Да будет мне позволена легкая футуризация мемуаров (а это все-таки мемуары, никуда не денешься). Мемуары о Кручёных — это уже футуризм».

Вацлав Клаус. Почему я не «европеист». Перевел с чешского Ярослав Шимов. — «Логос», 2004, № 2 <<http://magazines.russ.ru/logos>>.

«Цель этих моих заметок — проинформировать общественность о том, что некоторые противники чрезмерной европейской унификации, к числу которых отношу себя и я, выступают против нового международного правового порядка, против законов, выработанных чисто экспертным путем, без демократического контроля. Что они предпочитают путь проб и ошибок в рамках стандартного демократического законодательного процесса. Что им не по душе новая эрзац-идеология по имени „европеизм“. И наконец, что их позиция при этом крайне далека от вульгарного национализма».

Светлана Князева. Италия сегодня: взлеты и падения. Стабильная нестабильность итальянской действительности. — «Вестник Европы», 2004, № 11.

«В период Первой республики, особенно в 60 — 70-х гг., политический экстремизм в Италии имел два цвета — „черный“, неонацистский, представленный рядом групп неонацистского направления, и „красный“ — так называемый левоекстремистский, печально известные „Красные бригады“. В наши дни „черный“ терроризм уже не представляет серьезной угрозы стабильности в стране, возможно, за исключением блока „Социальное движение — трехцветное знамя“, который сохранил в своем гербе символику старой неонацистской партии — прямой наследницы неонацистской республики Салу. А вот „красный терроризм“ — это сила, с которой приходится считаться как политикам, так и силам порядка».

Короткая пробежка на Родину. Беседу вела Нина Краснова. — «НГ Ex libris», 2004, № 30, 12 августа.

Говорит **Татьяна Жирмунская:** «Софья Парнок была выдающейся поэтессой и подругой Марины Цветаевой. Умерла, отравившись грибами. Она ждала возвращения

Марины в Россию и не дождалась. Вообще-то она была лесбиянка. И, по сути, была мужем Цветаевой. Сережа Эфрон был ее мечтой, отцом дочери. А Софья Парнок была настоящим ее мужем. Но это не наше дело. *Я никогда не смакую таких вещей* (курсив мой. — А. В.). Главное — она писала замечательные стихи. И очень сильно повлияла на Цветаеву как на поэта, она показала ей, что такое мужской стих, направила ее на собственный путь в поэзии. И мне понятно, почему Цветаева так любила ее.

Сергей Костырко. Лох. Повесть. — «Урал», Екатеринбург, 2004, № 8 <<http://magazines.russ.ru/ural>>.

«Теннис — это только во вторую очередь спорт. А в первую — мasonicкая ложа. Каждый день тыходишь в отделенное от всех и вся высокими металлическими сетками пространство — и чувствуешь, как сами собой разворачиваются плечи, втягивается живот, пружинит нога. Каждый день четверо незнакомых, чужих (во всех отношениях — чужих) человека вежливо здороваются с тобой, поддерживая теннисные выражения лиц фразами типа: „Как игра? Какой сегодня корт? Не перелил Паша воды?“ А ты с удовольствием отмечаешь, с какой предупредительностью расступаются перед тобой их телохранители. Сигареты „Кэмел“ ты вытаскиваешь только на корте, так же как и пьезозажигалочку, подаренную коллегой из Канады (в комнате у тебя на столе — „Ява“ и спички). Ну и так далее... И ведь греет же все это душу дураку».

Константин Крылов. Новая ступень эволюции? — «Русский предприниматель», 2004, № 7-8 (20), июль — август <<http://www.ruspred.ru>>.

«Русские — это народ со слабыми социальными инстинктами. Если быть совсем точным, настолько ослабленными, что они перестают оказывать влияние на практическое поведение масс. Русские как народ — „социальный нуль“. Их поведение регулируется, с одной стороны, чисто биологическими факторами („чувством голода, чувством холода и чувством боли от удара палкой“), с другой — рациональными соображениями (прежде всего пользы и вреда). А то место, которое у других народов занимают социальные инстинкты, русские компенсируют особого рода конструкциями, созданными разумом, — то есть так называемыми убеждениями (начиная от политических и кончая нравственными). Из этого следует очень многое».

Андрей Кураев. Православным пора почувствовать вкус к карьере. — «АПН (Агентство политических новостей)». Проект Института национальной стратегии. 2004, 4 августа <<http://www.apn.ru>>.

«<...> *необходимое требование к любому патриоту России, к любому православному человеку: хочешь помочь России и Церкви — стань профессионалом.* Не в смысле „профессиональным патриотом“, а в смысле профессионалом в своей светской работе».

«Как национальную беду я расцениваю то, что в нашей массовой церковной проповеди, психологии нет вкуса к жизни. Постоянно проповедь конца, ужаса, поражения, бегства. Нет призыва активного вхождения в современную жизнь и преобразования ее. В общем, пора сказать страшное слово: *в молодых православных людях надо воспитывать вкус к карьере, к жизненному успеху.*»

«Вообще, *если православный юноша не мечтал об уходе в монастырь — значит, с его церковной жизнью что-то не так.* Мечта о монастыре — признак нормального духовного развития молодого человека. Хотя бы полгода церковный человек должен походить с этой мечтой в сердце (иначе он никогда не будет понимать монашество; а без понимания монашества невозможно понимание Православия). Но не всегда мечта должна переходить в реальность. Господь и намерения лобзает. <...> *Монахов у нас хватает (в России их около 8000).* Церкви, может быть, более всего не хватает сегодня людей, способных профессионально работать в светских структурах, но с православной мотивацией».

«Да, Православие доживет до конца мировой истории. Но в каком качестве? В самый последний период мы неизбежно окажемся в капсулированном состоянии (оттого этот период и станет последним). В конце времен мы будем изгнаны из „приличного общества“, станем маргиналами (как это было и в апостольский век). Но сами мы к такому состоянию стремиться не должны».

«Есть священники, у которых талант — общаться именно с заключенными и обездоленными. Но *вернуть всю Церковь к работе с маргинальными слоями — это самое страшное, что может сейчас произойти с Церковью.* А именно в эту сторону нас тщательно подталкивают: идите к маргиналам и маргинализируйтесь вместе с ними. Не надо топить православие в социальном болоте».

«*Если мы хотим видеть Россию православной, ей нужны православные элиты.* Православные депутаты, экономисты, министры, бизнесмены, учителя, журналисты и так далее».

Валентин Курбатов. Диагноз. — «Литературная учеба», 2004, № 3, май — июнь.

«Диагноз, поставленный повестью [Распутина], страшен, но и лекарство, таинственно содержащееся в этой же повести, могущественно. Это не утешение. После та-

кого разговора человека утешить трудно. Это призыв к защите». См. эту статью также: «Подъем», 2004, № 2.

См. также: **Капитолина Кокшенева**, «Границы судьбы. О повести Валентина Распутина „Дочь Ивана, мать Ивана” и теме зла в современной литературе» — «Москва», 2004, № 2 <<http://www.moskvam.ru>>.

См. также: **Капитолина Кокшенева**, «Связующая в род. О повести В. Распутина „Дочь Ивана, мать Ивана” и о ее интерпретациях в литературной критике» — «Подъем», 2004, № 2 <<http://www.pereplet.ru/podiem>>.

См. также: **Роман Сенчин**, «В авторской колее» — «Литературная Россия», 2004, № 8, 27 февраля <<http://www.litrossia.ru>>.

См. также: **Дмитрий Быков**, «Зори над распутием» — «Новый мир», 2004, № 4.

Валентин Курбатов. Что скажет Господь. — «Литературная Россия», 2004, № 32, 6 августа.

«Так вышло, что я только-только прочитал последнюю книгу Олега Чухонцева „Фифа”...» См. также рецензии **Дмитрия Полищука** и **Ирины Роднянской**: «Новый мир», 2004, № 6.

Ян Левченко. «Смерть» «порно». — «Критическая масса», 2004, № 2.

«Порно сделало свое дело и теперь может уйти. Оно и так уже изменилось до неузнаваемости, о чем свидетельствует любая подборка „непристойного” антиквариата, который по аналогии со старинными авто обозначают термином *vin tage*».

Валерий Лобанов. Очень люблю любить. — «Дети Ра», 2004, № 2.

надо Родину любить
как любил ее Некрасов
надо Родину любить
а не этих пидарасов

Виорэль Ломов. Заметки с 12-го съезда писателей России. — «Сибирские огни», Новосибирск, 2004, № 7.

«Станислав Куняев („Наш современник”) рассказал о том, что регулярно рассылает журналы многим губернаторам. И вот от одного (фамилию не назвал) узнает как-то, что дома перед сном жена читает ему именно этот журнал. Куняев расчувствовался, написал жене губернатора благодарственное письмо. Через какое-то время встречается губернатора, а тот и пеняет ему: „Что ты наделал, Станислав? Ведь у меня новая жена, молодая, и она никогда не читала твой журнал. А тут пришло твое письмо, и у нее появился интерес. Теперь перед сном читаю ей твой журнал».

Роза Ляст. На арене. Гладиаторы и политика в римском обществе. — «Двадцать два» («22»), Тель-Авив, 2004, № 132.

Еврей-гладиаторы.

Виктор Мазин. Бухгалтерия души. — «Критическая масса», 2004, № 2.

«Экранированное растворение в глобалитарном онейроиде <...>».

Мандельштам — победитель истории. Беседа с Ярославом Марекком Рымкевичем. Беседу вела Наталья Горбаневская. — «Новая Польша», Варшава, 2004, № 7-8, июль — август.

Говорит поэт **Ярослав Марек Рымкевич**: «<...> когда в середине 60-х годов мы с Рышардом Пшибыльским говорили, что Мандельштам — величайший русский поэт XX века, над нами просто смеялись. Всем всё было ясно, что великий поэт один, и это Пастернак».

Здесь же напечатаны стихотворения **Ярослава Марека Рымкевича** «Осип Мандельштам идет с ландышами» и **Яцека Качмарского** «Воскресение Мандельштама» в переводе Натальи Горбаневской.

Игорь Манцов. После Зубова. — «Русский Журнал», 2004, 3 августа <<http://www.russ.ru/columns/street>>.

«Я не против Пушкина как занимательного чтения. Я против тех, кто смеет утверждать, что Пушкин — наше всё. Я настаиваю: тот, кто всерьез полагает, что *мертвый* Пушкин важнее *живого* Манцова, — вурдалак».

После Зубова — это значит: после чтения историософского сочинения **Андрея Зубова** «Размышления над причинами революции в России» — «Новый мир», 2004, № 7, 8.

«Зубов прав во всем».

Сергей Маркедонов. Абхазская пята Грузии. — «Посев», 2004, № 7, июль <<http://posev.ru>>.

«<...> начало конца советской Грузии произошло 9 апреля 1989 г. Между тем демонстрация грузинских национал-радикалов, начавшая отсчет последних лет советской

империи, была не столько антисоветской или антикоммунистической, сколько антиабхазской. Это уже впоследствии стараниями А. Собчака и других членов Межрегиональной депутатской группы та акция Звиада Гамсахурдиа станет демонстрацией протеста против советского режима. А 9 апреля 1989 г. грузинские национал-радикалы, негласно поддерживаемые (что и раньше бывало не единожды) этнократами в лице руководства компартии Грузии, выступили против инициативы народного форума Абхазии „Айдгылара” („Единство”) о придании Абхазской ССР статуса союзной республики».

Евгений Марков о романе «Преступление и наказание». Подготовка текста, публикация и примечания Л. И. Соболева. — «Литература», 2004, № 30, 8 — 15 августа <<http://www.1september.ru>>.

Фрагмент статьи популярного некогда критика, публициста и прозаика Евгения Львовича Маркова (1835 — 1903) «Романист-психиатр» (журнал «Русская речь», 1879, № 5, 6). Достоевский же в письме к Е. А. Штакеншнейдер от 15 июля 1879 года писал: «Евг. Марков сам в нынешнем году печатает роман с особой претензией опровергнуть пессимистов и отыскать в нашем обществе здоровых людей и здоровое счастье. Ну и пусть его. Уже один замысел показывает дурака». Но Марков-критик не сказать чтобы был дурак.

Михаил Маяцкий. Демократия как судьба. — «Логос», 2004, № 2.

«Я полагаю, что чем сличать демократические акциденции с какой-то воображаемой и недостижимой субстанцией демократии, куда корректнее постулировать и впредь считать несколько стран мира (все тот же „Запад”) демократиями и потом смотреть по их реальному социополитическому поведению, что же такое демократия. Такой номинализм избавил бы нас, грешных, от некоторых иллюзий, а эти замечательные страны — от вины за несоответствие небесному эталону».

Кароль Модзелевский. Речь на похоронах Яцека Куроня. — «Новая Польша», Варшава, 2004, № 7-8, июль — август.

«Яцек <...> считал, что такая экономическая модернизация, которая толкает половину Польши на дно, оставляет половину Польши за бортом, — это не успех, а поражение».

Алексей Мокроусов. Соловей в стране шулеров. Оперное наследие Шостаковича на фестивале «Белые ночи»: штрихи к портрету гения. — «Новое время», 2004, № 31, 1 августа.

«Внутренний драматизм и в то же время глубоко запятанная ироничность музыки Шостаковича заставит искать ему такой аналог в литературе, как Андрей Платонов, — с извечным балансированием последнего между пародией и адом, первобытностью мышления и последними вопросами бытия. Но на уровне повседневного мышления он был, как заметил Козинцев, типичнейший Поприщин, склонный к компромиссам с властью и именно в них искавший прибежища для внутренней свободы».

См. также: **Соломон Волков**, «Сталин и Шостакович: случай „Леди Макбет Мценского уезда» — «Знамя», 2004, № 8 <<http://magazines.russ.ru/znamia>>; это фрагмент новой книги С. Волкова «Шостакович и Сталин: художник и царь».

См. также: **Соломон Волков**, «Ожидание приговора в Большом театре. 9 августа 1975 года скончался Дмитрий Шостакович. По воле Сталина композитор оказался причастен к созданию гимна» — «Московские новости», 2004, № 29 <<http://www.mn.ru>>.

См. также: «Вот Соломон Волков сейчас выпустил очередную книгу, где пишет, что Шостакович боролся со Сталиным. Но как с ним можно было бороться?!» — говорит вдова композитора Ирина Антоновна в беседе с Юрием Коваленко («Его жизнь состояла не только из отношений с товарищем Сталиным» — «Русский курьер», 2004, № 162, 9 августа <<http://www.ruskur.ru>>).

Анатолий Найман. Месяц в глухом месте. Рассказ. — «Вестник Европы», 2004, № 11.

«Этот рассказ написан почти 30 лет тому назад. В обстановке и атмосфере, исключавших всякую мысль о возможности его напечатать. Напечатано могло быть только то, что было напечатано: рассказ в эту категорию не входил. Знающий знает, незнающему не объяснишь. Компьютеров в ту пору не было. Поэзия — которую я осознал своим делом еще в юные годы — требует не много места для хранения, папки с прозой распирают ящики письменного стола физически. По этой, главным образом, причине в 1992 году я опубликовал в Лондоне в русском издательстве „Overseas Interchange Publications Ltd” компактную книжку под названием „Статуя командира и другие рассказы”: пять больших рассказов, включая представленный здесь. 30 лет тому назад обстановка и атмосфера были такие, что Прибалтика — зона и в определенном смысле распорядитель действия в рассказе — и представляла для жителей СССР Европу. Дру-

гой просто не было. Прибалты прекрасно вступали в партию, делали советскую карьеру, но латиница уличных вывесок, отчужденное выражение лиц, остатки буржуазного быта в городах и деревнях передавали что-то читанное о том мире в книгах. Не Ибсена, не Гамсуна и уж подавно не Метерлинка, но по соседству. Провинциальные родственники тех. Россия жила грубее, грязнее, топорнее и при этом куда масштабнее культурно. Мы были Толстые и Тургеневы — на одной ноге с Диккенсами и Флоберами. Энергия этого парадокса по-своему тоже работает в рассказе. Как, впрочем, и вся ситуация, и конфликт, принадлежащие конкретному времени, но отнюдь, мне кажется, к нему одному не привязанные».

См. также *прибалтийскую* повесть Марины Палей «Хутор» в сентябрьском номере «Нового мира» за текущий год.

Научиться жить с предрассудками. Польско-русская дискуссия «Близкие — далекие». Материал подготовили Кшиштоф Маслонь и Славомир Поповский. — «Новая Польша», Варшава, 2004, № 7-8, июль — август.

Говорит Дмитрий Быков: «Борьба с предрассудками и стереотипами — это такой вид интеллектуальных спекуляций, любимое занятие как в Польше, так и в России. Однако я хотел бы спросить: а зачем нам бороться со стереотипами в культуре? Они для того и существуют, чтобы опережать справедливость и рассудок. <...> Проблема не в том, чтобы бороться с предрассудками, а в том, чтобы научиться с ними жить и извлекать из них позитивные выводы. <...> любовная лирика всех народов мира выросла из различия предрассудков мужчин и женщин».

Говорит профессор Анджея де Лазари: «И снова слышны утопические грезы о Польше как мосте между Востоком и Западом. Как будто в объединяющемся мире кому-то еще нужен этот дырявый мост. Без потерь в Польше можно издать книжку только о том, какая Россия плохая. <...> Наилучший пример — провокационная „Энциклопедия русской души“ [Виктора Ерофеева]. Издательство „Читальник“ готовит сейчас ее второе издание. Почему? Да потому, что поляки в массе своей воспринимают „Энциклопедию“ как антирусскую книгу».

Сергей Небольсин. Карнавал или хоровод. — «Литературная газета», 2004, № 31, 4 — 10 августа.

«Учение Бахтина о карнавале — „глубоко по-русски ’антирепрессивное’, ’демократичное’, ’еретичное’ или ереселюбивое, всемирно-освободительное, раскрепостительное” и т. п. — заслуживает пересмотра. И оно едва ли имеет ту всеобъяснительную силу, которую ему приписали».

Нежный возраст. Беседу вел Александр Колбовский. — «Итоги», 2004, № 34 <<http://www.itogi.ru>>.

Говорит режиссер Сергей Соловьев: «<...> при нынешней общенародной ситуации, конечно же, стыдно быть богатым».

«Для меня „Каренина” прежде всего — первый роман русского Серебряного века, его предчувствие. Этот толстовский роман просто невозможно рассматривать с позиции русского позитивистского романа середины XIX века».

«Вот когда Анна лежит в постели и видит себя со стороны, видит, как горят ее глаза, — это же чистейший Набоков!»

Андрей Немзер. О любви, обиде и ужасе. К семидесятипятилетию Василия Шукшина. — «Время новостей», 2004, № 130, 26 июля <<http://www.vremya.ru>>.

«В рабочих тетрадях Василия Шукшина есть раздраженная по тону и важная по сути запись: „Во всех рецензиях только: Шукшин любит своих героев... Шукшин с любовью описывает своих героев...” Да что я, идиот, что ли, всех подряд любить?! Или блаженный? Не хотят вдуматься, черти. Или не умеют. И то и другое, наверно”. Конечно, глупостей про Шукшина (как и про любого художника) наворочено было достаточно, а упрямо повторяемые пустые словеса не только такого взрывного строптивца из себя могут вывести. Но слышится в шукшинском бурчании не одна только досада. И ведь правда — как просто! Разве мало среди шукшинских персонажей негодяев и хамов? <...> Список длинный. И когортой симпатичных шукшинских героев его не уравновесишь. <...> Он-то знал, что, любя их — действительно любя, потому и мы чувствуем „бездны” в заведомо неприятных типах, потому и ощущаем какую-то смутную вину перед (сказать страшно) Капустиным, Шурыгиным и Спирькой, — одновременно их же (включая трогательных чудиков) ненавидит. И ничего с этой ненавистью поделать не может. Об этом — „Кляуза”, предсмертный рассказ, где автор не может вспомнить лица бесстыжей вахтерши, то есть не может увидеть в ней человека. Точно так же ничего не мог поделать Шукшин с другой мукой — осознанием всеобщего взаимоотчуждения. И не в городе-деревне тут суть — естественное желание каждого жить по-своему в

нивелированном мире (советском, в частности) отливается жадой унижить другого. В мечтах. В застольном трепе. В семейной склоке. Коли ты при „власти”, то во имя порядка. А коли тебя обидели, то во имя правды, ради которой можно не только церквушку или „кандидатов”, но и весь мир в распыл пустить. Читатели (не только критики) об этом думали мало. Они хотели, чтобы их любили. Все хотели, включая вахтершу из „Кляузы”. До сих пор хотят. И соответственно эту самую любовь в шукшинской муке обнаруживают».

См. также: **Андрей Битов**, «...Но ему было тесно жить» — «Новая газета», 2004, № 53, 26 июля <<http://www.novayagazeta.ru>>.

Андрей Немзер. Дело в шляпе. «Новая библиотека поэта» приросла сочинениями Ивана Баркова. — «Время новостей», 2004, № 138, 5 августа.

«Едва Барков умер, как имя его возникло на титулах рукописных сборников стихотворений вольного содержания, лишь часть которых доподлинно принадлежала перу усопшего. Составитель новейшего издания Валерий Сажин полагает, что таким образом собрать-литераторы почтили память Баркова. Версия вероятная: действительно, в отзывах многих литераторов XVIII века приметна симпатия к певцу Прияпа и Венеры. Только можно ведь и контрверсию выдвинуть: ответственность за всю разудалую похабщину, за всю мужиковатую веселость, за весь греющий хмельную душу вздор валили на Ивана Семеновича — валили как на мертвого. Благо мертвым он и был».

Андрей Немзер. Памяти Ирины Полянской. — «Время новостей», 2004, № 136, 3 августа.

«Полянская была настоящим писателем». См. также: **Нина Горланова**, «Семь яблок под окном. Памяти Ирины Полянской» — «НГ Ex libris», 2004, № 29, 5 августа <<http://exlibris.ng.ru>>.

Андрей Немзер. Все впереди. Семьдесят лет назад открылся Первый съезд советских писателей. — «Время новостей», 2004, № 146, 17 августа.

«Лишь тот, кто обладает абсолютной эстетической глухотой (или ее умело имитирует, дабы завоевать собственное место под солнцем), сможет бесстрашно (нагло и глупо) вычеркнуть целую эпоху развития русской литературы. Дар есть дар, и он дорого находит (если, конечно, художника не убьют)».

См. также: **Юрий Соломонов**, «Союз пера и хорала. Что создал и что воспел Первый съезд советских писателей» — «Огонек», 2004, № 33, август <<http://www.ogoniok.com>>.

См. также: **Вячеслав Саватеев**, «„Нам не по пути с Прустом и Джойсом...” Первый съезд советских писателей: между литературой и политикой» — «НГ Ex libris», 2004, № 29, 5 августа <<http://exlibris.ng.ru>>.

«Нет» разрушительным экспериментам в образовании. Открытое письмо президенту России В. В. Путину. — «Посев». 2004, № 7, июль.

«Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Обращаемся к Вам с чувством глубокой тревоги за будущее российского образования. Образование, которое мы можем потерять, если будет продолжен проводимый в последние годы Министерством образования губительный курс. Курс на реформы неподготовленные, осуществляемые в крайней спешке, не решающие подлинных проблем, вызывающие справедливые протесты в обществе и разрушающие лучшие отечественные традиции образования <...>. Письмо подписали (в публикации «Посева» имена не указаны): 41 академик и член-корреспондент Российской академии наук; 21 академик и член-корреспондент Российской академии образования; 24 академика и члена-корреспондента Российской академии естественных наук и Российской академии космонавтики, заслуженных деятеля науки и высшего образования РФ; 182 преподавателя вузов и научных сотрудника академических институтов; 342 директора школ, учителя, специалиста, студента».

См. также: **Николай Скатов**, «Древняя боль. О национальных традициях, национальных идеях и национальном образовании» — «Литературная газета», 2004, № 32-33, 11 — 17 августа <<http://www.lgz.ru>>.

Андрей Новиков-Ланской. Губы в движении. — «НГ Ex libris», 2004, № 27, 22 июля.

«Его [Сельвинского] сознание насквозь вербально. Цецилия Воскресенская, вдова поэта, вспоминает о том, как стеснялась ходить с Сельвинским по улицам, потому что тот постоянно что-то шептал, иногда даже произносил слова вслух: „Губы его находились все время в движении”».

Дмитрий Ольшанский. Писатели 20-х. — Сетевой дневник Дмитрия Ольшанского, 2004, 11 августа <<http://www.livejournal.com/users/olshansky>>.

«Платонов: слишком великий, чтобы вообще можно было думать о том, что он был человеком. Он скорее разновидность божества, Духа».

Вагинов: слишком сильно любимый, чтобы мерить его какой-то жизнью. Слишком воздушный.

Бабель: слишком брутально-физиологичный.

Леонов: слишком метафизически русский, голова кружится.

Булгаков: слишком презрительный для чего-то, кроме тихого восхищения им украдкой.

Пильняк: до некоторой степени чужеродный.

Артем Веселый: слишком правильный, чтобы быть близким.

Вс. Иванов: пока толком не прочитанный.

Ал. Н. Толстой: талантливый, ничего уж не поделаешь, но слишком уж мерзкий.

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ — СОВСЕМ РОДНОЙ.

Почему — непонятно. Но так есть».

Оппозиция в России сильно помолодела. Беседу вела Кира Латухина. — «Независимая газета», 2004, № 170, 13 августа <<http://www.ng.ru>>.

Говорит **Александр Тарасов**, содиректор центра новой социологии и изучения практической политики «Феникс»: «В 1991 — 1993 годах молодежь на левом фланге составляла 15 — 18 %, а сейчас примерно сравнялась с численностью немолодых коммунистов, то есть составила 50 %. По приблизительным оценкам за прошлый год, реально действующих, а не декларативных членов всех „взрослых“ левых организаций — КПРФ, РКРП, ВКП(б), ВКПБ, РПК, „Трудовой России“ и т. д. (всего 18 компартий по стране), было примерно 50 тысяч человек. <...> Приблизительно такая же численность — 50 тысяч — и у молодежных левых организаций. <...> Интересно, что больше половины представителей левых молодежных организаций составляет комсомол Кубани, созданный в добровольно-принудительном порядке. Это самая крупная молодежная организация, формально входящая в СКМ. Всего в СКМ до 35 тысяч членов. Добавим более мелкие организации: АКМ, РКСМ, РКСМ(б), „Социалистическое сопротивление“, РРП, „Ревальтернативу“ и т. д. Если прибавить не совсем левую НБП, в рядах которой поголовно молодежь (по их утверждениям, 11 тысяч), — получится, что на левом фланге активно действующей молодежи даже больше, чем „стариков“».

См. также беседу **Александра Тарасова** с Валерием Буртом («Бритоголовые в сумерках» — «Литературная газета», 2004, № 30 <<http://www.lgz.ru>>): «Как и все молодежные субкультуры, скинхеды развиваются и увеличивают численность до тех пор, пока это движение считается модным, пока не будет исчерпана потенциальная база, поскольку не бывает, чтобы вся поголовно молодежь „записалась“ в одну субкультуру. <...> Большинство скинов, повзрослев, уйдет из этой субкультуры. Однако расистские, ксенофобские и фашизоидные взгляды останутся с ними на всю жизнь. Превратившись в обывателей, они создадут социальную среду, которая будет сочетать ультраправые идеи с идеями приверженности представительной демократии. Именно такая среда обеспечила успех Национальному фронту Ле Пена во Франции, Партии свободы Хайдера в Австрии, Берлускони в Италии — тому, что принято называть „двубортным“, то есть респектабельным, благообразным фашизмом».

«Отделить государство от мерзавцев лично Путин не в состоянии». Беседу вела Наталья Меликова. — «Независимая газета», 2004, № 173, 17 августа.

Говорит **Глеб Павловский**: «<...> политик должен одинаково легко работать и с порядочными людьми, и с мерзавцами».

Александр Панченко. Петербург как столица скопцов. — «Отечественные записки», 2004, № 2 (17).

«Так, скопческая версия фольклорного сюжета „Царя требуют в Сенат“ гласит: „<...> Приезжают вдруг за ним [Александром I] поздней ночью — в Сенат требовать. Царь удивился, но оделся и поехал: ’В чем, — говорит, — дело, господа? Зачем я нужен?’ А они и говорят: ’Правда ли, государь, что вы скопец? Сенат желает удостовериться и просит вас раздеться’. Царь видит, что все озлоблены против него, начинает раздеваться, и оказалось, что он скопец. <...> В это время домой приехал его брат Константин, человек необыкновенной силы: ’Где, — говорит, — государь?’ Ему говорят: вызвали в Сенат. Он — в Сенат, — часовой не пускает. Константин выхватывает шашку, и раз — вмах снес голову часовому. Вбегает во дворец, а царь голый стоит перед Сенатом. Как начал он крошиться, так и порубил всех, а потом обращается к Александру и говорит: ’Эх ты, курицы испугался’...»».

Алексей Пензин. Индустрия ночи. — «Критическая масса», 2004, № 2.

«Ночная жизнь — это хроническая бессонница позднекапиталистического общества, одержимого идеей полного, рационально калькулируемого и эффективного использования ресурсов времени и пространства. <...> Можно было бы сказать, что сон остается одной из последних неконтролируемых, „диких“ зон жизненного мира, и

внутри системы возникает проект его „колонизации”, если воспользоваться термином Хабермаса. Это означает: либо аннулирование сна как зоны бессмысленного „мрака”, либо его рационализация и минимизация, насколько это возможно технически при развитии современных биологических наук. Теперь сон оказывается лишь неким частным делом субъекта; возможно даже, в современных условиях прессинга высокоскоростной жизни — его последним иллюзорным убежищем, удовольствием, биологической суверенностью».

Виктор Переведенцев. Лепта вдовиц и девиц. — «Новое время», 2004, № 31, 1 августа.

«<...> в демографической политике, направленной на повышение рождаемости, упор следует делать на повышение брачности, стимулировать молодежные браки. Едва ли в нынешних условиях можно признать нормальным, что у четверти мужчин в возрасте от 35 до 40 лет нет жен. И нет мужей у большинства женщин до 25 лет и у трети от 25 до 30 (см. таблицу)».

См. также: **Виктор Переведенцев**, «Страна, сбегавшая с холода». — «Новое время», 2004, № 33, 15 августа <<http://www.newtimes.ru>>.

См. также: «Вымирание России происходит преимущественно за счет относительно молодого и трудоспособного населения. Смертность трудоспособного населения в РФ в 2,5 раза превышает аналогичный показатель в развитых странах и в 1,5 раза — в развивающихся» («В России вымирают работающие» — «Газета», 2004, 18 августа <<http://www.gzt.ru>>).

«Четыре миллиона абортотворцев в год. Шестидесят тысяч детей вырезаются из плодовниц матерей в шестимесячном возрасте. Это уже живая, мучающаяся, думающая плоть, которую насильно добывают из родилки, истирают в порошки, мази и вытяжки, чтобы продлевать дряхлеющую плоть старцев, умащивать девок-любодеиц и развратников; это уже прямой сатанизм и самое низкое преступление, которому прислуживают сильные мира сего...» — пишет **Владимир Личутин** в своей постоянной рубрике «Душа неизъяснимая» («Завтра», 2004, № 33 <<http://www.zavtra.ru>>).

Аркадий Петров. Поющий поэт. 24 года назад не стало Владимира Высоцкого. О его месте в российской поэзии спорят до сих пор. О нем как о композиторе сказано только плохо или ничего. — «Новое время», 2004, № 31, 1 августа.

«Главный признак „некомпозиторства” Высоцкого — то, что он никогда одинаково не повторял песню. Двух схожих записей одной и той же вещи у него просто не существует; каждый раз — какие-либо новые вариации или мелодические отклонения. Он постоянно нарушал общепринятые схемы. Мог два раза повторить вторую половину куплета там, где этого „по правилам” не нужно было делать. Не всегда выдерживал паузу. В отличие от других вокалистов тянул не гласные, а согласные, причем не только звонкие, но и глухие (получались маленькие акустические „взрывы”) — особенно в песнях драматических».

Пиндар. Первый пифийский гимн. Перевод с древнегреческого и предисловие Григория Стариковского. — «Новая Юность», 2004, № 3 (66).

«Переключать Пиндара на русский и подражать ему начали в XVIII веке: Ломоносов, позже Державин, который перевел „Первую Пиндарову пифическую песнь Этнанию Хирону, королю сиракузскому, на победу его колесницы”. На стыке XIX и XX веков Пиндара переводили Мережковский и Вячеслав Иванов. Полный перевод Пиндара в наше время выполнен Михаилом Гаспаровым — скорее как подстрочник к гимнам, проясняющий трудные места оригинала. Настоящая публикация — попытка воссоздать Пиндара в лирической тональности, увидеть за хитросплетениями метафор и экзотическими именами — прежде всего поэта, который плетет — воспользуемся словами польского писателя Павла Хюлле о чехе Богумиле Грабале — „чудесные... фразы, подобные ленточкам, привязываемым к священному дереву дервишей” <...>» (Григорий Стариковский).

Ср.: **Пиндар — Максим Амелин**, «Победные песни» — «Новый мир», 2004, № 9.

Айна Погожева. Горькая правда или злой миф? Предисловие Павла Басинского. — «Литературная газета», 2004, № 29.

«Странное дело, но именно после полной реабилитации моего отца [Петра Петровича Крючкова, секретаря Горького] полился поток грязи в его адрес. Наряду с вышеупомянутым Костиковым Вульф, Ваксберг, Кузьмин и иже с ними повторяют те же обвинения, которые были ему предъявлены в том страшном 1938 году и опровергнуты теми же органами в 1988-м. Пятьдесят лет несправедливого черного позора. Может быть, хватит?»

См. также главы из книги **Павла Басинского** «Горький» («ЖЗЛ») в настоящем номере «Нового мира».

Михаил Подгородников. Десятилетка особняков и ее затеи. — «Октябрь», 2004, № 7.

(Интересные) очерки наших дней.

Леонид Поляков. Пять парадоксов российского консерватизма. — «Отечественные записки», 2004, № 2 (17).

«Российский консерватизм, пытаясь работать в жанре „сил сопротивления“ радикальным (и не очень) переменам, был вынужден поддерживать власть, являвшуюся источником всяких перемен».

«Модернизация, начавшаяся 350 лет назад, продолжается и самим фактом своего продолжения превращает нашу историю последних трех веков в относительно гомогенное явление».

Ежи Помяновский. Кому сегодня нужен Джозеф Конрад. — «Новая Польша», Варшава, 2004, № 7-8, июль — август.

«Независимо от того, была ли эта антирусская одержимость Конрада английской или польской по своей природе, она явно притупила политическое острие как „Тайного агента“, так и „Глазами Запада“».

Дарья Пономарева. Потемкинская деревня: крестьянский мир сталинского кинематографа. — «Отечественные записки», 2004, № 2 (17).

«<...> увидеть „потемкинскую деревню“ сталинского кинематографа не просто как сферу исключительно мнимого, но как одно из важных документальных свидетельств, фиксировавших как преобладавшие в обществе того времени способы социальной категоризации деревенской жизни (ее „онтологию“), так и нормативные представления о ней. В своем анализе мы будем опираться главным образом на четыре фильма: „Земля“ (реж. Александр Довженко, 1930), „Трактористы“ (реж. Иван Пырьев, 1939), „Кубанские казаки“ (реж. Иван Пырьев, 1949) и „Щедрое лето“ (реж. Борис Барнет, 1950) <...>».

«По-видимому, Хрущев имел все основания заявить в докладе „О культе личности и его последствиях“ на XX съезде партии, что единственным источником информации Сталина о деревенской жизни было кино. Можно, правда, добавить, что это не мешало Сталину управлять страной (как бы мы ни относились к методам и результатам его правления)».

Евгений Попов. В кривом воздухе. — «Вестник Европы», 2004, № 11.

«Я теперь всю свою сознательную жизнь разделяю следующим образом:

1. До 1953 года, когда помер Сталин;
2. До 1964 года, когда была „оттепель“, а потом скинули Хрущева;
3. До 1985 года, когда в результате коммунистического маразма возникла „перестройка“ во главе с Горбачевым;
4. До 1991 года, когда Ельцин залез на танк и отменил большевиков;
5. До 20 час. 30 мин. воскресенья 14 марта 2004 года, когда загорелся и сгорел Манеж...»

См. здесь же: **Алексей Комеч**, «Закон и нравственность в ответах пожара» — «Вестник Европы», 2004, № 11 <<http://magazines.russ.ru/vestnik>>.

Михаил Попов. Последнее дело Шерлока Холмса. Повесть. — «Литературная учеба», 2004, № 3, май — июнь.

Шерлок Холмс — обманщик, мистификатор и сластолюбец, а Достоевский — великий писатель.

Здесь же — разбор этой повести: **Александр Белай**, «Шерлок Холмс — режиссер-постановщик „Братьев Карамазовых“».

Поэзия Артура Конан Дойля. Впервые на русском языке. Перевод Евг. Фельдмана. — «Складчина». Литературная газета. Омск, 2004, № 3 (15), июль.

Пять стихотворений.

Гжегош Пшебинда. Русские идеи и войска. Русская мысль в понимании Исая Берлина. — «Новая Польша», Варшава, 2004, № 7-8, июль — август.

«Армия Хрущева [в 1956 году] продолжила в Будапеште тот процесс, начало которому положил в России и Европе император Николай I». Рецензия на польское издание «Русских мыслителей» Исая Берлина (Варшава, 2003).

Станислав Рассадин. Живой классик мертвой литературы. 10 лет после смерти Леонида Леонова. — «Новая газета», 2004, № 57, 9 августа.

«<...> сами его слог и стиль, культ отделки, воспетый критикой, эта вроде бы добродетель взыскательного художника, как оказалось, обернулась драматически. Скажем,

в стремлении к совершенству, но и ради идеологической саморедактуры Леонов спустя тридцать лет после создания своего, как считается, лучшего романа «Вор» (1927) взялся исправить его. И изгадил. Хуже — и драматичней — того. Роман «Пирамида» (другое название «Мироздание по Дымкову»), писавшийся и отделявавшийся долгие-долгие годы, хоть и был наконец опубликован в смертном 1994 году, но — парадокс? — именно по причине маниакальной взыскательности остался в виде полуфабриката. Задуманный как воплощение религиозных и философских воззрений автора, его отношений с православием и коммунизмом, размышлений о тирании и порче национальной породы — и т. д. и т. п., — роман необъятен, бесконечен и, увы, нечитабелен. Судьба страшная».

См. также подборку материалов «Юбилей романа „Пирамида“» со вступительной статьёй Л. Якимовой («Наш современник», 2004, № 8 <<http://nashovr.aihs.net>>), сюда вошли статьи: Н. Л. Леонова, «Притча о Калафате»; В. И. Хрулев, «Сталин в романе Л. Леонова „Пирамида“»; В. П. Стеценко, «Из воспоминаний о Леонове».

Михаил Ратгауз. [Евгений Гришковец. Рубашка]. — «Критическая масса», 2004, № 2.

Очень жестоко и не только о романе.

Евгений Рейн. «Поэзия — на стороне антиглобализма». Беседовал Дмитрий Стахов. — «Политический журнал», 2004, № 21, 21 июня.

«Я преподаю в двух университетах и вижу, что не просто среднестатистические читатели, а студенты, которым это знать полагается, на самом деле не хотят знать ни Маяковского, ни Багрицкого, ни Сельвинского, ни Антокольского и так далее, что несправедливо. То были выдающиеся таланты. И сама ситуация коммунистической утопии их поднимала. Они, конечно, понимали, что происходит страшная ломка, жертвы, уничтожение культуры, но для Поэзии такой подъем, тот, что Блок назвал „страшной метелью“, им очень помогал. Это как бы к четырем привычным цилиндрам добавили еще десять».

«Вот я иногда встречаюсь с талантливыми, интересными людьми — тут я обойдусь без имен, — которые говорят: в те времена мы не ходили по издательствам, мы работали в котельных, мы пили водку. Я их понимаю, я их уважаю, но я ходил по издательствам. Для меня издание книги было делом жизни и смерти. Если моя книга не выходит, то кто я? Какой-то андеграундный, божественный человек, мне что, эмигрировать?»

См. также: «Однако, думается, пришла пора освободить Рейна как от образа апокрифического учителя гения, так и от невольного второго номера в известной плеяде, ставшего по исторической судьбе младшим поэтическим братом нобелиата», — пишет Евгений Сидоров («Рейн без Бродского» — «Литературная газета», 2004, № 30 <<http://www.lgz.ru>>).

Амадеус фон Римсбелг. Элизиум. — «Вестник Европы», 2004, № 11.

«Мало кто знает, что у парагосударства, каким является Европейское сообщество, имеется свой официальный гимн. Это знаменитая „Ода к Радости“ Бетховена на слова Шиллера. В лейтмотиве „Оды“ звучит слово Элизиум:

*...Радость, прекрасное сияние богов,
Ты дочь из Элизиума! —*

иными словами, „радость“ идет к нам оттуда.

Что хочет этим сказать Шиллер и почему Брюссель избирает этот гимн?»

Ольга Рогинская. Возвращение дендизма. — «Критическая масса», 2004, № 2.

«Мы живем в эпоху возвращения дендизма в образе гламурности. Суть гламурности — в принципиальной антидемократичности. Приобщиться к этому миру нельзя в одно мгновение. Даже если ты вхож в „правильные“ круги и посещаешь „правильные“ места, — этого еще недостаточно. Гламурность распространяется не только на образ жизни, но в первую очередь на внешний вид. Гламурность нужно уметь разглядеть, и способен на это только тот, кто знает, каковы ее признаки. <...> Но в любом случае в нем [гламуре] присутствует двойной код: то, что считывается с поверхности и дает неверное прочтение, и то, что считывают посвященные. Ведь гламур не может тиражироваться, он принципиально эксклюзивен и в этом своем качестве противостоит массовой моде».

Бенедикт Сарнов. Виктор Шкловский. После пожара Рима. — «Литература», 2004, № 30, 31.

«<...> и вдруг сообразил, что тот грубый выпад юной Беллы против Шкловского скорее всего был вызван не тем давним, о котором она, быть может, знать не знала и ведать не ведала, а совсем другим, гораздо более свежим его грехопадением».

См. также: **Бенедикт Сарнов**, «Виктор Шкловский до пожара Рима» — «Литература», 1996, № 21.

См. также: «Книга [Сарнова] об Эренбурге — заключительная часть своего рода трилогии, предыдущие части которой, „Заложник вечности. Случай Мандельштама” и „Пришествие капитана Лебядкина. Случай Зощенко”, были написаны еще в брежневскую эру и опубликованы несколько лет назад. На мой вкус, последний „Случай” [Эренбурга] получился удачнее прочих, что и естественно — язык Б. Сарнова (можно назвать его шестидесятническим, но это определение, конечно, мало что объясняет) вполне пригоден для описания Эренбурга, но безнадёжен при попытке анализировать Мандельштама», — пишет **Михаил Эдельштейн** («О пользе лоббизма» — «Русский Журнал», 2004, 19 августа <<http://www.russ.ru/culture/literature>>).

Александр Секацкий. [Александр Кожев. Введение в чтение Гегеля] — «Критическая масса», 2004, № 2.

«Неброскость названия этой книги не должна вводить в заблуждение. Речь идет о *проекте*, оказавшем существенное влияние на духовную жизнь Европы XX века».

Игорь Сид. Корпорация «Литератор». — «Со-Общение». Технологический журнал для гуманитариев. 2004, № 6 <<http://www.soob.ru>>.

«Недавно коллега-прозаик обратил мое внимание на сходство деятельности бизнес-корпорации с работой писателя. <...> эти внешне несхожие процессы — бизнес и творчество — суть взаимные метафоры. Не случайно греки называли их одним словом: *poiesis* — „производство, делание” (отсюда русские „поэзия” и „поэтика”). Если некогда создание книги сравнивали с рождением ребенка, то не уместно ли сегодня сравнить его, скажем, с рекламной операцией? В поиске общего знаменателя есть и другой важный смысл: думается, менеджеру было бы столь же полезно понимание своего труда как Авторства, сколь и литератору приятие собственной работы как Дела».

Алексей Слаповский. «Герой „Участка” — народ». Беседовал Константин Мильчин. — «Книжное обозрение», 2004, № 29-30, 26 июля.

«Я ведь ушел в сериалы не потому, что деньги были нужны, хотя деньги в итоге появились, что тут врать. Я писал сценарии для телевидения, потому что мне это нравилось. Меня в кино всегда тянуло, и в результате я пришел в кино телевизионное. Хотел сделать лирическую комедию — сделал, хотел психологическую драму — сделал, хотел детективно-комический сериал — сделал. Появилось ощущение, что жанровый предел исчерпан, рейтинг максимальный достигнут, теперь мне интересно другое. У меня есть проекты на уровне арт-хауса».

Владимир Соловьев. Суровой нитью. — «Русский Базар/*Russian Bazaar*», Нью-Йорк, 2004, № 31, 22 — 28 июля <<http://www.russian-bazaar.com>>.

«Кто же меня свел с Юнной? Женя Рейн, который как-то позабыл в ресторане ЦДЛ фотографии Юнны с ее — ему автографами, а в другой раз — чему я был сам свидетель — в том же ЦДЛ, в фойе, подавал ей пальто, но вдруг уронил на пол и бросился — по чину? — подавать шубу Вознесенскому? Или Наташа Иванова, тогдашняя подружка Юнны, но ко времени моего знакомства с обеими — просто знакомая? От Наташи я знаю про Юнну забавные истории, но не вправе их разглашать, увы...»

Владимир Соловьев. Отец и сын: двойной автопортрет. Из «Записок скорпиона». — «Русский Базар/*Russian Bazaar*», Нью-Йорк, 2004, № 32, 29 июля — 4 августа <<http://www.russian-bazaar.com>>.

«<...> в „Зеркале” отражен идейный поединок отца и сына, а не их любовное randevu. Слово „отражен” возникло по прямой аналогии с зеркалом как таковым, а не с „зеркалом” в фильме Тарковского, которое, по сути, зазеркально и, отражая, искажает. А потому спешу уточнить: конфликт сына с отцом (а не традиционный „отцов и детей”) воскрешен и продолжен средствами поэзии и синема. Что бросается в глаза, но оказывается на поверку иллюзорным: не только сюжетные ходы „Зеркала”, но и многие стилистические приемы заимствованы режиссером Андреем Тарковским из поэтического арсенала Арсения Тарковского. В свою очередь, стихам дана *vita nuova*: на экранной плоскости — точнее, за экранной плоскостью, в зазеркалье — они звучат иначе, чем на поверхности книжного листа».

Ю. А. Сорокин. Еще раз о фельдмаршале Кутузове и о походе Наполеона на Россию. По поводу статьи С. Лексутава «Дело фельдмаршала Кутузова». — «Складчина». Литературная газета. Омск, 2004, № 3 (15), июль.

О том, что Кутузов стремился выиграть войну 1812 года с минимальными потерями для *обеих* сторон, чтобы не усиливать Англию.

Виктор Соснора. И я лежал от всяческих ударов. — «Дети Ра», 2004, № 2. Стихи из неопубликованной книги «365 дождей» (1962).

Денис Спиридонов. Писатель за быт. Прозаик Сенчин видит в сером цвете. — «Новая газета», 2004, № 58, 12 августа.

Говорит **Роман Сенчин**: «В реальной жизни, которой я живу и которую наблюдаю, в ней какие-либо события происходят настолько редко... А в основном это быт, ежедневно повторяющиеся дела, и я пытаюсь в своих вещах показать этот людской быт и не стараюсь форсировать события. Многие пишут так: у человека произошло какое-то событие, и он совершенно меняется. А человек меняется очень медленно; чтобы это показать, нужно эпопею писать».

Сталинская интеллигенция живет и процветает. Интеллигенцию разыскивала (так! — *А. В.*) Галина Мурсалиева, обозревателъ «Новой». — «Новая газета», 2004, № 54, 29 июля.

Говорит социолог **Лев Гудков**, работавший вместе с Юрием Левадой над проектом «Человек советский»: «У нас усталое, истощенное общество. Мы сегодня (не в сталинское, заметьте, время) занимаем второе место в мире по числу сидящих в тюрьмах. В обществе огромная латентная агрессивность — у нас уже есть миллион прошедших за 10 лет через Чечню, а мы знаем, что такое посттравматический синдром. Все это мощный потенциал насилия — милийского, армейского, бандитского — разного. И это насилие разлито в обществе. Огромный, просто фантастический уровень алкоголизма, суицидов — мы опережаем по этим показателям все европейские страны. По разным оценкам, мы сейчас выходим по числу самоубийств если не на первое, то на второе место в мире. Конечно, каждое самоубийство — это индивидуальная драма. Но когда мы смотрим на это как на социальную, культурную базу, то видим море грубой, безысходной ненависти. Здесь же ксенофобия, которая выросла чудовишно, она диффузна, она не организована, но очень сильна. За последние пять лет она выросла в полтора-два раза. И здесь же — отношение части образованного сообщества именно к редким людям, к интеллигентам. Это такой же механизм, как пьяная слеза в блатном романсе. <...> Число людей, готовых подписаться под лозунгом „Россия для русских“, за пять лет с 35 процентов выросло до 55. <...> Когда мы только начинали исследование, вся этническая нетерпимость концентрировалась в социальных низах — на периферии, в среде бедных, малообразованных, пожилых, просоветски настроенных людей. Другой полюс составляли люди молодые, образованные, настроенные демократически. Сегодня ситуация коренным образом поменялась: главными носителями ксенофобии, возбудителями чувства национальной ущемленности и прочее, и прочее стали люди с высшим образованием».

Он же: «„Дети Арбата“? Это несерьезно, поверхностно, это, по сути, социалистический роман. Разве в этой книге были какие-то оценки прошлого? Она не касалась ни самой природы тоталитаризма, ни даже природы человека советского».

«**Столкновение цивилизаций никто не контролирует**», — говорит Марсель Гоше. Беседа вел Кирилл Привалов. — «Вестник Европы», 2004, № 11.

Говорит главный редактор французского интеллектуального журнала «Деба», научный директор Высшей школы социальных наук (*EHESS*) Марсель Гоше (*Marcel Gauchet*): «<...> крестьянство в странах Восточной и Центральной Европы не выдержит обостренной конкуренции с индустриальными аграриями Запада и непременно развалится. Произойдет процесс образования на Востоке континента многомиллионного нищего субпролетариата. Стада голодных и грязных батраков начнут сезонно мигрировать от Португалии до России в поисках работы или пособия по безработице. Без преувеличения: апокалиптическая картина!»

Юлиан Тувим. (Петр Плаксин). Сентиментальная поэма. Перевод с польского Асара Эппеля. — «Вестник Европы», 2004, № 11.

«Поэт Юлиан Тувим, русскую культуру почитавший как мало кто (чего стоит, например, сборник „Лютня Пушкина“ — гениальные переводы стихов великого нашего поэта!), сочинив ироническую поэмку „Петр Плаксин“ [1914], обошелся с демонами родимой [польской] обиды безыскусно и просто. Рокковые обстоятельства истории и национального потрясения сводятся в ней к смешным захолустным страстям почти буколического сюжета и сентиментальным слезам заштатного события» (Асар Эппель).

Валентина Федотова. Политический класс, население и территория. — «Москва», 2004, № 7.

«Американский исследователь Д. Пауэлл отмечает, что в России „смерть становится жизненным путем“. Приводимые этим автором цифры таковы: индекс смертности составляет 15,3 или 15,4 на 1000 чел., в то время как средний по Европе равен 9,5. Ин-

декс рождаемости в России также самый низкий — 9,4 на 1000 чел., тогда как средний в Европе — 10,6 в 2001 году. Индекс смертности превосходит индекс рождаемости на 70 %. „Если такая тенденция будет продолжаться, русские могут найти себя в списке исчезающих видов”, — говорит Пауэлл, а по его мнению, она будет продолжаться. Он ссылается на В. В. Путина, высказавшего опасение в своем первом послании (2000 г.), что в следующие 15 лет население может потерять 22 млн. чел. Эта тенденция не приостановлена. По данным Госкомстата, в 2050 году население России составит 101,9 млн. чел. в сравнении со 143,6 млн. чел. в 2002 году. Вызывает ли это ужас и отчаяние в России? Никакого. У элиты — от эгоизма, у ее части, использующей ситуацию в своих интересах, — из-за найденного оправдания себе: они умирают из-за алкоголизма, наркомании, дурного образа жизни. Из-за отсутствия воли приспособиться к новым условиям и выжить в них. Заметим, что даже в ельцинский период страна, питаемая верой в свободу как волю, проявила витальность, организовав челночное движение, используя частные машины как такси, обрабатывая участки земли, научившись шить, ремонтировать и т. д. Даже после дефолта 1998 года люди, потеряв деньги, вернулись в оживившееся отечественное производство. Сегодня налицо явная потеря витальности как следствие неудач реформирования 90-х, стабилизации в условиях, когда требуется развитие, — в 2000-е годы».

Егор Холмогоров. Алфавит национализма. — «Спецназ России», 2004, № 4, 5, 6, 7 <<http://www.specnaz.ru>>.

«Для того, чтобы быть „общечеловеческой”, Россия должна быть „для себя”, должна просто быть. Без этого все „общечеловеческое” в России становится бессмысленным. Нам приказано выжить. <...> Для того, чтобы позволить себе совершить Великую Революцию, может быть, самую великую из тех, которые были когда-либо в истории, нам необходима самая беспощадная Реакция — реакция на унижение, разруху и бессилие. Для того, чтобы совершить прорыв, нам необходим реванш. И наш ум видит лишь одну идею, которая сегодня должна стать такой возрождающей, оборонительной, реакционной и реваншистской идеей России — это идея нации. Поэтому-то и необходимо придерживаться идеологии, ставящей в центр Nation, а стало быть, — безусловность существования и необходимость возрождения России. Идея нации предполагает, что смысл и оправдание существования страны, народа и государства заключен в них самих и ни в каких внешних оправданиях они не нуждаются».

«Длящееся уже два десятилетия надругательство над русскими завершается так, как только и могло завершиться. В Россию приходит эпоха злопамятства. Эпоха, в которой главным разделением становится деление на тех, кто забыл и простил совершенное против нас зло, — и на тех, кто его запомнил. А раз запомнил, то захотел воздать и хочет не допустить зла впредь. В Россию приходит эпоха рационального, разумного сознательного и памятливого национализма».

«Современный национализм — это осознавшая себя и задокументированная (что особенно важно) технология национальной мобилизации».

См. также: **Егор Холмогоров**, «То, что традицию отрицает, может быть разрушено» — «Еженедельный журнал», 2004, № 124, 15 июня <<http://www.ej.ru>>; «„Новый консерватизм”, о котором теперь много говорят, необходимо отличать от того „либерального консерватизма”, который был популярен в конце 90-х. Тогда лозунгом была „стабилизация”, придание respeitability той системе, которая была создана в 90-е годы. Не случайно любимой темой либеральных консерваторов были „экономическая амнистия” и прочие интересности. У нынешнего нового консерватизма есть две стороны: отрицательная и утвердительная. Утвердительная — это идеология опоры на русскую историческую и государственную традицию, отказ от исторического нигилизма 90-х. Строить надо на тысячелетнем фундаменте — или не строить никак. А отрицательная сторона нового консерватизма — это отказ в „основательности” всему тому, что было наделано в новейшую эпоху, неготовность „консервировать” содеянное. Приемлемо лишь то, что традицию продолжает, а то, что традицию отрицает, неприемлемо и может (а может быть, и должно) быть разрушено».

См. также: **Егор Холмогоров**, «Неизвестный солдат» — «Спецназ России», 2004, № 5, май <<http://www.specnaz.ru>>.

Михаил Холмогоров. Необитаемый остров. Повесть. — «Нева», Санкт-Петербург, 2004, № 7 <<http://magazines.russ.ru/neva>>.

20-е годы: группа интеллигентов под контролем ОГПУ коллективно пишет роман из жизни терского казачества... Замысел повести понятен, исполнение *грубовато*. Лучшее в повести: курирующий весь проект чекист Штерн, латентный графоман, увлекается и вписывает в роман линию еврея-большевика.

Хороший роман невозможен без сильного героя. Андрей Геласимов отвечает на вопросы Дмитрия Бавильского. — «Топос», 2004, 5 и 10 августа <<http://www.topos.ru>>.

Говорит **Андрей Геласимов**: «А диалог строить я учусь у Платона. Не в плане синтаксиса, конечно, а в плане движения мысли от начала к концу. То есть у мысли есть строгое начало, и у нее есть не менее строгий конец. Когда в это врубаешься, то диалог получается нормальный. Я понимаю, что такие вещи звучат несколько азбучно, но поверь мне, о них мало кто знает и мало кто ими пользуется, когда пишет. <...> А если говорить о финале, то в общих чертах он мне обычно известен. Я не сяду за книгу, пока не пойму — в какую сторону надо плыть. Мне вообще очень интересно решать композиционные задачи. Для меня это как игра в шахматы для набоковского Лужина».

Александр Храмчихин. В поисках идеального субъекта. — «Отечественные записки», 2004, № 2 (17).

«Безусловно, целесообразность существования национальных регионов в демократическом государстве может вызывать серьезные сомнения, тем более что иногда непонятен критерий создания таких регионов. Например, в Карелии доля русского населения выше, чем в Ульяновской или Астраханской областях. Однако обезвредить эту мину замедленного действия, заложенную большевиками, без жертв теперь практически невозможно. Нет сомнений, что при попытке всеобщей губернизации и/или укрупнения регионов большинство марийцев или удмуртов, не знающих ни слова на родном языке и полностью отождествляющих себя с Россией, немедленно вспомнят о своей национальности. В результате абсолютно очевидные убытки от такой „реформы федеративных отношений“ многократно перекроют гипотетическую прибыль от оптимизации управленческой структуры».

См. здесь же: **Владимир Каганский**, «Пространство, государство и реформы»; «Страна видится составленной из самое большее 89 частей (субъектов Федерации), тогда как на самом деле частей этих примерно 400, о чем ниже».

См. также: **Александр Храмчихин**, «После боя. Федеральные выборы 2003—2004» — «Знамя», 2004, № 7 <<http://magazines.russ.ru/znamia>>.

Целина как альтернатива ГУЛАГу. Беседу вела Ольга Эдельман. — «Время новостей», 2004, № 125, 19 июля.

Говорит заместитель директора Государственного архива РФ, автор книги «Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежнев» **Владимир Козлов**: «Шли дискуссии о том, куда направить деньги, чтобы получить быстрый результат: либо в центральные районы страны, где уже существовала инфраструктура, либо на целину. В решении о целине проявилась стилистика хрущевской эпохи. <...> Подобными же рывками решали массу других проблем: космоса, водородной бомбы и т. д. Возникавшие проблемы — не важно какие — Хрущев стремился решать достаточно быстро, в каком-то смысле спонтанно, и с этой точки зрения нет большой разницы между, скажем, докладом Хрущева на XX съезде, который был воспринят как некое спонтанное действие, и решением о целине. Нужно или не нужно было осваивать целину — с моей точки зрения, сейчас обсуждать этот вопрос не имеет никакого смысла. Поэтому примем просто как данность, что целина случилась».

«Кроме того, надо обратить внимание, что примерно в это же время, после амнистии 1953 года, ГУЛАГ потерял половину своего населения. Причем наиболее работоспособную. Тех, кто работал, „мужиков“, выпустили на волю, остались те, кто паразитировал на рядовом населении ГУЛАГа. То есть в результате амнистии ГУЛАГ стал неработоспособным. Но об амнистии говорили еще при Сталине, и разговоры о кризисе ГУЛАГа, о необходимости сбросить его лишнее население начались еще в самом же ГУЛАГе и в МВД СССР в конце сороковых годов как минимум. Вставал вопрос: если не принудительный труд, то какой? <...> Хрущев искал замену принуждению. Сначала попытались ввести милитаризацию труда: принудительный труд под конвоем менялся на труд людей военнообязанных, работавших в чем-то похожем на трудовые батальоны. Начались волнения демобилизованных военнослужащих, которых использовали как рабочую силу на стройках. В городе Новошахтинске Каменской области, в Московской области в городе Кимовске и в Гремячевском районе, в Экибастузе, большая стачка в Кемерове — все это 1955 год. Забастовки, волнения солдат-рабочих показали, что это тупиковый путь, и от него быстро отказались. Не важно, правильным или нет было решение о целине. Важно другое. Представим себе, что приняли решение вложить деньги и ресурсы в центральные районы страны, — это принципиально иная стилистика. В ней отсутствует хлесткость, эффектность, призыв к энтузиазму. Это совершенно другая манера политического поведения. Трудно себе представить, чтобы Хрущев так действо-

вал: систематически, планомерно, экономически более-менее обоснованно. А целина как раз очень хорошо komponуется с его манерой действия».

«Возвращаясь к целине — если взять карту целинных районов (подчеркиваю, целина — это и новостройки тоже) и положить на нее карту ГУЛАГа, то окажется, что они совпадают, это районы лагерей, спецпоселений для депортированных этносов, враждебных социальных элементов».

«И достаточно было тронуть этот район для того, чтобы обнаружить: счастье для режима, что все эти проблемы сконцентрировались на периферии, далеко от Москвы, от крупных промышленных центров, там, где плохие пути сообщения, откуда не доходит информация. Случись первые же волнения — я говорю не о восстаниях в лагерях, а о волнениях молодых рабочих, многочисленных конфликтах и драках в тех районах, — случись подобное вблизи Москвы, неизвестно, с какими проблемами столкнулся бы тогда хрущевский режим. Мы имеем дело с территориями, куда Сталин сбросил все, с чем он не смог справиться. В какой мере в состоянии был со всем этим справиться Хрущев? На целине перекрещивались встречные процессы: с одной стороны, возвращение депортированных народов, реабилитация, одни из этих районов возвращались, а туда направлялись совершенно другие контингенты».

«Массу прибывших рабочих расселили в палаточных городках, забывали снабжать не только продуктами и промтоварами, но и питьевой водой; по вечерам не было электрического освещения, и из занятий оставались главным образом драки. Как показало следствие после беспорядков в Темиртау, чуть ли не половина приехавших были не обеспечены работой. К тому же это был ненормальный социум, с ненормальным возрастным и половым соотношением. Там не действовали привычные социальные механизмы сдерживания (авторитет старших родственников, соседей и т. п.). Собрали вместе несколько тысяч парней, добавили бродильный элемент в виде досрочно освобожденных уголовников и приставили к ним пяток милиционеров. И предполагалось, что будет порядок».

В конце беседы — хроника беспорядков на целине, 1954 — 1960 годы.

Вадим Цымбурский. Путинщина и новый радикализм. — «АПН (Агентство политических новостей)». Проект Института национальной стратегии. 2004, 28 июля <<http://www.apn.ru>>.

«Я принимаю лозунг „Или мир (как он есть), или Россия“, допуская лишь их временное сосуществование на планете и отказываясь видеть в „Корпорации Утилизаторов Веллкороссии“ приемлемую форму России. Речь должна идти о России не как об одной из антисистемных сил, но как о силе внесистемной, расценивающей прилив деструктивных волн в мировом масштабе как законную казнь над постхристианской мировой Империей, однако отказывающейся сущностно отождествляться с силами, которые совершат эту казнь. Бог дал своему блудному сыну — русскому человеку — особое место на земле, дал нефти (авось еще на 20 лет), дал газа на XXI век, дал технологических умений и прозрений, дал, наконец, оружие, способное аннигилировать любой мировой порядок, который попытался бы аннигилировать Россию, чтобы этот блудный сын, поумнев (и беря пример от смоковницы), мог поставить свой стол в стороне от чумного стола сильных и богатых».

Александр Ципко. Есть ли у нас будущее? — «Литературная газета», 2004, № 29.

«Послепутинская Россия появилась сейчас, уже при Путине, и к ней на месте нынешней власти я бы относился всерьез».

«<...> Россия выстояла, сохранила себя. Сохранила, приговорив к смерти, к вымиранию слабых. Такова страшная правда новой нашей революции. Кто был приговорен погибнуть, тот погиб. А кто сам стал сторожем своей души, тот уже выжил. Самое страшное позади. Но страхи остались».

«Новая психология русского человека, новое, обостренное и экзальтированное восприятие мира как раз и связано с тем, что ощущение опасности, угрозы вымирания пустило уже корни. И здоровой реакцией на эту угрозу как раз и стал происходящий на наших глазах пересмотр традиционного, снисходительного отношения к пьянству. Тут происходит нечто новое, здоровое, что мы не замечаем. Русские сегодня делятся прежде всего на тех, кто пьет на работе, и на тех, кто полагает, что вино работе во вред. Те, кто спасаются, начали с осуждением, с презрением относиться к пьющему человеку».

«Люди стали мудрыми. Они все осознают, что страна выжила, ибо все сразу умудрились жить не по закону. <...> Правда, страшная правда состоит и в том, что одновременный переход к законности может просто привести к новой катастрофе, к той борьбе за законность, после которой останется только выжженная земля».

См. также: **Александр Ципко**, «Россию пора доверить русским. Критика национального нигилизма российских либералов» (М., «Алгоритм», 2003).

Вероника Чернышева. Венценосный отрок. 12 августа 1904 года родился цесаревич Алексей, единственный сын императора Николая Второго. — «Независимая газета», 2004, № 168, 11 августа.

«Несчастный маленький страдал ужасно, — пишет Николай своей матери после тяжелейшего кризиса, случившегося с Алексеем во время охоты, когда мальчик неосторожно прыгнул из лодки на берег, — боли схватывали его спазмами и повторялись почти каждые четверть часа. От высокой температуры он бредил и днем и ночью, садился в постели, а от движения тотчас же начиналась боль. Спать он почти не мог, плакать тоже, только стонал и говорил: „Господи, помилуй“».

Георгий Чистяков. Об С. С. Аверинцеве. — «Вестник Европы», 2004, № 11.

«Я знал его с 1970 г., познакомившись с ним в единственном тогда в Москве книжном магазине, где продавались книги на иностранных языках (в том числе греческие и латинские), на Малой Никитской, а затем буквально через несколько дней встретившись вновь в церкви, когда мы вместе подходили к алтарю перед причастием».

Лешек Шаруга. Выписки из культурной периодики. — «Новая Польша», Варшава, 2004, № 6.

В статье «Ангажированные и постсовременные» («Декада литератца», Краков, 2004, № 1) **Кшиштоф Униловский** пишет: «Власть и авторитет литературы вырастали из убеждения, что произведения писателей способны сказать нечто существенное о поляках. Но если в 90-е годы эта власть и этот престиж улетучились, словно сон золотой, то не потому же, что писатели в один прекрасный день утратили прежние способности. Когда не стало объединяющих факторов, распалось и множество, составлявшее для литературы точку отсчета. Для нас перестал существовать эпифеномен польской судьбы, польского исторического опыта, польского склада ума или польского национального самосознания». Одновременно «исчез „командный центр“, потому что исчез тот, кого он представлял, — читатель-интеллигент. В 90-е годы было подорвано положение гуманитарной интеллигенции. <...> Пока что никто другой не занял того места, откуда выжит читатель-интеллигент. Поэтому институциональный кризис соединяется еще и с трудностями легитимизации, которые вытекают из отсутствия идеи, поддерживающей существование литературной жизни».

Максим Шевченко. Антропологический формат насилия. Иногда жестокость, воля и самопожертвование уравнивают технологическое превосходство. — «Русский Журнал», 2004, 23 июля <<http://www.russ.ru/culture>>.

«Борьба за право на насилие, за право осуществлять его наравне с „господами мира“ — вот, пожалуй, главный сюжет иракской войны. <...> парадоксальным образом, именно насилие и право каждого *отдельного* человека на него есть самый древний фактор, сдерживающий эскалацию неконтролируемого тотального террора универсальной власти во всех ее формах и проявлениях. Недавно ко мне обратились из одного издания с просьбой поразмышлять о том, какие такие ресурсы скрыты в исламе, что мусульман никак не удастся склонить, как это получилось с сербами, к „сожительству“ с „мировым сообществом“. Секрет в том, что люди, полные решимости защищать свои права и свои дома, более не боятся вооруженного космическим оружием врага, к какой бы нации или религии они ни принадлежали. Ислам в данном случае — это просто фон, на котором разворачивается крах системы мирового господства, основанной на консенсусе и мобилизации совокупной мощи. Создается впечатление, что Армагеддон или Последняя битва не за горами. <...> Армагеддон, скорее всего, будет столкновением мировой власти и всего, что она защищает и оберегает, с индивидуалистическим бунтом миллионов, иррационально не видящих смысла в подчинении этой власти и в декларируемых ею ценностях. Это будет конфликт претензий на легитимность насилия — со стороны мирового порядка (без иронии и без кавычек!) и стоящей за ним власти, обеспечивающих поступательное развитие человечества, и со стороны отдельного человека, стремящегося к эксклюзивно понимаемой свободе и готового ради претворения этого понимания на что угодно. Ну а кому в этом конфликте представлять сторону Бога, а кому — сатаны, решать придется каждому из живущих в „последнее время“».

Георгий Шеходанов (г. Очаков). Памяти Николая Николаевича Мартынова. — «Складчица». Литературная газета. Омск, 2004, № 3 (15), июль.

Николай Николаевич — старший брат поэта Леонида Николаевича Мартынова. «Об отставке Л. Н. от [Ленинской] премии я думаю, что Л. Н. не принадлежит к той группировке, которая захватила сейчас гегемонию в нашей литературе. Лично я признаю „За далью — даль“, но не считаю „Теркина на том свете“ поэзией. Скорее это развлекательная версификация. А Леонид совершенно не способен к этому жанру» (из письма Н. Мартынова к Г. Шеходанову от 24 марта 1964 года).

Евгений Шталь. Москва — Владимир — Петушки. Университеты Венедикта Ерофеева. — «НГ Ex libris», 2004, № 30, 12 августа.

«Он учился в четырех высших учебных заведениях, но ни одно не закончил».

Александр Штамм. Кенгир как конец сталинского ГУЛага. — «Посев», 2004, № 6.

«Подсоветские люди, репрессированные органами, восставали еще в 1931 — 1933 гг.: тогда в Нарымском округе (Васюганье, Зап. Сибирь), на Алтае и Таймыре выступили ссыльнопоселенцы из числа раскулаченных. <...> Первое восстание в лагерях произошло на Колыме в порту Нагаево летом 1936 г. Восставших объединило то, что все они были осуждены „за троцкизм“. (Такое обвинение в те годы имело мало общего со взглядами и поступками осужденных.) Восставшие не сумели захватить оружие, с охранниками они сражались врукопашную, применив что-то вроде знаменитой японской „змейки“, поэтому их выступление было сразу же жестоко подавлено. Следующее восстание произошло в лагункте „Лесорейд“ (Усть-Уса, Коми). Оно началось 20 января 1942 г. как выступление против планировавшихся расстрелов определенных категорий ЗК и против голода, царившего в лагерях Коми: зимой 1941 — 1942 гг. в них вымерло свыше 80 % заключенных. Возглавил его начальник лагункта (из освобожденных „бытовиков“) М. А. Ретюнин. Захватив оружие, повстанцы вскоре взяли райцентр — поселок Усть-Уса. Они надеялись освободить заключенных из других лагерей Коми, чтобы расширить восстание. Но в бою 31 января 1942 г. основная часть отряда повстанцев была разгромлена. Ретюнин и несколько его товарищей застрелились. Руководитель восстания до конца остался верен своим словам: „А что мы теряем, если нас и побьют? Какая разница, что мы подохнем завтра или умрем сегодня как восставшие“. Уцелевшие, не захваченные НКВД люди продолжали сопротивляться до марта 1942 г.»

«Вот весьма неполный перечень восстаний в 1946 — 1952 гг.: 1946 — Колыма, Джезказган (Казахстан); 1947 — Усть-Вымь (Коми), Джезказган, Колыма, Арзамас-16 (Саров), Воркута, Игарка (два последних выступления были подавлены силами уголовников, затем расстрелянных чекистами); 1948 — Салехард, Печора, Сейда, Колыма (Ягодное). В печорских лагерях (станция Абезь) политические заключенные, возглавляемые осужденным подполковником Б. Мехтеевым, подняли восстание, перебили охрану и освободили тысячи братьев по несчастью. Освобождая лагеря один за другим, повстанцы пытались дойти до Воркуты, чтобы освободить каторжников-шахтеров. Всего восставшим удалось освободить до 70 тыс. человек. Повстанцы прошли с боями около 80 км. Чтобы предотвратить взятие Воркуты, власти выбросили воздушный десант. В двухнедельных боях с восставшими применены авиация и артиллерия. В результате повстанцы были разбиты. Уцелевшие ушли на северо-запад Урала, где несколько лет партизанили. Мехтеев был захвачен и приговорен к 25 годам заключения. В Сейде восстали заключенные на стройке 501 (железная дорога Сейда — Лабитнанги) под руководством Воронина. Восстание было жестоко подавлено: сотни людей расстреляны, по некоторым данным, против повстанцев было применено химическое оружие, что привело к гибели нескольких тысяч человек. 1949 — Колыма («Эльгенуголь»); 1950 — Салехард, Тайшет, Колыма; 1951 — Джезказган, Сахалин, Красноярский край; 1952 — Вожаель (Коми АССР), Молотов (Пермь), Красноярский край, Экибастуз (Казахстан), Тайшет».

«Далеко не полная хроника восстаний в 1953 — 1956 гг. выглядит так: 1953 — Воркута, Норильск, Караганда, Колыма, Инта; 1954 — Ревда (Свердловск), Карабаш (Урал), Тайшет, Решоты, Джезказган, Кенгир, Шерубай Нура, Балхаш, Сахалин, Инта; 1955 — Воркута, Соликамск, Потьма; 1956 — Караганда (лагпункт Федоровский, участвовали около 1,5 тыс. политзаключенных)».

«Но главное значение восстания в Кенгире [1954 г.] в том, что на оккупированной коммунистами территории 42 дня существовала не советская власть».

См. также: **Валерий Островский**, «И пошли на пулеметы» — «Дело», Санкт-Петербург, 2004, № 324, 17 мая <<http://www.idelo.ru/324/12.html>>.

См. также: «Хроника восстания в Степлаге» (составители: Д. И. Зубарев, Г. В. Кузовкин, Научно-информационный и просветительский центр «Мемориал»). — «ПОЛИТ.РУ», 2004, 18 мая <<http://www.polit.ru>>.

Умберто Эко. Заметки для федерации полиглотов. Перевод и примечания Д. А. Ольшанского. — «Дети Ра», 2004, № 2.

Эссе 1993 года. «Язык выносив и всегда имеет тенденцию к развитию».

См. также: «Умберто Эко о переводах. (Виртуальное интервью и примечания Татьяны Соколовой)» — «Литературная учеба», 2004, № 3, май — июнь.

Арвидас Юозайтис. Россия — религиозное пространство. Записки литовского путешественника. Июль 2003 года. Перевод с литовского Виталия Асовского. — «Москва». 2004, № 7.

«Наконец последняя, обобщающая московские впечатления новинка. Точнее говоря, даже не новинка. А правда, которая всегда была, однако о ней не задумывались. В условиях современной глобализации она начала бросаться в глаза: только лица белой расы. Час за часом прогуливаясь по улицам и переулкам, ныряя под землю и забираясь в общественный транспорт, неожиданно обращаешь внимание, что вокруг тебя — одни белые люди. Москва, наверное, единственный мировой мегаполис, который позволяет себе такую роскошь — оставаться в руках возводившей ее цивилизации».

Михаил Юпп. В поисках галактики ДИ-ПИ. — «День литературы», 2004, № 8, август.

«Термин ДИ-ПИ образован из первых букв английской фразы *dysplace person*, что переводится на русский язык как „перемещенное лицо“, то бишь — лицо без гражданства. В послевоенные лагеря ДИ-ПИ попадали все люди, говорящие по-русски. Причем не только бывшие советские граждане из числа угнанных восточных рабочих (остарбайтеров), военнопленных, перебежчиков и девиц из гитлеровских борделей, но и бывшие подданные Российской империи, с оружием в руках ушедшие с полей сражений после окончания Гражданской войны в России и нашедшие приют в европейских странах: Австрии, Болгарии, Германии, Италии, Латвии, Литве, Польше, Румынии, Финляндии, Франции, Чехословакии, Эстонии и Югославии. Ну, а ГАЛАКТИКА потому, что каждый лагерь был своеобразной планетой, в которых была создана неповторимая культура России вне России. За относительно короткий срок с мая 1945 по декабрь 1951 года было издано около 600 или даже чуть больше книг разного назначения и около 3000 единиц периодики и других печатных материалов. И если книги периода ДИ-ПИ стали к настоящему времени библиографическими редкостями, то все остальные печатные материалы этой ГАЛАКТИКИ превратились в суперредкости. <...> Возвратить эту ГАЛАКТИКУ ДИ-ПИ в лоно единой русской культуры — задача чрезвычайно трудная, но и благодарная».

Владимир Яранцев. Короткомыслие. Дневник читателя толстых журналов. — «Сибирские огни», 2004, № 6.

Критический (очень поверхностный) разнос журнала «Знамя» вышел бы более убедительным, если бы автор указал/намекнул на периодическое издание, являющееся в его глазах примером длинно/глубокомыслия.

Составитель **Андрей Василевский.**

«Вопросы истории», «Вопросы литературы», «Звезда», «Знамя», «Мир Паустовского», «Наше наследие», «Новое литературное обозрение»

Английская метафизическая поэзия. — «Вопросы литературы», 2004, № 4, июль — август <<http://magazines.russ.ru/voplit>>.

Цикл статей **О. И. Половинкиной, Л. В. Егоровой, И. И. Магомедовой** (отношу сюда же почему-то вынесенную в конец номера заметку **И. Чекалова** «Ранние упоминания об английских „поэтах-метафизиках” в русских журналах») «призван показать проблеме метафизической поэзии в разных ее аспектах: какой смысл вкладывается в Англии в само это понятие; с каким кругом представлений о культуре и мышлении оно сочетается; каким был „метафизический” стиль и, наконец, как он сложился в ситуации, когда вера и наука в сложном противозаимствовании формировали картину мира».

Тут статьи о знаменитых кларковских лекциях о метафизической поэзии молодого Элиота; исследование о «языковом мышлении» Джона Донна («Донн неоднократно повторял, что спасение душ — во власти языка. Словом спасается мир») и анализ последнего поэтического произведения *Завершеного (Donne-donne: «Сама фамилия свидетельствует...»)*, написанного пред посвящением в сан, знаменитого «Страстная пятница 1613 года. Уезжая на Запад».

Рассуждая о языковой рефлексии как неперенном компоненте высказывания у Донна, сравнивая подходы разных переводчиков, **Л. Егорова** благодарит некоего (некую) **А. Р.** «за помощь с переводами для этой статьи». Местами **А. Р.** оказывается как бы проницательнее, дальновиднее и тоньше своих коллег. Интересно, кто это?

Вадим Баевский. Счастье. Роман одной жизни. — «Знамя», 2004, № 8 <<http://magazines.russ.ru/znamia>>.

Беллетризованные воспоминания нашего известного литературоведа, которому, судя по тексту, весной будущего года исполнится 75 лет. Семья, мама, война, общение с Пастернаком (редкая для подобной темы сдержанность, не исключая трогательной лирической интонации), Самойловым и Лотманом.

«Осенью 1941 года, оставшись без дома, претерпев в Киеве и под Киевом жестокие бомбардировки, особенно одну, когда ночью горели эшелоны с людьми и рушились здания, потом заброшенный в чуждый Ашхабад, среди голода и побоев я стал молиться. Молитву придумал сам: „Господи, благодарю Тебя за то, что Ты есть, и за все то, что Ты для меня сделал“. И сегодня меня поражает тот двенадцатилетний мальчик, который ничего не просил у Бога и только благодарил Его».

Олег Дарк. Волна и пламень. — «Знамя», 2004, № 8.

О прозаической книге Елены Шварц «Видимая сторона жизни» (2003).

«<...> Комизм Елены Шварц — той же природы, что у поэтов барокко (в трагедиях Кальдерона или в последних пьесах Шекспира), в сказках Гоцци или у немецких романтиков (из „наших“ подобный юмор был разве что у В. Одоевского) — длинная, никогда не прерываемая традиция онтологической насмешки. Исток — в странном юморе гностиков: смешно само соединение материального и духовного, тела и души. Это соединение всегда уродливо и нелепо. Тело постоянно „не подходит“ душе. В театре этот юмор мог бы воплотиться в фигуре Пьеро со слишком длинными свисающими рукавами. Вот противоречие оболочки и содержащегося в ней.

«<...> Елена Шварц — литературный критик милостью божьей. Как это ни покажется парадоксально, у Елены Шварц, со всем ее визионерством и сосредоточенностью на собственном духовном опыте, даже с ее насмешливо-любовным отношением к этому необычному опыту, эгоцентричность невероятно понижена. Я не знаю поэта менее эгоцентричного, чем Елена Шварц. Все дело в том, что и „она сама“, „я“ ее стихов и прозы, „я“ видящее, чувствующее, превращающееся, — тоже объект для нее, *другое* и почти отчужденное, предмет всматривания. Преимущество этого „я“ для „поэта Елены Шварц“ только в том, что оно среди всего остального наиболее необычно и невероятно, не изучено. (И чего только с ним не бывает!) Энтомологический образ „пчелы“, любимый Шварц, получает и такое обоснование».

См. также: **Елена Шварц**, «Стихи этого года» — «Звезда», Санкт-Петербург, 2004, № 8 <<http://magazines.russ.ru/zvezda>> и статью **Олега Дарка** о ее поэзии «Танцующая молния» («Новый мир», 2004, № 10).

Владимир Енишерлов. Возвращение Николая Гумилева. 1986. — «Наше наследие», 2003, № 67-68.

В юбилейном (15 лет!) номере журнала его главный редактор вспоминает о своей (совместно с женой, Н. П. Колосовой) легендарной публикации стихов Гумилева в раннеперестроечном «Огоньке». Тут все: чего и кому это стоило, как это проходило, как выглядело, чем откликлось. Хорошо помню, как ранним утром я стоял в очереди к киоску за этим номером с Лениным на обложке (с телефонной трубкой в руке). В Москве тогда шутили, что Ленин говорит здесь по телефону с Горьким как раз о судьбе поэта. Самое поразительное — это публикующиеся здесь же полные растерянной злости письма простых партийных соотечественников. И опять вспомнилось, как после публикации первого короткого интервью А. Д. Сахарова в «Московских новостях» о разоружении (я работал тогда на заводе слесарем) в цех вбежал депутат-разметчик (слышавший просвещенным либералом-библиофилом: тщательно собирал библиотеку из распределяемых по начальству дефицитных книг) со злобным криком: «Совсем уже о...ли! Солженицына печатают!» Перепутал, бедняга.

М. И. Ерин. Историография ФРГ о советских военнопленных в фашистской Германии. — «Вопросы истории», 2004, № 7.

Скрупулезный обзор ярославского профессора подвел к кощунственной и нелепой мысли о том, что педантичность немецких историсоффов похожа на внимание к каждому погибшему от рук нацистов — в сегодняшнем и вчерашнем Израиле.

«По расчетам А. Штрайма, общее число пленных составило 5 163 381 <...>. И. Хоффман полагает, что „точное число советских пленных составило 5 245 882 чел.“...»

«В огромных лагерях военнопленных вплоть до февраля 1942 г. *ежедневно* (курсив мой. — Л. К.) погибало в среднем по 6000 пленных». «Среди немецких историков идет спор о числе погибших советских военнопленных в отдельных лагерях».

Мария Игнатьева. В праведных и неимущих. Стихи. — «Знамя», 2004, № 8.

Пишут, что Мария Юльевна Игнатьева (Оганисян) родилась в Москве. В середине восьмидесятых закончила журфак МГУ, начала работать в ИМЛИ. Избранником ее ока-

зался школьный учитель из Каталонии, далее последовала эмиграция и жизнь в Испании. Похоже, что иногда она навевается и в наши барселоны.

Почти двухметровая девка в метро
 Пьет «Старого мельника», будто тоскует
 По житнице счастья. Старуха с ведром
 И не одобряет, и не критикует,
 Она догорает, как в церкви свеча.
 Качается в ритме колес каланча.

Громкоговорителя голос родной
 Все с тем же советским покоем всеведущим
 Нас предупреждает о станции следующей,
 Как Фанни Раневская: «Крошки, за мной!»
 Малютка выходит, за горло свою
 Бутылку держа. И конец интервью.

Смотрю как живая на розы в ведре.
 Мне кажется, все это снится с тех пор, как
 Другая страна расцвела на заре
 Ноль Первого века и вянет в разборках,
 Хоть пивом запить или песней запеть,
 Те срезаны, эти останутся зреть.

Мелькает скользящею змейкой в песках
 Попугный вагон, темною извергнув.
 Эх, на золотых от любви лепестках
 Последние искры безропотно меркнут
 Как некая всеми забытая цель...
 Мы к Новому Мельнику едем в тоннель.
 Барселона.

Юрий Казаков. Мужество писателя. — «Мир Паустовского». Культурно-просветительский и литературно-художественный журнал, 2004, № 21.

Издание выходит уже 12 лет под редакцией Галины Корниловой.

«Писатели читают критику на себя. Это неверно, будто бы некоторые писатели не интересуются тем, что о них пишут. И вот когда им нужно все их мужество. Чтобы не обижаться на разносы, на несправедливость. Чтобы не озлобиться. Чтобы не бросать работы, когда очень уж ругают. И чтобы не верить похвалам, если хвалят. Похвала страшна, она приучает писателя думать о себе лучше, чем он есть на самом деле. Тогда он начинает учить других вместо того, чтобы учиться самому. Как бы хорошо он ни писал свою очередную вещь, он может еще лучше, надо только быть мужественным и учиться.

Но не похвала или разносы самое страшное. Самое страшное — когда о тебе молчат. (Тут я подумал о другом Юрии — Малецком. О нем, по-моему, незаслуженно мало пишут. — П. К.). Когда у тебя выходят книги и ты знаешь, что это настоящие книги, но о них не вспоминают, — вот когда надо быть мужественным!»

И — кода: «Если писателю не хватит мужества — он пропал. Он пропал, даже если у него есть талант. Он станет завистником, он начнет поносить своих собратьев. Холодея от злости, он будет думать о том, что его не упомянули там-то и там-то, что ему не дали премию... И тогда он уже никогда не узнает настоящего писательского счастья. А счастье у писателя есть».

Л. Карнаухова, С. Архангельский. Эпохи верное зеркало. — «Наше наследие», 2003, № 67-68.

О великом мастере акварельного портрета Петре Федоровиче Соколове (1791—1848), который, казалось, изобразил всех — от Александра Пушкина и Александра Тургенева до Петра Вяземского и великих князей. Долго я не мог оторваться от разнесенного на журнальную полосу портрета ослепительно красивой внебрачной дочери графа Григория Строганова и португальской графини *d'Era*. Это была Идалия Полетика, при упоминании о которой выражение «злейший враг» и глагол «ненавидеть» давно применяются автоматически. Шесть страниц спустя — предсмертный портрет и самого Александра Сергеевича.

Светлана Кекова. Тени летящих птиц. — «Знамя», 2004, № 8.

Это — мое прощенье, это — мой дар тебе:
 эхо в пустом ущелье, отблеск луны в воде,
 шелест листья осенней, тени летящих птиц,
 это — мое спасенье — помнишь одно из лиц,
 то, где любовь гостила, словно в реке вода...
 Да, я тебя простила, да, я простила, да.

Славила милость Божью, тайной судьбы узор,
и оскверненный ложью, ведомый всем позор.
Помнишь, что мир, как танец, рос в глубину и вширь?
Баловень, иностранец, прыгал в снегу снегирь.
И очевидец тайны, брат моего греха
вдруг обрывал случайно тонкую нить стиха.

Да, не могу понять я — кто ты и что с тобой,
Ангел меняет платье в вечности голубой.
Старая ткань слиняла — легкий покров души.
Помнишь, как я меняла жизнь на твои гроши?
Стало тепло на свете, ландыши расцвели,
плачут тихонько дети в разных концах земли.

См. также — о поэзии Кековой: **Ирина Василькова**, «Как нам вылечить птиц, отклавшихся петь?» — «Новый мир», 2004, № 3.

Кирилл Кобрин. Прошлым летом в Мариенбаде. Рассказ. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2004, № 7 <<http://magazines.russ.ru/zvezda>>.

Изящное, маленькое и грустное произведение о Кафке.

«<...> И тут в конце аллеи он увидел жену. Она быстро шла, почти бежала, ее длинное костистое лицо выражало смятение, крайнюю степень тревоги, большой рот перекошен от какого-то страшного слова, которое она должна произнести, он немного перепугался, двинулся ей навстречу, ее некрасивое лицо, нелепая фигура вдруг вызвали у него забытую волну жалости и нежности, он схватил ее за руку, которая крепко сжимала растрепанную газету, Боже мой, дорогая, Фелиция, что случилось? что с тобой? Она посмотрела на него испуганными глазами и сказала: „Франц, война“».

См. также: **Олег Захаров**, «Поставить точку в „Процессе“» — «Урал», Екатеринбург, 2004, № 7 <<http://magazines.russ.ru/ural>>.

А. Кобринский. Разговор через мертвое пространство. (Александр Добролюбов в конце 1930-х — начале 1940-х годов). — «Вопросы литературы», 2004, № 4, июль — август.

Интереснейший подбор материалов, посвященных легендарной фигуре Александра Михайловича Добролюбова — одного из основоположников русского декаданса и символизма. Здесь же публикуются воспоминания умершего в начале этого года племянника поэта и странника — **Глеба Евгеньевича Святловского**, письма Добролюбова родным, Надежде Брюсовой, Вересаеву и Пастернаку. Кобринский проделал колоссальную работу, уточнил и поправил многое в предыдущих исследованиях; а главное, воссоздал, воскресил причудливую и своеобразную личность человека, ставшего мифом еще при жизни. Ушедший «от мира», но иногда возвращающийся в него забытый всеми литератор, его отшельническая кончина в 1945-м, его странные письма и сочинения последних лет, наконец, его просьбы печатать все это под псевдонимом, а то и «поручить, кому приписать мои стихи себе», навели меня на мысль, что перед нами — сюжет для неожиданного и поучительного художественного произведения, романа или повести. Может быть, однажды кто-то и возьмется.

Олег Лекманов. «Что же пишут в газетах?» Смерть Иосифа Бродского в зеркале московской прессы. — «Новое литературное обозрение», 2004, № 3 (67) <<http://magazines.russ.ru/nlo>>.

Обзор Лекманова завершает блок материалов под общей рубрикой «В музее нового классика: концептуализация экспонатов». Поэт как одинокий турист, Пушкин — Бродский — Жолковский, языковая рефлексия и лингвистическое мифотворчество и тому подобные исследования через восемь лет после смерти героя. **Й. Кюст** (составитель и автор), **С. Турома**, **Д. Б. Платт** и **Ш. Хайров**. Против них маленькое, двухстраничное сообщение **О. Л.** смотрится несколько сиротливо. Но зато — оно показательное.

«<...> VI. Подводя общие итоги, попробуем в заключение наметить основные пункты типовой статьи памяти Иосифа Бродского в московской газете: Бродский гениальный поэт — он ученик Ахматовой — он был сослан — он был выслан — он получил Нобелевскую премию — Бродский как Пушкин — он солнце русской поэзии — а я его знал (несколько раз видел, видел по телевизору, видел его фотографию) — и лучше понимаю его, чем все остальные обыватели».

Помнится мне, что статья Бориса Кузьминского на первой полосе «Сегодня» была сугубо *вне* рядов и штампов. Жаль, что Лекманов не рассмотрел редкое *нетиповое*.

А вот интересно: сделают ли обзор московских газет, писавших о присуждении Бродскому Нобелевской премии? Какой материал пропадает: интервью Чингиза Айтматова (поставившего И. Б. в ряд с Вознесенским и Рождественским), «разоблачение» П. Горелова в «Комсомолке» («Мне нечего сказать...»). Тут мне опять же вспоминается,

как убивался работающий тогда в органе ЦК ВЛКСМ (и сам — талантливый поэт) Андрей Амлинский. Сие ведь — история. И не только литературы.

Лев Лифшиц. Древний Псков и его искусство. — «Наше наследие», 2003, № 67-68.

С некоторых пор на изумительные иллюстрации в этом журнале (фотографии внутреннего убранства храмов), каждый номер которого, на мой взгляд, — событие в издательско-журнальном искусстве, я смотрю через призму моего впечатления от подвижнической работы фотохудожника Юрия Холдина. Десять лет он фотографировал фрески Дионисия в Ферапонтовом монастыре и к 500-летию этих фресок создал альбом, рассматривая который понимаешь: состоялось приближение к тайне адекватной передачи впечатления, к расширению грани зрительного восприятия. И первое здесь то, что *качественные* съемки в храмах всегда велись и ведутся ночью, при искусственном освещении; и только Холдин научился снимать прохождение света днем. А это совсем другой эффект. Это не просто красиво.

Неизвестный Паустовский. — «Мир Паустовского». Культурно-просветительский и литературно-художественный журнал. 2004, № 21.

«Неизвестный Паустовский» — это *повесть «Снежный барс»*, обнаруженная в архивах Вадима Константиновича Паустовского и представляющая собой написанный в жанре путевых заметок отчет об экспедиции на Памир в начале 30-х годов.

«<...> Через час после того, как мы вышли на ледник, заплакал первый таджик-носильщик. Он полз на четвереньках, слезы текли по его ассирийской бороде и застывали мутными ледяными шариками. Он полз за нами и тихо скулил, — обратного пути ему не было. Мы преодолевали горную болезнь и смеялись, вспоминая рассказы о том, как слоны плачут и падают в обморок при виде мышонка величиной с наперсток. Сумерки застали нас среди льдов, у черных скал. Мы разбили палатку. Бензиновый примус гудел и взрывался, почти не давая тепла». Какой романтизм, какая поэзия.

В этой же рубрике публикуется *фонограмма выступления Паустовского* в МЭИ весной 1963 года (одно из последних публичных выступлений писателя). Бесценную запись (в публикации она названа «Вы спрашиваете меня...») в течение 20 лет хранил звукооператор МЭИ Г. М. Сердобов, который и подарил ее музею Паустовского. Речь шла обо всем и обо всех — и о себе, и о Бунине, и о Бабеле, и о Солженицыне.

«<...> Вот вы спрашиваете меня, *встречался ли я с Грином?* Я с детства очень любил Грина и писал о нем много, но в жизни я видел Грина только один раз, и то мельком, мы не были знакомы. Просто Грин прошел мимо меня, когда я был в каком-то издательстве. Это был совсем не такой человек, как о нем принято говорить. Единственная тяжесть его жизни была в том, что он пил. Вообще он был любезнейший, между прочим, человек, во что очень трудно поверить. А когда он выпивал, он тогда, конечно, был, как все выпившие люди, немножко смешным. Он, например, молился всегда Богу, чтобы Бог покарал всех его врагов, и давал адреса, точные при этом. Потом молился, чтобы Бог не перепутал и не покарал его жену: „Нина Николаевна Грин, Феодосия, Госпитальная, 14“».

Александр Мелихов. Завал обид на пути к общей сказке. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2004, № 7.

На мой взгляд, очень искреннее и самостоятельное *размышление* о публицистическом двухтомнике Солженицына, посвященном русско-еврейским отношениям. Пожалуй, самое интересное (и не отвлекающее авторской сверхзадачей *уличить, подловить, разоблачить, присоединить, вознести* и т. п.) эссеистическое впечатление от книги, прочитанное мной за последнее время. Это довольно-таки страстное расследование лежит *вне поля*, на одной границе которого стоит уже выдохнувшийся сатирик-«мифониспровергатель», а на другой — еще суетящийся хроникер-почвеник.

Марина Москвина. Между нами только ночь. Повесть. — «Знамя», 2004, № 8.

Тонкая, прелестная вещь. Формально — о попытке автора издать свою книжку под названием «Загогулина» (о детдомовском детстве, о мистической встрече со своим ночным воспитателем, «ночвосом», а впоследствии издателем — стюардессой Еленой Федоровной; о брате Юрике и подруге Юлии, о гениальном художнике-иллюстраторе Коле, об аквариумных рыбках и бродячих собаках). А на самом деле — о любви, смерти и таинственном братстве всех и вся.

Между прочим, иногда мне кажется, что некоторые писательницы, «проходящие по ведомству детской литературы», говорят на каком-то *своем*, но общем — для них всех — наивно-притчевом языке. Есть что-то похожее в интонации.

Я читал повесть в интернет-версии, распереживался, и, дойдя до конца (с катарсисом, конечно!), с изумлением обнаружил отцентрованное: «Марина Москвина. Между нами только ночь. Повесть». И вещь началась снова. Два экземпляра. Тут ошибка веб-

мастера на какое-то мгновение показалась мне частью художественного поведения самой повести, ее личной *загогулиной*. Забавно и странно.

Александр Стесин. Стихи. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2004, № 7.

Стесина хвалят. Похвалю и я: эти стихи помогают мне осмыслить тот факт, что ростки, пущенные Гандлевским, Кибировым (и отчасти Кеңжеевым), дадут еще и будут давать обильные всходы. Музыкально-реминисцентные мотивы иногда побуждают думать и об Александре Еременко. Короче, все здесь сработано здорово, ударно. И все-таки — предсказуемо. «Средь немых вилок и тарелок / циферблат находишь наугад. / Шесть часов. Вечерний циркуль стрелок, / тикая, садится на шпагат. // Время сникнуть, время сгинуть вовсе, / свой обед, не разогреши, съешь / время есть, и в гусеничном ворсе / плета мерзнуть — тоже время есть». Или: «Благодари эту полночь за сон / на пяточке, уже сданном в аренду; / даже за лампы ночной патиссон, / что, перезрев, освещает веранду».

Не знаю, как вы, а я, читая последние годы стихотворные подборки и поэтические сборники *молодых*, уже заметил тенденцию. И вот не знаю — радоваться или горевать. Что хуже: концептуальная «вавилонско-энэлошная» филология или это постепенное наследование (незаметно превращающее себя в прием, в *похожесть*) славным традициям «Московского времени»?

Роман Тименчик. Руки брадобрея, или Шесть подтекстов в поисках утраченного смысла. — «Новое литературное обозрение», 2004, № 3 (67).

И снова парикмахерская тема в творчестве Манделъштама, не отпускающая нас в этом сезоне (см. нашу «Периодику» в прошлом номере «Нового мира» и статью И. Сурат в позапрошлом). На сей раз брадобрей Франсуа отдыхает; все внимание к рукам безмянного цирюльника, с которыми великий поэт сравнил отвратительность власти. Гипотеза о (возможно, подсознательном) влиянии на рождение известного образа четырёхактной сатирической пьесы товарища Луначарского «Королевский брадобрей» (1906) кажется весьма убедительной. Как и шарж Юрия Анненкова на будущего «начальника культуры».

Лариса Щиголь. А по-украински — шегол... Стихи. — «Знамя», 2004, № 8.

Автор семь лет уже как живет в Германии, соредатор журнала «Крещатик» (см.: <<http://www.kreschatik.net>>). Стихотворение называется «Дунайские волны»:

А в саду городском, а в саду городском,
Там дорожки посыпаны белым песком,
Небеса источают полуденный зной
И деревья качает дунайской волной,
Золотые тромбоны на солнце блестят,
И мальчишки вдогонку влюбленным свистят,
А сумевшие скрыться под сень колоннад
Из бумажных стаканчиков пьют лимонад.
И пока там обеты дают на века,
И пока там конфеты жуют из кулька,
Их уносит не видимой ими судьбой
За не виденный ими Дунай голубой,
И пока там сгущаются тени, в саду,
Их заносит забвеньем, как тиной в пруду,
И хоронят, хоронят, хоронят живых
Под далёкое эхо музык полковых...

15.12.03.

Мюнхен.

Лена Элтанг. Свойства лавы. Стихи. — «Знамя», 2004, № 8.

Что ни говори, а Лев Лосев и Алексей Цветков в свое время придали подобной стихотворной речи свое первоначальное ускорение. Очень плотно, очень пестро. С холдом, но виртуозно.

«Я жив, и я вас люблю». Письма Ф. И. Тютчева к родителям. Публикация, подготовка текста, перевод с французского, примечания Л. В. Гладковой. — «Наше наследие», 2003, № 67-68.

Ценная публикация к 200-летию со дня рождения поэта помогла, в частности, уточнить день рождения его отца — Ивана Николаевича. В литературе о Ф. И. Тютчеве часто встречается дата — 12 ноября. И вот под детским стихотворением «В день рождения любезнейшего нашего папеньки!» обнаруживаем: «12 октября»:

Как можем пред тобой, родитель наш любезный,
Сердечны чувства изъяснить,
Где същем дар столь драгоценный,
Который бы могли тебе мы посвятить;
Какие принесем мы дани
В залог твоих благодеяний.

Десница щедрости Всевышнего Творца
 Достойно наградит твои о нас раченья,
 А мы приносим дар в день твоего рожденья
 Любовью к тебе горящие сердца.

Федор Тютчев.

Тут же публикуется весьма значительное исследование хранительницы мурановского музея Светланы Долгополовой «Я помню время золотое...» — о личной жизни поэта — и статья Бориса Тарасова о христианской историософии Тютчева.

Составитель Павел Крючков.

●

АЛИБИ: «Редакция, главный редактор, журналист не несут ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство граждан и организаций, либо ущемляющих права и законные интересы граждан, либо представляющих собой злоупотребление свободой массовой информации и (или) правами журналиста: <...> если они являются дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации, которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации» (статья 57 «Закона РФ о СМИ»).

●

АДРЕСА: Сайт, посвященный жизни и творчеству Василя Быкова: <http://bykau.com>

ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Ноябрь

20 лет назад — в № 11 за 1984 год напечатано «Мироздание по Дымкову. (Фрагмент из романа)» Леонида Леонова.

35 лет назад — в № 11 за 1969 год напечатана повесть Натальи Баранской «Неделя как неделя».

65 лет назад — в № 11 за 1939 год напечатан Доклад Председателя Совета Народных Комиссаров и Народного комиссара Иностранных дел тов. В. М. Молотова на заседании Верховного Совета Союза ССР 31 октября 1939 года («Товарищи депутаты! За последние два месяца в международной обстановке произошли важные изменения... Во-первых, надо указать на изменения, происшедшие в отношениях между Советским Союзом и Германией...»).

70 лет назад — в № 11 за 1934 год напечатан «Рассказ о съезде писателей» Бориса Пильняка.

SUMMARY



This issue contains: a tale by Vladimir Makanin «Mow while It Is Dew»; «No Point in Crying», a story by Boris Yekimov, «All Those Appartments», a story by Vasily Golovanov, as well as some chapters from «Gorky», a book by Pavel Basinsky. The poetry section is made up of the new poems by Sergey Stratanovsky and by Oleg Khlebnikov. Along with it there is a collection of poems by Semyon Lipkin in memory of the author. The sectional offerings of this issue are as follows:

Philosophy.History.Politics: three articles under the general heading «Ecce Homo» discussing on contemporary anthropological problems: «The Pink and the Blue» by Andrey Stolyarov, «The Games that Choose Us» by Armen Asriyan and «The Eternal Man» by Tatyana Kasatkina.

From the Heriage: Ivan Shmelyov's letters to Raisa and Lyudmila Zemmering «I Have Always the Life of Heart», as well as Viktor Astafyev's letter to Svetlana Novikova, a daughter of the Marshal of the Air Force during World War II.

Essais: «Russian Style-26» by Sergey Borovikov, as well as «A letter to Chekhov» by Nina Gorlanova.



«Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение» (Закон РФ «О средствах массовой информации», ст. 42).

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» в качестве товарного знака по классам МККТУ 16, 38, 41, 42.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, А. Г. Волос,
Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким,
А. С. Кушнер, А. Н. Латынина, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий,
П. А. Николаев, О. А. Славникова, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, В. А. Губайловский, Р. Т. Киреев,
С. П. Костырко, П. М. Крючков, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова,
И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев

Корректоры Н. Н. Замятина, С. Л. Луконина

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Адрес редакции: 127994, ГСП-4, Москва, К-6, Малый Пугинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,

отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,

зав. редакцией (хозяйственные вопросы) — 209-62-68,

для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: nmir@lenta.ru;

по вопросам зарубежной подписки: novy-mir@mtu-net.ru

Сетевой журнал «Новый мир»: http://magazines.russ.ru/novyi_mi

Свидетельство Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15286 от 28 апреля 2003 г.

Учредитель и издатель — ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“».

Слано в набор 20.07.2004 г. Подписано к печати 29.09.2004 г. Формат бумаги 70x108¹/₁₆. Бумага кн.-журн.

Высокая печать. Объем 15,0 печ. л., 21,0 усл. печ. л., 27,0 уч.-изд. л.

Тираж 8600 экз. Зак. 4517. Цена договорная.

Отпечатано с оригинал-макета в ФГУП Издательство «Известия» Управления делами Президента РФ, 101999, ГСП-9, Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ ЮРИЯ КАЗАКОВА

Премия учреждена в 2000 году журналом «Новый мир»
и Благотворительным Резервным фондом.

Премия присуждается автору,
живущему и работающему в России,
за рассказ на русском языке, впервые напечатанный
в текущем году на территории России
(циклы и сборники рассказов, рукописи
и сетевые публикации не рассматриваются).

Правом выдвижения произведений на премию
обладают критики, издатели и творческие организации.

Выдвигаемые произведения направляются
в редакцию журнала «Новый мир»
с пометкой «На премию имени Юрия Казакова»
до 1 декабря 2004 года.

Состав жюри:

РУСЛАН КИРЕЕВ, председатель жюри, прозаик,
зав. отделом прозы журнала «Новый мир»;
ПАВЕЛ КРЮЧКОВ, литературный критик,
сотрудник журнала «Новый мир»
и Дома-музея К. Чуковского в Переделкине;
МАЙЯ КУЧЕРСКАЯ, прозаик, литературный критик,
обозреватель «Российской газеты»;
АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ,
депутат Государственной думы РФ,
президент Благотворительного Резервного фонда;
ДМИТРИЙ ШЕВАРОВ, прозаик, эссеист, литературный критик,
обозреватель газет «Первое сентября» и «Деловой вторник».

Сумма премии — 3000 \$.

Объявление лауреата 2004 года состоится
одновременно с вручением ежегодных редакционных премий
авторам журнала на юбилейном вечере в честь 80-летия
«Нового мира» в начале 2005 года.

Координатор премии
МИХАИЛ БУТОВ.

Контактный телефон: (095) 209-91-81
E-mail: nmir@lenta.ru